

A portrait of a man with a full, light-colored beard and mustache, looking slightly to the left. He is wearing a dark, textured coat. The background is dark and out of focus.

3

Андрей
СИНЯВСКИЙ

127 писем
О ЛЮБВИ

5 севастополь 1970.

16 августа.

20 гребраны

21-23 севастополь

1970.

21.57 Информация
3 гребраны 1970.

20 мая 1970.

3 июня 1970

20 севастополь
17-18 севастополь

1970.

3 гребраны

3 гребраны 1970.

22 мая.

5 июня 1970.

5 севастополь

1970.

20 гребраны 1970.

22 мая.

19 ноября 1970.

5 марта

16 севастополь

5 августа 1970

19 июня

2 августа.

1 августа.

1970.

19 июня 1970

1970

от 61

Информация

6 декабря 1970

6 мая.

1970.

19 марта
3 севастополь 1970.

4 августа 1970.

19 ноября 1970.

3 ноября 1970.

1970.

4 мая 1970.

23 августа 1970.

19 ноября 1970.

4-5-6 декабря.

6 декабря 1970.

19 августа 1970

17 июня

1 июня

20 декабря 1970

Андрей
СИНЯВСКИЙ
127 писем
о любви

МОСКВА ■ АГРАФ ■ 2004

УДК 821.161.1(092)Синявский А.Д.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Синявский А.Д.
С38

Подготовка текста и примечания *М. Розановой*

Художник *А. Зарубин*

Издание подготовлено при участии общества «Мемориал»



Информационный спонсор –
радиостанция «Эхо Москвы»

Синявский, Андрей Донатович.

С38 127 писем о любви: [В 3 т.]. т. 3 / Андрей Синявский. – М.: Аграф, 2004. – 480 с. – ISBN 5-7784-0295-3

Лагерные письма Андрея Синявского обращены к единственному адресату – жене Марии Розановой. Разрешенные два письма в месяц были местом встречи с семьей, творческой лабораторией писателя, дневником и записной книжкой.

Третий том – письма 1970–1971 годов. Центральные сюжетов – два. Один – борьба жены Синявского за его досрочное освобождение. По жанру почти детективный роман – о том, как слабая женщина сумела до изнеможения зашантажировать серьезное государственное учреждение – Комитет Государственной Безопасности СССР. Другой сюжет связан с взрослением сына, на момент ареста Синявского бывшего восьмимесячным младенцем, а к концу отцовского заключения становящегося самостоятельным участником семейной переписки. По жанру – роман воспитания, так сказать, «Егоркино детство». «Примечания адресата» включают фрагменты писем М. Розановой к мужу.

УДК 821.161.1(092)Синявский А.Д.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Синявский А.Д.

1970

ПИСЬМО ДЕВЯНОСТО ВТОРОЕ

Завтра, Машенька, я встречу твой день рождения уже успокоенный, что вы живы и здоровы. А то весь декабрь не находил себе места. <...> Очень выбился в этот месяц и мало чем мог заниматься – в основном ждал. То тебя, то объяснения, почему не едешь, и сегодня пришло 51-е письмо – несколько быстрее обычного – от 10 декабря, где ты, наконец, пишешь, когда думаешь появиться, и другие приятные новости, про выставки* и Егор в группу пойдет, и все повеселело. От сердца отлегло. Уф-ф-ф!

26 декабря.

Мне повезло, что мы жили неподалеку от Музея* изобразительных искусств, и он стал куском города моего детства, и, подросши, я бегал туда просто так, посидеть в соседстве статуй и помечтать в одиночестве в каком-нибудь Итальянском дворике, где было тогда так безлюдно и царил полумрак, подростком, хоть Ренессанс, а все-таки этот дворик и снаружи, античный портик, Парфенон, особенно зимой, в сияющей изморози, такое всегда видишь очень конкретно и на всю жизнь. И потом эти самые искусства, в отличие от других, становятся обстановкой, в которой мы можем жить, посреди произведений, как среди леса, чего не бывает с книгой, проникаясь изяществом как постоянным фоном существования. Соприкасаясь с искусством как частью реального быта, перестаешь видеть в нем исключение, духовную область, но материальную потребность, ежедневную пищу. И бегаешь в этот Музей, как в храм.

Этому соседству я, наверное, обязан также тем, что впоследствии мы встретились и подружился*.

27 декабря.

Глубокое умиротворение, что ты у меня есть. Что пятнадцать лет и молоденькая. Что зеркальце и родинка. Совсем ручные. Поздравляю с милой датой*, когда дойдет. И будем ее достойны. Люблю тебя повсюду.

28 декабря.

– Язык – просторный.

– Вытаскивают меня на улицу, а улица у меня – как мельница, и люди по ней на головах ходят и ногами машут, овечью шерсть стригут.

– И в разбитом виде иду на вокзал.

– Фуражку на глаза и иду, на грани отключения, и мозги мои уже где-то там.

– Западная культура – чтобы сопли в кармане носить. Сморгнешь в платочек и носишь.

– Разинул он рот, сколько можно разинуть. Глаза выкатил. И тут я увидел, как человек на глазах седеет. Волосы поднялись. Шапка упала. А по волосам, по лицу будто кто молоко льет.

– У каждого есть что-то возлюбленное. А больше всего я любил холодец с хреном!

– Сверхъестественно толстые, как морковины, пальцы. При взгляде на них – какие грузы?! Но если белые и холеные, хоть и с толстой кожей? Но у тщедушного человек, со сморщенным личиком философа и счетовода? Что делать такими пальцами? Каждый палец как хобот. Исполинские, гомерические, при небольшой, в общем, ладошке.

– Нет-нет, Лета, река Лета совершенно необходима!

– Смотрю на дверь и не верю: за дверью – свобода.

– Чтобы написать что-нибудь стоящее, нужно быть абсолютно пустым.

– Смотрю, сидит баба-капитан.

– Приучил сожительницу курить и садиться на колени к друзьям, чтобы потом рассказывала. Косы обстриг на городской манер – канадкой.

– Стоит. Как у молодого. (О ящике, – прибаутка грузчика.)

– Искусство одержимо таким чувством реального, каким не обладают люди так называемой практической жизни. Для них, для всех нас в дневном свете отдаленного прошлого не существует.

Мы знаем отвлеченно, что были когда-то готы и греки, но, в сущности, в это не верим. Искусство – верит.

– В Ренессансе приятно, пожалуй, только одно то, что оно было жадно до любого художества, получившего равноправие с бытом и его охватившего, преобразившего – жизнь в живопись, землю в палаццо...

– Эту печку строили с таким матом, что, постояв полгода, она разваливалась. Вещи, когда их делаешь, не любят ругани.

– Мужики говорят о моторах – сколько тонн, лошадиных сил. С той же серьезностью они обсуждали когда-то, во сколько пудов была палица богатырская или меч-кладенец.

– И рассвет уже вставал на четвереньки.

– И от больших морозов собаки выли почти человеческими голосами.

29 декабря.

Вот как долго идут телеграммы. Вернее, она пришла в тот же день, 22-го, а получил я ее через семь дней, вчера. Потому и волновался. И упрекал тебя – зря. Но видишь ли, в моей практике телеграммы так долго еще не ходили.

Попутно пришла очень вежливая открытка из магазина «Книга – почтой»: «В ответ на ваше письмо сообщаем, что выполнить ваш заказ, к сожалению, не имеем возможности, поскольку интересующей вас литературы нет в продаже».

А Егору и впрямь очень много – пять лет, и я этому удивляюсь еще больше тебя. И начинается возраст, с которого человек все помнит и все понимает.

30 декабря.

Не исключено, что «Шаман и Венера» Хлебникова написаны под влиянием «Энеиды» Котляревского, где есть Нептун и Венера – в пародийном ключе. Хлебникову близки украинские мотивы. Он мог помнить, читать.

Но в «Слове об Эль» Хлебников забыл или не знал, что «Эль», по мнению некоторых (Данте в «Пире»), – это первое слово Адама с обозначением божества. Тоже перпендикулярная сила, опущенная на плоскость. Отсюда Аллах. Как бы он обрадовался.

У мастера Булгакова буква «М» вышита на шапочке, а у Волан-

да – перевернув – тоже первая буква – W. Обе буквы обыгрываются, потому что связаны, и Воланда называют «мессир», что звучит как «мастер». От его мастерской работы без ума Маргарита.

«А за несколько дней до смерти Цезарь узнал, что табуны коней, которых он при переходе Рубикона посвятил богам и отпустил пастись на воле, без охраны, упорно отказываются от еды и проливают слезы» (Светоний, стр. 31). А еще говорят (биологи), что животные не плачут. В сказке-то конь плачет – в слезах по щиколотку.

В древности конь ближе стоял к человеку, и сказка это родство коня и героя передает. «А лошадь у него была замечательная, с ногами как у человека и с копытами, расчлененными, как пальцы; когда она родилась, гадатели предсказали ее хозяину власть над всем миром, и тогда Цезарь ее бережно выходил и первый объездил, – других седоков она к себе не подпускала, – а впоследствии даже поставил ей статую перед храмом Венеры-прародительницы» (Светоний, стр. 25).

Но иногда предсказания обманывают гадателей, и получается довольно забавно. У Светония говорится, что царствование Веспасиана (чей путь к императорской власти начался с Иудеи, где он подавлял восстание) было предзнаменовано: «На Востоке распространено было давнее и твердое убеждение, что судьбой назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром. События показали, что относилось это к римскому императору; но иудеи, приняв предсказание на свой счет, возмутились, убили наместника, обратили в бегство даже консульского легата, явившегося из Сирии с подкреплениями, и отбили у него орла» (стр. 197).

Забавно, как каждая сторона принимает благоприятные знаки на свой счет.

О том же у Тацита (Сочинения в двух томах. Том II. История. Л., 1969) сказано – в связи с осадой Иерусалима Титом:

«Над городом стали являться знамения, которые народ этот, погрязший в суевериях, но не знающий религии, не умеет отводить ни с помощью жертвоприношений, ни очистительными обетами. На небе бились враждующие рати, багровым пламенем пылали мечи, низвергавшийся из тучи огонь кольцом охватывал храм. Внезапно двери святилища распахнулись, громовый, нечеловеческой силы голос возгласил: «Боги уходят», – и послыша-

лись шаги, удалявшиеся из храма. Но лишь немногим эти знамения внушали ужас; большинство полагалось на пророчество, записанное, как они верили, еще в древности их жрецами в священных книгах: как раз около этого времени Востоку предстояло якобы добиться могущества, а из Иудеи должны были выйти люди, предназначенные господствовать над миром. Это туманное предсказание относилось к Веспасиану и Титу, но жители, как вообще свойственно людям, толковали пророчество в свою пользу, говорили, что это иудеям предстоит быть вознесенными на вершину славы и могущества, и никакие несчастья не могли заставить их увидеть правду». V, 13 (стр. 195–196).

Но каков самоуверенный просвещенный Рим! И каково это: «Боги уходят» (ср. «Великий Пан умер!») – перемещение культур и путей истории, начинавшихся с храма.

Кстати, в связи с пожаром Капитолия в 70 г. н.э. у Тацита говорится, что кельтские жрецы-друиды предсказывали, что «господство над миром должно перейти к народам, живущим по ту сторону Альп». IV, 54 (стр. 109). Понятно, это тоже отнесено Тацитом к нелепым суевериям.

31 декабря.

Новый год я встретил на работе. В десять часов пришла платформа с контейнерами, и мы вернулись в жилую зону лишь в два часа. Но такой ситуацией – посреди мороза и снега и звезд – я доволен: уж очень экзотично и вполне по-зимнему. И потом, если тебя нет – все равно как встречать. <...>

Как вы живете эти дни, мои детишечки?

И хорошо было поздравить тебя по воздуху под открытым небом, когда подошло время.

А где ты сейчас?

1 января.

Немножко живописи.

Три богатыря – Минин и Пожарский.

Мифология: Орел, клюющий грудь Прометея – спереди, и Леда с собачкой (взамен лебеда) – сзади.

У Рембрандта, у отца в «Возвращении блудного сына» разные руки, и правая в полном смысле не знает, что делает левая. Руки

отца соответствуют ногам сына. Христианская поза лотоса с развернутыми ладошками ног. (Ведь в лотосе раскинутые ступни – другая проекция сомкнутых рук.) Обмен жестами больше говорит, чем в Леонардовой «Тайной Вечери».

Картина обращена к зрителю пяткой, более выразительной, чем человеческое лицо, замусоленной, шелушащейся, как луковица, как заросшая паршой башка уголовного, – источающей покаяние пяткой. В картине ничто не устремлено на зрителя, картина, как главные лица в ней, отвернулась к стене – в себя. Поистине – внутри вас есть. В итоге – нет больше картины на тему церкви.

Она погружена в этот благодный, кафедральный мрак глубже, чем Садко на дно морское. И хорошо, что картина со временем так потемнела. Когда она совсем потемнеет, скрывшись из глаз, – тогда блудный сын встанет с колен и откроет лицо.

2 января.

Немного о зеркалах. Предварительные материалы. Конспективно. Тема должна быть поставлена конкретно. Типа: «зеркала в Останкине» (по существу же – Останкино в зеркалах).

Потому что зеркало в старом доме – это уже не предмет обихода, но лучший аккумулятор былого. Зеркала в залах – как пруды и омуты в парке. Кто туда бросился?

Они впитали всех, кто смотрелся. Гулявшие, упокоившиеся – ушли в зеркала. Если даже стены впитывают флюиды, то зеркало в высшей степени является таким поглотителем. Зеркало по отношению к быту как сон по отношению к яви: все отражает и кое-что добавляет «от себя» – по самому главному. Зеркало – двойник человеку. И оно трескается или бьется – к смерти. Оно знает нечто большее о нашей душе и судьбе, и вот почему интересно рассказать про Останкино через зеркала – со ссылками на какие-нибудь редкие домашние тайны и легенды.

По-видимому, прямая, честная, правдивая роль зеркала сказалась в практике правосудия. В суде, вероятно, висело зеркало в качестве символа (чего? – узнать). В старину существовала идиома: «в суде за зеркалом сидеть».

Опять же «Великое зеркало» и тому подобные названия полезных и душеспасительных книг. Зеркально – синоним точности.

В газете «Известия» (14 декабря 1969 г.) ученый-биолог сообщает:

«Знаете, что просит больной на второй-третий день после тяжелой операции, спасшей его от смерти? – спросил меня однажды знакомый хирург. – Больной просит зеркало.

Это может показаться странным. Еще вчера человек смотрел в глаза смерти, а сегодня ему, видите ли, зеркало подавай. Человек должен себя увидеть. И сказать себе: все нормально, все хорошо».

Очевидно, больной человек жаждет убедиться в идентичности собственной персоны, удостовериться, что я – я.

На этих свидетельских показаниях, на повышенном самознании личности возникло искусство автопортрета, с вершиной в Рембрандте, отобразившем себя аж с Саскией на коленях. Как немного позже «Исповедью» Руссо, так в 17-м веке автопортретом – зеркалом расчищалась дорога личности. Еще в 15-м веке Ван Эйк в портрете четы Арнольфини с помощью круглого зеркала на стене ввел себя. И подписал: «Здесь был я».

Идентичность, подобие лишь одна сторона зеркала. Вторая – расподобление, вызывание двойника, только внешне на нас похожего, а в действительности – «блеснет в глаза зеркальный свет, и в ужасе зажмурив очи...»

В зеркале то опасно, что правая сторона в нем становится левой и наоборот. Казалось бы, какая разница, а – ! Как заметил Вельфлин, гармония «Сикстинской мадонны» в зеркале резко нарушена. Зеркальное отражение – противоположное нам существо, «черный человек» (по Есенину), враждебный антипод. Из зеркала вылезает всякая чертовщина, перед зеркалом гадания с двумя свечами и появлением за спиной того, чей приход нежелателен. Таинственное или – чаще – зловещее, пугающее «зазеркалье».

Тут вступает в действие обманывающее значение зеркала, связь его с потусторонним светом, с шестым пальцем и пятым измерением. И, конечно, на первом месте оказывается опять Ренессанс с его пристрастием ко всяким обманам, пространствам и иллюзиям. Опыты Нострадамуса перед Екатериной Медичи, повторенные в 18 веке физиком Робертсоном, что с помощью наклонных зеркал и переодетых статистов, спрятанных в соседней комнате, явил толпу привидений. Перископы. Стремление уви-

деть то, что нельзя увидеть. В XVI веке стремительно развивается оптика, в моду входят очки, изобретен телескоп. «Венера» Веласкеса, показанная зараз и спереди и сзади. «Менины» – создание многопланового, пересекающегося потоками встречных лучей пространства, где предметы перестают быть реальностями, а служат лишь степенями зеркального отражения, и зеркало становится основанием композиции. Действительность исчезает, на месте ее утверждается точка зрения.

Не будь зеркала, Возрождение не сумело бы разрешить синтез архитектуры и живописи. Ибо иллюзионистская живопись пробивала дырку в стене и превращала картину в окошко, путаясь с настоящими окнами и подсовывая свою перспективу. Поэтому наиболее удачной была та ренессансная стенопись, которая, выйдя из зеркала, имитировала зеркало же – воспроизводила в доме домашнее же царство.

Такова, по свидетельству знатоков, роспись Мантеньи в Камере дельи Спози в Мантуе (1468–74 гг.), где на стену перенесены, в сущности, сцены интерьера. Еще более очевиден зеркальный принцип в станцах Рафаэля, где пол в «Афинской школе» соответствует подлинному полу зала и нарисованные арки – реальным аркам. По мнению исследователей, у Рафаэля необычайно усиливается принцип анфилады, а анфилада, по-видимому, найдена не без помощи зеркала, усилившего перспективу покоев.

Введение же настоящих зеркал в убранство залы, бесспорно, открыло широкие перспективы в экспериментировании с пространством, которое с их участием можно складывать и раскладывать как гармошку. Но, вероятно, этот вопрос надо рассматривать очень конкретно, ибо в каждом случае получается своя раскладка, и чтобы говорить об этом всерьез, надо сперва побывать в Останкине или в каком еще дворце с зеркалами и посмотреть, какая пиковая дама появится в этом карточном домике.

3 января.

Получаю поздравительные открытки от добрых знакомых – в том числе от Меньшутиных – с Новым годом, остальные все от бывших здешних. И от тебя пришло 52-е письмо с ласковой интонацией и усталостью в голосе, что сердце сжимается за тебя, моя радость. А ты не беспокойся: я тебя не перестаю любить и

не перестану, оттого что письма редко идут или в настроении вдруг проступает замотанность и заторможенность. Это мы понять можем. И не перестану, даже если ты вообще перестанешь писать. Только ты все равно пописывай мне почаще, невзирая на эти гарантии.

И хорошо, как вы с Егорушкой целуетесь в лифте*. И я хочу тоже ездить с вами в лифте. Давно не ездил.

4 января.

«...» У нас сегодня объявление – просьба сообщить родственникам, приезжающим на свидание: им необходимо иметь с собою – «медицинские справки о состоянии здоровья и об отсутствии инфекционных заболеваний в проживающих местностях». В случае отсутствия таких справок свидания с 1 февраля с.г. даваться не будут.

Я думаю, это вызвано эпидемией гриппа, и достаточно справки от врача, что ты здорова. Потому что я не очень представляю, кто в такой местности, как Москва, может дать справку об отсутствии инфекционных болезней вообще.

Держу вас все время на руках и качаю, и качаю. Мои милые и ненаглядные. Очень за вас дрожу, и терзаюсь, и пекусь. В газетах пишут, грипп в этом году не такой опасный. Но вы все равно лечитесь изо всех сил.

Люблю вас бесконечно. Целую и обнимаю.

А.

5 января 1970 г.



...про выставки... – Пора поговорить про деньги. Буквально через несколько месяцев после «развода» с соавтором (А.Петровым) я обнаружила, что у меня начались заработки – сначала приличные, потом большие, потом очень большие. Судите сами: «Сегодня на меня посыпались удачи, и порадуйся вместе с женой-Машей.

Я впервые попользовалась Егоркиным свидетельством о рождении, да еще для такого приятного дела, как заполнение графы в счете на большую сумму, чтобы не вычли за бездетность.

Это у меня купили 6 вещей для всемирной выставки 70 года в Японии, заплатив по 150 р. за предмет. Итого... Ого!!!

Только не радуйся чрезмерно, потому что почти все эти вещи старые и ты их уже видел, а весь последний месяц я трудилась совсем задаром – для юбилейной выставки, и жутко влезла в долги, но зато сегодня мои игрушки приняты выставкомом, и это уже будет второе мое самостоятельное, безо всяких соавторчиков, выступление на выставке».

Необходимо добавить, что средний заработок интеллигента размещался между 100 и 150 рублями, а автомобиль «Жигули» стоил приблизительно 5000 рублей.

...мы жили неподалеку от Музея... мы встретились и подружились. – Напоминаю адрес: Хлебный переулок, дом 9, кв. 9, и одну (корневую) из своих профессий – искусствовед.

Поздравляю с милой датой... – 27 декабря мой день рождения.

...как вы с Егорушкой целуетесь в лифте. – «А вчера мы с ним ехали в лифте на 10 этаж, и никого больше не было, и мы смотрели друг на друга и радостно улыбались (Егорыч иногда невероятно умилительно мне улыбается), и вдруг ребеночек чмокнул воздух, явно относя это ко мне. У меня сердце дрогнуло, и я подхватила его на руки, как маленького, и слегка потискала. А он уже большой-большой и очень хороший».



ПИСЬМО ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕ

Нелегко в пятницу, когда остается последний шанс получить письмецо за неделю и впереди два дня без почты. Но еще труднее, если ни в понедельник, ни во вторник оно опять не приходит, хотя ему было дано столько времени на дорогу, и смотришь, впереди уже снова маячит пятница.

Но вчера, в отличие от тысяч других пятниц, мне повезло: телеграмма!

И ты, Маша, умничка еще и потому, что я не знал, куда деваться и что делать с этой новой болезнью Егора. Страху, у которого и без того глаза велики, помог еще глупейший сон, который, не будь тут беды с ребеночком, можно даже истолковать в хорошую сторону. А именно, мне приснилась моя собственная могила в виде большого персонального участка и уже с надгробием, не помешавшим мне во сне разговаривать с тобою приятным образом, обсуждая, а не поставить ли на таком большом участке еще собственный дом. При ближайшем рассмотрении, правда, поместилась бы только времянка дачного типа, но все равно я был польщен тем, что мне отвели столько свободной жилплощади, и даже, помнится, немного гордился.

В свете дня, однако, все эти ночные приятности приобрели мрачноватый оттенок, и твоя телеграмма поспела вовремя, чтобы вытащить меня со дна отчаяния. И вот помиловало и отпустило, и это ощутимо физически – как корки боли, отпадающие с больной головы, освежая сознание и обращая недавнее мучение в одно блаженство.

Я сразу оживился и забегал, и начал выписывать разные давнишние цитаты, и даже взялся за Фаворского с радости, о чем тебе напишу немного позже.

А на завтра-сегодня был чудесный зимний день, совершенно розовый, как в детстве, в прекрасном равновесии снега, мороза и воздуха.

А бывает, зимою деревья покрываются густою листвою, и это галки.

Егорычева же слабость рассуждать о проигрывателе – очень удивительно. Эдак он скоро поймет, пожалуй, что такое, когда яйца курицу учат. И с марками – приятно*. Только если сейчас дарить, то по одной – по две, не больше. Чтобы их любил и ценил.

А я вас.

10 января.

- Бюст Пушкина во весь рост.
- Старуха копила деньги пацану на мотоцикл.
- С конфискацией имущества.
- Человек, оставленный Богом, ел, не снимая шапки. И так чавкал, что самому было противно.
- В темноте, я заметил, пахнет сильнее.
- И обозвав портянку проституткой.
- Вася Недорубленный.
- Сидит и из года в год читает журнал «Здоровье».
- Писатель сравнивал небо с шелком, и ему не было стыдно.
- В парикмахерской скопил глаз, а рядом, у соседнего зеркала, тоже косится.

Черное море. Лучшего названия морю не подобрать. Не удвоение признака – синее море, а выражение сущности: море и черное (мрак) совпадают. Сначала любые моря были Черными. Потом уже появились Красное, Белое...

По радио играет такая сладкая музыка, что я не представляю, чтобы ее автор мог умереть.

11 января.

Не устаю удивляться тому, как писатель ничего не знает, не помнит, не умеет, не может и этой немощностью своей – всем бессилием высказать что-либо путное – обращен ко всему свету, и только тогда он что-то может и знает.

Об этом хорошо у Кафки (где именно – неизвестно):

«Нет необходимости выходить из дома. Остаться за своим

столом и прислушиваться. Даже не прислушивайся – жди. Даже не жди – будь неподвижен и одинок. И мир откроется тебе, он не может иначе».

11 января.

Давненько я не получал от тебя сразу по три письма – по одному, и то не всегда удается. А тут прихожу домой, и на подушке лежат сразу три и смеются.

⟨...⟩ Праздники интересные. Но ты совершенно не пишешь про подарки. Кроме моего фильмоскопчика, словно больше никаких подарков не было – ни Егору, ни тебе.

А то, что я подарил фильмоскопчик*, очень мило с твоей стороны так хорошо придумать. Потому что это очень дорогой и редкий подарок. И когда я был маленький, но уже побольше Егора, мне ужасно хотелось иметь кинопроектор, чтобы самому смотреть какие хочешь фильмы. Или волшебный фонарь. К которому у меня была куча пластинок, но фонаря-то не было. И вот, узнав стороною, что это моя мечта, отец даже грустно спросил: – Может, продать ружье и купить тебе фонарь?

Но, помимо жертвы, ружье нельзя было продавать еще и потому, что оно было в доме все равно что фонарь и даже больше – членом семейства.

Так вот. Учтите: я Егору подарил совсем не фильмоскоп (название-то какое противное), а – Волшебный фонарь! ⟨...⟩

Событий у меня прибавилось. Получил отставку по сокращению штатов. Ты, наверное, удивишься: разве бывает здесь сокращение штатов? Бывает. Удивительнее другое: сокращена единица не в нашем складе, а в другом, а уволили меня.

Поэтому я довольно зол и еще не знаю, чем дело кончится. Возможно, все уладится и образуется при ближайшем рассмотрении. Посмотрим. Сейчас это у меня не главное. Сейчас я очень тебя жду и никак не дождусь.

12 января.

Зато у меня появилось новое место, где можно заниматься вечером: открылся читальный зал, новый и теплый, небольшой, но уютный, и хотя там тоже почему-то все время играет радио, зани-

маться много удобнее. Все-таки когда у тебя целый свободный стол, это получается лучше: личное пространство.

Не знаю, есть или нет венецианские зеркала. Но если таковые имеются (существует же прославленное венецианское стекло), то косвенно на них повлияло, безусловно, зеркало вод, на которых стоит Венеция, отражая свои дворцы, как Венера Тициана. Во всяком случае, те зеркала уже слились в нашем сознании с каналами и гондольерами.

Искусство рассказывания в значительной степени строится на постепенности вхождения в частности и детали. Речь должна быть медленной, расчлененной паузами на предметно-весомые отрезки. Не: – Иду в баню. А: Иду – в баню! Беру... (что беру?) мыло! (Да? подумал еще секунду и с усилием:) Полотенце! (С ударением и каким-то восторгом:) Мочалку!!

И все слушают, замороженные. Но не всегда хватает самоуверенности, значительности в произнесении слов. Сбиваешься на скороговорку – в урон рассказыванью. Важно хотя бы простое членение, типа:

– Баба. Кацапка. Такие вот титьки. Тамара.

Тоже закон композиции. Начало должно быть вкрадчивым. Удар кинжалом наносится в конце первой главы.

Еще речь должна быть душистой или лучистой. Чтобы к ней хотелось еще и еще раз вернуться.

13 января.

Машенька! Оказывается, человек, заблудившийся в лесу, всегда будет вертеться в левую сторону – а потому, что у него правый шаг шире и, думая, что идет прямо, он немного сворачивает. На этом законе природы основываются все обычные кружения по лесу и возвращения к одной точке. Когда даже, бывает, трое суток подряд человек три раза выходит к одному месту. Но иногда это хорошо, что он выходит, таким способом заблудившись, поскольку за истекшее время ему, может быть, повезет.

Так и случилось со мной, и после довольно драматичных трех дней меня вернули на старое место работы. И в итоге я опять доволен, хотя потерял на это много нервной энергии. Ну, ничего.

Интересно тоже было получить твое новогоднее письмо – в смысле от 1-го января – и вообще через последние несколько

писем хоть немножко представить твою конкретную жизнь. А то уж очень все расплывчато получалось и только одна соседка выглядывала конкретно – ужасная баба.

Еще пришла от тебя еще одна телеграмма, где ты гриппуешь и собираешься приехать уже более реально. И я немножко успокоился и сижу тихо и мирно жду тебя. И пока ты там собираешься, я тебе еще чего-нибудь напишу.

16 января.

Среди изобретений, которым графика Фаворского обязана своеобразием, первое место принадлежит, безусловно, печатному станку Гуттенберга. Она передает и доносит мыслимый образ, субстанцию печатного слова с его разнохарактерными историческими запахами-напластованиями (включая Реформацию, Лютера, Дон-Кихота и рыцарские романы, которыми тот зачитывался), с абракадаброй технических терминов-посредников («редактор», «корректор», «гранки», «верстка»), отделивших слово от языка и обеспечивших формирование книги в ее нынешнем виде, доступной каждому и неизмеримо выросшей в своем умственном влиянии и в то же время, несомненно, что-то потерявшей по сравнению с более ранними стадиями своего существования – в рукописной или устной традиции. Поднятое на постамент ясного типографского знака, слово многое приобрело и многое утратило, расставшись с художественной стихией живого исполнения и начертания. В книгопечатании как явлении цивилизации факторы отчуждения и преобразования речи действуют, очевидно, сильнее, чем это было в прошлом, когда жизнь, уходя, сохраняла себя в предании, в песне или пряталась в подметных листах какого-нибудь Аввакума, так что словесное произведение стояло ближе к человеку, к его губам и руке, которая все эти буквы любовно выводила, стирая границы между писателем и издателем, как еще раньше стирались они между певцом и провидцем.

В древности величайшая мудрость предпочитала не фиксировать свои открытия, но «говорить устами к устам» – «чтобы радость ваша была полна» (Второе послание Иоанна, 12)¹. Преда-

¹ Обычно приняты ссылки типа – (II Иоанн 12). Но так мне показалось понятней. Ссылка не может быть снята или фраза сокращена после «устам» – точка.

ние подчас ценилось выше письменного документа: «Ибо я полагал, что книжные сведения не столько принесут мне пользы, сколько живой и более внедряющий голос» (Папий)¹. Архимед, согласно Плутарху, «был человеком такого возвышенного образа мыслей, такой глубины души и богатства познаний, что о вещах, доставивших ему славу ума не смертного, а божественного не пожелал написать ничего...»² Записанное слово, по-видимому, представлялось неким ограничением, уступкой несовершенному разуму, скорее полагавшемуся на мертвую букву, чем на живой дух. Оно выражало недоверие к истине, открывавшейся лишь достойным и не боявшейся, что недостойные ее исказят и забудут: придет срок, и она снова откроется.

Уже письменная речь в таком повороте нечто застывшее, безжизненное, удаленное от первоисточника. Тем более печатное слово. Оно выглядит куда более холодным, стандартным, в своей стерильной исправности лишенное цветов и корней. Но те же черты – помимо практических доводов – делают его для нас притягательным. Типографский шрифт современному глазу кажется логичнее, авторитетнее. Печатная страница походит на официальный бланк; в ее бескрасочности и бесстрастии нам видится объективность и непреложность общепризнанных ценностей. Она вознесена над нами как некая ипостась нашего бытия, независимая от нас и в этой роковой независимости получившая какой-то новый магический смысл, преобразенная настолько, что мы невольно забываем, что за ее черными полосами и белыми полями где-то далеко-далеко струится кровь.

Поэтому иногда книга так ошарашивает неискушенного читателя. Тот обнаруживает вдруг, что ее одинаковые, ничем не примечательные нолики-черточки обладают сверхъестественной силой внушения.

«– Как все это премудро, Господи!.. Написал человек книгу... бумага и на ней точки разные – вот и всё...»

¹ Папий – автор 2 века н.э. Этот фрагмент подобран Евсевием в его «Истории церкви». Здесь же цитируется по книге: Кубланов. Новый завет. Поиски и находки. М., 1968, стр. 65.

² Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех тт. Т. I. М., 1961, стр. 393.

Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы...

– А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?.. Так и написано: «зубы свои выплюнул с кровью»? А буквы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а?» (Горький, «Коновалов»)¹.

18 января.

Сегодня – воскресенье, а завтра – понедельник, и ты должна приехать. Целый день писал это письмо и читал, и к вечеру, чтобы легче ждать, взял и пошел в кино. Интригующее название: «Непредвиденная любовь» (а какая еще бывает?).

«Непредвиденная любовь» совершенно неожиданно оказалась американской «Любовью под вязами» – вроде «Вестсайдской (так, что ли?) истории», с которой мы сбежали. Тут уж я сидел до конца: марка. Хотя фильм театральный и не понравился ни по форме, ни по содержанию. Содержание меня просто вывело из себя (поэтому и пишу). Любовь у них в самом деле оказалась непредвиденной, потому что, начав как черствые эгоисты и собственники, они (герои) пришли к самым возвышенным чувствам друг к другу. И что их особенно одухотворило и привело к такой красоте, так это что они прикончили (ради любви!) собственно ребенка. Буквально – задушили подушкой.

¹ Между прочим, эффект наглядности, «показа», живости, разговорности и т.д., заметно возросший в новой литературе по сравнению с более повествовательной, отрешенной и монотонной манерой старого времени, как бы учитывает и восполняет относительную безликость, сухость, стандартизированность печатной книги. Благодаря контрасту между своим обличьем и внутренней случайностью та производит еще более яркое, завораживающее впечатление, наподобие волшебного ящичка, в котором – стоит лишь открыть – спрятано прекрасное царство.

Меньшая наглядность изобразительной речи в древней литературе. В фольклоре компенсировалась за счет повышенной восприимчивости старины к образной стороне языка, а также – с помощью мимической голосовой и прочей игры певца или рассказчика, чье повествование строилось одновременно как театральная инсценировка, синкретичное действо. Теперь это живое лицо исполнителя ушло в текст, ставший в результате более картинным, подвижным, театральным и высказывающий из книги, как чортик из табакерки.

Не представляю подобного рода истории в русской или европейской традиции. Ну Леди Макбет (наш вариант – Мценского уезда) – так ведь она и злодейка. А тут вокруг этой леди разведен такой кисель добродетели, что тошнит. Удушили ребеночка и, взявшись трогательно за ручки, с благородным взором пошли в тюрьму, за которой уже мерцает их будущее счастье. Не представляю, как это может быть, и наводит на мрачные мысли об американском искусстве. Ну их и в ж!

А на дворе мороз, и я беспокоюсь, как бы ты не промерзла.
До завтра, моя раденька!

18 января.

Вот ты и уехала. А ночь была совсем белая. И я как вышел, так и обомлел на эту тишину и белизну. Очень понравились и личико, и ручки. И все очень хорошо.

Мало, правда, успели поговорить про Егора. И не было ли тебе холодно ехать? Сегодня-то день выдался еще более холодный, и я порадовался, что ты в пимах. А в доме свиданий (как звучит-то) тепло, и привези халатик на личное, чтобы быть по-домашнему. Сколько раз встречаемся, а все неповторимые и каждое в своем роде, и тебя все надо больше и больше. А я пишу нарочно трубочкой из тех, что ты привезла, и видишь, как ярко и мягко.

А узоры на толстом кольце сбоку невероятно изящные, и я их сейчас все время вспоминаю – эти завиточки, какая-то отточенность и абсолютность рисунка – я не про все кольцо (хотя оно тоже хорошее), а именно про эти боковые завитки.

Совсем не ожидал, что понравятся тебе зеркальные материалы, и ужасно обрадовался этой неожиданности. Тут, наверное, надо так, чтобы остов и строй был сплошь останкинский, и на этом фоне и строе по временам бы всплывали – как в зеркалах – какие-нибудь Менины и Станцы, теряясь опять в этих залах основного Дворца. И выдержать несколько в аромате 18-го века. Но не Бенуа, а грубее, с большим ощущением плоти, тающей в этих зеркалах. И еще должно быть чуточку похоже на Моцарта. Я уже писал тебе как-то, что стоит услышать что-нибудь из той ангельской музыки, как сразу в уме появляешься ты. Без твоего присутствия я уже никогда не смогу слышать эту музыку. Ну и в других художествах ты чуть что выныриваешь. А

уж в этих трещотках и клавишинах уже сплошь все состоит из тебя.

И приятно, что ты позаботилась об этнографии и археологии.

И что Егорыч тоже помнит меня.

И что ты вспомнила, как мы с тобою радовались на рококо.

И что ручки не попортила, а наоборот, все хорошо ими делаешь и понимаешь.

А с этого дня считая, мы уж, во всяком случае, перевалили за ползимы, и солнышко тоже стало немного пригревать.

А книгу Эфроса* – пускай для меня достанут через его вдову.

И, пожалуйста, больше не болейте. И возьми несколько дней отпуска и отоспись хоть у кого-то в гостях. И еще мне очень хорошо с тобою. Обнимаю вас.

А.

20 января.



И с марками – приятно. – Из моего письма: «– Мама! А когда ты была маленькая, ты собирала марки?»

– Да, Егорушка, собирала...

– А папа собирал?

– И папа собирал...

– А куда вы их дели?

Ну, что тут ему скажешь? Ведь мои старые марки еще живы, и там есть очень красивые, только он еще очень маленький и ничего в этом не поймет, и я пока что это скрыла от ребеночка, чтобы слегка еще подрос.

– Мама! Ты заведи в нашем доме проигрыватель. Это такой приемник, на котором можно играть пластинки.

Ну, вот и дожили: ребеночек уже объясняет, что такое проигрыватель, а также что нам нужно покупать».

...я подарил фильмоскопчик... – Из моего письма: «Итак, сегодня нашему ребеночку целых пять лет.

Не может быть, и понять это невозможно, и это уже большой человек, и все он понимает, и ужасно много знает, и очень любит нас с тобой.

Что мы ему подарили? Запомни, что ты прислал ему фильмоскоп, а мама купила всякие диафильмы».

А книгу Эфроса... – Абрам Эфрос. Два века русского искусства. М: Искусство, 1969.

ПИСЬМО ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТОЕ

Давай, Маша, я тебе немножечко попишу, чтобы нам в этот вечер побыть вместе.

Еще мне нравится, как ты при моем появлении лучезарно улыбаешься на тему: а где моя шкварочка? И как заботливо ловишь в ладошки, ничего не упуская из того, что тебе причитается.

Я так привык с тобой переписываться, что, когда поселимся вместе, наверное, стану посылать тебе письма, пока ты бежишь на кухню. И начнется у нас переписка из двух углов.

А в своей терпимости к горчишникам Егор напоминает меня, и это приятно слышать. То же – жевание лекарств. Это потому, что их очень трудно проглотить – труднее, чем разжевать, они застревают, и глотать их страшно, так что хину приходилось пить с ложечки в растворенном виде (ужасно вспомнить), и я от всего сердца сочувствую и понимаю Егора.

Во всем этом есть также сознание ответственности. Если заболел, обязан со своей стороны приложить все старания, чтобы с тебя взятки гладки и болеть с чистой совестью. К этому относишься как к работе, и недопустимо отнекиваться.

Тебе бы тоже полезно брать с Егора пример. Но вообще я удивляюсь – откуда что берется, если его никто не учил, а все сам знает.

Это я начал получать обещанные письма. <...>

А драже оказалось очень вкусным, и неплохо бы было на свидании повторить коробочку. Только в бандероль класть не моги: уж очень много весит это удовольствие.

Зато белья мне больше никакого не нужно, и не ищи мне никаких маек, потому что и этот запас велик для моего багажа. Разве что пару носков, и желательно не дорогих, а расхожих. Чтобы

в крайнем случае не жалко было за один раз износить до полных дыр и выбросить.

23 января.

К зеркалам хорошо бы подошли нелепые цитаты из 18 века – типа такого рассуждения о слоне при Ледяном доме (из книги академика Г.В.Крафта, изд. в 1741 г. и посвященной описанию Ледяного дома – того самого):

«По правую сторону дома изображен был слон в надлежащей его величине, на котором сидел персианин с чеканом в руке, а подле его два персианина в обыкновенной человеческой величине стояли. Сей слон внутри был пуст и так хитро сделан, что днем воду, вышиною в двадцать четыре фута, пускал, которая из близ находившегося канала адмиралтейской крепости трубами проведена была, а ночью с великим удивлением всех смотрящих горящую нефть выбрасывал. Сверх же того, мог он, как живой слон, кричать, каковой голос потаенный в нем человек трубою производил».

А вообще подошли бы стихи, и, может быть, есть такие в послании Ломоносова «О пользе стекла»¹. Державин тоже мог бы хорошо написать о зеркале.

24 января.

Но меня, признаться, не очень смущает, что Егор слышит цитаты о мужественной обыкновенности и прекрасной бесталанности. Не следует преувеличивать роль влияний в нашей жизни. Это еще от мамочки и от бабушки (твоей) – влияния. На самом же деле они влияют скорее наоборот, если не оставляют равнодушными.

Опять же: чей дом Егор больше любит – бабушкин или твой? То-то же. И еще меня удивляет совпадение не с устным (все лю-

¹ Вот как весело получается!

«Не право о стекле те думают, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов», – внушал Ломоносов Шувалову, и тот запомнил и, когда строил дворец в Останкине, постарался не ударить лицом в грязь. Впрочем, возможно, это был уже другой, Шереметев, кто вставлял стекла в доме, вешал люстры и заказывал зеркала по последнему слову науки? Все равно он помнил урок, преподанный Ломоносовым. И пошло!

ди, все человеки), а с письменным источником: «иметь мужество быть простым смертным»*.

А я все живу под твоим очарованием.

25 января.

Ах, Маша, какую ты мне привлекательную телеграмму прислала! И на нее я мог бы ответить: Да! да! И тысячу раз да! Потому что нет тебя лучше.

И обаятельней и осязательней. И я весь сияю и улыбаюсь всем, чем можно.

Еще мне отдали два старых письма, №59 и №62. <...>

28 января.

Машка-детка-собачка! Прежде чем закончить Фаворского, хочу к нему I сделать три (надеюсь – последних) поправки:

1) Перед цитатой «Два человека в портрете – это не один плюс второй...» (первая цитата из самого Фаворского) исправить одно слово: «...пространственное истолкование темы всегда становилось главным предметом его забот» – вместо «становилось» надо «оставалось».

2) После той же цитаты сразу: вместо «– и было художественной стихией Фаворского» надо «– и было стихией Фаворского».

3) Следующая фраза: «Стоило ему испробовать силы...» Вместо «испробовать» лучше «приложить силы».

Стиснутое в десть бумаги, интегрированное пространство развертывается перед умственным взором панорамами эпох и народов. Механизм немого чтения внезапно перебивается ожившими голосами, мы проваливаемся в музыку, в дух, в рыканье и завывание, но миг – и все исчезло, ничего нет, только буква, пустой знак на подставке.

Всю эту магию, это *все и ничего* печатного слова воспроизводит Фаворский. Его графика причастна к фокусам и метаморфозам набора, где внешне все жестко голо, все чинно и (никакой отсбятины!) объективно, и вдруг эта душная немота разодрана чревоуещанием таящихся под типографской маской своенравных и грациозных созданий...

Сведенная к абстрактному оттиску, к геометрии шрифта и листа, отчужденная и удаленная от естественной речи, книга стано-

вится высшей инстанцией, к которой мы апеллируем и которая из своего далека протягивает руку помощи человеку, служит ему прибежищем, оправданием и доказательством и даже, случается, заменяет бессмертие (мы умрем, а книги останутся). Ее листы (сновидение Марселя Пруста)¹ уже сходят за крылья Ангела, осеняющего наше спокойствие, надежды, воспоминания.

Книга перевернула историю не меньше, чем порох, пущенный в широкое пользование где-то рядом со станком Гутенберга и вместе с книгой положивший конец амбициям феодального замка и рыцарям, подвигами которых зачитывался еще Дон-Кихот, ревнитель старины, провозвестник новой эпохи, первый в истории книги неисправимый читатель, удостоившийся выйти в герои и сразить литературой действительность. Как трогателен, как любим всеми нами этот последний рыцарь Средних веков, первый рыцарь Книги! Но представим на минуту не гонимого отовсюду насмешками и побоями, а признанного за истину, преуспевшего Дон-Кихота. Кому тоже на каждом шагу мерещатся злые волшебники, страшные великаны и кто рубит их направо-налево, калеча мирные мельницы, осыпанный цветами и рукоплесканиями. Сколько зла способен наделать распоясавшийся мечтатель, истребляющий жизнь во имя книги!..

А так – что с нее взять? – лежит себе на столе бесплодной коробкой, стоит послушно в шкафу, начиненная информацией, дидактикой, фантазией. Спящий джинн в бутылке, бумажный тигр...

Неудивительно, что проблематика творчества Фаворского так часто упирается в магический реализм, к размышлению о котором под тем или иным предлогом он не раз возвращался в статьях, словно питал к этой теме тайную слабость. «...Всякое реальное изображение, – утверждает Фаворский, – как бы бьется о «магический реализм» и находится на крайней точке, желая быть живым. Но оно все-таки не становится совсем живым»².

¹ Имеется в виду то место из «Поисков утраченного времени» (этот том, кажется, не переведен, и мне об этом рассказывали, а сам я не читал), где автор видит на витрине магазина свою раскрытую книгу, напоминающую ему Ангела своими крыльями. Эти скобки со ссылкой на Пруста необходимы и могут быть сняты.

² Стр. 256.

Все же, сдается, в его системе идей не всякое изображение равноценно и правомочно в претензии на искомую живость. В устойчивости запросов, которые он предлагает искусству на предмет выяснения его магической силы, сказываются не столько общетеоретические интересы Фаворского, сколько, надо думать, специфика книги и логика пространственника, которыми он привык оперировать в работе и рассуждениях. Достижимый различными средствами, в зависимости от стиля и эстетических воззрений эпохи, магический реализм, как преподан он в этих статьях, вместе с симпатией автора определенно склоняется в пользу внешне неподвижных и далеких от иллюзорности форм, способных, однако, вступать с человеком в пространственную интригу, вести с ним живую и увлекательную игру.

В этой связи внимание Фаворского останавливают древние мифы об оживающих статуях, а также – детские игрушки, лишённые натуральности, ярко выраженной изобразительности, но обладающие для ребенка особым очарованием, – все эти, знакомые всем, прутики в роли коней, рогульки-коровы, куклы с отломанными конечностями и т.д.

«Что надо этим вещам, чтобы ожить? По-видимому, быть с ребенком в одном пространстве, участвовать с ним в игре, и, может быть, именно неподвижность этих вещей делает их в воображении особенно подвижными. Значит, для такого магического искусства характерно что? Прежде всего существование вещей в нашем пространстве, неимение своего изобразительного пространства и поэтому неподвижность. Это все делает их похожими на архаических древнегреческих Аполлонов. Но они могли бы быть еще примитивнее.

Эти черты мы наблюдаем еще в египетском искусстве. Для него характерно, что статуя, оформленная снаружи, внутри оставалась неведомой. Она таинственно внутри себя имела сердце и все внутренности и была хранилищем души.

Как же это все воспринималось? Человек вчувствовал себя в эти изображения. Он вчувствовал себя в функцию, ставил себя на место этой вещи»¹.

К ряду оживающих прутиков, кукол, древних идолов мы рискнули бы прибавить – книгу. Больше, чем что-либо еще в нашем

¹ Стр. 253–254.

предметном мире, она хочет быть живой. В нее тоже можно играть, свободно перемещая в пространстве, где ей уготована роль отнюдь не безразличной, но наделенной пониманием вещи, завязывающей с нами близкие отношения. Подобно египетским статуям, архаическим Аполлонам, книга в иносказательном смысле является хранилищем духа, как, впрочем, и кукла, некогда исполнявшая далеко не детскую функцию физического сосуда для обитания усопших, невидимых помощников, демонов (служившая, в частности, временным, промежуточным телом при возвращении умершей души в новую оболочку ребенка), что отражалось на облике магических изваяний, у которых отсутствие внешней разработанной характеристики, примитивизм, неподвижность лишь подчеркивали содержательность и сокровенную емкость – вместительность.

На сходной двойственности черт, состояний и положений играет книга, замкнутая, непроницаемая и полная внутренней страсти, безобидная и коварная, умещающаяся в кармане и вместившая целый свет, уподобившаяся одновременно гробнице и воскресению из мертвых. Мы можем ее сунуть в портфель, спрятать под подушку, прижать к сердцу, швырнуть в угол и, повертев, поставить на полку в виде декорации, и в нашей власти в любое мгновение открыть ее и войти в другое, не наше пространство, отождествившись с телом, которое мы держим в руках, забыть о себе, перенестись в иную страну, эпоху, личность и, опомнившись, вернуться назад, в родную среду, чтобы, склонившись над книгой, мысленно перебирать увиденное, витая душою где-то на грани ее и нашего мира.

Какие только иллюзии, эмоции, ассоциации не порождает книга – не только в итоге чтения, но в ходе существования бок о бок с нами, по-разному дозируя свой букет и состав и создавая вокруг себя атмосферу повышенной душевной активности? Один взгляд на нее, прикосновение к переплету способны вызвать приливы энергии, необъяснимого счастья, сопровождаться сознанием внутренней правоты и свободы, в котором воображение мешается с пережитым и отзвуки прочитанных строк сливаются с воспоминаниями о том, как и когда мы испытали уже нечто подобное. В игре и общении с книгой, наполняющих нашу жизнь, она оказывается хранилищем не своего лишь, привнесенного из

другого источника, но и нашего личного опыта, усвоенного ею за время совместных размышлений. Ну как ей не ожить, в самом деле, при таком разнообразии поводов, хитросплетении времен и пространств, по примеру кукол и статуй, чьи свойства, облекаясь в легенды, побуждают задуматься над возможностями искусства и превратностью жизненных форм в книге истории и природы?..

1 февраля.

Февраль нас не жалует: морозы. Но зима в общем на диво нормальная получилась: в меру снегу и холоду, и я не ожидал от природы такого постоянства.

Все письма, писанные тобой до поездки, тоже получил (с двойным 62-м вместо 61 номера). Интересно и хорошо про выставку, и рассказывай мне, пожалуйста, побольше – помимо информационной стороны, так приятно слушать твой голос, а это происходит, когда ты, чем-то увлекшись, рассказываешь взхлебшки.

А к кишиневской затее* отношусь без восторга. Не верится мне как-то ни в тот театр, ни в сроки работы, ни в необходимость мелкопластики на сцене. Одна только «Золушка» вызывает снисхождение, а прочее представляется надуманным и ненужным.

Опять послал два заказа в «Книгу – почтой» – в Ленинград и в Москву: попался каталог книг, залежавшихся в «Академкниге» на 1 января 69 года, и есть шанс, что их за год не успели раскупить. Есть интересные. А в первом полугодии 70 г. должны выйти две хорошие книги: Латинская проза IV–IX вв. и Младшая Эдда. Но заказывать их отсюда – бесполезняк.

Перечитал подвернувшегося Керама* и подумал, что надо его подсунуть Егору, когда тот научится читать.

Старичок как ребенок. То пойдет в зоопарк к знакомой антилопе, то в кино. И старичку весело жить, отрешившись от взрослых забот и воротясь в детство, на пенсию. Он бы прыгал на одной ножке, если бы позволяло здоровье. Но и так ему хорошо, на солнышке, как котенку, обдумывая, во что еще поиграть в этой просторной и такой одинокой жизни.

– Ну так и идет на меня во всей прелюбодейной одежде. И улыбается мне, показывая все 38 зубов!

– Куфайка. Характеристика.
– А буйволица точная верблюдка: идти – ореть-ореть...
– Сегодня я видел во сне то место, в котором я родился.
– Писать фразами, пространными, как рыдания.
– Смерть исчезнет вместе с притязанием: «я». Вкладывайте капиталы в бессмертные предприятия. Чему умирать во мне, если я уже умер – в любви?

– Не знаю: то дым бежит по стене или тень от дыма?

Занятны также экзотические реалии к сказке. Например, во Вьетнаме поймали кобру с двумя головами, так что многоголовые змеи необязательно фантазия.

А в Южной Америке существует порода змеи, именуемая аборигенами – «огонь гасящая». Ее привлекает огонь, и «жители лесов так ее боятся, что никогда не оставляют на ночь горящих костров. Эти змеи имеют обыкновение укладываться клубком на пепле, под которым еще тлеет огонь...» (Перси Фоссетт. Неоконченное путешествие. М., 1964, стр. 345). Постоянная ситуация в сказке: костер (в лесу или в поле), и в костре змея оборачивается девицей, или, наоборот, девица в костре оборачивается змеей. Конечно, связь змеи с огнем не обязательно искать в материальной природе, для этого есть и другие достаточные основания. Но приятно, когда природа подтверждает домыслы сказки, символы которой укладываются и в реальную гамму окружающих человека вещей.

У того же Фоссетта, погибшего в южноамериканских лесах в поисках мифических городов, интересная деталь – о вампире (том, что из породы летучих мышей): «Перед тем как сесть, он некоторое время обвевал мое лицо своими крыльями, эти движения производили успокаивающее действие, и мне стоило немалых усилий отбросить это существо прочь от себя. С интересом я отметил, что в этот момент у меня было лишь одно желание – заснуть и не противодействовать ему» (с. 233).

Перед нападением змеи на Иванушку нападает обычно непреодолимая сонливость.

2 февраля.

Не есть ли *черный конь* знак превосходства красоты и силы? Знак нарастания признака, когда высший цвет проваливается в

черноту как в степень чего-то крайнего и несказанного? В латышской сказке – конь, прощаясь с героем: «– Когда тебе что-нибудь понадобится, позови меня. Первый раз зови серебряного коня, второй – золотого, третий – алмазного, а в четвертый – черного».

Похожее усиление признака, только со знаком минус, – мы имеем в бледном коне Апокалипсиса.

Как от одной запятой зависит проблема посмертного существования, по которой велись дискуссии со ссылками на текст Луки (23, 43): «говорю тебе, ныне же будешь». Поскольку расстановка запятых – позднейшее явление, противники общепринятого варианта утверждают, что запятая должна идти после ныне же: «говорю тебе ныне же».

Сходный случай разногласия по «Символу веры»: «не будет конца» или «несть конца». От этого зависит очень многое. Вот вам и спор о букве.

В старинной псалтыри существовало указание, что букву «е» надо произносить «дебело». «Е» и «ЯТЬ» различались по звучанию (вот это новость!) с помощью *дебеления*. Пример как надо «дебелить»: нэбэсныи. Но после мягких звуков – ч, ш, щ – дебеления, естественно, не было. В молитвах и служебном чтении всегда дебелится, в обычном чтении того же писания – нет. То есть само произношение принимало несколько неестественный характер – не буква уже важна, но каноничность фонемы.

Варвара-великомученица в старину молилась о христианской кончине: чтоб избавила от незапных смерти.

«И невидим бысть» (рассказ о бесе). Удивительно, как неуклюжий старославянский оборот соответствует в данном случае событию, содержанию. Фраза (или кусок фразы, вставленный в современную речь) звучит, как молния – эффект исчезновения с точностью передается в звуке.

В сказке рыбка прыгает в лодку, чтоб переехать море. Не будь тут лодки, рыбка бы сама поплыла. Но если есть шапка – надевай, лодка – отчаливай. Герою лодка понадобилась. И вот сопровождающей рыбке уже, воленс-ноленс, приходится братья за весла. Лодка – обязывает.

Возможно, это письмо я пошлю тебе чуть раньше (или чуть позже) обычного. Все дело в серьгах, что ты прислала: чтобы их

положить в конверт, а когда я – точно не могу сказать, день на работе, а вечером придешь и, бывает, никого не застанешь. Словом, как повезет.

Рисую буколки и пасторали с тобою. И тебе нарисую. А когда поедешь ко мне, не трать деньги на дорогую икру, которая этого не стоит, а лучше привези баночку горчицы, и из еды попроще – сосиски например, если они продаются в магазине (только не сардельки), – давно не пробовал, и приходят на ум.

И письма на этот раз пришли шесть штук (до поездки) – ты выиграла, но это повезло, и в следующий отрезок еще раз посмотрим. Последнее 64-е. Не считая телеграммы, за которую я тебя очень люблю.

С нежностью обнимаю – на тот случай, если письмо пойдет сегодня. Все зависит – застану или нет. Так вот, я тебя на этот случай заранее очень сильно целую.

А.

3 февраля 1970.

...«иметь мужество быть простым смертным». – Такие слова когда написала А.Синявскому его первая жена. Про это же твердила моя мать. Из моего письма: «Ты хорошо написал про свой огород и про свои грядки, и я их тихо копаю, стараясь не бывать дома, но совершенно неясно, как я буду в них рыться и что я буду городить, когда поправится Егорка и надо будет жить вместе. А вместе жить совершенно необходимо, потому что, когда он у бабушки только субботу-воскресенье, жить так-сяк можно. Но если он остается там на дольше, то это слишком накладно для его нервов, психики и наших с ним отношений. Слишком уж часто его бабушка бывает мной недовольна и сплошь меня осуждает, а зачем ребеночку слушать, как ругают маму, и видеть, как ее не любят.

А с годами наши разногласия с бабушкой тоже не сглаживаются, а совсем наоборот. Очень трудно договориться с людьми без занятий, без работы или без любви к своему дому и своим домашним. И я очень часто с нежностью вспоминаю папочку.

И меня невероятно смущает основной бабушкин лозунг: «Надо иметь мужество быть обыкновенным человеком» – буквально этими словами, и если память мне не изменяет, то ты их уже когда-то слышал, и если

это так, то вот тебе очередное совпадение, но ты от такого совпадения сбежал ко мне, а мне куда деться?

И не западут ли эти декларации в душу ребеночку («Я ненавижу слово “талантливый”» – из того же цикла). И что же нам с ним делать?»

...к кишиневской затее... – «Твоя бедная жена-Маша ввязалась еще в одну авантюру: она взялась сделать кучу украшений к спектаклю «Золушка» в кишиневском театре.

И как меня угораздило? А все дело в том, что ставят это кино Зойкины родители, и мама там режиссер, а папа – художник, и если они хотят украсить при моей помощи, то так тому и быть, потому что уж очень многим я им обязана.

Только это крохотные сроки (5 февраля уже премьера!) и колоссальный объем работ, и как мне здесь выкрутиться, чтобы не подвести хороших людей, – ума не приложу. И они смотрят на меня трагическими глазами, а у меня все равно билет к тебе, и на ихние намеки, что нельзя ли поехать после 5-го февраля, я совсем даже не реагирую, будто бы не меня имеют они в виду».

Зойкины родители – это известный дизайнер Евгений Абрамович Розенблюм и Татьяна Кирилловна Коптева, преподаватель театрального училища при Вахтанговском театре.

Перечитал подвернувшегося Керама... – К.В.Керам. Боги, гробницы, ученые.



ПИСЬМО ДЕВЯНОСТО ПЯТОЕ

Когда ты уехала (вон с каким отставанием я живу), стало видно, что мы перевалили за половину зимы, и тени на снегу сделались весенними, а на разводе и съеме уже и еще светло.

Бунина невозможно читать, так он устарел. Правильным слогом – одно за одним – пересказывает пейзажи. Приятно скользить глазами, но какое мне, в сущности, дело, что где-то тени были сперва лиловыми, а потом стали сиреневыми? Это я про его путешествия. Заглянул, чтобы найти что-нибудь про зеркальные воды. Они есть, но ничего осмысленного оттуда не вытянешь. Ужасным я стал рационалистом.

А ты почему-то ничего не рассказываешь про Егора. Прямо с поезда – к «Золушке»*, а как вы с Егором встретились и нашли друг друга после того, как несколько дней не видались, – об этом ни слова.

Сейчас ты наверное в отъезде*, и я ничего не знаю. Как-то пусто стало. Точно в Москве ты ближе. Непонятно почему.

8 февраля.

Вместо «Вопросов литературы» мне по ошибке выписали «Вопросы истории». Но в первом номере довольно интересное путешествие в Россию *Шлейссингера* в 1684 г. Между прочим, там говорится, что на большом рынке перед Кремлем много молодых женщин, «которые продают среди прочих украшений также красивые золотые кольца, держа их иногда во рту».

А утвари и мебели у москвичей было мало, и поэтому они не боялись частых пожаров, храня все богатство в деньгах. Один из выводов иностранца: «Русские в сущности такие же люди, как и

другие, а поэтому вполне разумны и охотно женятся на красивых и добрых, как это обычно у других народов».

Вот как было еще в XVII веке!

10 февраля.

Сказка (как вообще старина) яснее нашего знает, кто кто и какой, – и не путает атрибуты. Катом-дядька дубовая шапка так под тяжестью шапки и путешествует в тексте подобно тому, как Анастасия Прекрасная носит прекрасное звание едва ли не с колыбели. «...У него была одна дочь Анастасия Прекрасная, и было ей всего лет пять от роду».

Такая верность вещей своему родовому признаку – своему, лучше сказать, записанному в книге жизни лицу, – позволяла свободно ориентироваться в событиях и узнавать действительность мигом, по ее беглым чертам, по месту в завещанной от дедов номенклатуре.

Иван Грозный потому и прозван Грозным, что был у нас первым осознанным всенародно царем. С тех пор любого царя в любой ситуации сказка величает, как должно: «Приходят в столичный город и видят – грозный царь перед самым дворцом свиней пасет».

Сказочник так же всматривается в неподвижную топонимику мира, как современный автор ищет сходства с натурой, следует голосу и закону естественности. Традиционные обороты служили залогом правильности сказанного. Застывший признак будил сознание реального.

Окаменение слова не итог эпох, как думали ученые под давлением геологии, но крепость и сила имени, полученного из первых рук, напутать и ошибиться в котором значило когда-то пропасть, заклив не то и не так. Слово затвердело не оттого, что сделалось мертвым, но потому, что было слишком живым и помнило подлинный облик вылепленного губами предмета. Оно только что вышло из горна раскаленного ритуала, выкованное на века, и не смело менять очертания, прямо отвечавшие истине.

Постоянный эпитет – это наименование вещи ее полным и точным титулом. Добрый молодец, красна девица, борзый конь, темный лес – каждый предмет под своим изображением подписывается: с подлинным верно. «Черти подняли свои рогатые головы и спрашивают: – А тебе что надобно?»

12 февраля.

Из чего состоит человек? «Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, ручки, ножки¹, огуречик...» А если еще проще? «Стоят два кола, на кольях бочка, на бочке кочка, на кочке дремучий лес».

У Ольги Ивановны Коноваловой, старейшей дымковской мастерицы, одна разновидность игрушек называется: «куколки на ножках». Это уж такой термин – для фигурок, у которых, помимо прочего, изображаются ноги. Значит, куколке, в принципе, не обязательны ноги, и их видимое присутствие специально оговаривается. То просто куколка, а то куколка на ножках.

Странный, однако ж, оборот. Ведь мы не говорим о человеке: с ногами. Раз человек, то и с ногами. Кукла другое дело, она требует уточнения. Ноги ей приданы в виде роскоши. Но она здесь даже не с ногами, а «на ножках» – она стоит на них, как на коньках. Куколка на ножках уподобляется тумбочке, шкафчику, амбарчику (бывают такие амбарчики – на сваях, на курьих ножках, на одном столбе). Ножки у нее сверх программы. Она и без них – куколка.

Зато у нее много чего другого. Богатое платье, шляпа, кокошник, раздувшийся хвост, рога... Все это вспухает на ней одним объемом, едва расчлененным холмом. Перед нами не просто человек, птичка, зверюшка, а целая масса индюка, барыни, всадника. И хотя фигурки эти не велики, их относительная масса громадна и в своем переизбытке расплывчата, почти аморфна, бесформенна. Она растет, как на дрожжах, и смотрится кулем или комом превзошедшей свои лимиты материи, по характеру напоминающей тесто.

В самом деле, если, с одной стороны, вятская игрушка, допустим, уподобляется снежной бабе, то, с другой, в близком родстве состоят с ней изделия кондитера и пекаря – пряники, пышки, ватрушки, сахарные головы, куличи. Тут, что ни образ, слышится заздравный бой в сковородки. Вятские индюки, петухи похожи еще на то жаркое, что в живом и разукрашенном виде подавалось когда-то к царскому столу². И вместе с тем их целостность,

¹ Не помню: может быть – палки, палки, огуречик.

² В этом месте возможна фраза: Они так затейливы, что их хочется съесть.

монументальность хорошо выражает загадка, содержащая старинную изобразительную схему гуся: «Белы хоромы, красны подпоры» (опять дом на ножках).

Потому, в частности, с традицией Дымки не вяжутся некоторые современные изобретения, такие, скажем, как «Цирковая наездница» или новомодный козел в дополнительных, из циркового гардероба, штанишках. Новые подробности нарушают единство объема, выглядят голословным привеском, необязательной выдумкой. Там, где обыкновенный наездник сливается в сплошного кентавра, где стереотипный козел закручивает рога-кренделя, что твой козерог, какие еще нужны артисты цирка? Так же неуместны жанровые сцены, типа «Продажи кваса», «Емели на печи», заимствованные, по-видимому, из фарфоровых композиций, рассчитанных на грациозные ракурсы и жесты, на дробное, занимательное рассказывание-рассматривание, не применимые к этой тяжелой, неповоротливой массе. Да и зачем Емеле сидеть на печи, если любая барыня здесь танцует от печки, служащей прообразом дымковского искусства?

Печь незримо стоит за всем, что сделано в Дымке, – и в качестве мастерской, где, заодно с пирогами, выпекается эта глина, и более иносказательно, в конструктивном и тектоническом смысле, как сама природа, основа представленного быта и мира. Сравнение с печью издавна служило у нас надлежащей мерой объема («ископытъ коня богатырского – целые печи земли выворачивались»). Печь здесь имеет непосредственное отношение и к символу веры, и к кодексу красоты.

(На этом прервусь и отложу вятскую игрушку до следующего письма, а то и до разговора с тобой, потому что я забыл, какая она бывает. Попалась статья в последнем «Искусстве» с несколькими фотографиями и названиями и навела на эту тему, в принципе весьма декоративную, как ни назови ее, но как? и материала маловато.)

15 февраля.

Что же нам делать, Машечка?

Ты мне не пишешь, а уже весна, и дождь идет, поедая снег, и ветер, и вороны, похожие на кучу людей.

Пришла «Археология», журнал, в шикарном пакете, прямо из

редакции, что ли, комфорт, дорогая цена, внутри, правда, больше про первобытные черепахи, тоже красиво, лишний раз убеждаешься – поза рук в могильниках так же, когда мы спим, к древу жизни или к древу познания, лабиринты, быки, солидный журналчик, надо бы тоже сохранить, – ну и кипа получится, одних вырезок полчемодана.

За морозами сразу дождь начался, все потекло, одни вороны в том же виде на вершинах деревьев, как большая толпа. Гипотеза, почему ацтеки и майя всюду совали календарь, вдобавок самый точный в истории, точнее нашего, что в сочетании с ихним страхом катаклизмов позволяет думать, что причина зарыта в размере суток, которым лишь стоит измениться на 18 секунд, как сдвинется ось, и катастрофа, – понятно, что они заботились для этого о календаре, высчитывая, сколько дней в году, чтобы не провалиться по типу какой-нибудь Атлантиды.

Другая деталь – в подтверждение, что иконы близки к словесному тексту. Так, «Сошествие во ад» – пасхальному тропарю смертию смерть попра, точнее (судя по иконографии), смертью на смерть наступи.

А помнишь северную реплику* – «тот в сердце хранит»? Так вот, аналогия к ней, тоже северная, на тему Сезама (конец 17 века): «Простите, Христа ради! Пустите, Господа ради!»

К прялке – греч. *agathos* значит «хороший», «благой», переводится и как «соответствующий назначению». Агафон, по-видимому, помимо всего прочего – «суженый» (соответствующий назначению). Поэтому у Пушкина: «Как ваше имя? Смотрит он и отвечает: – Агафон». Все правильно: Агафон. Поэтому, наверное, и сваха – Агафья («Где вы, свахи? Подымись, Агафья!», Маяковский). Наверное, у Островского, в Малом театре, были Агафьи.

Душой же я сижу все в той же буколке: Ореховая гора, камень на Кий-острове, мельницы у Ферапонтова – родная травка и любимые пейзажи и натюрморты.

Обидно только, что при таком отношении все равно от тебя писем не видно.

17 февраля.

Сегодня месяц, как я тебя не видел, и он кажется совсем пустым. <...>

Еще не знаю, опущу тебе завтра это письмо или еще потяну. Потому что завтра пятница, и можно еще успеть получить, и бессмысленно отправлять, глядя на выходные дни. Не знаю, как получится.

Письмишко маленькое – кот заплакал. Вот и месяц, короткий месяц февраль.

Все же приходится вспомнить деловую часть. Потому что Бог знает, когда это письмо до тебя дойдет, скорее всего оно окажется последним перед тем, как тебе собратся сюда, и надо собратся с мыслями на тему, что привезти.

А именно: ремень, зубную щетку и трубочки для ручки. Трубочки могут быть маленькие – они хотя и маленькие, пишут лучшие больших – мягко и черным цветом.

Можно тоже пару коробок капитанского табака. Его очень скрашивает добавлять в махорку.

Можно – пару-две тонких носков, почернее и подешевле, из простой материи.

Еще привези пачку чистой (не в клеточку) бумаги.

«Вопросы литературы» мне обещали выписать с апреля. Странно представить – совсем рядом апрель.

Иногда кажется, читаешь какую-то книгу, а когда дочтешь и оглянешься, – пройдет целая жизнь.

Наверное, время воспринимается здесь как пространство, и в этом суть. По нему как будто идешь, и это тем более странно, что сидишь на месте, не двигаясь, и увязают ноги, и относит как бы назад, в прошлое, так что, придя в себя, удивляешься, что прошел уже год и опять весна. Здесь не верна пословица: жизнь прожить – не поле перейти. Нет, именно поле. И перейти.

19 февраля.

Было бы нелепо продолжать это письмо, и поэтому я его посылаю. Нелепо: ожидания и волнения по поводу твоего молчания уже перешли границу, за которой можно было бы разговаривать о чем-то постороннем. Я и думаю только о том, что нет писем и почему нет писем – пятнадцать дней уже нет, и впереди два пустых дня, о которых уже известно, что я ничего не получу.

И как-то они оборвались, все меньше, меньше, и нет, оставив в утешение только ту январскую телеграмму, о которой я уже пи-

сал тебе в прошлый раз.

Машенька, не болей. Милая, выздоравливай.

И про Егора ничего не известно.

Где вы и что с вами?

А.

20 февраля 1970 г.



Прямо с поезда – к «Золушке»... – То есть в мастерскую, заканчивать украшения к кишиневскому спектаклю.

...ты наверное в отъезде... – В Кишиневе.

А помнишь северную реплику... – В одно из первых путешествий по Северу, когда мы забирались в разные глухие углы Архангельской губернии в поисках Святой Руси и неопит Синявский все норовил поговорить о вере, какая-то старуха оборвала разговор и как отрезала жесткой фразой: «Кто верит, тот в сердце хранит». С тех самых слов мы с А.С. старались о вере не пустословить.



ПИСЬМО ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЕ

Идет время, и не нужно мне уже привозить ни зубной щетки, ни нового ремня. Щетку подарили, а ремень, хотя порвался на двое, один умелец сшил его заново нитками.

Так и сижу – при своем интересе. И какая-то весенняя пташка с высокого-высокого дерева уже пиликает на своей скрипочке. Недавно счищал снег с крыши и изумлялся: очень светло и просторно кругом.

Зима проходит. Все-таки она была ровная и добрая в этом году, без лишних потеплений и страшных холодов, и, хотя по-человечески хочется лета, мне ее немножко жаль, точно не вполне наслаждался ее видом.

Почему-то сладкие воспоминания связаны с зимней погодой. Желал бы в жизни проснуться в то зимнее утро, когда у меня под столом лежал «Робинзон Крузо» и я пошел гулять, поеживаясь от счастья, что он там лежит и все еще впереди.

Твои письма были чуть-чуть в самом начале месяца и чуть-чуть в самом конце. Поэтому он получился больше, чем ожидалось, и был совсем нелегким. Сейчас это прошло, но я как-то сбился со счета и не вижу, сумеешь ли ты приехать в марте. Конечно, было бы самое лучшее, если бы ты не откладывала, но уже поздно об этом писать, да и когда письмо дойдет, и вообще трудно договориться заранее, как с той зубной щеткой и тем ремешком.

Ты ничего не пишешь о Егоре, и мне как-то зябко и одиноко за него, от этого трудно отрешиться, это слишком близко со мною и, сколько ни мучься, не притупляется и не переходит в ту стадию, когда уже все равно.

28 февраля.

Поскольку пространство практически исчезает, а время стесняется препятствием на пути и норовит раздаться, убегая мыслью на много миль вперед, – когда пробуждаешься, оно оказывается либо ближе, либо дальше, чем ожидал, оно запаздывает и перерастает себя, сразу становясь и больше и меньше своих настоящих размеров.

– И вот растешь как бурьян.

– А растут там одни скорпионы мыльного цвета и фаланги, которые смертельно кусают людей и животных.

– Знаешь, что такое баклажан? Это такое синее бычье яйцо растет из-под земли.

– Наша собака в жизни того не сделает, если ваша не скажет.

– А може, сука, дешежит?

– А денег мне не надо, – говорю. – Я сам золото.

– У нее дом в Ростове и муж непьющий.

– Что-то там такое гудело три раза.

– Телевизор послушать, радио посмотреть...

– Когда спишь – не грешишь, не ругаешься...

– Взял бы его в свои худые руки.

– И та и другая жизнь сливаются в одно причитание.

– В зеркале, видимо, есть как что-то нечистое, так и зазорное.

Закрывание зеркала перед мертвецом (обычай). Перед умирающим. Чтобы не испугался. Себя не увидел или кого еще.

Спрашивается, зачем в картины и фотографии так часто вставляется зеркало в виде реки или озера, с тем чтобы предмет дополнялся собственным отражением, которое смотрится и живописнее и чуть ли не ярче подлинника?

Предмет, удвоенный в зеркале или в воде, кажется цельнее, единственнее; он не раздваивается, а удваивается, помножается сам на себя. Он замыкается на себе в этом пребывании на границе своей иллюзии.

В отражении важно, во-первых, что оно перевернуто, во-вторых – подернуто рябью, дымкой, оно струится, и дышит, и проступает из тьмы, со дна водоема. Это как бы тот свет предмета, его психея, идея (в Платоновом смысле), заручившись которой, тот крепче стоит и красуется на берегу. Зеркало его подтверждает, удостоверяет и вместе с тем вносит долю горечи, тоски, недосягаемости прекрасного далека, становясь по отношению к миру легендой о граде Китеже.

Существовали попытки, обычаи проникать через зеркало вод в *тот мир*. Таков Священный колодец майя в Чичен-Ице, предания о котором заставили археолога Томпсона нырнуть в это странное озеро и в самом деле обрести там на дне целый свет принесенных некогда жертв и подарков. Здесь действовал, считают, эффект зеркального отражения – по озеру гадали как по зеркалу (см. у Керрама, стр. 364–365).

Катоптоманты – целая специальность гадателей – по зеркалам. Палиндромон (перевертень – буквально с греч. «бегущий назад») – в Зап. Европе часто помещался на источниках и надгробиях. Они воплощали, в первом случае, зеркальную чистоту воды, во втором – повторение жизни за гробом. Перевертень связан с зеркалом. Гоголевский «Нос» первоначально назывался «Сон».

Кажется, понял, наконец, что такое загадочный «пуп земли», о котором твердит вся паломническая литература. Не есть ли это Камень Мориа, хранящийся в Иерусалиме в Мечети Омара? По преданию, этот камень, никем и ничем не поддерживаемый, висел в высоте, подобно парящему орлу. На нем Магомет летал в рай, а ранее он находился в храме Соломона и на нем стоял Ковчег Завета. От него у Соломона – сила, с него он видел весь мир от края и до края и понимал язык птиц и зверей. В день падения храма камень остановился и сила его иссякла.

О нем же в Талмуде: «Камень Мориа, скала, на которой первый человек принес первую жертву Богу, есть средоточие мира. Скалу Мориа, что была покрыта некогда храмом Соломона, а ныне хранима мечетью Омара, положил в основание вселенной сам Бог».

Между прочим, Магомет заповедал молиться, обратясь лицом к этому камню, Мекка – позднее. Что может лучше служить «пупом земли»?

1 марта.

Тихонечко вздохнем, раскинем мыслями и попишем еще. Отпуст – «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко», положенный на слова Симеона, читается ежедневно в конце, завершая вечернюю службу. Спрашивается – зачем, если Симеон, произнеся это, умер, а мы живы? А затем, что имеется в виду отход ко сну, окончание дневного пути. Символика ночи и сна такая же, как мы догадывались. Отпуст это учел.

«Если меня победят, – сказал эфиопский чародей Гор своей матери (из сказки папируса Весткар), – вода, которую ты станешь пить, делается красной, как кровь, и пища, которую ты станешь есть, делается красной, как кровь, и небо над твоей головой станет красным, как кровь» (Палестинский сб-к. Вып. 13 (76), 1965, стр 45). Те же вещи, как известно, случаются с Иванушкиным рушничком, платочком и т.п. Приятно в Древнем Египте встретить русскую сказку.

Шаман с хвостом из ваты танцует перед портретом. Съел такого-то и такого-то, действительно, нет (появился – убежал из желудка): пантомима.

Соответствие мифа и действительности в распределении дат, имен: не полностью, но подобие контуров, схождение некоторых точек, как Шлиман раскопал Трою. А в сумасшествии не то же ли – частичное совпадение точек, действительность сквозь туман бреда, сквозь стекло сознания? Стекло может быть толстым – потому опечатки.

У Никиты Евгениана, в любовной повести XII в., мелькнула птичка Сирина:

– Я сказочную слышу песнь Сирен с тех пор,
Как поглядел я, дева, на лицо твое (стр. 23).

Пение Сирены-Сирина (все позабываешь) и действие красоты. Отождествление со стекляшкой: блестит.

У того же Евгениана Христос выступает под именем Диониса. Все имена античные и боги языческие, так что недоумеваешь: а где же Византия? И вдруг:

– Хоть и стремится вечно роковая нить, –
Ответила Дросилла, – злость судьбы моей
Меня, Харикл, опутать бедствий пряжею,
Но промысл бога, нашего спасителя,
С любовью неизменной к нам, которой нас
Оберегая... и т.д. (стр. 96).

Этот промысел взамен Судьбы и над Судьбой и есть Византия, пробившаяся сквозь языческие анахронизмы Греции.

– А письма сегодня были?

– Были.

Ну, значит, мне нечего ждать. Пойду-ка я в баню.

3 марта.

Почему-то как взглянешь на карте на очертания Австралии, так сердце радуется: чистая кенгуру.

– Я тоже, говорю, с животного мира, от насекомых. Но я знаю, кто рыжий.

– Я более-менее одет.

– Вальтанутый (чокнутый): вальта не хватает, или двух вальтов не хватает (в смысле карт).

Полнота дня, бездонность ночи, и только вечер какой-то ни то ни се.

Видишь, Машечка, какое письмо получается. Совсем дохлое. Во-первых, оно коротенькое, оттого что сам этот перегончик не велик. Но не всегда же писать большие. Да и не о чем писать. Жаловаться без конца, что писем нет, тоже не хочется. Потому что сколько можно? Я уже сам себе надоел этим припевом.

Зато я послал тебе открытку к 8 марта.

А у нас пошел снег, и совсем зима. Наверное, так тоже должно быть.

4 марта.

Машенька-голубушка, получил-таки сегодня твое семьдесят первое письмо. Это стало так редко и трудно в моей жизни, что, кажется, не письмо ко мне приходит, а я его выбиваю из времени путем долгого, терпеливого волевого усилия. И то сказать – оно лежит сперва две недели в Москве, прежде чем направляется на почту, – и потом уже только начинает ехать.

Потому-то твой кишиневский заезд с перерывом на двенадцать дней обошелся бедствием, когда почти месяц я ничего не имел, и ты, если можно, не повторяй таких, безо всяких предупреждений, исчезновений, потому что пару строк – в буквальном смысле пару – всегда написать можно, а всякий раз думать, что вы там заболели или еще какое несчастье стряслось – так никаких моих запасов не хватит.

А много ли человеку надо? Вот – после десяти дней примерно – пришло твое семьдесят первое письмецо: и я уже знаю, что вы

здоровы и даже – кто бы мог подумать! – ходите в группу и правильно проявляете заботливое отношение к бабушке, которая того стоит, а также правильное понимание, где ваш дом.

А сумасшедшая соседка, если ей очень этого хочется, пусть выкидывается в окно. Это ее личное дело. А Егорыча все равно надо свозить на экскурсию хоть в собственный домик*, который мы все очень любим и хотим в нем жить вместе с тобой неразлучно, – и такую экскурсию можно сделать, наверно, с помощью Эмки, которая переночевала бы рядом с вами и умерила бы своим присутствием сумасшедшие страсти соседки.

А я – пока ты меня забыла-забросила – начал понемножку заниматься Гоголем, перечитывая его сочинения, а это труднее, чем Пушкин, потому что Пушкин был более далек и недоступен, как античность, и поэтому о нем было легче думать с такой отдаленной точки, а Гоголя я лучше знаю, он ближе, и оттого много сложнее. Все слишком ясно, понятно, а вещь, чтобы ее почувствовать заново, должна стать непонятной, на нее нужно наткнуться, как лбом о стену, и тогда она, может быть, оживет. Вот я и решил его перечитать, благо попался под руку, а в таких вещах тоже очень важна – случайность, слепая случайность, а не прожекты, на прожектах-то сам Гоголь провалился.

Ты, вероятно, видишь, как, пиша эти строки, у меня разглаживаются морщины и я легко и просто разговариваю с тобой, открывая все распростертые объятия. Это опять к тому, много ли надо.

И я даже начинаю надеяться, что в этом месяце ты приедешь. Неужели?!

Целую вас. Будьте здоровы, мои нежные деточки.

А.

5 марта 1970.



...в собственный домик... – Из моего письма: «Егорка просится домой. И домом считает Пятницкую, хотя пятницкие условия жизни куда как суровой сравнительно с бабушкой. И я ему как-то пообещала, что в

тот день, когда будет французский урок, вечером после группы мы поедem на Пятницкую, и он накануне всё готовил бабушку к разлуке:

– Бабушка миленькая, – ворковал он, – я очень тебя люблю, но дом-то все-таки на Пятницкой, и я так соскучился по дому, так что ты не обижайся, если я завтра поеду туда пожить, а к тебе я буду приходить в гости...

Добрый у нас ребенок и очень нежный. Сплошное солнышко.

Но как он был огорчен, когда на Пятницкую все равно не попал, а не попал из-за очередного тамошнего скандала, который тянулся всю ночь (с криками, битьем головочкой об стенку, попыткой прыгнуть из окна кухни и прочими красотами), и после таких событий я боюсь за Егора и буду опять несколько дней отделяться от него обещаниями».



ПИСЬМО ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОЕ

Машечка, а я переехал! Не пугайся: из барака в барак. Но все равно это большое событие в нашей жизни. Теперь я сплю внизу, потому что все койки здесь одинарные: персональное помещение для аварийки и складских. Много удобнее, больше воздуха, света, и можно, когда захочется, прилечь, никого не стесняя.

Правда, немного холоднее привыкшему спать наверху, и, как это ни странно, размер помещения не влияет на шум. Когда места больше, кричат громче, шагают тверже и шире машут руками. Заполнение пространства.

Но скоро лето, и можно будет заниматься на улице. А от жительства побригадно имеется то преимущество, что после ночной работы в секции станет тихо: все спят примерно в одно время.

Уже очень светло на дворе, и в шесть часов я пишу у окна, не говоря о разводах. Уже и в газете обещают числа с шестнадцатого весну в полном разгаре. А я жду тебя и ни о чем больше не помышляю, кроме – когда приедешь? И было бы ужасно печально, если бы, по вине обстоятельств, тебе пришлось задержаться, как это было в декабре. Слишком большие паузы, и они все норовят увеличиться, и письма все короче, и расстояния дальше. И нужно тебе появиться, чтобы изменить эту картину.

8 марта.

Кофе кончилось, и пьем на пробу разные травки – череду, мяту. Сосед засушил с лета. Это очень интересно, и запах и вкус. Хитросплетения растений.

Витамины тоже съел. Ел в предвкушении твоего приезда. На глаз было видно: как съем, так тебе приезжать. Пора.

Несмотря на твое хроническое неписание, отношусь очень нежно и бережно и не перестаю разговаривать вслух и про себя. Хотя, в общем, стал скучным и раздражительным. И все попадают на глаза реминисценции: то статья «По избам за книгами»* (о сборе древних рукописей в Заволжье) в «Новом мире», то про Чудь белоглазую в «Сов. этнографии», которая скрылась под землю (и нам ведь, кажется, говорили о чуди: под землю?).

Какие чудные легенды знает античность (в нас остался стыд перед восклицательным знаком). О Вергилии: «Матери его во время беременности приснилось, будто она родила лавровую ветвь, которая, коснувшись земли, тут же пустила корни и выросла в зрелое дерево со множеством разных плодов и цветов. На следующий день, направляясь с мужем в ближнюю деревню, она свернула с пути и в придорожной канаве разрешилась от бремени. Говорят, что ребенок, родившись, не плакал и лицо его было спокойным и кротким: уже это было несомненным указанием на его счастливую судьбу» (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей, стр. 237).

Но все же они физкультурники. Это надо же – сравнивать ораторскую речь с человеческим телом. Тацит, «Диалог об ораторах», 21: «...Как и человеческое тело, прекрасна только та речь, в которой не выпирают жилы и не пересчитываются все кости, в которой равномерно текущая и здоровая кровь заполняет собою члены и приливает к мышцам и ее алый цвет прикрывает сухожилия, сообщая прелесть и им» (Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. I. Анналы. Малые произведения. Л., 1969, стр. 388).

Отдыхаю за ночь. Радио прокуковало одиннадцать. Столбы и колеса света. В клубах воздуха ладан. Похоже, что идет литургия. А это солнышко.

10 марта.

Вчера пришла телеграмма о болезни Егора, а сегодня ты меня подарила и озарила двумя письмами и одной открыткой. <...> Теперь тебе предстоит получать мое прошлое и позапрошлое вытье, а во время болезни Егорыча этого еще не хватало, но я же не знал, ничего не знал о вас, а писать больше было не о чем. Может, твой приезд рассеет у тебя это мрачное от меня впечатление.

Вероятно, из-за этой болезни ты задержишься. Ничего, я потерплю (лишь бы вы были здоровы). В данный момент даже неплохо, что ты не вчера-сегодня приехала, как могло бы быть. Потому что я не очень важно себя чувствую. Скорей всего – ничего особенного, даже не грипп, а просто беспросветно-бескофейное состояние последних недель сказалось. Надеюсь к твоему приезду поправиться. Ведь на этой неделе (это уже очевидно – сегодня четверг) ты не приедешь.

Безумно жаль Егора. И я далеко не уверен, что ему нужны и полезны банки. По моему опыту, кроме муки, они ничего не дают. Да еще такому маленькому! Мне вообще в жизни ни разу не ставили банки, пока не попал в армейский госпиталь.

А все – и отлично – обходилось горчишниками. От горчишников реальная польза: они прогревают. А банки – что? Боюсь, это участковый врач подсказал, а вы и поверили. Бедняжка Егорыч, теперь он совсем леопард от этих банок, и только это может его утешить.

А ты моя Машечка, и это – после долгого перерыва – опять промелькнуло в твоих последних письмах. Где ты рассказываешь про зеркало с цветами и птицами* и с таким хорошим названием. Я даже сначала не понял и подумал, что это ты иносказательно мне все так хорошо и интересно рассказываешь про светильники и прочие интерьеры. А потом уже догадался, что на самом деле. Очень удивительно. Только где ты возьмешь такое большое стекло?

12 марта.

Собачки мои любимые! Продолжаю ахи и вздохи по поводу ваших позавчерашних писем, болезней, обменов и сувениров. Вообще от них – от этих писем – почти такое же яркое впечатление, как от свадебной телеграммы, и можно тоже долго ими жить, и любить, и утешаться. (А помнишь, какую телеграмму ты мне прислала в Руссу после Онеги?)

Хорошо, что Егорыч успел до болезни побывать в доме и иметь от него родные грезы.

А знаешь, третьего дня, когда стало совсем плохо, и все косточки ныли, и душа болела, я лег на койку и в облегчение взял у соседа почитать пару рассказиков Эдгара По. Как будто к родным, за помощью – выручайте, братцы.

(Сейчас мне много уже лучше.)

Между прочим, в рассказе По «*Низвержение в Мальстрем*» встретила одна мысль, показавшаяся великолепной, настолько она неожиданно поворачивает психологию героя, попавшего в ужаснейший морской водоворот, совсем в другую сторону:

«Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду: мне представлялось, как это должно быть величественно – погибнуть такой смертью и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества Божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу».

А в Москве – читал в журнальчике – была недавно выставка Фонвизина, и, наверное, это интересно.

Очень понравилась твоя идея разукрашенного зеркала. Только – с таким названием – его нужно держать в собственном доме, а домом для такого предмета должен быть дворец. И тоже – светильники должны отвечать именам, быть похожими на того и другую, не в смысле человекоподобия, а так, как идеальная вещь похожа на своего хозяина. Чтобы, произнеся имена, было ясно, кто из них кто, не переставая служить подсвечником. Это трудно, хотя ужасно интересно. Хорошо Собакевичу, у которого каждая вещь в доме говорила «И я – Собакевич», а как быть простым смертным?

«Чтобы мои письма не повредили твоей жизни».

– Если б стал я когда-нибудь усовершенствованным гангстером, то вы бы тоже были б миллионером.

– И заглушать гармонию сфер чувственным шумом.

14 марта.

А недавно я полдня наслаждался пустым помещением и полной тишиной. Все ушли на работу, а у меня был отгул за ночь и ни души в доме – такая тишина, и свет в окнах, и печка потрес-

кивает, как в сказке. В усадебной жизни, наверное, самое приятное было это тишина и простор комнат. Еще мне в руки попал, наконец, вышедший недавно «Изборник», точнее сказать «Цветник»*, составленный из отрывков древнерусской литературы. На лево по-славянски, направо – по-современному. И миниатюры в иллюстрации. Прекрасное издание, которое надо иметь. И я каждый день понемножку им пробавляюсь.

И такая была тишина, такая вечность, что кажется: за эти часы половину марта слизнуло.

– Письма писал, как заявление на валенки.

– Вынимаю белый батон, чтоб меня расстреляли, вынимаю пол-литру...

– Так разодета, что, если ее ограбить, две недели пить можно.

– Врач взойдет, намордник наденет и режет животяру.

– Бесхребетный полужмей.

– Девчонка, с которой я таскался, кинулась мне на шею.

– Во-первых, три причины.

– Просыпаюсь – нет домина, туда-сюда – нет домина.

– Трава против нервной системы.

16 марта.

Бедные мои дети! (а еще какие? – а еще ангельские). Страшно вы болеете. Прочитал сегодня, как Егор слопал лекарства. Это пришло 77-е письмо. <...> Но съесть все лекарства с компотом?! Впрочем, одна родственница в том же возрасте отъела головку градусника и проглотила железный ключик, пытаясь в него зашвистать, – так что Егор не такой уж глупый. Только как бы ему все объяснить и рассказать, чего можно, чего нельзя делать со всякими предметами?

В добавление к вашим трудам, страхам и заботам, мои письма к вам не идут, и я не приложу ума, как их сделать доходчивее, да и те, что дошли (если они дошли), не слишком веселы по содержанию, потому что как раз тогда я сидел без твоих писем... Вот как все кругом получается тяжело и тревожно, и нос вытацишь – хвост увязает, и пока я тут слегка обрадовался твоей переписке, ты там впадаешь от моей.

Манечка, не впадай. И не болей. Не вздумай повторить грипп. И Егорушка пусть потихоньку выбирается из своей хворобы.

И пришлите мне телеграмму про это. И пусть, справясь с болезнями, ты ко мне приедешь и вздохнешь после такой непроходимой зимы.

17 марта.

Маша! А у нас зима! Ау-ау! Уа! Идет снег и тает, и опять идет. Но это ничего. Потому что сейчас получил от тебя телеграмму, очень меня приподнявшую: что Егор пошел гулять. Пришла она 16-го, а лежала три дня (!). Уфф!

– Фух! – говорил папа, когда ему было трудно, несколько театрально, что-то среднее между «фу!» и «ух!». А я ничего не говорю, а тихо радуюсь. Потому что очень уж напряженными были эти недели.

А с 15-го на 16-е (перед тем как раз, наверное, как Егору окончательно выздороветь и выйти на улицу) я его видел во сне очень ярко. Правда, в более младенческом виде, годика на два так, но уже разговаривал вполне осмысленно – разумно просясь на горшок, их было два, но оба полны, и мы не знали, что делать, потому что было довольно холодно, и я все прижимал его к сердцу, чтобы не просквозило.

Теперь-то я понимаю, что эти полные горшки были к хорошему, но когда это увидел, не был уверен и не знал, что и думать, зная, что Егор болеет.

Еще он мне очень понравился во сне своей мягкой рассудительностью и грустным терпением. И поэтому маслом по сердцу пришлось твое 74-е письмо – про то, какой он хороший, понятливый (а кто лекарство слопал?!) и любящий, укрывая тебя, спящую, всей наличной одежкой и журнальчиками. Это очень на него похоже, и я счастлив иметь такого доброго сына. Тем более приятно, что он укрывал тебя, и как бы мне то же с тобою сделать. А укрывать журнальчиками и разными брюками-носками тебя можно, потому что ты не ворочаешься.

⟨...⟩ Из телеграммы же я вижу, что бабушка с дедушкой* свалились по стопам Егора, но это уже легче, и я боюсь, чтобы ты, изнурившись вдребезги, тоже не заболела.

Спасибо тебе, родная Машенька, что послала телеграмму, и за весь твой героизм.

Обожаю и обнимаю вас обоих и, мысленно перескакивая, с од-

ного на другого, все повышаюсь и повышаюсь в любви и удивлении перед вашей красотой и разумностью.

Посылаю это письмо на день раньше, чтобы оно быстрее дошло и ты бы так не изводилась без моих писем, которые все равно в субботу и в воскресенье не ходят, и поэтому пусть уж лучше оно идет завтра.

Будьте здоровы, мои светики.

А.

19 марта 1970.



...статья «По избам за книгами»... – В.Кобрин. По избам за книгами (Из записок собирателя) // Новый мир. 1969. № 12.

...про зеркало с цветами и птицами... – Из моего письма: «А еще я на тебя обиделась за «Золушку» и что опять в меня не веришь (а еще говорил про мой абсолютный вкус) и обзываешь «мелкопластикой», а я сделала вовсе крупнопластику, и все, кто видел, говорят, что от «Золушки» прямой путь к украшению интерьеров: зеркалам и люстрам. И в самом деле – очень хочется сделать зеркало: большое настенное зеркало с цветами и бабочками вокруг. И с двумя светильниками по бокам – один твой, другой чтобы мой...

Но, наверное, гаммами можно заколачивать гвозди. И вообще при помощи звуков много чего можно делать. Разрушать города и складывать пирамиды. (До-ре-ми...)

Твоя музыкальная Маша.

А зеркало с цветами и птицами будет называться «Андрей и Марья».

...точнее сказать «Цветник»... – Изборник: Сборник произведений литературы Древней Руси». М., 1969.

...бабушка с дедушкой... – Мои мать и отчим.



ПИСЬМО ДЕВЯНОСТО ВОСЬМОЕ

Все течет, и ничего не меняется. Много снега – ужасно слякотно. Если тебе ехать, как по такой воде шлепать ножками?

А мне презентовали ботинки, и я их ношу (впервые в лагере) на переменку с сапогами. Иначе совсем сыро. А так ботинки лучше держат воду, чем сапоги. Те как промокашки.

Когда отсылаю тебе письмо, то с этого момента вроде бы начинается новый период, и так живу – полумесяцами, и то, что было вчера, разом отодвигается, и вот из вчерашней дали улыбаюсь еще на Егорушкин возраст, который, действительно, хочется закрепить и оставить при себе. Мама также мечтала: был бы всегда ребеночком. Только ей рисовалось в еще меньшем, грудном возрасте, а я негодовал: разве я хуже?

И приятно, что ты опять стала мне много рассказывать про нашего нежного сына. Но мне немного странно, что он разговаривает такими правильными и сложными оборотами. Или искажения речи труднее теперь передать? или я отстал?

23 марта.

Сегодня очень удивился и обрадовался, получив от тебя бандероль. Обрадовался вдвойне: значит, более-менее живы-здоровы. Да и кофе давно не пили, без него существование кажется совсем уж неинтересным – какая-то сплошная равнина от утра и до вечера, от утра и до вечера. А теперь я житель, как говорил дедушка Иван Макарович.

Еще умилила упаковка – с такой заботой и красотой. При виде такой упаковки вспоминается поезд, первый поезд на Вологду, когда стелились полки, от которых пошла поговорка: я проснулся за Ярославлем. И яичница с колбасой – еще на Мещанке.

Забавно, что опять совпали – с леопардом. Это я заодно с бандеролью получил два письма, в том числе про Егоровы банки.

Очень я вас люблю, и очень мне тебя жалко, моя бесценная Машенька.

24 марта.

У племени *тода*, что обитает в Южной Индии, существует легенда: сначала была одна вода, и когда Шива посмотрел на нее с горы, у него на лбу выступил пот. Он стряхнул пот с правой стороны – появился мужчина. Стряхнул с левой – женщина. Так произошел человек.

А в «Повести временных лет» языческий волхв говорит о сотворении человека: «Бог мывъся въ мовници (бане) и вспотивъся, отерся в(ЯТЬ)хтемъ (ветошкой), и верже с небесе на землю».

У тех же тогда умершие переходят на тот свет через реку по нитке. Грешник пройти не может и падает в воду. Ср. мытарства.

Не странно ли, что от всего погребального обряда – от египетских пирамид, курганов, жертвоприношений – нам остались одни тапочки?

О монашеской мантии – в ней есть-пить обязательно, но ничего нечистого. В туалет в ней пойдешь – триста поклонов, по-маленькому – сто поклонов.

«Кто недарованное восхитит, тот осудится горше беса» (Из правила).

Искусство не изображение, а преобразование жизни. Сам образ возникает по требованию преобразования: образ сдвинут с предмета, толкая его к изменению в иную, преобразенную сторону. Мы замечаем «образ» лишь в преодолении того, что он силится изобразить. Стол или лес – не образ. Золотой стол – образ. Зеленый лес – не образ (нужен зеленый шум).

Отрицательные сравнения: не утица, а девица: превращение утицы в девицу (или наоборот).

В искусстве, доколе оно помнит себя, жива магия. Она-то и снимает проблему художника и подвижника, творчества и деяния, на которой спятил Гоголь. Не средствами морали, но физическим действием.

И как маятник – по талому снегу – работая руками, ногами, –

гимнастика, чтобы дольше прожить, неуклюже и упрямо, как на-
нятый, ходит Дон-Кихот.

25 марта.

Все-таки я заболел. Тянул-тянул и заболел. Ничего страшного, обыкновенная простуда. Неудачно только, что совпадает со временем твоего возможного приезда. Поэтому я очень стараюсь поскорее выздороветь и как будто преуспел в этом нелегком деле. Во-первых, стараюсь лежать, когда только можно. Во-вторых, мобилизовал все средства под рукой. Например, шапку, рубашку. Живу все время в шапке и понемножку потею. В общем, я надеюсь в ближайшее время вызволиться.

Читал письмо, которое написала своему папе шестилетняя дочка. И ты знаешь, большое письмо – хотя печатными буквами и со множеством ошибок. Когда-то наш Егорушка так научится? Одно оправдание: девочки развиваются раньше.

От ошибок и оговорок слово воспринимается ярче. Не та же ли это сдвинутость образа с предмета, достигаемая силой поэзии?

– Сiju в тюрьме до теплых времен весны. (Без множественных «времен» ничего бы не было.)

– Заехать по фанере.

– В руках у него – пугачевская пушка: ракетница с автоматным стволом. Свинцом заварена, без мушки. Как дашь в лоб – глаза выскочат.

– Дезентир. Гволт.

– На мне два трупa.

– Остальцы.

– Почему-то белые кошки больше похожи на пум.

29 марта.

Что я делаю? Тихо жду тебя и потихоньку потею, сидя за печкой или грузя ящики: тоже польза. А вы с Егором умеете так целенаправленно выздоравливать?

Пора бы тебе прислать еще одну телеграмму: конец марта – вот он. И послезавтра уже 1 апреля. А знает ли Егорыч про 1 апреля – чтобы никому не верить?

Нехорошо, наверное, что Егор уже умеет обманывать. Я не

имею в виду лекарства, упавшие в компот, потому что они в самом деле туда упали. Но – что замерзает от форточки, когда укутан и скучно. Я себе в этих случаях позволял лишь проделывать дырку ногой и слегка проветриваться.

Вместо телеграммы сегодня я получил от тебя 80-е письмо <...> о том, что у Егора упала температура и соседку забрали в Кашценку*. Все это хорошо. Только я не совсем понимаю, как ты сможешь меняться в ее отсутствие, если комната закрыта, и кто захочет въезжать в неведомую комнату? А может, если у нее шизофрения с параноическим бредом, так она там так и останется?

30 марта.

Вот это совсем другое коленикор, когда приходишь с работы – письмо, другой день приходишь – опять письмо. На сей раз 85-е. О том, как Егорушка прочитал «Дарью»*. Очень приятно. А то вокруг всякие шестилетние девочки письма пишут такие, что нам в пору, а наш сын, которому столько нужно прочесть интересных книжек, двух букв связать не может!

А знаешь, иметь ребеночка еще тем хорошо, что с ним можно второй раз пройтись по детству и сходить впервые в Третьяковскую галерею и прочитать «Дети капитана Гранта».

Так что у нас впереди еще куча удовольствий.

Но я не о том. Рядом с письмом на подушке лежала та долгожданная телеграмма, которой по всем правилам полагалось прийти еще месяц назад, и вот я ее дождался, и она пришла и лежала на подушке, когда я вошел и увидел ее еще в дверях, и кинулся к ней, и мы обнялись.

То, что ты собираешься приехать не завтра, а еще через пять дней, не очень меня огорчило. Потому что я имею намерение за эти дни окончательно выздороветь (для чего прилагаю героические усилия воли и интеллекта). Во-вторых, погода, может, исправится. (А ты мне не скажешь: «Если есть “во-вторых”, то должно быть – “во-первых”, как сказала одна дама лет пятнадцать назад, переполняя чашу, – да, не скажешь.) Итак, о чем бишь – о погоде. Погода, говорю, хуже зимы, и ветер завывает, и я еще в жизни не встречал 1-е апреля в таком снегу и ветре, и как ему не стыдно при такой хорошей зиме?

– Люди молодые, энергетичные...

– Им дана вся свобода жизни...

А на телеграмму я тут же побежал и дал положительный ответ.

<...>

31 марта.

Письма пошли кучкой – по три в раз, и таких чудес давно не бывало, с одиннадцатого, и при такой постановке дела я тоже, естественно, приободряюсь и, видишь, каждый день чего-нибудь да напишу тебе на память. Так оно и идет во взаимное ублажение.

Два из них с фотографиями, о которых два слова. Егорова дама Лиля* выглядит для своих лет слишком уж по-дамски. Капризность, надменность, и тридцатилетняя, стареющая уже немного красотка так из нее и прет. А наш оболтус стоит в такой наивности и простоте, что никакой дошлый дядя из него и не слышен, и это к лучшему.

Ко второй фотографии никаких критических замечаний, очень хорошая, милая, но тебе замечу по поводу бородатой мадонны: по второму разу эти формулы не звучат*. Это как с портретом, что стоял у нас в шкафу: выдарив копию, пришлось расстаться. Некоторые изделия, как сама знаешь, уникальны.

А тут сосед получил хорошую кучу книг по искусству из книжного магазина посылкой – в том числе Тулуз-Лотрека в польском издании, и я тоже имел возможность получить удовольствие, и Французский портрет 18 в. с приятными портретами и текстом Юры Золотова* (но я как-то не уверен, что Юра Золотов может написать что-то выдающееся). Перепал и мне кусочек в виде отменной книжечки* по средневековому искусству Зап. Европы с очаровательными картинками, написанной какой-то Нессельштраус (в первый раз слышу эту даму), судя по всему популярная подтекстовка, но издание такое хорошенькое, что за мои восторги оно наверное станет моим.

Еще я узнал, как Егорычу лечить гланды очень простым индийским способом, и расскажу его при встрече. Только ведь вы без моего контроля не сумеете его применять, тем более когда способ индийский.

1 апреля.

Машенька дорогая! Интересно, удалось ли тебе отоспаться, пока соседка резвится у Кашенки, и догадалась ли ты это сделать?

А я не на высоте. Болезнь поначалу начала было уменьшаться, но вдруг остановилась, а сейчас взялась забирать крепче, так что я нахожусь в легкой панике. В легкой – потому что паниковать сил нету, ползаю как вареная муха. А через три дня тебе приезжать уже, и как я тебе покажусь в таком виде!

Вы же с Егорычем умнички, разговаривая про Ромео с Джульеттой*, и я даже не знаю таких писателей, каких он знает, и куда это годится: Родари вот – первый раз слышу. Посмотрел еще раз на его фотографию в паре, и он мне показался гораздо длиннее, чем ты пишешь. И он очень хорошо улыбается.

А на себя я сердит, но что делать и как срочно выздоравливать – ума не приложу.

2 апреля.

Ух, как мелькают дни, когда не надо, и день сменяется ночью, едва успеешь моргнуть, и бред явью, и жар потом, и зима весной. Впрочем, это я больше про вчерашний день. А сегодня уже легче и медленней, и забрезжила надежда поправиться до твоего приезда. О течении времени хорошо в былине:

Еще день за день как будто дождь дождит,
Да и неделя за неделей как река бежит...

Начал для себя открывать и ихнюю былинную прелесть. Тут главное для начала отказаться от «Трех богатырей» Васнецова. Для этого стоит взглянуть на архаические фигуры – вроде, например, Святогора, который разъезжает по каким-то святым горам и не ездит на святую Русь, потому что его не подымет матушка сыра земля. Видимо, ему нужен каменный фундамент, а не обычный чернозем-супесок. И смерть ему является в виде железного гроба, выпадающего из тучи, куда он сразу укладывается, понимая: для него. И жену он возит за собою на спине в хрустальном ларце и воспитывает из нее богатырку, а чуть что не так (Илью Муромца посадила к нему в карман), даже не разобравшись, рубит голову. И перед смертью для передачи силы Илье дует на него своим богатырским духом. А потом, чтоб погубить, –

мертвым духом, да тот увернулся. Какая-то совершенно перво-бытная доисторическая фигура.

Кстати, по другой былине он уходит по колено, а то и по грудь в землю, не в силах поднять сумочку Микулы Селяниновича, в которой заключалась вся тяжесть-тягость от матушки сырой земли. Как-то это странно: его самого земля не держит, а он землю не может поднять. Что-то здесь не то: возможно, не в сумочке сила, а в Святогоре, которого земля не держит, которому вообще свойственно проваливаться под землю, – и вот он, начав проваливаться по собственной тяжести, в дальнейшем, для мотивировки, избрал чужую Микулову силу и с ее помощью тоже стал проваливаться. Кстати, не загадочна ли эта формула – тягость от матушки сырой земли (сосредоточенная в Микуловой сумке)? Уж не знали ли Святогор–Микула – до всякого Ньютона – о законе земного тяготения?! <...>

Но больше всего порадовала – «Вавило и скоморохи», разрешившая дилемму искусства и морали, на которой скапутился Гоголь, а вот она, былина, вывела куда надо, предложив вариант веселой святости.

3 апреля.

Опять возвращаясь к сказке. Для нее может оказаться полезной фрагментарность Мандельштама. Принцип – кроить и клеить. Звонкие ножницы. Вольный воздух: куда хочу, туда и хожу. Помогут изразцы, из которых складывается сказка. Один изразец треснул, другой выветрился. Осталась какая-нибудь сцена о змие. Повторяется. Все дело в языке, в повторениях. Абсурд. На чем держится? Возможно, на припоминании сказанного, на стремлении выразиться поточнее, и все время отвлекаясь, увязать, и спохватываясь, – опять о змие, о бабе-яге.

Форма речи – забвение. И усилия вспомнить, ничем не кончающиеся.

Когда они впервые увидели друг друга, то оба упали в обморок: любовь с первого взгляда.

Птичка, которую увидел дурак, потом живет в зоопарке. – Я тебя знаю, Настасья! – Это была жар-птица. Перышко бы достать для коллекции. Перо надо выдернуть. Павлин или фазан. Фазан даже краше. Как серебро почему-то краше золота.

Я так любил того фазана, что сам соглашался стать тем фазаном.

У жар-птицы возможна своя партия – флейты.

Ни в сказке сказать, ни пером описать. Но нарисовать можно. Нужно лишь писать панорамно. Как Брейгель, с горного пика. Не пейзаж, но ландшафт. Не среда, но страна. И ма-а-хонькие фигурки.

Змею пошел бы эпистолярный жанр. Как документ: что же на самом деле делал змей с какой-нибудь Люсей. Люся может переворачиваться – то Настасьей, то Еленой Прекрасной. Смотря на каком уровне.

Имена теряются, забываются. Вошел Алешей, вышел Андрюшей. Отчества тоже путаются. Никак не скажешь – Петрович, Павлович? Это так же хорошо, как цифры в потоке слов. 165. Что? Ничего: 165.

На Руси был X век нашей эры (до десятого века дожили!). Но Иван не знал, какой год: он жил вне летоисчисления.

Возьмем тетрадку, засветим лучину, обмакнем перо поглубже в чернильницу и отправимся путешествовать. На все четыре стороны.

Древний город – бревнистость. И Солнце величиною с Луну. Сугробы, салазки. На земле был XVII век нашей эры (дожили – семнадцатый век!).

А разве это начало: и я там был, мед-пиво пил... В обратном порядке. Жил-был. Плюсквамперфектум повествования. Прошедшее несовершенное, давно прошедшее, вечно совершающееся. Условное прошлое, безусловное в неизбывности, в непреходящем характере действия. Жил-был. И все к своему началу. Как сказка о рыбаке и рыбке. Смотришь: опять потекло: жил-был.

Сказка строится из разбитых, вывалившихся изразцов. Они готовы заранее. Порядок, в общем, тоже известен. Неизвестно только, к чему они. И о чем. Один изразец поярче, другой почуднее, и дело идет.

Сказку нужно складывать с абсолютно пустой головой. Ничего не зная, не помня. И вот вам, пожалуйста.

Поможет Барток. Стравинский слишком близко. И слишком прямо. На самом же деле сказка строится по касательной.

4 апреля.

Как видишь, я поправился. Раз пишу о разных былинах и сказках – значит, здоров. И значит – тебя люблю. И мне хорошо.

Теперь самое время тебе приезжать.

Я думаю, это ты мне снишься иногда под видом Осички. Не только так, но и так тоже.

Еще я долго думал, посылать ли это письмо сейчас или подождать свидания, чтобы его отразить. Но получается – очень уж далеко надо откладывать. И пускай лучше письмо идет, пока мы тут сидим.

Поэтому я прямо сейчас понесу его в ящик, сказав тебе «до завтра». И тоже сейчас поцелую тебя с ближними именинами, которые наверное уже пройдут, но все равно я тебя с ними очень помню.

И чтобы уж не опоздать – с дальним Праздником*. Как всегда, вместе и навсегда.

Да будет, Господи, воля Твоя над нашим домом.

Целую тебя нежно, милая, и приезжай, пожалуйста, завтра.

Приедешь?

А.

5 апреля 1970.



...соседку забрали в Кащенко. – Наступила передышка, о чем я тут же сообщила А. С.: «Зато старушки больше нет. Где старушка? В психушке. Сегодня нашу Юличку отправили в Кащенко. В желтый домик. Решили, что желтый цвет ей к лицу...

И если отправляли ее с диагнозом – истерия и старческий склероз, то вот сейчас, к позднему вечеру, разведка боем доложила, что, по мнению кащенковских врачей, у нее глубокая шизофрения, усугубленная параноическим бредом.

Брр... Страшно подумать, что она со мной сделает, вернувшись на Пятницкую.

Пока что я сижу в глубочайшей тишине и не верю, что такое возможно. И время от времени выхожу в коридор проверяю – дверь опечатана».

...Егорошка прочитал «Дарью». – Из моего письма: «Свершилось!

Свершилось! И всё как раз сегодня, а сегодня 23-е, а по двадцать третьим числам время от времени происходят вещи важные и необыкновенные.

Пошли мы сегодня (впервые после болезни) в группу, а потом приехали на Пятницкую, а потом мыли руки перед ужином, мыли мы, значит, руки в ванной и озирались по сторонам. А потом...

– «Ды» и «а» будет «да». Да, мамочка?

– Да...

– «Ры» и мягкий знак будет «ры», значит, получается «Дары»...

– Нет, деточка, если мягкий знак, то надо, чтобы было мягко «рь».

– «Ри»?

– Похоже...

– Значит «Дари» и еще «я», получается «Дария». Мама, а что такое «Дария»?

– Только не «Дария» а «Дарья», и это имя такое.

– Как так – имя?

– Ну, вот твою маму как зовут?

– Марья Васильевна.

– Ну, а иногда можно и без «Васильевны». Значит, «Марья», а вот эту красивую тетю зовут «Дарья». Еще маму называют «тетя Маша», а ее – «тетя Даша».

Вот какая у нас была беседа в ванной при мытье рук, а понял ли ты, что Егор просто прочел название на коробке стирального порошка, и теперь мы имеем грамотного сына».

Егорова дама Лиля... – Егоркина коллега по группе.

...по второму разу эти формулы не звучат. – А это уже сцена ревности: Бородатой мадонной называлась фотография А.С. с трехмесячным Егором на руках, и вдруг я посылаю Синявскому фотографию И.Голомштока (тоже бородач) с младенцем Вениамином и называю картинку – так же! Это же форменная измена!

...и текстом Юры Золотова... – С искусствоведом Ю.К.Золотовым (1923–1996) А.С. учился в университете.

...кусочек в виде отменной книжечки... – Ц.Г.Нессельштраус. Искусство Западной Европы в Средние века. М., 1964.

...про Ромео с Джульеттой... – Из моего письма: «– Мамочка! А как правильно сказать: Ромео или Ромеб?

– Ромео...

– Ромео мальчик, а Джульетта девочка?

– Да, но откуда ты это знаешь?

– Была такая детская передача...

Вот какие у нас идут беседы на прогулках.

- Мама! А что такое Джунгли Родари?
 - Не Джунгли Родари, а Джанни Родари.
 - А что это такое?
 - Джанни Родари – это такой итальянский писатель.
 - Он детский?
 - Детский.
 - А Пушкин – тоже детский писатель?
 - А Пушкин – он для всех: и для детей, и для взрослых.
 - А Уолт Дисней – он детский писатель?
 - Нет, Киса, Уолт Дисней – это не писатель, это художник.
 - Детский?
 - Детский...»
- ...с дальним Праздником. – Речь идет о Пасхе.



ПИСЬМО ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОЕ

Все-таки свидание производит впечатление шока, и все идет колесом, через запятую, – солнечные дни, сигареты в ярких обложках, твое бледное личико в окне вагона, просохшие тропки и снег в запретке, и твои письма на подушке, встретившие меня, как добрые знакомые, полностью покрыв недостачи, – теперь ждать и ждать, ждать и ждать, когда еще появятся новые.

– Лучшую жену не придумаешь, – говорю я себе и тебе, и я удивился, тебя увидев в леопардовой шкурке с непокрытой головою, почему-то не ждал, что с непокрытой и что улыбалась. И раньше, несмотря на нездоровье, в общем была веселая, и что умеешь брать в руки и радоваться, прощаясь, что было хорошо. Жена мужу дана для веселья, говорится в фольклоре, и это правильно и похоже.

Еще очень растрогала Нефертити* своим отношением к Эхнатону, когда я перечитал внимательно, придя к себе, и археологи тут, в сущности, ничего нового не открыли, – так и осталась – Нефертити.

Контейнеры не пришли за рулями, как обещались, и ночь спал спокойно, до самого утра, насморк еще есть, но уже слабее, а голова немного тупая и плохо соображает, реагируя почти механически на свет и на птичек, особенно, когда только вернулся, смешно взять книгу и что-то читать. Егорычеву фотографию в пижаме тоже получил. Хороший. И здорово подсохло, и мы сразу оказались в настоящем апреле. И как ты доехала, моя бедная, моя славная Машечка? И как сердечко? Может быть, на воздухе ему стало лучше дышать? А солнце какое. Как на заказ. И ты мне очень понравилась, и полюбилась, и растворилась в груди.

10 апреля.

Погода дала тебе время отъехать подальше, и пошел дождь. Я надеюсь, что это весна виновата, что ты в таком юном возрасте дошла до валидола, и летом это пройдет. Но все равно согласен, чтобы ты лежала, а я бы ухаживал. И мы с Егорычем будем тебе делать такой отпуск и подавать чай и кофий со сливками прямо в кровать.

Еще заметил, какие у тебя большие глаза и они плавают, как рыбки в аквариуме, по всему личику. А оно все продолжает струиться, ах эта размытость, вот-вот растает, испарится, ан нет, не испаряется.

И легкое восхищение, смешанное с легкой завистью, на тему, где интереснее. Тоже понравилось. И колечко.

А правильно я сказал, что зеленый камешек твой, а Егоров – синий?*

11 апреля.

И очень пригодилась горчица. Мы ее намазываем прямо на хлеб, и если это прихлебывать сладким кипятком, то получается очень вкусно.

Жаль, позабыл расспросить о фонаре Егора и как он показывает-рассказывает свои кинофильмы. И как рисует. Он почему-то давно не присылал мне свои рисунки.

А я тут узнал о животных. Лягушка, оказалось, хорошо ориентируется по луне и по звездам. Наверное, чувствует кожей звездные токи. Кто бы мог подумать? Я-то, когда она прыгала с эстакады вниз головой, всегда боялся, что она потом не найдет дорогу к дому. А кошка, если у нее обругать новорожденных котят – каких плохих народила! – уносит их подальше и, бывают случаи, душит или отказывается кормить: не понравились.

А в чучельный музей я, наверное, Егорыча сам поведу: ничего, в восемь лет это тоже интересно.

12 апреля.

С утра до обеда обыкновенно идет дождь, а потом немного светлеет, чтобы к ночи ему снова пойти.

Странно, всегда считал, что пузыри на лужах к ведру (помнишь, как пережидали на озере, радуясь на пузыри?), а оказалось наоборот – говорят: к затяжному дождику.

Вот я и достиг желанной неторопливости в жизни. Течет себе помаленьку, никуда не спеша. Об этом уже было – навыворот – в «Калошах счастья».

Надо бы перебить эту замедленность и перейти на другой, более содержательный темп. Давление тут тоже мешает. Резко потеплело, и потому изменилось давление. Весна. Глядя на ее светло-серенькое явление, чуть что хочется спать. Но я постараюсь.

От тебя сегодня принесли телеграмму. По ней заметно, что ты не в полном порядке и, вероятно, еле-еле дотащишься до дому. Поэтому – ни слова о своем здоровье. Нехорошо. А мне даже твои капризы милы и радостны, хотя я сперва приуныл при виде твоей расклейки, а потом и она подошла, и запала, и растворилась на сплошной умиленности. А при такой погоде я и то дышу как рыба, так что не огорчайся и потихоньку шевели плавничками, не надрывая себя.

А я все гляжу на проходящие поезда, вспоминая, как ты приехала и уехала. Все-таки у них здесь не такой уж пришибленный вид и свист, а почти как настоящие. И это правильно, что дети ходят, подымая ноги, как паровоз.

13 апреля.

Как бывает.

Сидел я сегодня на работе и смотрел в окно – на то, как погода поворачивает на зиму и дождь переходит в снег, или наоборот, думая, как это грустно жить, наперед зная, что первые твои письма придут нескоро – хорошо, если на той неделе, и нет никакого смысла идти с работы домой, когда ничего не ждет. Разве что (думал я) пойду поздравлю Машу с именинами в текущем письме, а так нет никакой охоты двигаться. И вдруг – вместо этого – открытка! Сперва мелькнуло: из прошлых, смотрю – нет, из сегодняшних, открытка, в самом деле открытка от 10-го числа с Суздалем на обложке, прилетевшая с быстротой телеграммы, за четыре дня. И хотя в ней ты опять ничего не пишешь о своем физическом состоянии, она так и сияет своей интонацией, словно тебе тоже свидание пошло на пользу, а не только устала, а мне такое сознание – что тебе это в утешение и в достаток – самое главное.

Вот мы и с праздником!

Это еще важно потому, что я тут прочитал «Неделю как неделю»* и несколько огорчился. Как и думал, похоже на сочинения об одном дне, только хуже. Но дело не в прозе (где нет ни жены, ни мужа, ни ребенка, ни работы, а только одни автобусы из «Антон-Горемыки»), а в жизни, которая даже в худшие времена складывается не так и не туда. Взять хотя бы дом, это не дом, а жилплощадь, ровное место, перед которым даже сгустившиеся соседи с керосинкой в комнате слаще, потому что их густота говорит о границе, о разделении на лес и поле, на свое и чужое, на вареное и сырое, и так было у индейцев и в сказке, где черти назывались «не наши», оттого что было известно, где дом, а где ночь. А из описанных недель ни одной сказки не выжмешь, но не выдумывались же они от скуки, а сидели в жизни, в быту.

Нет-нет, никаких романтизмов, исчерпавших себя сферой воображения. Романтизм сидит и хнычет: где русалка – нету русалки. А русалке пора показаться и решительно перейти в наступление – ее нет на жилплощади, но она есть в доме.

Опять же твоя открытка все это опровергает и возвращает нас к самим себе. И я под ее влиянием веселее смотрю и на дождь, и на снег. Вот, полагал, о снеге ничего больше уже не придумаю. Но нет – снег хорош тем, что идет ни к чему и дает лишь косвенную пользу. Снег безо всяких намерений. Не то что дождь. Даже не то что солнце. Он бескорыстен, бесцелен.

– Конь такой белый, что его и не видно, когда он по снегу скачет.

Поздравляю тебя, Машечка, с именинами!

14 апреля.

Мы слишком привыкли, что из спички вылетает огонь, а детям все это неожиданно и любопытно. И что собаки лают и петьухи поют.

Не знаю, есть ли у Егорыча какой-нибудь календарик с картинками, по которым бы он видел, что когда бывает, и знаком ли он с круговоротом природы: ведь это очень интересно – весна, зима.

А я тут мимоходом узнал уникальный способ излечения от рака. Одному старику, который совсем помирал, один сведущий фельдшер на свой страх и риск ввел в вену обыкновенный

раствор марганцовки («если б врачи видели, они б с ума посходили!»). Один всего раз впрыснул, и через три дня бывший умирающий выбивал чечетку: полное излечение.

Плакун-трава помогает от начальства и хранит от стражи.

Мать-мачеха заживляет раны.

Ярутка полевая и Сурепка обыкновенная: отправьте на сенокос.

– Либо дураком тебя признать, либо здоровым – в любом случае вилы.

– Все дивлятся на меня, як на тигра.

– Одна минута молчанки.

– Мура! Я тебе поп.

– Так и сгинул от мужицкой руки – как свинья.

– Если б взял я тогда 800 рублей и часы, давно бы был на воле.

– Утром проснулся и слышу: космос кричит.

Еще неожиданность: получил сегодня письмецо от Надежды Васильевны, очень трогательное, немного странное: пишет, что еще сильнее не верит в тот свет и очень хочет жить. А письмецо от 7.IV и похоже на рассказ Бальзака «Обедня атеиста».

Вообще в первоизданном виде некоторые научные образы рисуются весьма фантастически. Воображаю провинциального папочку*, с пылкостью неопфита показывающего в волшебный фонарь, каким сверхъестественным шаром была Земля и как произошел человек из обезьяны. Это похоже на фокусы, на демонстрацию чуда, в котором роль Провидения занята извержением Вулкана. Вулкан должен быть из железа, и его нужно долго строить: чтобы сработало. Как это прекрасно и какая во всем этом божественная игра!

15 апреля.

Из древнерусских текстов. Содержание довольно известно и восходит к Златоусту. Но язык – язык уникален:

«Г-ди, аще хошу аще не хошу спаси мя, понеже бо аз яко кал любовещный греховныя скверны желаю, но Ты яко благ и всеилен можеш ми возбранити. Аще бо праведнаго помилуеши ничто же велие, аще чистаго спасеши ничто же дивно, достойны бо суть милости Твоя. Но на мне паче, Владыко, окаяннем и греш-

нем и скверном удиви милость Свою, покажи благоутробие Свое, Тебе бо оставлен есмь нищий, обнищах всеми благими делы. Г-ди, спаси мя, милости Твоея ради, яко благословен еси во веки, аминь» (цит. по «Собр. русских летописей», т. XIV).

16 апреля.

В последнее время появилось несколько книг о Византии. Одна из них (А.П.Каждан. Византийская культура (X–XII вв.). М., 1968) содержит интересные факты – о расхождении церковью Восточной и Западной. В частности, излагается вопрос о «филиокве», ставший с 9 века одним из основных пунктов расхождения. Он касается соотношения лиц Троицы и буквально означает лат. «и от сына», введенное на Западе в дополнение кработанному в IV в. символу веры. К известному у нас утверждению (и так было вначале) о Духе: «иже от Отца исходящаго» Зап. церковь добавляла «и от Сына».

На первый взгляд, восточная формулировка умаляет Дух. Но Каждан – и этим он любопытен – показывает, что дело обстоит по-иному. В действительности православие, по сравнению с католичеством, придавало Духу бóльшую роль, и это сказалось в неприятии «филиокве».

«...В западной концепции отношения Духа и Сына становятся не взаимными, основанными на равенстве, но односторонними: Дух исходит от Сына, имеет в Сыне свое начало. ... В западном христианстве подчеркивается христологичность, тогда как восточное оказывается по преимуществу пневматологичным («пневма» – по-греч. «дух»). В соответствии с этим для западного богослова воплощение второго лица Троицы заключает в себе всю суть акта спасения, а сошествие св. Духа на апостолов (в Пятидесятницу) оказывается только простым дополнением к воплощению. Дух превращается в «агента» Христа. Вот почему в убранстве западного храма доминирует образ Христа (распятие), тогда как в византийских церквях сцена Пятидесятницы занимает одно из центральных мест.

В символике средневековья со св. Духом связывалась сфера индивидуальных отношений человека с божеством, с Христом же – деятельность церкви как института. Христологический акцент западной теологии как бы возвеличивал иерархическую и корпора-

тивную сторону церкви (и, в частности, роль таинств) в противоположность византийскому индивидуализму, освящаемому пневматологическим аспектом.

Далее, западная концепция создавала представление о божестве как о замкнутой сущности, внутри которой четко разграничиваются отдельные лица. Аристократическая замкнутость божественной сущности в западной концепции как бы заслоняла идею о снятии раздвоенности неба и земли. Напротив, византийская церковь исходила из своего рода «теологии преображения», подчеркивая – особенно благодаря учению об энергиях – и возможность перехода от божественного к тварному, и обратную возможность – «обожение» (термин, выдвинутый в III в. александрийским богословом Оригеном и принятый затем Афанасием Александрийским) человека.

Наконец, греческие богословы настоятельно подчеркивали монархическое начало Троицы: в полемике с латинянами они постоянно повторяли слова Василия Великого о том, что Бог-Сын и св. Дух являются десницей и шуйцей Бога-Отца. Бог-Отец рассматривался как единый и общий источник двух других лиц Троицы.

...Напротив, добавление «филиокве» подчеркивало не монархический, а иерархический принцип в соотношении лиц Троицы. В соответствии с добавлением к символу веры оказывалось, что только Бог-Сын рожден непосредственно Отцом, тогда как Дух исходит и от того, и от другого». Стр. 149–151.

Заметны натяжки у Каждана: сцена Пятидесятницы в православных росписях, вероятно, не играла такой же центральной роли, как распятие на Западе. С монархичностью Символа веры – сомнительно. Но на место этих соображений (кстати, у Каждана никуда не ведущих) можно подставить иные: роль Троицы у нас, связанная, очевидно, акцентом на третьем члене (праздник-то Троицы и есть сошествие Духа). То, что в начале Московской Руси – Троицкая лавра; то, что знаменитейшая икона – Троица Рублева. То, что Пасха берет верх над Рождеством. То, что очень важны Успение и Преображение. А в исторических институтах – старчество, стяжание Духа у Серафима как высшая цель. И сюда же подверстывается отказ от «филиокве» – предоставление Духу больших полномочий, по сравнению с Западом.

Что же до монархизма, то на Византийской почве он интересен бесструктурностью, неиерархичностью постройки, держащейся на одном обожествленном лице императора. Западному: сюзерен и рыцари – восточный: государь и холопы. Из того же Каждана (по другому источнику – «Византия: общество и церковь» – журн. «Наука и религия», 1968, № 8):

«Западноевропейское общество классического средневековья предстает перед нами пронизанным принципом иерархичности – византийцев эта иерархичность удивляла. Византийской общественной мысли была свойственна иная конструкция, отвечавшая традициям раннего христианства. В начале X века константинопольский патриарх Николай Мистик трактовал Византийскую империю как общину, все жители которой связаны общностью судьбы. Законодатели обращались к подданным как к равно любимым детям общего отца – императора. Подчеркивалось, что все люди, будь они царями, начальниками или живущими подаянием нищими, – потомки одного праотца, Адама. Как известно, аналогичная формула в Англии стала в XIV веке лозунгом крестьянского восстания.

Эта мнимодемократическая фразеология соответствовала тому, что в Византии длительное время существовал принцип вертикальной подвижности. Сословной корпоративности здесь не было, и правящая элита составляла открытый общественный слой, доступ в который обуславливался не наследственными, а личными достоинствами человека. ...Блестящая карьера, включая императорский престол, была доступна в Византии выходцам из любых социальных слоев, даже бывшим рабам. Происхождение «из низов» не налагало позорного пятна – напротив, византийские вельможи гордились тем, что императорская десница вознесла их «из самой грязи»...». Стр. 83.

«Положение византийского аристократа было неустойчиво. Его продвижение зависело от императорской воли или от игры случая, и он был бессилен против императорской немилости. Конфискация имущества, ссылка, заключение в тюрьму, позорящие наказания (публичная порка) угрожали ему, как и всякому другому. Его экономическое благосостояние больше зиждилось на жаловании и на подарках, выдаваемых казной, на злоупотреблении служебным положением и взяточничестве, нежели на земельной собственности». С. 84.

Зачем я все это выписываю? Вот зачем. Получается довольно стройная картина доминирующих в Византии начал (разумеется, не причины и следствия, а параллелизмы), позволяющих вывести акцент на Духе в св. Троице – и соответственно в культуре преобладание духовного над формальным. Подвижность Духа, который веет, где хочет, нисходя на любого отшельника и даже, не побоюсь сказать, скомороха («Вавило и скоморохи»), и подвижность человека на общественной лестнице, откуда он может свалиться из князи в грязь и наоборот (вспомним возмущение Пушкина в «Моей родословной»). Ничего постоянного, ветер, любая перетасовка возможна в этой бесструктурной, аморфной каше, – и как обратный эффект, как реакция – застылость, неподвижность, которая наблюдается в лице того же Базилевса: кого угодно казнит и милует, а сам едва ходит под тяжестью царских регалий, одежд, выстаивая часами – представительный манекен, ткни его пальцем, и свалится, нет его выше, могущественнее и нет бессильнее. Разве это не то же отсутствие формы, оборачивающейся (чтоб не сдуло Духом) коростой обряда, льдом, византийским консерватизмом? А лицевая сторона – выскочки, как блохи, скачущие из рабов в императоры. Отсутствие четких границ в собственном доме, столь разительное рядом с огородами средневековой Европы. «Сельская община была здесь довольно рыхлой. Общность византийской деревни выступала не столько как связь всех односельчан, сколько как совокупность межсоседских связей. Не односельчанин, а непосредственный сосед пользовался определенными правами на чужой участок: сосед имел право рубить там дрова, пасти скот, собирать каштаны. Более того, соседи получали так называемое предпочтение или право на преимущественную покупку. При продаже надела крестьянин обязан был предложить его прежде всего родственникам, совладельцам и соседям и только после их отказа мог продать землю постороннему лицу» (там же, стр. 80).

Это не дом моя крепость, а тепло бока, добрососедство, не мешавшее сочетать фамильярность с предательством, средневековое равенство, в отличие от иерархии, круглый храм с куполом вместо шпиля. При полном отсутствии куртуазной литературы, рыцарской (*à la шпиль*) страсти к даме – появление супружеской «Повести о Петре и Февронии» взамен Тристана с Изольдой

(с их готическим томлением, поисками друг друга, с вечным вожделением достичь недостижимое – Фауст). А тут почти старосветские помещики, Адам и Ева, чье благополучное супружество, чье мещанское счастье освящено и облагорожено тем, что теплое гнездо вьется посреди пустыни и губительных вихрей, когда души с цепей сорвались, и плывет ладьей человечности посередине житейских волнений, ковчегом, последним прибежищем. Каждый: «Идеалом семейных отношений в Византии была не римская неограниченная и беспрекословная отцовская власть, но неразрывная духовная близость супругов, “словно не две души у них, а одна”» (там же).

Кстати, как это ни далеко, ни вещественно, идея брака со сливанием душ в одном теле звучит земной параллелью к духовным упражнениям старцев с их стяжанием Духа и забвением, в теле они или вне тела.

И кстати же, я не знаю сильнее произведения, посвященного узам супружества, чем «Повесть о Петре и Февронии», вся перевитая нитью, с которой началась эта встреча – ткала полотно, а рядом плясал заяц – и до последнего жеста, когда, поспевая к усению вместе с супругом, воткнула иглу в недошитый воздух, обернув ее нитью (как догадался рассказчик упомянуть о такой малости в небольшом по размерам тексте – догадаться так гениальнее, чем найти иголку в стоге сена – а он нашел). Так вот, уже этот факт, что в первую пятерку лучших произведений Древней Руси войдет «Петр и Феврония», говорит об исключительности темы, которая в другой связи заставила не принять «филиокве» – в пользу «животворящего Господа».

Какой же вывод из всего этого можно сделать? Только один: хотя в запасе в прошлом имелась Древняя Греция, скульптура не привилась на византийской почве. Вместо скульптуры получилась живопись.

17–18 апреля.

Еще интересно, что стало с курицей*, которую мы так и не съели. Это я не к тому, что завидно, а просто живой интерес. Ты ведь, небось, не догадаешься отписать за курицу? Ну, ничего. Это вопрос риторический.

Зато как удачно получилось с пирожными, которые ты забы-

ла. Если б не забыла, то еще совесть мучила б. А так – не мучает, и на душе спокойно.

Все же когда-нибудь потом, в отдаленном будущем времени, привези мне, Маша, попробовать пирожные, и пускай они будут самые разные. Что-то я вроде бы по ним немного соскучился.

Еще жаль, не все эстетические пунктики в письме мы успели перечислить и остались нетронутые дворцы-фонтаны, натюрморты и интерьеры. Но мы это все когда-нибудь еще обсудим и обсмотрим – не правда ли? И я все равно доволен и рад, что тебе интересно, хотя устала и сердечко побаливало. Тут – в этом письме – я тоже несколько переборщил с Византией и Февронией в количестве материала, но все как-то разом собралось в кучку и взбрело на ум. Даром что нет под руками Тристана с Изольдой, а то бы можно было придумать чудесную параллель с Петром и Февронией. Я ею – Февронией – и раньше был очарован, ещё по «Софии»*, в переводе, а сейчас опять – и какая редчайшая связь иконописания и сказки, идущих обычно далеко друг от друга, а тут вдруг сошедшихся на любви к мудрой жене.

И вообще интересны парные портреты, типа Изольда – Феврония, Иван Грозный – Аввакум, Пугачев – Кондратий Селиванов. В Европе сложилась традиция биографий-монографий (Цвейг, Моруа), а любопытнее делать двойные, парные портреты, в духе Фаворского, с широкими переходами и воздухом. Словом, у них было много дела*.

Как вспомню, как ты вспоминала, как подбирала картинки к Украине*, так обливаюсь радостью.

Еще хорошо и просто счастье, что Егор с удовольствием ходит в группу и это не превратилось у него в скушную обязанность-работу. Ему очень повезло.

Но и твои колечки ведь интересны, хотя утруждают и ухаивают. Это снова к тому, что не критический реализм, не Григорович, а совсем по-другому. У меня вон в конвертике Бабу-ягу перепутали, и я очень смеялся, а ты говоришь, неделя как неделя.

А Петра и Февронию можно кончить словами Хлебникова (кажется, из поэмы «Поэт») о союзе Поэта, Богоматери и Русалки.

– Мне достаточно пять минут посмотреть на стену, чтобы ска-

зять, что вот в этой стене больше зла, а в той – меньше. Добро, правда, я различать еще не научился.

– Дьяволу все люди не нужны. Ему нужны некоторые. Я ему нужен. Но я не поддамся.

– Она была такая по сравнению со мной, что я никогда не считывал. И то меня друг толкнул. А она никому не жалела.

А у меня сегодня с утра на тумбочке в чашке (той самой, что ты снаряжала) стоит веточка вербы – длиной в один дециметр, с четырьмя шариками. И взглядывая на нее, я всякий раз тебя вспоминаю.

Сегодня вербное воскресенье. Цветоносие. А почему верба? А потому, что при северной природе нам нечем приветствовать въезд, кроме вербы, и вот она отвечает за все цветы и деревья.

Все никак не потеплеет. Но я тебя люблю, и это главное. Вхожу ли в пустую комнату или на чистый воздух, на солнышко или в темную ночь, как я им сейчас же объявляю о том, и мы сразу веселеем.

Обнимаю вас крепко и целую нежно, мои дети.

А.

19 апреля 1970.



Еще очень растрогала Нефертити... – Я писала Синявскому: «А еще я вообще за Нефертити. Вся жизнь и мы с тобой, и наши бабушки и дедушки совершенно точно знали, что она была прекрасна и что ее обожал Эхнатон. И всюду ее изображали рядом с Эхнатоном в мире, любви и согласии, и где-то внизу копошились ее длинноголовые дети, и каких еще фараоновских жен мы так хорошо представляем? А никаких...

А вдруг... некто Перепелкин (а фамилия-то какая несерьезная) сочиняет книжку («Тайна золотого гроба»), где, покопавшись в разных могилках, всему миру объясняется, что Эхнатон изменял Нефертити с какой-то заразой по имени Кийа (или Кайа – я от раздражения даже точное имя забыла, а пишу это в мастерской, так что проверить не могу)...

Стоило стараться и столько тысячелетий хранить верность этому Эхнатону, и всегда следовать за ним, и даже ссориться из-за его завиральных идей с предками и потомками, принимая их и в сердце, и в свою судьбу, чтобы вот так все кончить?

А копались археологи уже даже и не в белье, а в заупокойных сосудах для внутренностей, перебирая толстые и тонкие кишочки и рассуждая на темы этого ливера. Б-р-р...

Многое я прощала археологии, но эта история как-то очень уж нехороша собой».

...зеленый камешек твой, а Егоров – синий? – Так рассудил А.С. про камни в моем кольце.

...прочитал «Неделю как неделю»... – Повесть Наталии Баранской в «Новом мире», 1969, № 11.

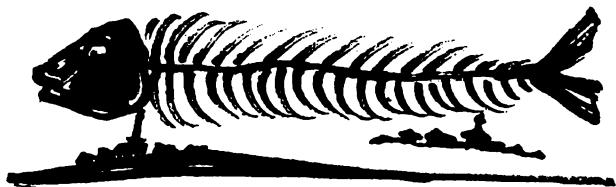
Воображаю провинциального папочку... – Отец А.С., Донат Евгеньевич Синявский, в 20-е годы в процессе борьбы с неграмотностью час-тенко читал научно-популярные лекции, сопровождая их показом диапозитивов.

...что стало с курицей... – Воспоминания А.С. о нашем личном свидании.

...еще по «Софии»... – В журнале «София» (1914, № 2) повесть «О Муромском князе Петре и о жене его Февронии» была напечатана в переводе на современный русский язык.

Словом, у них было много дела. – Фраза из первого (детского, шестилетнего) рассказа А.С. о карликах, которая стала нашей домашней присказкой.

...картинки к Украине... – «На окраине искусства» – наша статья в журнале «Декоративное искусство».



ПИСЬМО СОТОЕ

Сегодня у нас кинофильм «Секретарь обкома», который мы с тобой уже видели, и потому вместо кино я решил написать тебе немножко новое письмо. Тем более вчера получил первый после свидания № 89 с Егоровой арифметикой и милую открыточку, на которые хотелось бы побыстрее ответить.

От Егора я просто не ожидал таких способностей в математике, и даже минус знает, а не только плюс, и я не понимаю, за что нашему ребеночку поставили тройку. Все решено правильно, и я в таком возрасте ничего подобного не умел и, наверное поэтому, немножко беспокоюсь, как бы в его воспитании точные науки не возобладали над гуманитарными и он бы не полюбил больше считать, чем читать. Пусть Егорушка уж не очень увлекается этой арифметикой, а то я помню, как Пип Иваныч еще до школы хвалился, что умеет не только складывать, но и умножать и делить и поэтому станет инженером. Почему-то к этим знаниям, казавшимся мне недосягаемыми, я оставался равнодушным и не завидовал ему, хотя осознал его превосходство. Тут самое главное не научиться слишком рано решать разные хитроумные задачки, которые способны увлечь неопытного ребеночка и повести его бог знает куда.

Но тройка все равно поставлена несправедливо.

- А я проделал дырочку гвоздиком и всю историю вижу!
- И выгibal шею лебедем, упираясь ногами в землю. (О коне.)
- Образилия (вместо Бразилия – как прекрасно!)

22 апреля.

Индия. «История о Киртисене» (Сомадева «Океан сказаний»). Героиня размышляет о своей судьбе (была кинута в погреб, откуда прокопала подземный ход и вышла на волю):

«Затем, словно в утробу, где растет зародыш, я попала в подземелье. Потом по воле судьбы я освободилась, как будто снова на свет родилась». (Повести, сказки, притчи древней Индии. М., «Наука», 1964, стр. 148.)

Как в характере образов сказалось, что земля – мать и ее недра – утроба. Язык – могила мифа.

«История о Лохаджанчхе» (из того же «Океана»). Добиваясь прекрасной гетеры Рунаники, герой прилетает к ней на свидание верхом на птице и выдает себя за бога. «Я – божество, супруга Вишну! Я не должна разговаривать со смертными!» – с такой мыслью проснулась Рунаника утром и решила молчать». Стр. 125.

Фраза бросает свет на поведение многих сказочных, в том числе русских, персонажей, принимающих почему-либо обет молчания (вариант Незнайки, Неумойки и т.д.). Общение с высшими силами обязывает к молчанию. Что-то похожее было с Золушкой.

В *«Повести о плутах»* излагается (по Махабхарате и пуранам) история искушения Брахмы одной красоткой Тилоттамой (сотворенной художником Вишвакарманом и затмившей красотой богинь). «...В прекрасных одеждах пошла Тилоттама и стала распутывать перед творцом (Брахмой) нить танца. И этот танец, и то, как созерцает его Брахма, удивительно выражают стиль Индии – в слиянии скульптуры и танца, и мы словно видим, как движение прорастает лесом многоруких и многоликих существ. И понимаем, почему слон обитает в Индии: слон в ее стиле: хобот. И пхенские ужимки, и ракурсы, и зеркала интерьера. И как возникает образ: глаза предмета. На самом деле глаза растут у зрителя, но переносятся на картину, на образный ряд языка и храма, который смотрит по мере того, как мы в него вглядываемся. «Когда она это почувствовала, то, подобная реке, полной нектара и прелести, прошла в танце направо от него. Он же, очарованный ее красотой и преисполненный пылом любовным, чтобы непрестанно любоваться ее прелестью, сотворил себе другой лик, глядящий к югу, третий, на запад смотрящий, и четвертый, обращенный на север. Когда же проносилась она в прыжке над его головою, создал он себе и пятый лик, направленный вверх» (стр. 240).

Еще это похоже на дерево.

И на превращение Бразилии – в Бразилию.

Я в самом деле забыл тебе показать на свидании индийский способ лечения горла (в основном ангинных заболеваний). Попытаюсь описать, хотя это трудно, а делать это легко. Нужно несколько раз (рекомендуется – восемь) принять определенную позу – с перерывом на то, чтобы отдохнуть и отдышаться. Поза простая, но смешная: 1) вдохнуть возможно глубже воздух (стараясь, чтобы он заполнил нижнюю часть легких) и задержать дыхание, 2) присесть на корточки, сжав руками колени, 3) открыть возможно шире рот (не выдыхая воздуха и создавая тем самым в груди и в горле напряжение) и высунуть язык до отказа (это главное) и выпучить глаза. Посидев так несколько секунд, подняться и выдохнуть воздух. Суть этого положения заключается в нагнетании напряжения в районе грудной клетки и горла – для чего и делаются усилия, создающие как бы круг: стиснутые на коленях руки, высунутый язык, выпученные глаза.

Боюсь, Егор не поймет, и показать было бы проще, но в крайнем случае попробуй.

А я очень обрадован, Машенька, что ты мне старательно пишешь, и письма приходят на сей раз довольно быстро (90–92), и все они приятные, интересные и любимые. И на них сразу бросаются соседи по палате и, не успев я войти, встречают на улице, чтобы отдал марки, и эти Третьяковские марки*, в самом деле миленькие, пришлось сразу раздать. И очень смеялся про Искру*, что значит все-таки филологическое образование, но в ухаживаниях за видным мужчиной довольно похоже, хотя прототип скорее тяготеет к стриптизу, что, возможно, тоже отразилось на других характерах. И правильно у тебя про Центральную улицу*. Но как прикажешь понять фонарь на лбу у Егорыча – что же он, уже дерется с мальчишками и не желает признаваться?! Прискорбно и похвально, и все же от мамы, надеюсь, еще лет десять не должно быть секретов. И как по телефону разговаривал – тоже интересно, и вы у меня сладкие дети.

А со мной тут ужасно настаивают, чтобы я бросил курить и как это меня украсит, с главным доводом – какой пример будет Егору. Не знаю, может быть, где-то за полгода до срока попробовать бросить – как ты считаешь?

А мой желвак на виске лопнул, оказавшись чем-то вроде нарыва, и вытекло много крови и гноя, и опухоль заметно уменьши-

лась, хотя осталась, и, вероятно, останется след, но я доволен, что у него такое простое и обыкновенное объяснение, и наружное, а не внутреннее.

Возвращаясь к народной образности:

– Я еще плакать не умел по-русски.

– Ты меня не тревожь, чтобы я в праздник свой – не ругался.

– Это непотребные женщины любят, чтобы мужчина курил.

– Я не хочу ей голову крутить: я не знаю, что со мной завтра будет.

– Была у меня девка. И я думал: нету ей счастья, и мне нету счастья. И не какая-нибудь профура. Рыжеватенькая. Вот такого росточка. Но характер!..

– Перекрестись в душе тихонечко и пойдешь.

– Полкаши в папах.

– Спалился на пересылке.

– И я сегодня сижу на вашей подсудимой скамье...

– И я долго думал, почему у человека на губах колорит зла. Потом вспомнил: съели запретное яблоко.

А мне наконец-то, после долгих разочарований, прислали три книги наложенным платежом из Москвы и из Ленинграда – «Книга – почтой», на пять рублей. Не лучшее, что я просил, но все-таки: 1) Абрамова «Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии», 2) Эпические сказания народов южного Китая (уцененные чуть ли не до 15 коп.), 3) Новонайденные неопубликованные рукописи Древней Руси (старания Малышева*). Последняя особенно вдохновляет.

Сегодня послал Егору первомайскую открытку. И оттого, что от вас недавно было много писем, и потому, что погода вдруг повернула на тепло, настроение у меня сейчас самое распрекрасное. А погода в самом деле повернула, и после всех ветров-холодов показалось солнышко – словно к празднику.

Христос Воскрес!

25 апреля.

И трава прямо на глазах зеленеет. И я сегодня первый раз сидел часика два на травке, подстелив ватник. И солнце сияет как на Пасху. С утра, правда, немного туманилось, и я не сумел увидеть, как солнце играет. Говорят, оно ранним утром

на Пасху обыкновенно играет: диск вертится. Надо бы посмотреть.

А мы немножко полакомились – сыром из ларька и шоколадкой со свидания, что я прикопил. А вечером съедим банку каши.

И я сегодня в обновке – в лиловой майке, что ты привезла осенью. И чувствую себя в ней красивым и помолодевшим: уж очень она чистая и яркая. И надел новые носки. Действительно, приятно иногда наряжаться. А тебя я люблю безраздельно и безнадёжно.

(– Почему безнадёжно? – Потому что очень сильно. И потому, что мне очень хорошо, когда о тебе думаю и вспоминаю.)

26 апреля.

Все-таки ужасно приятно получить от тебя внеочередную, незаномерованную открытку. Это как банка гречневой каши с мясом – сверх программы. И Егорыч в этой открытке хорошо играет в кубики. Только сейчас понял, что кубики и буквы одного отца дети.

Мы же со страстной субботы твердо перешли на тепло. Об этом вернее всех оповестили пчелы. – Пчелы прилетели – значит, уже зима не вернется! – это я услышал три дня назад и удивился сочетанию: грачи прилетели, только пчелы тверже.

А сегодня уже рокотал первый гром.

Маврина на открытках, конечно, приятна, но уж больно ее уют повсюду последнее время. Даже в «Знание – силу» попала. Точно нет больше художника. Свет клином сошелся, и вдруг всем подавай Маврину.

А я вспомнил офорты Плавинского*: умничка.

– Ты со мной не киськайся, я тебе не ребенок!

– Вы воба для меня одинаковые псы.

Еще по радио сказали, что Тур Хейердал отправляется в плаванье на папирусной лодке «Ра-2». И ты, Брут? Не ожидал от Хейердала. А если бы ему пришлось плыть по какому-нибудь старинному исламскому маршруту, он бы что, лодку назвал «Аллах-4»?! Куда делись уши?

Зато птички разговаривают по-старинному, и, слушая их, убеждаешься, что существует птичий язык, в изучении которого и состояла в прошлом самая большая наука. Тут один знакомый

видел хороший сон (ему вообще везет – удивительные сны видит, хотя сам человек обычный, но подсознание – сказочное). Будто сидит на окне птица с длинным клювом и он ей говорит, как это бывает у нас в общении со всякой живностью: – Ты меня не бойся! – А птица вдруг отвечает: – А я и не боюсь! – И с этого у них начался разговор, чем-то очень важный, смысл которого он, к сожалению, забыл.

Правда, сладкий сон?

28 апреля.

Проверил о Духе, и все подтверждается. В частности, роль Троицы в Древней Руси. До конца не ясен обычай: зелень на Троицу. Догадка: раз животворящего (более древний вариант – истинного и животворящего – еще сильнее акцент на третьем члене), то и вносим растения: в знак жизни. Возражений нет. Как гипотетический ход возможен. Но текстуальных доказательств пока не имеется, и надо еще уточнить.

Еще София. Откуда она? Почему и в Греции, и на Руси в центре София? Догадки: 1) Седьм столпов, на которых храм (Премудрость созда себе храм...), – семь вселенских соборов. Ими-то, соборами, руководствовал Дух (кстати, проверить, сколько столбов было в Киевской, Новгородской и Царьградской Софиях). 2) Вселенскость (и через соборы, и через образ Соломонова Храма, созданного Премудростью). Может быть, покудова была цела Византия, еще существовали претензии на вселенский охват. С концом Византии, замененной Третьим Римом, все перешло на Троицу – тем более для сохранности и утверждения истинного Символа веры, в противовес папству.

София несколько туманна для нас, далека, облачна. Даже несколько женственна, как и формы Киевской и Суздальской – домонгольской Руси, где, представляется, преобладал более мягкий, более славянский, что ли, не вполне определившийся, воздушный почерк культуры, получившей с Троицей, с Московской Русью более ясные, твердые и мужские сочетания. Дух и там веял – вокруг Софии. С Троицей он прояснил, узаконился. XV век – прекрасное начало – еще балансирует на грани прошлой мягкости и будущей твердости. Поэтому рублевская Троица еще не вполне тверда. Ею подведен итог и Софии.

(Все это, конечно, по одним ощущениям, по оттенкам, на слух, на авось, – а не категорично.)

29 апреля.

Что значит весна: березы в один день оделись в зелень. Ковыряюсь в сказке и предлагаю твоему вниманию два изразца, для удобства четвертый и пятый (в третьем, где Анастасия Прекрасная, – чтоб не забыть, поправка: «носит высокое звание»).

(4) «...Вдруг собака его залаяла, и песья шерсть на ней щетиною встала». Песья шерсть, очевидно, удваивает собаку; та сразу кажется больше, полномочнее, громогласнее; мы ярче воспринимаем: собака, собачья пасть.

Повторение и утроение признака, к которым прибегает рассказчик, говорят все о той же верности вещи своему наименованию. Трехголовый змей – это трижды змей, змей в превосходной степени. Возведите собаку в куб, и вы получите Цербера.

Тавтология становится способом поддержания и закрепления качества, которое, кроме себя, ни о чем не желает знать и видит истину контурно, крупно и капитально – на свой салтык. Все берется на вырост, с запасом, с оглядкой на постоянство избранного имени; предметы вертятся вокруг своей оси, как сказка о белом бычке, начинающаяся вечно сначала, и определяются через себя, выбрасывая в виде эпитета собственный дубликат. Князь Княжевич, Король Королевич, Змей Змеевич...

Запрет на масло масляное здесь не уместен. Масло всегда масляное.

Народу вообще по нраву идеальное равенство. Закон тождества, парад близнецов. Волос в волос, голос в голос. Но в перезвон повторов, которыми красен фольклор, помимо прочего вкрадывается склонность к преувеличенной точности, к навязчивому подтверждению сказанного идентичными формами речи, которые как бы исчерпывают принятое к обращению слово и преподносят его с обстоятельностью обряда.

У слова здесь тяжелая поступь и долгий отзыв. Оно следует путем пережевывания преждереченных спряжений, допытываясь в новых подробностях до старого основания. Оно хочет в процессе рассказывания высказаться до конца – до своего исходного образа. В итоге стирается грань между качеством и количеством ве-

щи, узнаванием и умножением признака, прилагательным и существительным, и самый сюжет иногда обращается в сплошное поддакивание и потакание произнесенному имени, ради своего уяснения складывающемуся в сказку.

Любое значение здесь в принципе тяготеет к гиперболе, частность – к повторению целого. Весна здесь так же красна, как «хлебы хлебисты, ярицы яристы, пшеницы пшенисты, ржи колосисты».

Все воспроизводит себя в оптимальном варианте. Если кто-то сидит, то уж непременно – на стуле (на троне), благодаря чему сидение доводится до кондиции: сиднем сидит. Сказочные персонажи сидят, ходят, пьют, спят, живут и умирают тотально – на полное, до износа, использование призванного к осуществлению действия. Стереотипные жесты схватывают случившееся в его чистом и законченном виде. После них в развитии признака надо ставить точку: «в ту же минуту закрыл глаза и пал на помост совсем мертвый».

Старым повествовательным жанрам не свойственно рисование. Словесный текст никогда не достигает здесь настоящей наглядности. Событие, как правило, излагалось в общих чертах, несколько со стороны, отрешенно, без определенных намерений выставить его напоказ, непосредственно перед глазами. Сказочник мыслил действительность не картинами, а речевыми периодами, облакавшими сюжетную схему в неторопливое течение времени: жил-был, шел-шел, тянут-потянут.

Однако замедленность речи, жаждавшей полноты, точности и завершенности оборотов, все же играла на руку инсценированию событий, впускаемому незаметно туда, где никакая сцена, понятно, не предусматривалась. К тому невольно подводит сама же, сгущенная в сказке, повествовательность языка, рассчитанная всецело на слух и сближающая произношение с прохождением маршрута героями, задающая тон, и темп, и необходимый роздых рассказчику для плавного и свободного управления сюжетом и голосом.

Рассказывание перерастает в растягивание и демонстрацию речевого участка, на котором удерживается, застаивается умственный взгляд. Затяжка уподобляется кадру, попавшему в поле сознания и дающему время проникнуться своим колоритом.

Дважды произнесенное слово звучит более образно, нежели то же слово, взятое однократно. «Шел-шел» – это уже некое живописание шествия.

Не теряя повествовательных качеств, напротив, при их содействии сказка в моменты повышенной речевой интенсивности набухает изобразительной силой. «Летит туча тучей, бежит полк полком!» В такого рода, казалось бы, ничего не сулящих повторах содержится, по существу, уже элемент наглядности. Пятно, обведенное контуром, запечатлевается на сетчатке. Собаку в песьей шерсти лучше видишь.

«Постоял-постоял, подождал-подождал Иван-королевич и с горем воротился один домой; тошно у него было на животе, холодно на сердце...» Торможением достигается то, что названная эмоция перестает быть только названной и превращается в зримую. Пока мы топчемся с Иваном на месте, оно – это место – засасывает нас и делает соучастниками Ивановой драмы.

Поэтому, в частности, сказку нельзя слишком быстро рассказывать. Она требует затяжек – рассматривания. Она знает, что поэзия – это по меньшей мере удвоенная, если не учетверенная, речь.

* * *

(5) Русская сказка, сдается, по сравнению с другими народами, больше держится на языке. Там, где другие сказки оставили потомству лишь голый ствол сюжета, она с головы до ног покрыта орнаментом речи и разрастается дебрями всевозможных образных средств. Она пробует голос и строит рожи, как если бы прошлое бродило в ее корнях еще не вполне ушедшими соками. Поэтому русская сказка кажется часто новее и современнее своих иноплеменных товаров: архаика для нее все еще актуальна и чувствует здесь себя еще достаточно молодо, чтобы пускаться побеги в живое произношение. Не оттого ли традиции сказки и народного сказа так прижились у нас в стихе и прозе, вплоть до XX века, и дальше, Бог даст, еще себя покажут?

1–2 мая.

(6) «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». На самом же деле сказка сказывается долго – дольше, чем обещает, тог-

да как дело совершается в ней сравнительно быстро – скорее, чем слагается речь. Убить змея недолго, но вот добираться до него далеко, и эта дальность расстояний учитывается интонацией, оставляющей всегда впечатление длительного пути. Протяженность речи соотносится на слух с предстоящей герою поездкой, хотя собираться в дорогу он может много дольше, чем непосредственно ехать по ней. Тут важны, разумеется, не действительные масштаб и подсчет, а общий эффект удлинённости, ощущение совместно с героем проделанного маршрута, напетое слогом и голосом. Сама неспешность зевоты: «Скоро сказка сказывается...» настраивает на другое: ох, и далеко же им ехать! – и требуется затем, чтобы лишний раз отвлечься, замешкаться, поговорить на тему пути.

Подобными отговорками – «долго ли, коротко ли», «много ли, мало ли прошло», «близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли» – вносится акцент относительности в измерение места и времени, с задней мыслью смешать на этой неопределенной основе и сплести воедино пройденное сказом и шагом. Сказка нарочно теряет точную меру пути и неопределенно-тягучими формулами добивается синхронности разноплановых, в общем, и несоизмеримых движений. Строго говоря, небольшой отрезок повествования удлиняется во всю проблематичную ленту дороги. «Близко ли, далеко ли», а время идет, и мы едем-едем, и речь, как тень, тащится за подводой и упирается головой в горизонт. «Долго ли, коротко ли» – а в общем получается довольно долго.

Нужно помнить, что сказка рассказывается каким-то далеким голосом, медленнее, чем мы обычно говорим и читаем, что в ее изложении принимают участие вздохи и остановки, неподвижность позы и неторопливая пантомима рассказывания, намеренная тягучесть, певучесть. Умеряют ее долгую скорость и однообразие лексикона, и периодическое членение текста, разделенного на этапы или отрезки пути, – постепенность слова и действия в буквальном смысле – по степеням, по ступеням – на два, на три счета – шаг за шагом, подчеркивающим длительность нарастания, многомерность и монофонность движения.

Ее ритм – ритм пути, ее самая общая форма – дорога. Кочующий, качающий ход коня.

Сказки и былины почти всегда предусматривают поездку. Она – необходимый их компонент, такой же, как конь, знающий сам,

куда и зачем ему ехать. «Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещи каурки». В более обширном значении сказка начинается с долгой дороги, по которой едут на чем повезет – на корабле, на сером волке, на чорте. Среди волшебных предметов первое место занимают средства связи и транспорта.

Если некуда ехать, то не о чем и нечем рассказывать. Движение по дороге влечет всю связанную обозом и стронувшуюся словесную массу. Дороге мы обязаны чувством раздолья, обзора, которым, сквозь плотную кладку, тянет из этих рассказов, – эпическое дыхание жанра. Эпическое движение преодолевает пространство, переводя его в повествовательный слог, в речевое время. Для этого оно сближает понятия «протяжность» и «протяженность», обменивая одно на другое, вмещая в потерявшие счет, растянутые на версты минуты то, что пройдено за три года, за тридцать лет.

Еще день за днем как будто дождь дождит,
Да и неделя за неделей как река бежит...

Это не река течет, а речь.

Распутье у трех дорог, с вечной дилеммой – куда ехать, общее у сказки с былиной, сулит расставание: былина отправляется в поле, в историю, в геройские подвиги, сказка – в лес, по дрова, по своим доисторическим тропкам. Ее пути неисповедимы. Она норовит проехать не в Киев, а в иное царство, под землю, в Америку, на тот свет.

Позднее, в исторических песнях, заменивших былину, дорога как-то бледнеет перед лицом событий. То же заметно в бескрайных бытовых сказках. Очевидно, это свидетельствует о падении жанра. В мощных повествованиях, в достойных Бога полотнах всюду встает – дорога. Подлинны былина и сказка мимоходом воспринимают события, чаще – как детали пути.

Лирика и драма стоят на месте. Эпос всегда куда-то едет. Эпос – дорожная повесть народов, снявшихся с места, ищущих дом, устремившихся прочь от дома. От «Одиссеи» до «Мертвых Душ», с Дон-Кихотом за Колобком. Пора мореплавания, эпоха великих открытий открыла современный роман. «Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился...

Я у дедушки ушел, Я у бабушки ушел...»
Следует перечисление станций.

3 мая.

Моя золотая Маша!

Думал – два, а получилось – три. Но ведь и дней-то тоже было три – выходных. <...>

Сегодня ходил на работу без ватника, работал в тапочках. Ботинки тоже помогают. Я так к ним пристрастился, что, если б знал раньше, всегда бы ботинки носил.

Шапки тоже. Летних шапок достал сразу две. И ношу на перемену. Одна штатская, со славянофильским уклоном. В ней, говорят, похож я на деда Мазая. Тоже неплохо.

Про тебя все занят умильными воспоминаниями. Например, вспомнил колченогую сволочь* и очень развеселился. Или удивление – что ты простого мыла не любишь. А я и не знал за тобой такого, хотя сколько уже лет. Но для тебя тоже иногда новость. Творожок со сметанкой. И очень было приятно и дорого, что все объяснил. А ты и не зная – повторяла. Как бывает.

– Я говорил несвязно, но мысль свою удерживал. Вы, говорю, господа, меня не гипнотизируйте!..

А как ты себя чувствуешь? И не болеешь ли? И послушалась ли ты меня – работать немножко не в таком уж темпе и заботиться о себе?

Очень я вас люблю, мои детки, и будьте, пожалуйста, здоровы и умничками.

Обнимаю и целую.

А.

4 мая 1970.



...эти Третьяковские марки... – Я старалась развлечь А.С., наклеивая на письма самые разные и иногда очень красивые, а иногда многозначительные марки. От серии Третьяковской галереи или Эрмитажной до юбилейной «50 лет ВЧК-КГБ».

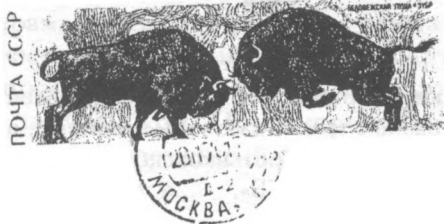
И очень смеялся про Искру... – Из моего письма: «А еще мне рассказали, как однажды в малознакомой компании кто-то стал очень жалеть жену Вити Кочетова: уж больно он ее непривлекательно описал в своей повести, и тут какая-то дама сказала, что: ах, не жалейте меня, это он бывшую жену так некрасиво изложил, а меня он сделал Ией. (В девичестве эту даму звали Искрой Денисовой.) Вот тебе и продолжение литературы».

...про Центральную улицу. – Егор меня спрашивал, как называется папина улица, но так как в лагерном поселке улица была только одна, я сказала ребеночку, что она – Центральная.

Малышев В.И. (1910–1976) – археограф, исследователь творчества Аввакума. Основатель древлехранилища Пушкинского Дома.

...офорты Плавинского... – Дмитрий Плавинский, известный художник-нонконформист поколения 60-х годов. Живет в Нью-Йорке и в Москве.

...вспомнил колченогую сволочь... – Уже неоднократно упоминалось, что многие друзья и родственники Ю.Даниэля заняли по отношению к Синявским позицию достаточно некрасивую. И вот однажды ближайший, еще школьный друг Даниэля Михаил Бурас (1925–1993), с которым я случайно встретилась месяца через полтора после ареста мужиков, яростно направил на меня указательный палец и выкрикнул: «Я бы твоего Андрея собственными руками расстрелял!» «Ах ты сволочь колченогая», – сказала я в ответ инвалиду Великой Отечественной войны, и не было мне стыдно ни тогда, ни теперь.



ПИСЬМО СТО ПЕРВОЕ

Милая Машенька, у меня на тумбочке (чуть было не сказал – на балконе) стоит букет полевых цветов, собранных в зоне, и от него нельзя оторваться, и я смотрю на него и люблю тебя.

И вот уже лето проехало на тройке гнедых коней: Июнь, Июль, Август. Сегодня мы ели салат из одуванчиков. Если в них добавить немного соли, перца, крапивы, растительного масла и лука, то получается довольно съедобно. Желательно еще кваса добавить.

В мае мне к ларьку добавили праздничных два рубля. И я послал вам две дополнительные открытки, Егору – с 1 Мая, и тебе – с Днем Победы.

Генка общему знакомому прислал свою фотографию – в шляпе, похож на Пушкина, очень странно и мило видеть его в шляпе. А сыночек его два месяца лежал в Педиатрическом институте – грипп с пневмонией и осложнением на уши. Так что тоже с малолетства приходится испытывать ужасы – ведь ихний Андрюша еще даже не говорит. Но сейчас, слава Богу, все здоровы.

А у нас в лесу кукует кукушка. Давно я ее не слышал.

Видимо, Сивка-бурка меняет масть, оборачивается то сивой, то бурой. А в чеченском фольклоре конь именуется морским конем (есть еще другое название – простое). Морского коня еще надо объездить. Он из-под (?) моря. Вспомни – в Индии море тоже его колыбель. И кони Посейдона.

Подошел золотарь Толик и начал рассказывать, сколько бочек он успел вывезти за последний месяц. Надо же с кем-то поделиться.

– Чеси по Чехову! (В смысле – ври, заливай.)

Там же, в чеченских преданиях, живший в 19-м веке самый

большой святой – по имени Кунта-Хаджи – без труда обнаружил искусника, спрятавшегося в ухе коня. То был заезжий шейх, испытывавший силу святого, но в более широком значении допустимо предположить, что это был языческий волхв и прозорливость Кунта-Хаджи знаменовала победу ислама. Прятаться в ухе коня – очевидно древняя магия. Иван пролезает сквозь Сивки-буркины уши, уже владея, значит, магическим даром уменьшаться и увеличиваться, сколько захочется (ср. йогистику Индии, где делается сколь угодно большим или малым – входит в число 8-ми основных достижений). Пролезание сквозь что-то входит в технологию оборотничества.

Это я к тому, что долго думал и мучился, как мог Иван-дурак залезать в ухо к Сивке-бурке и там преображаться. Оказывается, вон как дело-то было.

Букетик у меня на столе состоит из лютиков и еще каких-то удивительно ярких фиолетовых петушков. И вообще окраска цветка, если в нее взглядеться, похожа на переливы драгоценных камней.

А Сивка-бурка может быть и сразу двухцветным. Летающий конь, например, в образе которого однажды возродился Ботхисаттва, – «был белый, с головой черной, как у ворона» (Джатана о летающем коне, стр. 39). Но я бы лично предпочел, чтобы он менял свою масть в зависимости от настроения.

7 мая 1970.

Получил от тебя кучку писем. Сначала – еще раньше – пришло 96-е – а потом три недостающих до этого номера, плюс рождественская открытка. И конвертики сплошь в цветочках, так что от одного их вида сразу становится весело и нежно. Патриаршие пруды привлекательны и местом, и названием, и литературной традицией (Мастер-то там жил)*. Многонаселенную же квартиру (идея в принципе правильная) следовало бы сперва изучить в смысле состава. Чтобы побольше серьезных людей и поменьше домохозяек, которым нечего делать, и вот они бесятся.

Тихие игры с Егорычем тоже очень нравятся, и дай Бог почаще нам так играть. Слегка смущают, правда, автомобили: лучше бы звери, и вообще бы все прекрасное было живым и добрым. Я понимаю: выбор не велик. А все же поменьше автомобилей – ну их.

А мне тут говорят – пора Егорыча учить плавать, для чего его надо водить в школу плавания, куда принимают маленьких и легко и хорошо их учат, и что это очень развивает и укрепляет физически и является лучшей гарантией от всех болезней. Может, это и так, но только взваливать на тебя еще одну нагрузку – возить Егора в бассейн – я не решаюсь, да и потом что мы будем делать, если он начнет уплывать и там тонуть, – как мы его спасем? – правда, на это мне возражают, что дети, умеющие плавать, не тонут, – но я не знаю. Сам я, конечно, жалею, что меня так не учили, но, может быть, не всё сразу.

Теперь перейдем к науке. Существует предание (не известно чье и какое – возможно византийское): некто (как будто его звали Никита-воин) заказал икону, но мастер был язычником и не вполне владел традицией или не пожелал следовать ей, кто его знает? По-видимому, то был складень. Во всяком случае он что-то отливал из металла, из золота (?). И вот две части складня были сделаны правильно, а третью, центральную, он решил сотворить по своему вкусу и разумению. Но образ отлился не по его форме, а как требовалось по канону. Смутно припоминается, что сюжет был на тему Воздвижения честнаго и животворящего креста.

История хороша – к проблеме канона и подлинника и на что должна быть похожа икона.

Адрес другой истории известен более точно, это – апокрифическое и известное на Руси *«Сказание Афродитиана о чуде в персидской земле»*. В ней говорится, что идолы в персидской кумирнице радовались, предсказывая рождение Иисуса, и царь персидский, узнав об этом, послал в Иерусалим волхвов. Они и записали этот рассказ о своем путешествии на золотой доске. Найдя Богоматерь с Младенцем и удостоверившись, что это к Ним относилось пророчество идолов, волхвы воздают хвалу: «Мати матерям, вси бози перстии блажиша тя; хвала твоя велика, превознесеса паче всех человек». «Отроча же сидяще на земли яко второе лето ему, якоже сам глаголаше, мал приклад имый образ родившия (очевидно – мало походил на родительницу); сама же бяше высока телом, смагл блеск имущи, кругловатым лицом и власы увясты (кажется – густые, длинные) имущи. Мы же обою обличье написано (изображения обоих) имущи в страну свою занесохом и бысть положено нашими руками, иже бы проречено сие в Диоптове ку-

мирнице, солнцу богу великому царю вписа перьская держава. И взя отрога кождо нас и подержа на руку, и поклоншеся ему и целовавше, дахом ему злато и ливан и змиюрну...»

Ортодоксальная т. зрения на волхвов: они знали о предстоящем по пророчеству Валаама и ждали звезды. Звезду они видели 2 года (сказали об этом Ироду) – откуда и возник, возможно, двухлетний Младенец, который и вызывает больше всего возмущений (два года им было дано на длинный путь), а совсем не персидские идолы, которым имеется некая аналогия в Акафисте Богородице, где при въезде в Египет попадали все кумиры – не исключено, что в знак благоговения.

Меня же поразили этот апокриф, во-первых, удивительной терпимостью, допускающей идолов радоваться, а потом – поместить икону в языческой кумирне; во-вторых, совершенно неожиданным дополнением к плату царя Авгаря и преданию о ап. Луке-иконописце. Хотя и апокриф, а все же еще одно обращение к теме живописания – притом самое раннее, со стороны волхвов. И как похоже на наши иконописные подлинники, где встречается словесный портрет Богоматери – и тут как бы рекомендация, как бы документ со ссылкой на кумирню, где находится оригинал.

Ну, и еще меня растрогал двухлетний отроча, который сам сказал, сколько ему лет, сидя на земле.

8 мая.

Еще немножко о сказочных изречениях – опять же на тему реки. (7) Она еще помнит, что ее нельзя прерывать, но почему нельзя – уже забыла. Вместо ответа она отшучивается: «Не любо – не слушай, а врать не мешай», и в качестве назидания приводит анекдоты о зяблых врялях, складывающих сказки на спор, на пари: «Коли ты мне молвишь: «врешь!» – с тебя двести рублей»; «Садись-ка насупротив меня, слушай да не перебивай, а если перебьешь, то из спины твоей три ремня».

Спрашивается – откуда такая дорогая цена за нарушение неприкосновенности речи? – Оттуда, из прошлого, где за это платили еще дороже. Непрерывность сказки, по-видимому, строго соблюдалась когда-то, пока на этом полузабытом обычае не стали спекулировать плуты, обратив табу в статью дохода. С целью выиграть заклад обманщик в маске рассказчика пускается на разные

гадости, испытывая терпение слушателей либо небылицами (в этом жанре потом с успехом работал барон Мюнхаузен), либо выматывающими душу, докучными прибаутками.

Два сапога пара – доука и балагурство являются автопародией сказки, ради легкого заработка поднимающей на смех собственное былое достоинство. Это – сказка, потерявшая стыд, повеявшая после долгих укоров, что всё в ней дурь и вранье, и взявшаяся, как гулящая баба, молоть вздор, нести небылицы – по старой (чтобы было смешнее), освященной веками канве, отчего невзначай выбалтывалась утраченная к тому времени правда. – Ах, перебейте меня, оборвите! – напрашивается подгулявшая сказка. Но это-то и подозрительно. Непрерывность – закон и условие ее существования.

За неимением мотивировок пародийная форма умершее содержание выдает за свой произвол – на потеху непосвященным. Похоронив сказку, мы на ее поминках чешем языком – развлекаемся. Обряд замещен профанацией, древний запрет – искушением, чудо – чушью, ворожба – воровством. От прошлого осталась лишь фикция – принцип соединения слов в слаженную цепь тарабарщины, да и тот осознан как наглый, подмывающий на драку шантаж:

По поднебесью медведь летит,
Ушками, лапками помахивает,
Серым хвостиком поправливает...
И то не чудо, не диковинка,
Я видал чуда чуднее того:
Сын на матери снопы возил,
Молода жена в пристяжи была...

Но не вздумайте перебивать небывальщину: она была былью, и быль – отомстит.

«– Чур, сказку не перебивать, а кто перебьет, тому змея в горло заползет... Сказка от начала зачинается, до конца читается, в середине не перебивается» (Мельников-Печерский «В лесах»).

Какая змея? Верно, та самая, до которой не успели доехать, перебив на середине пути, – вместо змеи разрубили надвое сказку, – вот и заползет...

Говорят, на Кавказе один старик спасся сказкой от смерти – завел нескончаемое, как время, повествование, и смерть, подо-

ждав немного, ушла ни с чем. Той же привилегией сказок воспользовалась Шахразада, должно быть уже позднее измыслившая трюк занимательности: первоначально царь не решался ее казнить по более веской причине – чтобы змея не заползла.

Еще позднее «Декамероном» отговаривались от чумы.

И сотни иных уловок и хитростей, сулящих гибель обидчику, обеспечивающих продолжительность речи. «Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало; не сказать ли с начала?..»

На основе непрерывного речевого круговорота сказка, зарвавшись, мечтает создать некий перпетуум-мобиле, откуда и родились и разошлись по свету все эти безмерные, дразнящие воображение, свивающиеся в кольца, расплзающиеся лианами циклы – «Тысяча и одна ночь», «Океан сказаний» – омывающие землю. Раскиданная по лабиринту и смотанная в клубок – дорога. Змея, кусающая собственный хвост в знак уловления вечности. Кольцо, надетое на палец, на неразлучную связь. Завивание венков, хоровадов. Сакральная плетенка орнамента, опоясывающая горшок и корабль, не имеющая ни конца, ни начала, с изгороди перенесенная в рукопись, в охранную грамоту книжной вязи, завязанную раньше, в сказке, среди лаптей и лукошек, рядом с пряжей, с нитью судьбы, с Арахной и Пенелопой...

Изумляемся: фантазия! Не фантазия – гарантия. Не узор – забор, оборона: мира в доме, огня в печи, силы в утробе, зерна в могиле, нацелившейся на новую цепь голов и хвостов, сцепившихся мордами, объединившими хвост и хобот, испускающий пламень цветка, чреватого птицей, продолженной пламенем хвоста-головы-хвоста-головы-хвоста-головы... «Летала сова – веселая голова; вот она летала, летала и села, да хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела, и опять полетела; летала, летала и села, хвостиком повертела да по сторонам посмотрела...»

После этакой присказки – точнее, в ее кольце, в обрамлении – вступаем в сказку: второе кольцо, второй проект вечного двигателя: журавль и цапля поочередно ходят друг к другу свататься – то один раздумал, то другой. «Вот так-то и ходят они по сю пору...»

Идея, мораль? – Одна: непрерывность рассказа, хождения, миропорядка. Сюжет в данном случае лишь вариация круговой татуировки, орнамента.

Из хакасских преданий известно: когда однажды сказитель прервал сказку и вышел, он увидел в горé богатыря, застрявшего вместе с конем. «– Меня почему так оставил, почему в горé оставил?» – гневно спросил богатырь незадачливого рассказчика, после чего тот заболел и, умирая, заповедал потомкам: не прерывать!

Сказка точно лунатик, который боится упасть и разбиться, если его вдруг окликнуть не вовремя. Она словно чувствует, что мы не одни, что кто-то важный идет по мере того, как движется речь, проходит сквозь горы, сквозь стены, перекидывает мосты через пропасти и переправляется по нити, что тянет и вяжет рассказчик, – ему на помощь, нам во спасение. Здесь перебили, а там – упадет, застрянет, и что-то важное в нашей жизни провалится и развяжется. Но зато, если сказка сказывается, то и там все идет на лад. И мы можем спать спокойно, пока она все еще сказывается, и Сова-голова летает, вертя хвостом-головой, и Журавль с Цаплей ходят напеременку свататься, и Мочало висит бесконечно на дворе у царя Гороха.

9–10 мая.

Но ты, Маша, забываешь иногда ставить дату на открытке, а если ты в ней пишешь при этом (а ты пишешь), что вот шлешь ее вместо телеграммы для быстроты, а письмо мое сегодня получено и т.д. и т.п. – все про даты, и все про числа, которые я не знаю как вычислять, потому что главного числа не поставлено, а на штемпеле (как назло) не разобрать, – то, представляешь, как мне обидно ничего не понимать в такой милой открыточке.

А Егору, понятно, почему понравились несчастные медведики* в театре, – потому что медведики, и он не дурачок, а просто никакого другого театра не видел еще и потому радуется любому, и заслуживает не осуждения, а чтобы его еще повели в театр, да как-нибудь сразу на что-то большое и яркое, вроде «Синей птицы», или «Снегурочки», или даже «Сирано де Бержерака». Пускай не все поймет, зато какой запас впечатлений и какой восторг! А то, в самом деле, сидит при своих медведиках, как в темном лесу, и ничего не знает краше.

К своему удовольствию, я недавно узнал, как звали богатыря Святогора:

«...Был на земле богатырь Егор-Святогор» (из духовного стиха «Об Анике-воине»).

А в духовном стихе «О Егории храбром» (смесь сказки и апокрифического жития Георгия Победоносца) Егорий родился во Свято-русской земле, в городе Иерусалиме, от отца – царя Феодора и матери – Софии Премудрой, у которой было еще три дочери – Вера, Надежда, Любовь. Здесь же довольно забавно сформулирована вся суть (в чем вся суть?) русской православной веры:

Велика наша вера крещеная,
Мать Божия Богородица,
Еще Троица нераздельная!

Ее-то Егорий и утвердил в Вавилонском царстве, победив царя Диоклетиана:

Сколь народу Георгию поклонился,
Ко святому Георгию обратился.
И стали святую веру веровать –
Во мать Божию Богородицу,
В Троицу нераздельную,
И сделали Георгию в году два праздника.

Все это очень понятно и приятно, как и то, что «По локоть у него руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре». Но вот почему Егорий был у нас покровителем волков – не возьму в толк. Откуда и пословица: «Что у волка в зубах, то Егорий дал».

Вообще было бы интересно издать русскую иконопись посужетно – как ты предлагала когда-то залы музея или выставки – сплошь, по всем векам, один сюжет. И сопроводить картинки текстами – от акафистов и житий до подобного рода стихов и пословиц, из чего будет видно, кто что значил и чем владел в народном сознании. Я тут недавно встретил дух. стих про Иоанна Златоуста – почему его нищие больше всего любили, – и вдруг эта довольно отвлеченная для нашего времени фигура вся прояснела и засияла.

13 мая.

Что-то погряз я в фольклоре. Да и то – попадают все из ряда вон выходящие вещи, и глаза разбегаются, потому как косой,

и вот в таком азарте набрасываюсь на какую-нибудь выбежавшую на полянку цитату или еще какой цветочек – и тебе подношу: понюхай, Машечка, как хорошо пахнет.

Вот и сейчас не удержусь, чтобы не процитировать горскую историческую песню – о том же Кунта-Хаджи, о котором упоминал в начале этого письма. Впрочем, его чаще называют иначе, более иносказательно, ибо высокие имена не принято произносить – и потому его в песнях и сказаниях не именуют по имени, а например – Хаджи из Иласхан-юрта, или другие описательные формулы. Хаджи – святой, а Иласхан-юрт – деревня, откуда он родом, – удивительно милый, неофициальный, юродивый и чу-дак, стяжавший славу первого в народе святого, столь же громкий в духовной сфере, как его современник и почитатель Шамиль в военной. Видимо, за это участие – чисто духовное, миссионерское – в движении Шамиля Хаджи был вместе с братом Мовсаром отправлен куда-то в Сибирь царскими чиновниками (вероятно, об этом где-нибудь есть и в русских источниках, в журналистике той поры) – и вот об этом рассказывает песня, построенная на диалоге двух братьев. Текст, почти подстрочный, потребует комментариев.

«Хаджи, о Хаджи!

Говорят, ты посланник Бога, говорят, ты наследник Пророка. Если бы так это было, мы с тобою в остроге были бы заперты разве?»

(Вначале говорит брат Мовсар, ропщущий и искушающий Хаджи. Наследник Пророка – имеется в виду Магомет. Пророки и святые резко различались.)

«Хаджи, о Хаджи!

Говорят, ты посланник Бога, говорят, ты наследник Пророка, говорят, ты имам святых. Если бы так это было, у нас на руках эти стальные запястья были бы разве?»

(Имам – здесь не совсем точно. Имеется в виду его главенствующая роль среди святых. Вообще же вся песня, вместе с другими, – редчайшее явление и благодарнейшее для фольклориста: в 19-м веке, т.е. в пору от нас очень близкую, почти на глазах, рождается эпос, который обычно, у других народов, создавался тысячелетия назад. А тут Шамиль, и все прочее его окружение, и места, и события – достоверны и могут быть проверены по газетным кор-

респонденциям тех лет, и вот рядом же с этой строго исторической почвой творятся легенды, порой самые неожиданные.)

«Хаджи, о Хаджи!

Говорят, ты посланник Бога, говорят, ты наследник Пророка, говорят, ты имам святых и учитель мюридов. Если бы так это было, у нас на ногах (точнее – на наших ногах, так же как выше – на наших руках) эти железные путы были бы разве?

Мóвсар, о Мóвсар!

В день расставания с Дагестаном Гáйрак-гора, содрогнувшись от боли, вышла нас проводить. Тогда явилась мне мысль одним ударом меча разбить, снести и стереть этот Владикавказ. Но происшедшее с Юсупом-пророком, когда одолела земная сила, вспомнив, я отступил».

(Гáйрак-гора – точное название Гáйрак-Кóрта – муж. рода. Владикавказ – в местном названии. Хаджи намекает, что ему ничего не стоило бы одним жестом победить царские войска и вообще все устроить наилучшим для горцев образом. Но его удерживает, так сказать, сознание необходимости совершавшегося. Юсуп-пророк – Прекрасный Иосиф, очевидно речь идет о том, что он простил своих братьев или – точнее – остался бездеятельным. Иосиф почему-то у мусульман считался пророком (как впрочем, и Христос – Исá).)

«Мовсар, о Мовсар!

В день расставания с Дагестаном мать-земля, содрогнувшись от боли, вышла нас проводить. Тогда явилась мне мысль одним ударом меча разбить, снести и стереть Столицу нечестивых. Но происшедшее с Юнусом-пророком, когда одолела земная сила, вспомнив, я отступил».

(Столица – точнее, Город неверных, очевидно Санкт-Петербург. Юнус – по всем признакам Иов, который тоже считался пророком (возможно, по созвучию возникают эти два имени – Юсуп и Юнус). Земная сила, противопоставленная небесной, как бы временно торжествует.)

«Мовсар, о Мовсар!

Я помолюсь, а ты говори: «аминь», и на молитву нашу пусть нам ответит Бог. Сказал он и помолился, и упали, обуглившись, цепи к ногам их, и двери раскрылись, и появились небо и зеленая степь.

– Теперь ты свободен, Мовсар, путь в Дагестан тебе открыт, и нет на нем никого, кроме Бога.

И заплакал Мовсар и к брату воззвал:

– Не делай меня несчастным, не гони от себя, ведь братья же мы, рожденные одною матерью, Хэдой, и одному отцу, Киши, родила она меня и тебя».

(Аминь, – правильное «амин», произносится в молитвах после каждой фразы.

Затем, после мысленного раздела, следует обобщенная оценка, как бы от лица хора):

«Потому что ты с Богом в беседу вступаешь, полюбили тебя мы.

Ла́илаа иллалла́. (3 раза)

Потому что вместе с ангелами ты в круге молитву свершаешь, полюбили тебя мы.

Лаилаа иллалла. (3 раза)

Потому что рядом с Пророком ты Богу молитву творишь, полюбили тебя мы.

Лаилаа иллалла. (3 раза)

(Круговая молитва – когда молящиеся ходят кругом – нововведение Хаджи из Иласхан-юрта, именовалась им еще «быстрой молитвой» и рассматривалась как одно из величайших открытий и достижений Ислама. Ее происхождению посвящена другая удивительная песня.)

Поразительны сложность и гибкость психологического рисунка, которые обычно не свойственны песне. Здесь она все время поворачивается, все время меняет значения – при монотонности общей мелодии.

15 мая.

Как хорошо, Маша, что я уже довольно много понаписал тебе в этом письме в первые же дни его существования, так что сперва даже думал, что не умещусь, но вот, в отличие от обычного ритма, мои последние дни довольно пусты, по причине также отсутствия твоих писем. И я боюсь, как бы вы не простудились в результате всех холодов, вдруг наступивших посреди самой красной весны, что было вдвойне обидно и совсем уже незаслуженно.

Пришлось опять влезать во всякие тряпки, но все равно холодно, а у вас, вероятно, еще холоднее, потому что и протопить нельзя хотя бы немножко.

Сегодня, правда, чуть-чуть разгулялось, и после ночной работы я пошел на солнышко, и вынес стул, и сел на него, и это очень удобно – иметь такой легкий, изящный и почти собственный стул, о котором я тебе уже как-то рассказывал и который мне великодушным жестом подарил один добрый друг, хотя владел им так же проблематично, как я сейчас. Словом, я уселся на солнышке и прекрасно провел полдня в мечтах и книгах.

Только вот за вас тревожно, мои радости.

Недавно узнал из печати, что в большой серии «Библиотеки поэта» вышел Бальмонт на 700 страниц! Надо бы эту книгу заполучить в собственный дом.

Но как солнце зашло, такой мороз, что надо быстрее лезть под одеяло.

18 мая.

Итак, моя родная, моя горячо любимая и совершенно ненаглядная Маша! Пора это письмецо пускать в ящик – а от тебя письма идут опять негусто, и я не знаю, как вы сейчас здоровы. Сегодня пришло 98-е письмо от 30 апреля (эвон как они опять стали идти – по двадцать дней!), где ты рассказываешь про квартирные дела. Да еще раньше (я уже говорил об этом) получил открыточку без даты – очевидно, написанную несколько позднее, чем это последнее письмо. Вот и весь капитал.

Как бы вы за время этих майских холодов не разболелись, мои деточки.

Сегодня-то как раз потеплело и даже не верится, что лето вернулось, – непривычно как-то не мерзнуть, и вы, как поедете на дачу, уж обеспечьтесь, пожалуйста, всякими одеялами и теплыми кофточками.

Теперь – про то, когда ты ко мне думаешь приехать на общее свидание. Насколько я понимаю, тут не обязательно строгое соблюдение полугодового перерыва и можно раньше – лишь бы два раза в год. Это я к тому, что ты могла бы приехать и в июне. Такие случаи известны, хотя абсолютной гарантии тоже, понятно, нет, и лучше иметь заранее разрешение, которое, мне кажется,

не потребует слишком больших усилий, потому что подобные сдвиги в принципе практикуются.

Что-то у меня с потеплением снова взялись зубы, и от них голова трещит и слегка разламывается, но говорят, зубы по весне обыкновенно слабеют, а всю зиму с ними я горя не знал, и уже это хорошо.

Вас очень люблю и витаю вокруг душою, и поэтому вы мне тоже почаще пишите.

Целую нежно и крепко.

А.

20 мая 1970.



...(Мастер-то там жил). – И вот так всю дорогу: я Синявскому про соседей: «Я провела воскресенье в осмотре разных жилплощадей, и очень мне понравились две комнатки на Патриарших прудах: окна на пруд и еще 12 комнат в коридоре. Теперь, когда я смотрю коммунальные квартиры, принцип отбора таков: чем больше соседей – тем лучше. Сейчас в такую квартиру, как на Хлебном, я бы ехать побоялась – мало народу», а он в ответ – про Булгакова.

...понравились несчастные медведики... – Из моего письма: «А мы с Егором были в театре. Вот как.

Театр был кукольный, образцовский, спектакль был глупый, в пору для трехлетних, и назывался он «Веселые медвежата». И я даже как-то огорчилась, что он Егорке понравился.

Вроде бы такой разумный ребенок, и вдруг понравилась ему такая дурацкая история, как медвежонок залез в коробку с мукой и весь вывалялся, а потом долго чихал, а другого искушали пчелы; а медведь-дедушка делал с ними зарядку, а медведь-папа купил им глобус.

А наш дурачок в восторге и просится еще раз в театр. Придется пойти, хотя я еле высидела это зрелище».



ПИСЬМО СТО ВТОРОЕ

Но каковы комары! Можно было надеяться, что бывшие холода их немного остепенят, так ничуть не бывало, даже в бараке кусаются и всюду суются.

...Как ты говорила, когда они попадали в салат: все-таки мясо. И про что-то еще: пускай поплавает, у нас там нынче аквариум.

Обидно, когда комаров много, а писем мало. Сегодня пятница и не на что надеяться. И меня сегодня во сне Осичка укусил за палец. Как же все это прикажешь понимать, Маша?

22 мая.

Интересно, что Хаджи из Иласхан-юрта (он же – Кунта-Хаджи, он же – Киши-Хаджи) противопоставлен мусульманским фарисеям и книжникам и, будучи неграмотным, терпел от них неприятности. Об этом говорится:

Твоего времени богословы твоими врагами были,
Науку твою не записывая, они зло творили,
Что учитель твой сам Пророк, не знали они.
Да сохранит тебя Господь, Божий посланник.

Великий Хаджи из Саясана сказал при виде богословов, листавших свои книги в безуспешных поисках формулы круговой молитвы Хаджи из Иласхан-юрта:

– Если бы все воды земли превратились в море чернил и писать нужно было бы всеми деревьями и всеми травами, то много ли удалось бы набрать оттуда кончиком иголки? Вот ровно столько дал Господь мудрости в руки богословов, тогда как весь остальной океан сделал достоянием святых. Так неужели вы посмеете

утверждать, что в целом море не найдется того, что вы не нашли у себя на острие иглы?

Этой молитвы правильность отрицая, не делайте себя несчастными.

Этой молитвы святость отрицая, не становитесь безбожными. (Великий Хаджи из Саясана – другой крупнейший святой, но все же меньший, вернее менее любимый, чем Киши-Хаджи.

Что же до самой формулы быстрой или круговой молитвы, то она загадочна и не поддается осмыслению, как своего рода «заумь». По косвенным и непроверенным данным, ее начало звучит приблизительно как «уйлла уймалла», из чего можно предположить, что это искажение известной арабской формулы, допущенное Хаджи по безграмотности, что, впрочем, не исключает ее таинственной силы. Значение этих слов было, по-видимому, непонятно самим участникам круговой молитвы.)

23 мая.

По поводу того же нововведения, вызывавшего, очевидно, споры в мусульманстве, существует в фольклоре ряд песен и сказаний, порой замечательных в художественном отношении. Одна из них носит даже космологический характер и строится в форме рассказа самого Хаджи.

«Когда по доносу нечестивцев и книжников разлучали Хаджи с Дагестаном, –

– Нет, я не пойду отсюда, пока не расскажу вам, как мне досталось мое учение, –

сказал он, остановившись».

(Эти длинные периоды с переносом сказуемого в самый конец предложения типичны и порой затрудняют понимание текста, но я решил их так и оставить – ради «восточного колорита».)

«За две тысячи лет до сотворения мира
души людей были созданы Богом, мужи науки.

За две тысячи лет до сотворения мира
124 тысячи душ пророков было создано Богом, мужи науки.

За две тысячи лет до сотворения мира
124 тысячи душ святых было создано Богом, мужи науки.

За две тысячи лет до сотворения мира
124 тысячи священных учений было создано Богом, мужи науки».

(Интересно, не повлиял ли Платон и неоплатоники на этот взгляд – когда все идеи созданы до сотворения мира?)

«За две тысячи лет до сотворения мира Господь разложил перед нами эти священные учения и поставил одно во главе всех, окруженное огненным драконом, сказав нам:

– Пусть каждый возьмет (выберет) свою долю.

Их брали, начиная с нижнего края, и то, что было во главе, осталось одно, мужи науки.

– Подними свою долю, о благословенный Киши, нет у нее иного владельца! –

– сказал нам Господь, мужи науки.

(Имя отца – Киши перешло Хаджи и стало одним из его иносказательных и многочисленных имен.

Здесь и далее он от первого лица говорит «мы», «нам», хотя речь идет о нем персонально – видимо, признак самоумаления.)

«– Нет, не возьму!

День, когда души разлучаются с телом,
будет тяжек детям моим.

Ночь, когда человек впервые остается один в могиле,
будет трудной детям моим.

День Первого допроса будет страшен детям моим.

Если на эти дни не будет мне выдано право (быстрой помощи детям моим), я не возьму оставшейся доли, –

– сказали мы Богу, мужи науки.

(Речь идет о духовных детях, о последователях, вообще о пастве – которым святой намерен помогать в самые тяжкие минуты их существования, оговаривая то же право скорой помощи, которое у нас имеет Николай-угодник.

В самом тексте то, что здесь в скобках, отсутствует, но подразумевается, и чтобы было все-таки понятно, пришлось пояснить – в скобках.)

– День, когда души разлучаются с телом, оставил я за тобой.

Ночь, когда человек впервые остается один в могиле, оставил я за тобой.

Право на (помощь в) день Первого допроса дарю я тебе. –

Сказал и бумагу за подписью ангелов Джабраила и Минкаила, Исапила и Израила, ватную, белую, как снег, вручил нам Бог, мужи науки».

(Джабраил – по-нашему Гавриил. Я сомневаюсь в имени последнего ангела, мне кажется, что его правильное назвать было бы – Азраил. По разъяснению, он должен трубить в день Суда.)

«– Во имя Господа милостивого и милосердного», – с этим великим именем Бога, ступив (ногой) на шею огненного дракона, мы подняли нашу долю, мужи науки».

(В первой строке – арабская формула, которая одновременно служит именем Бога.)

«– Эта быстрая молитва на мне и на мне пусть будет исполнена! – сказали, заспорив между собою, высокие горы и низкие предгорья, широкие равнины и тесные ущелья».

(Это, в сущности, спор о том, где должен родиться Хаджи. Предгорья – можно хребты, как и значится в оригинале, но там «гора» не входит в «хребет».)

«И для разрешения этого спора

был послан к ним ангел Джабраил, мужи науки.

Между высокими горами и низкими предгорьями был брошен жребий, и выпал жребий Гайра́к-горы.

Не мучьте меня, оставьте меня –

(я ведь у вас не отнимаю право сельского муллы)

моего Бога и Пророка славить».

(Гайрак-гора – местное название «Гайрак-корта».

В скобках – так и есть в скобках: фраза перерезана: оставьте меня... славить.)

Между широкими равнинами и тесными ущельями был брошен жребий, и выпал жребий Иласхан-юрта.

Не мучьте меня, оставьте меня –

(я ведь у вас не отнимаю право на сиротские деньги)

моего Бога и Пророка славить».

(После этого идет как бы хоровая концовка-итог, которая может меняться, переходя из одной песни в другую.)

«С Востока пусть будет нам помощь, о Господи, с Запада пусть будет нам помощь, о Господи, в быстрой молитве, с ангелов хором пришли нам на помощь Киши-Хаджи!»

24 мая.

Ну вот, таким образом подождавши (а чтобы не молчалось, а письмо бы писалось – переписывал тебе эту длинную словесность, которая не так уж плоха, мне кажется, а все-таки было бы лучше не с нее начинать, а сразу про мою любимую Машу), я получил сегодня письмо № 99 и две открыточки в вознаграждение. Письмо от 2 мая, а нынче у нас что? – а нынче у нас 27 мая, и шло оно таким путем 25 дней, но зато открыточки пришли гораздо скорее – от 18-го и от 19-го, и в них ты сперва волнуешься, не имея писем, а потом уже успокоилась и тоже довольна.

Все хорошо, моя Машечка, моя совершенно золотая и совсем уже ненаглядная Машечка. Только вот твое нервное истощение* очень меня огорчает и повергает во мрак, и было бы славно тебе этим летом устроить легкий роздых с витаминами и без нервов. Потому что к твоим болезням нам еще только не хватало этого истощения, чтобы окончательно захиреть, и будь добра, Машенька, проявить тут какую-то разумность и подойти к себе немножко со стороны, не как к персональной личности, а как к моей единственной жене и матери и Егору тоже, и какое ты поэтому имеешь для нас всех, вместе и в отдельности, значение, тебе тоже нужно помнить и стараться нас всех поддерживать своим здоровьем.

Интересно, ты мне собираешься посылать 6-е письмо, а я сижу при 99-м, и ужасно любопытно, что у вас за это время успело произойти, и приехала ли соседка, и как ты с ней справляешься, и как холода переносите, и что Егор. Конечно, узнаю со временем, а все же долго.

А мы опять мерзнем, и конца-края не видать этой дурной погоде.

А еще я очень люблю, как ты поправляешь очки, и знаешь ли ты об этом?

27 мая.

Там, где не пройти, не проехать, сказка ставит мосты: перебрасывает над огненным озером утиральник высокой радугой,

строит столб до неба, кладет жуку бревном длиною во весь окиан. Мост – ходячая декорация сказки – место встречи и схватки с нечистой силой, с загробным царством. Под калиновым мостом (на мосту) поджидает царевич змея и змей царевича. Как построить мост в одну ночь? – вечная головоломка Иванушки-дурака.

Кровная заинтересованность сказки в наведении мостов, а шире – в установлении всевозможных межзональных контактов – брачных союзов, торговых сделок, заграничных и потусторонних долгосрочных командировок – проистекает, надо думать, из более общей, настоящей потребности *связывать*, ради которой она, возможно, и появилась на свет. В этом смысле ее мосты, ее волшебная техника, типа нынешних телевизоров, пеленгаторов, самолетов, ее бесчисленные, во все страны устремившиеся гонцы и посланцы, перевозчики и передатчики служат единственно делу коммуникации, над которым без умолку бьется сказка.

Сказка – связка. Сказка – складка. Сказывать сказку означает в первую голову складывать слова и предметы. Рассказ здесь больше похож на арифметическую задачку, нежели на описание вымышленных или вероятных событий. Как к одному звену присоединить второе, ко второму третье и т.д., то есть как перекинуть висячий мостик отсюда – туда, оттуда – сюда, связав безалаберные слова в нерасторгаемую цепочку, плетенку, – эта, на взгляд, формальная сторона получает здесь очертания всепоглощающей идейной программы.

Естественно, что из сказки произошли считалки. Они в ее крови и, чуть что, выпадают в виде кристаллов.

С ними связана и непонятная старшей братии, но хорошо знакомая сказочникам радость пересчитывания пальцев на руке, вскормленных чадолюбивой Сорокой или заселяющих тесный Терем-теремок – путем суммирования и уплотнения проживавших в нем раньше хозяев, всякий раз перебираемых заново и составляющих, с каждым новым жильцом, ритмично нарастающий список, катящийся по рассказу снежным комом, колом в упряжке со всеми опровергнутыми им оппонентами.

Составление элементарного ряда – складывание сказки – принимает иной раз характер разматывания и уточнения причинной

связи либо связи вещей, нацеленных на выполнение какой-либо задачи, что тоже нас вовлекает в занимательное занятие связывания. Как держатся они друг за дружку, с какой убедительной плавностью и непрерывностью развития осуществляется цепная реакция в звонком припеве-сюжете: «сучка за внучку, внучка за бабу, бабу за деду, дедка за репку...», пока, наконец, какая-нибудь мизерная причина, песчинка, не сдвинет эту армаду – по принципу: мышь родила гору! (Та же мышь, вильнув хвостом, разбив яичко, порождает лавину бедствий и весь дом приводит в разор, и кто-то вешается с горя, и кто-то рвет в отчаянии священные книги.)

В сущности сказке подобного типа безразлично – мышь родила гору или гора мышь. (Эта обратная «репке» связь представлена, например, подключением все более мощных погонщиков к строптивой козе, не желающей возвращаться домой.) Она лишь прибор, своего рода машина по извлечению скрытой в жизни интриги, демонстрирующая чистый процесс взаимодействия вещей, который сам по себе ей дорог и интересен. Конечный итог подчас ничтожен, бесперспективен с точки зрения цели. Колобок все-таки пойман, теремок раздавлен вместе со своим населением. (Помню, как меня огорчали эти сюжеты в детстве, но, зная, что колобок будет съеден, я радовался тому, что впереди ему еще долго бежать.) Сказка имеет прибыль с оборота, а не с капитала. И проигрыш ее привлекает не меньше, чем выигрыш. Ей равное удовольствие доставляет прогресс и регресс, натуральный обмен, построенный на возрастании и на убывании ценностей, когда в ходе торговых и речевых операций лошадь обменивается на корову, корова на свинью и так далее, вплоть до поломанной клюшки, потерянной иголки, имеющих также тенденцию набивать себе постепенную цену, выручая «за скалочку – гусочку, за гусочку – индюшечку, за индюшечку – невесточку».

Все это называется: городить огород, мостить мосты, сказывать сказку – на основе ее удивительной страсти к развитию связанного ряда. Кажется, речь сама себя порождает, не побуждаемая никакими мотивами, кроме внутренней логики действующих в ней сопряжений. Вместо репки тянут сказку. Пользуясь удобным предлогом, сказка на самом деле рассказывает нам о себе, о своем законе, устройстве, и вьет из природы веревки – в расчете построить еще один перевоз. Бесцеремонная в обраще-

нии с фактами, с природными возможностями, она проявляет какую-то страстную пунктуальность, дотошность в поддержании системы сцеплений, где каждое колесико тщательно обговаривается и служит, можно догадываться, предметом обожания. Сказка, если потребуется, перевероршит стог сена ради того, чтобы найти спрятанную в нем иголку и сшить потом начисто весь этот стог по собственному фасону – методом репки, способом мышки, нанизывая слова, словно бусы, на одну нитку.

Возьмем ничем не замечательное начало первой же сказки в собрании Афанасьева:

«Жил себе дед да баба. Дед говорит бабе: «Ты, баба, пеки пироги, а я поеду за рыбой». Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется, лежит себе как мертвая».

Присмотримся: каждая фраза заимствует из предыдущей какое-либо слово и воспроизводит его в новом повороте. На чем кончает одна, то подхватывает другая. Слова перекатываются, как жемчуг, как мозжечок в прозрачном теле красавицы – из косточки в косточку, и в этом заключается склад, которым вяжется сказка с начала и до конца – как чулок.

Старика свяжу со старухою,
Со старухою с кособрюхою.

В данном случае чувствуется стилистическая переизбыточность, удалство и щегольство языком. Но принцип выражен точно: свяжу то и то. Для связи было бы довольно сказать: «Жил-был старик со старухой».

Старуха такое же производное от старика и так же согласуется с ним, как слову «жил» вторит слово «был». Связанность морфологическая, звуковая, семейная. Связанность, если хотите, извечная и первичная: «Жил-был старик со старухой». Мост между «был» и «жил», между прошлым и давно прошедшим временем – незапамятной стариной и родившейся от старика со старухой, в подклети завязавшейся фавулой.

Ах, эта мышка!..

Еще и потому полезно получать от тебя письма, что сразу хочется писать тебе ответно, даже если в них ни на что специально отвечать не требуется, а просто душа просит и сразу хочется написать тебе в пять раз больше, чтобы ты понимала, и ужасно тебя начинаю лелеять и баюкать.

Это я все по поводу давешних открыточек и 99 номера, из которых мне опять неясно, какую ты открытку получила вместе с письмом – Егорычеву или свою, и как же можно так неточно извещать меня, Маша, о своей жизни?

Из мавринских открыток мне больше петух понравился, а вообще-то она довольно однообразна и неглубока, лучше бы уж издали ее прошлые чаепития.

А я тут прочитал новинку о Тулуз-Лотреке Перрюшо, того самого, что писал о Сезанне, приятно и интересно получается: искусство как восполнение недостающего звена: разнообразно акцентированные ноги у коротышки Лотрека.

– У меня глаза вот такие! А почему я знаю? – все гримасы мои ему передавались и были у него на лице написаны.

– Все лицо в каких-то буграх и шрамах. И острый нос заканчивался раздвоенным, на двух шарах, наконечником.

– Пьяницы цокаются: за ваше! за наше!

– И она уже чувствует, кобра, что ее свеча догорает.

Слышал хорошую пословицу по поводу грома: Господь калачи везет. Но погода отвратительная. И комары, наверное, все померзли. И жалко птичек, которые ими кормятся, ласточек: им самое время птенцов кормить, а нечем.

Но это уже было то ли год, то ли два назад – все слиплось, и я уже писал тебе давным-давно про эти птичьи заботы.

29 мая.

Как по щучьему веленью, я получил сразу 6-е письмо, о котором ты думала, когда еще будет, и ничего не понимаю: ни почему вечером на Пятницкой будешь, ни отчего Егорыч там тоже появится, и где вы были и что вы делали до этого времени? Но за тобою еще шесть писем, Машечка (с 99-го номера считая), и если я их получу, то все узнаю.

А про открыточку опять ничего толкового не пишешь – какую получила. А я тут еще отправил заказ на кучу книг в Ленинград –

в основном по фольклору, и если они придут, то совсем не останется времени, которого и так не хватает, но я все мечтаю выяснить какого-нибудь Сивку-бурку, и вдруг наткнушь, и все тогда прояснится и засияет.

Любопытно получать письма таким способом, что они как бы приходят из будущего, до которого еще надо дожить, чтобы понять, что же случилось, и потому машина времени мало что даст, а только еще больше раздразнит любопытство.

Ремень же мне привозить опять не надо, потому что я получил по наследству. А вот бандероль остается в полной неизвестности, и если она пропала или вернулась – надо повторить, причем на этот раз камни для зажигалки не нужны, а только кофе и немного стерженьков для шариковой ручки. Или это Нинина забывчивость, или ты позабыла – но давно уже сижу без кофе, а в холодную погоду это совсем грустно.

А вам в такую погоду выбираться на дачу не стоит, но что вы будете делать, когда группа закроется, и что соседка, и какое у вас состояние и отношение? Впрочем, стерженьков тоже можно не класть, а потом когда-нибудь привезешь с собою, и когда это может быть, потому что это письмо придет к тебе – вот расстояния! – в двадцатых числах июня, и ты уже сможешь, наверное, как-то ориентироваться в летнем отношении?

Вероятно, мои рассуждения выглядят довольно смешными и запутанными – то на дачу в холод не ездят, а то – сразу конец июня в уме. Но все это получается из-за теории относительности в ощущении времени, которое одновременно и стоит на месте, и убегает далеко вперед, и, смотришь, появляется где-то сзади тебя. Пользуясь этой теорией, создаются курьезы: – Сидел один год за два. – То есть? – В воображении: год просидит, а считает: два года. Для облегчения.

А я уже и без теории व्यюсь мыслями вокруг вас и представляю, как буду на тебя любоваться, пока ты будешь пилить свои колечки, а потом мы с Егорычем уложим тебя отдыхать и будем наперегонки поить сладким чаем с лимоном.

30 мая.

Папорот – крыло. Значит, папоротник – крылатый цветок. И если вспомнить, как он цветет, то получится что-то вроде жар-птицы.

Нашлось еще подтверждение – к иконе Успения Богоматери – что душа небольшого росточка. В индийском сказании о Савитри (что своею любовью отобрала мужа у смерти) сказано – бог смерти Яма извлекает душу у мужа Савитри (Махабхарата):

...И душу извлек из безгласного тела:
То был человек, не больше, чем палец.

Некоторые памятники мегалитической культуры имеют такой малый вход в каменные жилища, что, можно думать, они предназначены для умерших душ.

Какие бывают сложные обороты во сне. Приснилось, что нам с тобою встретилась некрасивая и немолодая уже девушка, грустно сказавшая, что видела во сне, как познакомилась с одним человеком.

– Ну так очень хорошо, – сказал я или подумал.

– Но ведь не он со мной познакомился, а я с ним познакомилась...

И это значило, что ее не берут замуж.

Подбираются фактики по истории иконописания в России.

Петр, митрополит Московский, еще в бытность свою в Галицкой земле, поднес тогдашнему митрополиту Максиму своей рукой писанную икону Успения Божией Матери, как она явилась ему в сонном видении. Впоследствии, когда он сам стал митрополитом, икона вернулась к нему и была подарена им московскому князю Ивану Даниловичу Калите: да примет под свой покров московское начинание. Метрополия тогда находилась во Владимире, но, завещав похоронить себя в Москве, Петр положил начало новой столице, где для его иконы был специально построен соборный храм – нынешний Успенский собор.

В Куликовской битве, пришедшейся на Рождество Богородицы, осуществилось знамение, виденное накануне ночью: св. Петр-митрополит разогнал вражеское воинство (аналогия с Борисом и Глебом в Житии Александра Невского). Вернувшись в Москву с победой, Дмитрий Донской первым долгом пошел в Успенский собор – поклониться иконе, писанной митрополитом Петром, а затем поехал к другому своему помощнику – Сергию в Троицкий монастырь.

Позднее, при сыне Дмитрия Донского, заступничеству Петра – вместе с митрополитом Алексеем и Богоматерью – приписывалось спасение Москвы от нашествия Тамерлана. Тот уже подошел к Рязанской земле, и началась паника: говорили, что Тамерлан возит с собою в клетке самого, побежденного им, турецкого султана Баязета и идет на Москву с несметными силами. Войско не успели собрать и послали во Владимир за иконой Владимирской Божьей Матери. Согласно летописям, в ночь на вшествие ее в Москву, Тамерлан, стоявший в Ельце, увидел сон: два святителя – Петр и Алексей – грозили ему с горы, а над ними, в воздухе, Жена в багряных ризах. И наутро Тамерлан, устранившись, повернул в степи.

Интересная могла бы получиться книга – икона в русской истории – с битвой суздальцев и новгородцев на обложке.

А Чудов монастырь, откуда вышел самозванец, оказывается, посвящен – Чуду в Хонех, или, как его еще называют, чуду архангела Михаила, обратившего речной поток под землю.

1 июня.

Начал с комаров и кончаю комарами: они как железные, холода на них не подействовали, а сейчас, хотя и с трудом, начинается лето.

Но все-таки комары лучше, чем холода. Вчера вечером начали приходить письма. Вчера пришли № 1 и № 7 и открыточка (от 26 мая!!) с Апашом* на обложке и красивейшими марками, которые мне удалось утаить от наших филателистов. А сегодня – № 5 и открыточка уже от 25 мая с котом и букетом и с объяснением. А №№ 100 и 2–4 еще не приходили.

Все это как картинка, которую складывают из кубиков, и вот голова получилась и хвост тоже, но туловище в большей части остается в неизвестности. Непонятно, например, почему Юличка хромает. И где вы жили раньше. И так далее.

Егорова картинка по-прежнему хороша. Наверное, он нарисовал дом на Пятницкой с двумя спящими и всей обстановкой. Но абстрактный бегемот лучше.

Это ничего, что он у нас такой постоянный и отстающий.

А головка у тебя может еще болеть от переменных давлений, вызванных переменной погодой. У некоторых знакомых в мае

месяце тоже очень болела из-за того же давления. Надо бы тебе его измерить и обзавестись таблетками для согласования.

Вообще в это лето очень нужно было бы тебе подлечиться и отдохнуть. Именно в это лето. Потому что, перевалив главный хребет, самое время присесть и отдохнуть, а потом уже спускаться дальше. И потому что остается еще одна трудная зима (а следующая уже будет легче), и вот перед этой последней трудностью надо собраться с силами и привести себя в порядок. И как раз самое время – Машечка, я правильно тебе говорю – сделать тебе сейчас передышку для нашего общего счастья. И взываю по этому поводу к общим друзьям – понятно, время идет и сколько можно, но сейчас именно нужно освободить тебя на месяц от всех забот и кому-то пожить вместо тебя с Егором на даче, а тебе предоставить отпуск.

А я пишу, а другой рукой бью и гоняю комаров. Мне рассказали о забавном изобретении. Где-то в Америке, что ли, изобрели такие часы, которые, помимо времени, испускают неслышный нашему уху сверхчастотный какой-то сигнал комариной тревоги, и те за двадцать метров от этого сигнала уносят ноги. Вот бы такие часики в северный лес.

А откуда Егорушка знает, что в вербу верят?

2 июня.

А сегодня я получил письмо № 2. Теперь вообрази, какая в голове у меня путаница, и события вашей жизни идут не только в обратную сторону, но сразу во всех измерениях, и чтобы их сложить и представить все вместе, надо все перечитать по порядку, что я и делаю, минуя пропущенные номера. Одним словом, ребус. Но и то хорошо. И письмо № 2 хорошее, про две трети и Егорушкин выбор* книги с картинками вместо пистолета, и этот выбор я всецело одобряю и не могу нарадоваться на нашего ребеночка, хотя, боюсь, он отказался от пистолета из-за одной застенчивости и чтобы уйти себе тихо в уголок с книжкой под мышкой, и чтобы не приставали. Это так понятно.

Очень хочется к вам и с вами. Особенно когда ребеночек проявляет такую тишину и взаимопонимание.

А знаешь ли ты, Маша, что такое «вруцелетие»? Я до сего времени не знал – а это, оказалось, когда по руке можно высчитать

точно, какой у нас год от сотворения мира, и все праздники, и даже пасхалии, которые, как известно, передвигаются по лунному календарю, и вот, оказывается, все суставчики на пальцах что-то содержат, и можно по ним все это вычислить. Кажется, эту науку открыл Иоанн Дамаскин, но главное не в науке – а в идее человека, который сам по себе все содержит и представляет целый мир не только в пространственном, но и во временном отношении.

Тоже – о смерти. Почему она приходит чаще на рассвете или весной. Ей соответствует ночь и зима. А рассвет и весна – это начало нового цикла, вступив в который человек, умерший зимой и ночью, обнаруживает свою нежизнеспособность. Он не выживает в начале нового цикла, потому что его жизнь окончилась в том, прошлом цикле, и этот уже лишний. Начинается следующий день, без него, и он уходит.

Не подумай, однако, что я в унылом или тяжелом настроении. Наоборот, я бодр и даже весел. И очень бы хотелось передать часть моих сил вам, мои детики, потому что от вашего самочувствия и здоровья все зависит.

Целую вас нежно и посылаю это письмо немножко раньше – на день – обычного срока, чтобы оно не залежалось из-за выходных дней.

Будьте здоровы, мои радости.

А.
3 июля 1970.



...твое нервное истощение... – Разговор о курице (см. письмо 99) имел продолжение: «Могу рассказать тебе про затронутую тобой недоенную курицу следующую душераздирающую историю.

Я ее нашла, эту курицу, сегодня утром в холодильнике, куда сунула ее по приезде и совершенно про это забыла, и она, бедняжка, там протухла окончательно и бесповоротно.

Меньшутинская докторша (невропатолог) утверждает, что это не легкомыслие мое и невнимательность, а крайняя степень переутомления, и что это уже похоже на истощение нервной системы, и что надо принимать всякие лечебные меры, и хорошо бы месяца на полтора-два

залечь в санаторную больницу вроде Успенского, как и Меньшутину, чтобы покололи в меня витаминчики и прочие укрепляющие.

Или месяца на два-три на юг, но чтобы без забот и на все готовое...

Легко сказать! Все же это совершенно нереально, и надо еще терпеть два года, четыре месяца и шесть дней».

Апаш – знакомый ирландский сеттер из Хлебного переулка.

...Егорушкин выбор... – Из моего письма: «А Егор сегодня с честью выдержал испытания и не посрамил честь нашего цирка, когда я привела его в мастерскую и он должен был меня некоторое время подождать, а я беседовала с коллегами по мастерской и, чтобы ребеночек не скучал, попросила одного из них:

– Юра, – говорю, – дайте Егору какую-нибудь книжку. (А у Юры книжки только про искусство.)

И вот Юра ушел в свою комнату и принес в одной руке толстенную книгу про польское народное искусство, а в другой руке – старинный пистолет, чистую иллюстрацию к «Цветам зла», и предложил Егору выбор. И наш сын, к удивлению присутствующих, схватился за книжку, уволок ее в уголок и там наслаждался картинками, не подавая голоса больше часу. А потом пришел Инессин сын Алешка (а он на четыре месяца старше Егора), увидел пистолет, и поднялся страшный шум, и мы, пошумев минут 5, ушли домой.

И что бы ты выбрал на его месте и в его нежном возрасте? Я в свои сорок лет схватилась бы за оружие.

И не только потому, что кровожадная, а уж больно он красивый, большой, тяжелый, с резными курками».



ПИСЬМО СТО ТРЕТЬЕ

Все-таки мы дожили до настоящей жары, и я борюсь с комарами уже при помощи солнышка, которого они не выдерживают, а мне ничего, только жарко в одежде, чтобы не обгореть, и в шерстяных носках, от комаров, и в шерстяных же забавных ботиках, просящих каши, про которые хорошо сказал один, проходя, – слушай, освободиться будешь, оставь мне колеса, – ради смеха, конечно, потому что он освобождается раньше меня, да и ботики того гляди развалятся. И вот как выходной или вечером я выношу стул на какую-нибудь прогалину. В отличие от ватника и от скамейки, стул хорош тем, что на него уже никто не сядет, если я на нем сижу, – это вроде персональной, изолированной квартиры. И дни идут.

Заложил в чемодан седьмую сотню твоих писем – без последнего, однако ж, без сотенного письма, и заметил, что тебе предстоит написать еще двести с чем-нибудь писем – не так уж много.

А я все богатею – по наследству от уезжающих, и не вздумай привозить мне белье или майки-рубашки, все это есть у меня, и даже простынь две пары. Но, наверное, осенью или зимой понадобится опять поморин – осталось два тюбика. А тетрадей общих – не надо, появились, и даже есть теперь английские булавки, и кусок туалетного мыла, и два полотенца, одно из которых я завтра пушу на мытье ног.

А все же оставлять вещи или выбрасывать приятнее, чем их получать.

7 июня.

Жду-жду писем, а их все нет и нет. Да я не про новые говорю, а про давнишние, про те, после которых уже была кучка, а они

все еще едут, хоть и писаны где-то в начале мая – номер 100, номер 3, номер 4. Я даже несколько дней не писал тебе, их поджидая, чтобы сразу откликнуться, – не тут-то было.

Из приятных новостей – нам начали продавать чай, правда, в весьма ограниченном количестве, но все же на душе легче и для моих десен спасение. Жаль, в посылках и бандеролях его нельзя получать, – остается кофе, и пока чаю мало, все мои распоряжения тебе относительно кофе бандеролью остаются в силе.

Забавный рассказ о животных:

– И кто бы мог подумать, что такое одичавшее, кровожадное существо так липнет к человеку!

Это о коршунах – Ваське и Катеньке, таскавших курятину, воробьев лопали прямо с перьями.

– Сидят, красавцы, глаза голубые. И заяц, бежавший на звук гармошки, и медведь, спасший девочку, упавшую в реку, и незаслуженно убитый, когда нес ее в лапах.

– Все лезет к человеку. (Поистине – царь зверей.)

У магометан постройка моста считается богоугодным делом. На старости лет строят мост с подтекстом: как я помогаю ходить через реку, так мне пусть помогут пройти по мосту в Судный день. Мост там что-то вроде наших мытарств – в рай, грешники с него падают прямо в ад. В быту разрушить мост – большой грех.

Не помню, есть ли это в Коране, но, наверное, нету: объяснение – почему христиане крестятся. Иса, которому Бог, спасая от казни, открыл отверстие в небе (это есть и в Коране), показывал в сомнении: голова, дескать, пройдет, а плечи не пройдут! (– Пройдут! – отвечал Бог.) Кто-то видел этот последний жест, и переняли.

Вопрос – почему в яванском театре теней («Ваянг») куклы тщательно разукрашены и прорисованы (плоские, в треть человеческого роста фигуры, голова обтянута раскрашенной и позолоченной кожей буйвола) – ведь на экране все равно ничего не видно?

Не потому ли, что мир – это тень, а значит, первообраз (в данном случае кукла) должен быть ярче и реальнее своей тени? Мне это очень понравилось: не видимость, а реальность интересует художника. Мало ли что куклу зритель не видит – она же есть, она сама по себе существует!

10 июня.

Погода уж очень неровная – днем жара, а вечером холодно, и то же – в тени и на солнышке, и от этих перемен я немножко прихворнул, заполучив сильный насморк – смешно сказать – посреди лета.

Посреди ли? Опять эта потеря места во времени, всегда либо позже, либо раньше времени скажешь, – вот и возраст, спросят: сколько лет? – задумаюсь и не сразу отвечу: надо припомнить, подсчитать. Где-то около 40–45 – представляю, но где именно, сразу сказать нелегко. И с числами в письмах – как-то вдруг вздрогнешь, опомнишься: одиннадцатое июня?!

– Вся автобиография жизни.

– И може, будет еще и у нас товарищ киндер!

– Молодые считают больных всегда немного притворщиками.

А он не притворялся, а просто болен.

К сказкам – 9 и 10:

В XIX веке имела хождение теория заимствования. Потом ее нашли беспомощной и ошибочной. Досыта набегавшись по следу бродячих сюжетов, петлявших по всей Евразии, ученые вдруг наткнулись на те же следы в Америке, в Австралии и отступили в удивлении перед фактом океана, через который народы, понятно, не умели общаться, между тем как сюжеты брали преграду, словно знали иной, неведомый науке, проход.

Теория обанкротилась.

Все же ее догадки исполнены очарования – знак прикосновения к подлиннику.

Как таковые, заимствования ничего не объясняют, скорее затемняют картину. Они верны лишь сторонним, косвенным указанием, что истину нужно искать не поблизости от себя, а за лесом, в дальних странах, все удаляющихся по мере приближения к ним, пока они не совпадут неожиданно с нашим собственным домом, замкнув дорогу кольцом, не имеющим ни конца, ни начала. Дброги не влияя одних племен на другие, но благие порывы связать народы веревочкой и пустить гуськом на поиски тридесятого царства, потерянной праматери-Индии, обернувшейся, как и тогда, для кораблей Колумба, Америкой, сохранившей в чистоте, у индейцев, сюжеты Старого Света.

Как все это в ключе, в обычае сказки!..

Несостоявшаяся – и прекрасно – в научном отношении, версия возникла как производное сказки в эпоху пара и шлака и отвечает невольно ее бродячему духу, заключенным в ней силам блуждания и сцепления. Идея связи, которой бредит сказка, отозвалась у ее теоретиков жадной передвижения, несбыточными надеждами составить всемирный союз по торговому обмену сюжетами. В конце-то концов обнаружилось, что народы достаточно вяло пользовались чужими моделями. Но с помощью вздорной гипотезы, созданной не без участия жонглирующей морями и землями, народами и царями фантазии, открылось подводное братство враждующих и незнакомых, не слышавших друг о друге племен, родственников не по крови, не по вере, а единственно – по сказке. Это непостижимо, но зато похоже на правду.

Волшебные предметы, замечено, легко подменяют друг друга. С ними не церемонятся – выбор не ограничен. Какое-нибудь долото может служить доносчиком, гусли – орудием вызова моря и войска.

Но все-таки каждый стиль имеет свой реквизит. В сказке к нему относятся, помимо прочего, печка, кольцо, веретено, клубок ниток, иголка – вещи сугубо домашнего, бабьего царства. Дорогу Ивану покажет первый попавшийся гвоздь, но лучше эту роль исполнит золотое колечко. Или – клубок ниток.

Тому виною не только женские руки, участвующие в сплетении сказок. Тут чувствуется влечение жанра к родственным существам. Помимо обстановки, в которой бытует сказка, проникаясь житейской средой, здесь сказывается близость предвечная, символическая, позволяющая тому же кольцу выступать на правах первообраза – ко всему, что в ней происходит. Кольцо, можно заметить, потому употребляется в сказке с таким знанием дела и попаданием в цвет, что оно у нее изначально на уме и на языке. Залог любви и супружества, верности и закона, дальнего пути и судьбы, всяческой связи и тайны – да это же само основание, предметное олицетворение сказки в каждом ее звене и витке.

Так же к слову прилились в ней ткачество и прядение, вышивание и просто шитье, сопровождающее рассказ – параллельно его строю и стилю. У истоков сказки сидит мудрая дева, вещая жена Феврония, от первого до последнего вздоха погруженная в

рукоделие. «...И вниде в храмину и зря видение чудно: сядяше бо едина девица и ткаше красна, пред нею же скача заец».

(Не об этом ли зайце сказано: «Тут зайчик вбег в избу, наелся-напился и спать повалился. Когда зайчик проснется тогда и сказка начнется»? Да, сказка начнется, когда Феврония вновь сядет за пяльцы и зайчик опять заскачет под ее музыку.)

...И как она, поспешая к совместному с мужем успению, шила в церковь воздух со святыми изображениями, а Петр ее торопил, чувствуя приближение смерти, и Феврония все просила его потерпеть да обождать и, наконец, поднялась, воткнула иглу в шитье, обмотав ее заботливо ниткой, и послала сказать – пора... «И воста и вотче иглу свою в воздух и преверте нитию, ею же шияше. И послав ко блаженному Петру, нареченному Давиду, о представлении купнем. И, помолившися, предста вкупе святыя своя душа в руке божии месяца июня в 25 день».

Или не синонимы – жить и шить? Или не той же нитью, что Феврония перед кончиной обмотала иголку, чтобы кто-то продолжил, шьется сказка?

Все это столь значительно – нитка, иголка, – что мы не беремся решить, что же, собственно, вяжет Феврония в продолжение всей своей повести – красна для дома и храма, или свою, сплетенную с князем Петром судьбу, или некую священную ткань мирового жития и сказания?..

Шитье для сказки такой же волшебный аккомпанемент, как гусли-самогуды для Морского Царя. Под пение веретена, под мерное бряцание спиц и посвистывание иглы свершается исполненный важности, ритуальный танец рассказа.

11 июня.

Пью траву «Веронику», и грипп из меня выходит. Тому же способствует бальзамическое твое письмецо, номер 8, про травки «базилик» и «тмин». Тоже очень трогательно – про одеяло с Егором*.

Но где остальные?

- И после каждого стишка было написано слово: «Конец».
- Чан-кай-ша, вместо Чай-хана.
- Все вылезли на решку.
- Молодая баба с 42-го года.

Появился овод, и комары немножко притихли. Говорят, овод их уничтожает. Во всяком случае его появление знаменует, что комары на ущербе.

Когда все создания Божии успокоились сном,
на разостланную к ночи циновку
присел, говорят, тот,
чью тайну да сохранит Бог.

Окинув свою семью печальным взглядом,
взяв в руки мотыгу,
на поле, очищенное своими руками,
вышел, говорят, тот,
чью тайну да сохранит Бог.

Это о Киши-Хаджи. Но на сей раз не песня, а сказание, не имеющее канонического текста и связанное с отношением к Хаджи самого Шамиля.

В самом облике Хаджи много странного. Его одежда состояла из двух черкесок, надетых одна на другую, нижняя черкеска служила бельем. На ногах сыромятные поршни. Вместо пряжки воротник застегнут палочкой.

Ходил он всегда не по ровной, проторенной дороге, а стороною, вдали от всех. И о чем-то шептался сам с собою.

Но самое странное, конечно, заключалось в установленной им круговой, или быстрой, молитве.

От богословов приходили донесения, и Шамиль назначил суд. Если доносы окажутся ложными, он поклялся, что снимет головы обвиняющим Хаджи богословам. Но если Хаджи не докажет свою правоту, что ж, Шамиль об этом объявит во всеуслышание. (Уже из этого предварительного условия видно смягченное отношение Шамиля к святому.)

Когда все – Шамиль со своим войском, богословы со своими книгами, Хаджи со своими мюридами – заняли места и палачи стали на виду у всех, суд начался. Богословы приводили цитаты из книг, и Хаджи их объяснял, пока вопросы не были исчерпаны. Тогда Хаджи сказал, обращаясь к Шамилю:

– Шамиль, – сказал Хаджи, – слышал ли ты, что по четырем концам земли поставлены Богом четыре Стража?

– Слышал, – сказал Шамиль.

– Слышал ли ты, что в центре земли стоит пятый Страж, к которому идут эти четыре Стража, когда совершается чудо свыше их разумения?

– Слышал, – сказал Шамиль.

– Если бы тебе довелось встретиться с ним, ты узнал бы его, Шамиль? – сказал Хаджи и повернулся спиной к имаму.

И тогда встал Шамиль.

– У меня есть просьба к тебе, – сказал Хаджи.

– Я исполню все твои просьбы, кроме одной, – сказал Шамиль.

– У меня к тебе именно эта – одна – просьба, – сказал Хаджи.

– Но хоть трое из них должны понести наказание! – сказал Шамиль.

– «По вине этого юродивого из Иласхан-юрта три мужа науки лишились голов!» – будут говорить обо мне. Я прошу тебя не трогать и эти головы.

– Я исполню твою просьбу, о благословенный Киши, – сказал Шамиль. – Теперь, если ты находишь нас того достойными, то сверши перед нами со своими мюридами эту круговую молитву.

И встали мюриды, и молились они своей быстрой молитвой, а когда она кончилась, встал Великий Хаджи из Саясана и сказал:

– Да сохранит Бог твою тайну, о благословенный Киши! К моим мюридам лишь редко приходящего на помощь Пророка с его апостолами из Мекки – ты молитвой, оказывается, всегда приводишь к своим мюридам.

Тогда встал Газы-Хаджи из Зандики и сказал:

– Да сохранит Бог твою тайну, о благословенный Киши! К моим мюридам лишь изредка приходящих на помощь ангелов – ты молитвой, оказывается, всегда приводишь к своим мюридам.

«Эти синие небеса, Мовсар,
за твоего брата к Богу зывали.

Пусть Всевышний Господь и Пророк Его
помогут им, Мовсар.

Также ангелы небесные, Мовсар,
за твоего брата к Богу зывали.
Пусть Всевышний Господь и Пророк Его
помогут им, Мовсар».

13 июня.

Что мы от тебя имеем на сегодняшний день? Вчерашние два письма, №№ 10 и 11, и три открытки от 8–10 чисел июня (конец Мавриной и начало собак – даже удивительно, что так близко, просто руку протянуть), и сегодняшние одно письмо № 9 и одна открытка от тех же чисел (снова конец Мавриной).

Удивительно красочная получилась картина. И ты знаешь, Ма-ша, я даже решил сохранить конверты с теми приятными марками, которые мне удастся утаить от филателистов и украсить ими собственную коллекцию. То есть я придумал вкладывать твои письма по 10–20 штук, в зависимости от толщины, в марочные конверты, отчего и сотенная пачка выходит гораздо компактнее, и на сердце веселее, когда письма лежат в таких красивых конвертах, и, если их будет достаточно, я весь свой фонд в чемодане таким образом рассортирую – то-то у нас получится Третьяковская галерея.

Открытки тоже очень украшают мою жизнь, потому что, даже когда нет писем, я меньше волнуюсь, зная, что недавно была открытка и, значит, вы живы-здоровы.

Мне кажется, ничего, что вы не уехали на дачу в июне: месяц-то уж больно неровный и хлопотный с погодой, а Егорычу не вредно пожить при Лидии для расширения кругозора, да и лучше не слишком привязывать его к бабушкиным воспоминаниям, потому что все, что случается в детстве, потом на всю жизнь самое сладкое.

Но про любимые запахи тебе придется потом мне все объяснять с самого начала, а то я не представляю, как мел пахнет и другие вещества, а мне интересно.

А еще ты ужасная раздражительница, и даже так получается, так потом выходит, что ты будто бы раньше чего-нибудь сказала, чем я, хотя я был первым, но все равно все бразды правления оказались у тебя. По этому поводу я, кажется, уже приводил сказочную цитату, в которой сразу узнал нас с тобою: «Прошло ни

много, ни мало времени. «Ах, – говорит Иван-царевич, – я есть хочу». – «И я!» – говорит Марья-царевна».

А сейчас я ее вспомнил, потому как ты сказала про безнадежную любовь, что – тоже. И я тебя тоже за это очень люблю.

А собака на открытке похожа не на Леду*, а на того пса, который был у Надежды Васильевны (забыл, как его звали), очень доброго и дураковатого, и он всегда за столом клал голову мне на колени, и у него текли слюни, и его за это лупили, а я защищал. Но Леда была гораздо красивее и совсем не курносой, а с тонкой мордой и твердыми ушами, которые я и сейчас помню на ощупь, их можно было завязать жгутом над головой, и на боках у нее были такие большие, темного, шоколадного цвета бабочки. И я не встречал собак добрее Леды.

Но сейчас я, по всему, наверное, от них отвык, давно не видел, не трогал. А вот к кошкам отношусь хорошо, имея их перед глазами. И в этой связи послушай еще одну сказку – 11-ю.

Сказке идет, чтобы ее рассказывали не под открытым небом, а в доме, в тесном кругу, в закутке, у печки, у теплого бока хозяйки, прядущей тем временем ей в подкрепление бесконечную пряжу, в лад с котенком, катающим по полу неугомонный клубок, возле кошки, погруженной в дремоту, поздним вечером, зимой или осенью, когда особенно внятен и памятен запах дома, родимой овчины, вместе со всей обступившей кибитку, сгустившейся темнотой, непогодой. Это не просто привычная, выигрышная атмосфера ее исполнения, но отвечающий ее внутренним струнам, врезающийся в текст интерьер, сопряженное с долгой дорогой и предусмотренное в разъездах гнездо, откуда-куда и во славу которого сказка отправляется странствовать. Дом – оборотная сторона, локализованный полюс дороги, к которому та тяготеет согласно закономерности: чем дальше путь, тем дороже дом.

(Муза дальних странствий, известно, преимущественно сидит у камина. На том же – обратном – вожделии запечного рая, надежного крова прочно держится эстетика страха, истории о мертвецах, колдунах. Они, как дождь, стучащий по крыше, как завывание ветра под дверь, нагнетают эффект безопасности, которым мы счастливо наслаждаемся. От встречи с мертвецами нам сладко, нас тянет под одеяло. Замок с привидениями своим

литературным успехом обязан разбуженному чувству уюта, сознанию застрахованного от непрошенных вторжений жилья. Поэтому, кстати, нет нужды в рассказах о всякой нечисти усматривать непременно нравственную испорченность автора, движимого, возможно, любовью к дому, жаждой укромного угла и тепла.)

Но сказка при этом смотрит на вещи более трезво, утилитарно. К кочевому образу жизни ее влечет инстинкт гнездования, неотступный гений оседлости, что отражается на душевном и предметном ее ландшафте. Самое странное, беспокойное, бродящее по свету создание, падкое на чужедальные земли, приключения, чудеса, оказывается самой привязанной к дому формой народной поэзии.

Сказка похожа на кошку, которая не расстается с жильем, хотя среди домашней скотины по праву числится диким отродьем. Другие свойства кошки также напоминают поведение сказки: ночной характер существования, наполовину погруженного в сон, наполовину в химеры подпольного и чердачного мира, гибкость и острота реакций, мистическая очарованность взгляда, сближавшие кошек с нечистой силой, что не мешает занять им при печке привилегированную должность барометра, тайного стража, доброго беса, уморительной и мирной кикиморы, без которой дом не прочен и как будто лишен жильцов.

Кошка существует где-то на уровне древнего поклонения демонам.

Предрасположенность сказки к кошке ознаменована выступлениями Кота в сапогах, Кота Мура и других кошачьих артистов, которым ведь не зря же приписывалась способность к сочинительству сказок, порой наделенных колдовской, гипнотической силой (Кот-Баюн, напускающий сказками сон на свои жертвы, — тема, требующая специального рассмотрения). Но и обыкновенная кошка возбуждает у сказки явно повышенные интерес и симпатию, которые превосходит лишь находящийся вне всякой естественной конкуренции конь. Кошка же как бы случайно, нечаянно втирается в сказку и производит переполох (ее все звери боятся), вызывает смех, восторг, удивление уже своей фантастической внешностью, для чего ее иногда переносят в чужую страну, не выдавшую кошек, и описывают по всем правилам поэтического остранения как редкую диковинку, невидаль.

«Кошку ту Семион-вор так к себе приучил, что она везде за ним бегала, как собака, и ежели он останавливался на дороге или в ином каком месте, то кошка становилась на задние лапы, а потом терлась около него и мурлыкала. ... На другой день Семион-вор взял свою кошку и пошел в город и, пришедши к царскому двору, остановился против окон царевны Елены Прекрасной; в то же самое время кошка села на задние лапы, а потом начала тереться и мурлыкать. Надобно знать, что в том государстве совсем не знали и не слыхали, что есть за зверь кошка». (Начинается суматоха вокруг кошки, Семиону предлагают поселиться в царском дворце ради кошки, которую он дарит Елене Прекрасной к великой радости самого царя. «— Ежели прикажете мне, то я буду ходить к вашему величеству всякий день и стану кошку приучать к вашей любезной дочери». Словом, кошка в центре внимания.)

Тут нет ничего от позднейшего увлечения «кошечкой» в изнеженной городской обстановке, в эротическо-сентиментальной традиции. Кошка здесь покамест всецело «чудный зверь», более экзотический, чем одомашненные сказками медведи и волки. Возможно, сравнительно позднее распространение кошки в Европе способствовало тому, что за нею закрепились черты иноземного, нездешнего происхождения. Но одновременно в ней сказка, как человек в обезьяне, узрела свое подобие и поставила у себя на запятках – заправским эфиопом.

Через кошку, как через сказку, протягивалась незримая связь между лесом и печкой, заморской далью и домом, звериным и человеческим царствами, бесовской чарой и бытом. Кому как не кошке сказка могла препоручить свое бессчетное, непонятно с каких глубин, с которых широт расплотившееся по свету потомство?

И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом...

16 июня.

Интересно – когда дописывал тебе про кошку, к нам в сени (а я теперь часто сижу в сенях, когда холодно) пришел котенок, очень рыжий, маленький и тощий, и залез ко мне на колени, и стал ловить лапами бороду, должно по масти узнал, и потом мы

с ним стали играть его собственным хвостом и от души веселились, и он урчал, как паровоз, угревшись, время-то довольно холодное, и я считал, что он согласен про кошку, и опять вспомнил палисадничек на Мещанке.

Еще что я сделал за это время? – еще я распределил по конвертам две сотни твоих писем, считая по десяти в конверт, но некоторые почему-то не влазят, и пришлось разрывать конвертик, выбирая какой похуже, совсем впал в детство, но теперь конвертики кончились, и четыре сотни лежат неодетыми, пока ты мне не нашлешь много-много новых писем.

Приятное занятие копаться в этих бумажках, вспоминая то и это, только на людях трудно, – ах, что у вас за открытка, покажите! И всё в этом роде, скоро начну кусаться. И так уже огрызаюсь, и жизнь принимает все более отшельнический образ.

Есть надежда – когда ты, Машенька, получишь это письмо, тебе уже будет виднее, когда ко мне ехать, и ты мне об этом напишешь. Потому что очень скучно – так давно тебя не видеть, а через месяц ровно полгода с общей встречи, и пора, а письма хотя пришли по № 11, непришедшие оставили белые пятна в моей душе, и я жду, чтобы ты мне рассказала хотя бы про «Руслана и Людмилу»*, которые ты оформляешь для кинофильма, но как и чем – непонятно.

И еще очень хочется просто на тебя посмотреть.

Это что, в прошлом году было, когда мы сидели и просто глядели друг на дружку во все глаза?

А Егорыч умничка* – про мастерскую, куда готов ходить и книжки читать, тебя поджидаячи. Для детей вообще почему-то вещи более превратны, непостоянны, чем для взрослых, и время огромно, и поэтому рядом сидеть готовы, только бы не выпустить, уберечь. Каждый вечер мама возвращалась с работы, и каждый вечер я не верил, что все обойдется и она придет домой. И когда к раменскому дому подъезжал каждое лето, то не верилось, что он стоит на месте и вот сейчас откроется за поворотом в своем обычном виде, в дубах, и бывало удивительно, что он дождался приезда и вот так стоит, как обычно, во всей красе.

Целую тебя, моя любимая Маша.

А.

19 июня 1970.



...про одеяло с Егором. – Из моего письма: «– Это папино одеяло? Да? А потом папа из него вырос и подарил его мне? Да? Вот когда мы к нему ездили, он и подарил...»

Господи! Какой он был маленький, когда мы приезжали, а помнит. Вот только одеяло перепутал...»

...похожа не на Леду... – Леда – любимая собака Синявского детства, а у Надежды Васильевны Реформатской был пес по имени Икс.

...про «Руслана и Людмилу»... – Из моего письма: «А тут еще нагрузили меня работой в Комбинате, и надо ее сделать – иначе будет скандал и меня уволят, а работа срочная – украшения для кинофильма «Руслан и Людмила», и максимум, что мне удалось, это схитрить так, чтобы мне достался самый маленький кусочек, а это делают всей бригадой, и все жутко грызутся, стараясь урвать заработок побольше».

А Егорыч умничка... – Из моего письма: «Подходит к концу Егорычева группа, и ему придется жить у бабушки, и он заранее тоскует и подает всякие идеи, что будет ходить со мной на работу в мастерскую, где такие хорошие книжки, и что будет сидеть тихо и мне не помешает. И я его очень даже понимаю, но не могу же держать целый день в подвале».



ПИСЬМО СТО ЧЕТВЕРТОЕ

Ах, Машечка, какую ты мне сегодня золотую марку прислала – скифский олень в рогах-лебедях – тот самый! И письмо под стать марке – в нежных интонациях – № 12, из которого я понял, что ты тоже иногда радуешься на мои письма.

Идея Коктебеля для ребеночка* мне очень понравилась, тем более у него начнется тот же возраст, когда я на Кавказ поехал, и эти южные впечатления самые нежные, тогда как потом все не так оказалось. Но я возмущен, почему невозможно взять Егора туда в виде домашней нагрузки – либо четвертым ребеночком, либо третьим на две плавающие мамы, которые могли бы для этого немного пожертвовать своей научной упитанностью, а ты бы отдохнула или в крайнем случае помогла одной из пловчих, сидя на берегу. Тем более сама видишь, какое нынче лето пошло, и я только радуюсь, если вы не на даче.

А оленя я прикопил*, полюбив с первого взгляда. И тотчас схватил ручку и начал писать тебе это письмо.

22 июня.

Холодно. Идут тучи, похожие на ключья и клубы дыма. Вообще картина неба предоставляет большие возможности для описания поля древних сражений. Не на этом ли зиждилась вера в Перуна, когда человек вообще чаще смотрел вверх и видел на небе знамения столь же отчетливо, как мы в темноте на экране смотрим кинохронику? Перун, безусловно, связан не с обособленным фактом грома и молнии, но с общим контекстом неба – со зловецким воинством туч, ведущим осаду заоблачных городов, крепостей, с периодическими сдвигами в Солнце, Луне, звездах, более разительными в ту пору, когда земля лежала в неподвижности и

только небо, испещренное кометами и зарницами, стояло, кажется, ближе к динамике исторической фабулы, чем к косности природы.

У Бога нет ушей, но Он все слышит. Тишайший шаг муравья для него словно топот конского табуна, промчавшегося по мосту.

Хеда (мать Кунта-Хаджи) считалась подругой Фатимы, дочери Мухаммеда. Разность столетий – девятнадцатое и шестое – не мешало им подружиться. Но подругами они были, естественно, еще до рождения, в бытность душами. В магометанстве вообще ярче представлен дожизненный цикл в судьбе человека.

– И в ту минуту моя молитва не дошла до Бога, потому что я тогда все на того жида дивился (на Рождестве).

– Видно, нам суждено жить в шуме и крике.

– Где поймал? У них миллион дорог, а у меня одна.

– Увидел себя во сне со спины – маленьким таким человечком.

Из последних приятна мысль о родстве уюта и страха, где, кажется, нашелся-таки ключ к загадке, ломавшей голову несколько лет: почему дети и люди вообще любят рассказы о страшном? На сходной – обратной – связи построена, возможно, эстетика слезливых эмоций, предполагающая, что человеку приятно быть добрым по отношению к страдающему на сцене герою. Представился случай показать свою сострадательность, и мы сладко плачем.

Тем временем рыжий котенок влез на стол, встал на задние лапы и ловит дрожащую на стене бабочку. Вот поймал и схрумкал.

23 июня.

Открыл для себя несколько произведений древнерусской литературы, мимо которых проходил раньше, а теперь вижу: из первоклассных, того же ряда, что Аввакум, Киево-Печерский патерик, Петр и Феврония.

Это особенно – сказание Авраамия Палицына (об осаде поляками Троице-Сергиевой лавры) и Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков (оба – из самого интересного и декадентского 17-го века). И там и там тема, которую можно назвать «Война и иконы».

У Авраамия описан артиллерийский обстрел – с удивительно и ужасно точным фиксированием попаданий. «...Внизупу ядро удари в большой колокол, и сплыв в олтарное окно святых Троице-Сергиевских чудотворцев».

ица, и проби в деисусе у образа архистратига Михаила дску подле праваго крыла. И ударися то ядро по столпу скользя от левого крылося и сплы в стену, отшибесе в насвещник пред образом святыя живоначальныя Троица (небось рублевским!) и наязви свещник, и отразися в левой крылось и развалися. В той же час иное ядро проразил железныя двери с полуденныя страны у церкви живоначальныя Троица и проби дску местнаго образа великаго чудотворца Николы выше левого плеча подле венца; за иконою же ядро не объявися», – и эта замедленная и старательно подсчитанная архитектуроника ударов делает всю музыку. Так ведется протокол на месте убийства – с описью всех увечий, нанесенных телу. Драматизм ситуации усугубляется тем обстоятельством, что обстрел ведется не когда-нибудь, а 8 ноября, в день Собора Архистратига Михаила, в момент праздничной службы, и по молящимся, просящим защиты у тех икон, по которым стреляют. И мы не знаем, читая, куда качнется еще и перевесит качание ядра-маятника и что страшнее: то, что Архистратиг Михаил молча переносит удары (не может, не хочет ответить?!), или то, что нагнетаемое святотатство отзовется с гаком, и сами качаемся между надеждой и общим плачем, прервавшим службу.

В тот же день, еще до этих фиксированных попаданий, ядром оторвало ногу у клирика Корнилия, шедшего к службе в ту же церковь, и он, умирая на паперти, предрекал об Архангеле, что тот так не оставит кровь православных. Тоже старице оторвало руку – терпят и люди, и доски икон, и в этом терпении ожидания нарастают волны осады.

Но обстрел 8 ноября 1608 г. имеет и более широкий прицел, занимая центральное место в Повествовании Палицына, начавшемся тоже двойной динамикой – иконы – истории: уговаривая Бориса на царство, посмели вынести чудотворный Смоленский образ из Девичьего монастыря – ради узурпатора. «Двигнут бысть той образ нелепо, двигнута же и Росия бысть нелепо».

С этого сдвига начинается Смута.

Из других достоинств Сказания лишь перечислю: 1) Сознание ироничности исторических перемен (Борис истреблял измену среди знатных вельмож, а вылез Гришка Отрепьев – «Смеху достойно сказание, плача же велико дело»); 2) Достоверная дотошность в описании мелочей, от которых автор рывком переходит

к высшим материям (описание подвигов Анания Селевина, которого, наконец, ранили в большой палец ноги – из пищали – и раздробили плюсну – «И отече нога его до пояса, и по днеш малех скончался ко Господу»); 3) В главе о добывании дров, находившихся за пределами крепости, неожиданный переход на рифмованную речь – «Текущим же на лютый сей добыток дров, тогда готовляшеся им вечный гроб» и т.д.

Любопытно, что именно этот эпизод с дровами привел к рифмовке. Очевидно, пикантность ситуации: за дрова платили жизнью – повернула мысли не то что бы в игривую, но в затейливую, хитроумную форму и повлекла к сближению этих рядов: дрова и трупы. (Отсюда напрашивается предположение, что рифма вообще любит связывать не близкое, а далекое, и в качестве предварительного условия требует некую парадоксальность суждений, игру ума, – недаром у Пушкина рифма существует как признак остроумия.)

Словом, вещь удивительная и требующая отдельного, близкого, впритык рассмотрения, которое могло бы тебе пригодиться в экскурсиях по Загорску (например, рассказать, как разили ядра на этом месте). Но еще интереснее Азовское сидение, о котором когда-нибудь в другой раз.

Не удержишь только от мысли более общего характера, относящейся к средневековой культуре вообще.

Сравнивая искусство светское и религиозное, замечаешь, что, хотя первое как вроде бы более свободно чувствует себя искусством и предается разнообразным утехам, второе, даже отказываясь от художественных задач в собственном смысле слова, является искусством в квадрате и несет на себе двойную эстетическую печать. Ибо самый мир оно склонно воспринимать как икону и давать ему подчеркнуто образное истолкование. Любой факт в его свете обретает двойное, а то и тройное значение, переносный смысл сгущается, взаимодействие идеи с материалом принимает более гибкие и затейливые очертания, и если всякое искусство есть игра с жизнью, то там, где самая жизнь поминутно сверкает отблесками горней игры, искусство там вдвойне играет игрою, внося бездну движения в самые вялые формы. Ничего плоского. Все восходит-нисходит, и каждая мелочь значительна, а отвлеченное предметно, и всё, к чему ни притрагивается взгляд

художника, воодушевляется сознанием своего места под солнцем, и тянется к нему, и бросает резкие тени.

Не потому ли иные великие произведения, не имевшие ничего общего с традицией средних веков, типа «Фауста», «Дон-Кихота», «Войны и мира», – также прибегали к верхнему освещению? Стоит отнять у «Гамлета» тень его отца, как он тотчас исчахнет.

28 июня.

Хорошо летом: тепло, привольно. Странно, однако ж, когда главная ценность лета заключается в том, что меньше шума.

Чему научила жизнь, так это быть благодарным.

На один и тот же стереотипный вопрос: как поживаете? – в юности говоришь: ничего (с оттенком: неважно), в зрелости: нормально, в старости: слава Богу.

Еще я иногда вспоминаю какие-то эпизоды из вашей с Егорычем биографии и жутко об них трогаюсь и умиляюсь. Например: – Что же ты меня без света оставила?

Пока что все пробавляюсь твоею скифской марочкой*, только что не лижу языком, а писем больше за эту неделю не было. Посмотрим, что завтра.

Сегодня ровно год, как я здесь. Довольно много на вес. А природа все еще нравится. И по этому поводу наблюдение над пейзажем, который, имея он отношение к стилистике и поэтике сказок (в чем еще не вполне уверен), занял бы место после «кошки».

Странно: живешь-живешь и вдруг увидишь. Что увидишь? Что давно уже без этого знал и что всем известно, но почему-то не обращал внимания, а сейчас обратил и заметил.

Вчера ведут на работу, и вдруг вижу: лес – темный. В самом деле темный, темнее всего, что ни есть вокруг, точно он исчерпал собою всю темноту и вобрал ее в мягкую, как промокашка, зелень. Это знали давно, называя лес не зеленым, а именно и только – темным лесом.

То же, если подумать, – сырая земля. Она всегда сырая, при любых обстоятельствах, в самый сухой сезон, изначально сырая. И поэтому в ней берут начало ручьи, ключи, реки, болота, озера – не оскудевая.

Вот он – постоянный эпитет. Боже, как все правильно и как глубоко!..

Но каков, стало быть, борзый конь, если впоследствии самым быстрым собакам дали кличку – борзая?!

28 июня.

Писем нет как нет, и поэтому послушай еще одну сказочку, тринадцатую.

В ней есть нечто от жуткой и пронырливой затаенности зверя, от скрытности птиц и рептилий и даже от совсем уже чуждых, непостижимых уму, сизифовых преткновений улитки, от левитации паука и метagalactic муравьев и термитов, лежащих как бы за гранью человеческого познания. (Попытки войти здесь в более глубокий контакт грозят провалом в безумие, паралитическими расстройствами речи, сбивающейся на гримасы и лопотание обезьяны, приблизившейся к миру животных дальше, чем это дозволено нашей организацией.)

Животность ее природы наружно проявляется там, где сказка, наперекор доводам рассудка и чувства, слепо, с тупым упрямством следует голосу крови и, моментально срабатывая, случается, попадает в ловушки, расставленные историей на ее узком пути. В ее памяти образуются трещины, разрывы, лакуны. Но сказка, наподобие ящерицы, обладает способностью к быстрой регенерации тканей, что в итоге ведет к чудовищным неувязкам и ляпсусам в духе искусства абсурда (своего рода наростам и опухолям на месте повреждения, по которым мы и можем судить о силе ее инстинктов, о дикой жизненной хватке), ставящим нас в тупик и поражающим в то же время безукоризненной правильностью запрограммированного в ее генах рисунка. (Кажется, сказитель тогда, словно граммофон, механически воспроизводит предустановленный код слагаемого помимо его воли и разумения текста, смысл которого им отброшен как лишняя роскошь за полной его недоступностью для позднейшего человечества.)

В одном из вариантов классической сказки о репке катящаяся как по маслу, от дедки до мышки, программа внезапно меняет пластинку: вместо кошки, помогающей сучке (в литературном изложении – Жучке), появляется... нет, сами посудите, кто пришел вместо кошки:

«Пришла нбга» (?!).

С участием «нбги» продолжается передача, катящаяся, однако,

теперь не под гору, а в гору: две нѳги, три нѳги... И так пять раз подряд, покуда пятью рядами ногатой абракадабры не завершается наша сказка, сошедшая с ума.

«...Пришла пята нѳга. Пять ног за четыре, четыре нѳги за три, три нѳги за две, две нѳги за нѳгу, нѳга за сучку, сучка за внучку, внучка за бабуку, бабука за дедку, дедка за репку...»

Честно скажу: я не знаю, что это такое, – не то что объяснить, но как назвать, обозначить и о чем вообще тут может идти речь? Откуда, зачем пожаловали эти ноги, да и ноги ли это или что-нибудь похуже, вроде одноногих, гадоподобных богов из подземелий царя Кекропа, выкормивших Бабу-ягу, расплодивших в Индии племя полузмей-полулюдей под странным наименованием «нѳги»?.. Или попросту, в глупую рифму *дороге*, которая не произносится, но присутствует в подсознании «Репки», вспомнил сказочник *ногу* («бежит ножка по дорожке») и вставил, ничтоже сумняшеся, чужую кассету? Или сказке вообще в глубине души наплевать, на какой арифметике строить свою грамматику, и она заложила в машину первую пришедшую дичь, выпуская с конвейера бабок и внучек, а после, для скорости, ноги, одни ноги без туловищ, в качестве цифрового отчета с того же полигона?

Этот казус похож на подложенное кукушкой яйцо. Пovýтол-кав законных наследников, непрошенный заморыш растет, как эта, не к ночи помянутая, размножившаяся опухоль-нога и скоро занимает один всю свободную площадь, превосходя размерами свою приемную мать. А та, не замечая подмены, суетится вокруг паразита и спроваживает в ненасытную пасть скромных мошек и червячков и еще радуется, небось, идиотка, что сынок у нее удался такой большой и горластый.

Фабр* называл это мудростью и невежеством инстинкта.

Но сказке не обязательно в нарушение логики доходить до Геркулесовых подвигов. Часто она старается как-то сгладить и примирить свои дикие выходки с общепринятой рассудительностью, для чего измышляет порой головоломные мотивировки. Однако она настолько некомпетентна в этой материи, что с помощью здравого смысла запутывается и провирается больше, чем если бы наотрез отказалась отвечать на вопрос, не противоречит ли ее поведение разумному пониманию. Противоречит! Всегда противоречит! И нечего было Катоме-дядьке – дубовой шапке

приписывать какую-то человеческую психологию, позволившую, якобы, злой королеве беспрепятственно отрубить ему ноги, тогда как был же он в силах этого не допускать. «Катома дался ей на поругание. – Пусть, – думает, – пострадаю; да и царевич узнает – какво горе мыкать!»

Ложное правдоподобие, желание придать иррациональной ситуации видимость естественного хода вещей заставили рассказчика встать на зыбкую почву психологических рассуждений и домыслов, хотя логичнее было бы – и сказка на это рассчитана – обойтись без объяснений на тему, почему сильномогучий Катома позволил над собой надругаться. Позволил, и баста, на то он и дядька – дубовая шапка, чтобы все делать по требованию, тем более зная заранее, что ноги у него, как это свойственно дубу, скоро все равно отрастут, а не ради сомнительной прихоти пострадать и тем проучить незадачливого царевича. (Тоже мне – Анна Каренина!)

Гете оправдывал Рубенса, прибежавшего в пейзаже к двойным теням, падающим в разные стороны при одном источнике света; оправдывал он и Шекспира, предоставляющего Леди Макбет, в зависимости от тона и характера монолога, либо иметь детей, либо выступать совершенно уже бездетной злодейкой.

Сказка вольна еще меньше считаться с необходимостью согласовывать факты. В огненном озере, через которое не может переправиться змей, Марья-царевна преспокойно стирает белье. Дело в том, что царевне ведь не заказана стирка на озере (куда ее нужно доставить для дальнейшего прохождения курса), ну а змею заказано плавать и летать через озеро, для чего оно специально и приготовлено огненным. Просто это гвоздь не от той стенки.

Сказка, как звери, мгновенно реагирует на знакомый сигнал, меняя диспозицию, и так же вынуждает кидаться, менять ориентировку, окраску покорных ее власти героев, наделенных моторными импульсами, не заставляющими себя ждать.

«Нежданно-негаданно приезжает Иван-царевич к Дмитрию-царевичу, входит в его комнату, а он спит себе крепким сном. Увидел Иван-царевич портрет Марьи-царевны – и в ту же минуту влюбился в нее, выхватил свой меч и занес на ее брата».

Грацию подобных рефлексов постигаешь тоже чутьем. Как

это правдиво, естественно: вошел, увидел портрет, влюбился и занес руку на брата. Не раздумывая, не рассуждая: самец.

Они знают, что делают. У них врожденные навыки, унаследованные от предков идеи, быть может, иногда несуразные, нелепые с точки зрения логики, но абсолютные по безумию и безусловной правоте интуиции, позволяющей сказке вот уже сколько веков жить на собственный страх и риск, посреди всех средостений, срываясь с крючка, забывая лапу в капкане и все-таки всякий раз ускользая от нашего понимания то в темную ночь доистории, то в чащу соседних лесов.

30 июня.

Терпение вознаграждается, и я получил от тебя два письма, № 14 и № 15, и одну открытку с собачкой колли – от 23.VI. Письма хорошие – про то, как Егора устроила жить у Лидии (об этом я раньше читал в открытках, а сейчас все подтвердилось) и как смотрела кино по Стивенсону. Только уж очень замотанные и замученные письма*, и куда же дальше, Маша, тебе так напрягаться, что конца и краю не видно. Сердце разрывается, глядя на это.

У тебя даже почерк сделался какой-то усталый, и ты буквы пропускаешь от утомления, а я обратил на это внимание тем более, что в это самое время начинаю замечать такой же грех за собой, но у меня это не от усталости, а просто стар становлюсь, должно быть.

Но ты, моя Машенька, хотя бы не расстраивайся, что пришлось немного отложить поездку ко мне. Потому что от места слагаемых сумма не изменяется, и если этот отрезок будет больше, то другой, может быть, станет меньше от этого, и всегда лучше сейчас страдать, чем потом.

На Востоке даже поговорка существует по поводу болезней: заболел – значит, Господь вспомнил, а если давно не вспоминает, это не очень хорошо по идее компенсации. Поэтому в селении не любили одного соседа, который никогда не болел и во всем преуспевал, и даже побаивались, считая, что втайне он очень грешный, выходит, человек.

Интересно, вы сейчас переехали на дачу или все еще откладывается. У нас полное лето. Едим грибы, собираем цветы. На сто-

ле, за которым я обычно занимаюсь, в банке стоят даже ромашки. И мухи покоя не дают.

– Обстановка будь-будь.

Не знаю, как выразить, ангел мой – Маша, всю мою к тебе душевную расположенность, для чего перехожу на поэтический слог. Слог в самом деле очень поэтический.

Там, далеко, на Севере далеком
Я был влюблен в пацаночку одну,
Я был влюблен, и был влюблен так сильно,
Тебя, пацаночка, забыть я не могу.
А где же ты теперь, моя пацанка?
А где же ты, в каких ты лагерях?
Я вспоминаю те стройненькие ножки,
Те ножки стройные в фартовых лапарях.

Лапари – сапоги. Поэтому, по всей вероятности, они пишутся через «а». От лапы.

2 июля.

Раз уж коснулось поэзии, то трудно обойтись без заключительной (на мое восприятие) песни о Киши-Хаджи, может быть, не самой интересной и несколько однообразной по слогу, но без этого прощального слова исчезающего Бог весть где героя не будет ясен и весь цикл его прекрасного пребывания с нами. Впрочем, существует предание, что Хаджи еще должен вернуться, поскольку ему отпущен возраст в четыре человеческих жизни.

– Не разлука ли с Дагестаном тебя опечалила?
Не разлука ли с мюридами тебя опечалила?
Не разлука ли с родными тебя опечалила?
Сегодня я вижу тебя печальным, брат мой Хаджи.

– Не разлука с Дагестаном меня опечалила,
Не разлука с мюридами меня опечалила,
Не разлука с семьей меня опечалила,
Сегодня Творец, Всевышний Господь говорит мне:

– Когда разлучал Я тебя с Дагестаном, Я не жалел тебя,
Когда разлучал Я тебя с мюридами, Я не жалел тебя,
Когда разлучал Я тебя с семьей, Я не жалел тебя,
Сегодня Я разлучаю тебя с любимым твоим
братом Мовсаром, сегодня Я жалею тебя.

– Хаджи, о Хаджи! Мог бы я знать, почему нас разлучает
Господь?

– Мовсар, о Мовсар! Есть Великое море, омывающее землю,
Оно называется Бахрал Мухид, живут там народы без веры.
Туда, учить их вере, посылает меня Господь.

– Если к ним тебя посылает Господь, то что же Он мне
говорит?

– Мовсар, о Мовсар! От доносов нечестивцев и книжников
Брат наш Висхан вынужден укрываться в Турции,
С именем Бога и Пророка на устах ты отправляйся к нему.

– «Хаджи нет с тобою, что случилось с Хаджи?» –
Будут спрашивать меня, что я должен ответить?

– Не заставляй их ждать, обещая им мое возвращение,
Не заставляй их забыть меня (прекратить ожидание),
говоря, что я не вернусь.

Когда ему до Висхана оставалось полдня пути,
Голос молитвы Мовсара первой услышала Седа:
(жена или сестра Хаджи)

– Висхан, о Висхан! Или ты не слышишь? –
Ведь это же голос живого брата твоего Мовсара!

И вышла навстречу, и увидела Мовсара,
И, обнимая, спрашивала: Хаджи нет с тобою,
что случилось с Хаджи?

– Дай вам Бог терпения! Дай вам Бог терпения!

Сайд-Селам из Мекки, куда дели Хаджи нашего
Всесильный Господь наш,
и славный Пророк наш,

и Ангел Джабраил?
Лаилаа – ил-лалла.
Просите вернуть нам.
Лаилаа ил-лалла.
Остались одни мы.
Лаилаа ил-лалла.

Ангелы небесные, куда дели Хаджи нашего
Всесильный Господь наш,
и славный Пророк наш,
и Ангел Джабраил?
Лаилаа ил-лалла.
Просите вернуть нам.
Лаилаа ил-лалла.
Остались одни мы.
Лаилаа ил-лалла.

Интересно, как по-разному Кавказ поворачивался для русских писателей. Шотландский Кавказ Лермонтова, персидский Есенина, шумерский Мандельштама, и чего только в нем не искали, и как этот экзотический росток прививался к нашей словесности, которая всегда немножко была Кавказским пленником.

Я иногда фантазирую, куда бы нам поехать с тобою летом и какие места посмотреть, где не бывали. И ты знаешь, пожалуй, Прибалтика и Грузия вспоминаются чаще всего. Ну еще Ольвия-Корсунь, может быть. Грузия, разумеется, горная, Прибалтика – средневековая. Какая-то четкость линий, чистота рисунка.

А тебе не кажется, Машенька, что европейское средневековье костлявее, геометричнее и конструктивнее нашего? А наше, наверно, красочнее, сочнее. Но даже от приземистого романского примитива остается впечатление стройности. У них больше того, что можно сравнить с прожилками листьев, скелетом растений. У нас же средневековье бескостное, больше мякоти, которая потому и сгнила.

А ты слышала, что Нотр-Дам расчистили и он оказался белый-белый?

И куда бы ты со мною, Маша, хотела поехать летом?

4 июля.

Ужас как жарко. Целый день парит, слегка покапает, и опять парит. Как вы это переносите, мои деточки, в особенности – ты, Машенька?!

Но я заметил, что в этом году для здоровья, может быть, хуже резкие перемены в погоде, ведущие ко всяким давлениям, от которых даже у меня голова болит. А в жару – сносно.

А твое письмо № 13 не пришло. И я так и не знаю толком про короткое замыкание, учиненное Егорычем (бедный, как он, наверное, испугался – а ему меньше всего нужны сейчас подобные шоки, и поэтому ты его за это не очень уж ругай), и про твоих «Руслана и Людмилу», которым, я надеюсь, ты не доспехи и шлемы куешь, а чего-нибудь поменьше.

И к собакам, оказалось, я не так уж плохо отношусь. Когда в одном споре зашла о них речь – Ну, зачем вам собака? – я заупрямился и понял: нужна, и это уж голос крови, как и тысяча и одна ночь, и помнишь, мы ехали в поезде из Рамена, а Осичку третируют пассажиры, и я вступился, и всегда вступаю за собаку.

Приятный разговор о лошади, которую надо кормить, потому что она возит харчи, а сама худая, и это несправедливо – но мы-то, где можем, должны быть справедливыми? и все согласились.

А бандероль, я думаю, к тому времени, когда придет это письмо, пора высылать мне, но только прошу тебя не издерживаться на нескафе, а просто в зернах, а нес можно пару баночек, если попадется, а то и без них хорошо, – потому что уже совсем истощились в ожидании кофия, и шли мне бандероль, Машенька.

Еще мне захотелось тебя немножко удивить чем-нибудь добрым и нежным, потому что я люблю, когда ты удивляешься, и для этого я начал уже сочинять тебе следующее письмо, про которое не стану рассказывать, чтобы тебе было интереснее со мною жить.

Не грустите, пожалуйста, и не надрывайтесь на работе, и храните свое здоровье.

Целую тебя и обнимаю – Машечка.

А.

5 июля 1970.



Идея Коктебеля для ребеночка... – Ранней осенью 1969 года на моем приятельском горизонте появились две новые дамы – Наталия Светлова и ее мама Екатерина Фердинандовна. Идея детского летнего кооператива родилась в недрах их компании и восхитила меня своей конструктивностью. Я писала Синявскому: «Была я вчера в доме, где шли сборы для поездки в Коктебель в составе трех разных детей (в смысле – от разных родителей) и одной мамы. И я ужаснулась такой обузе, а мама и говорит, что это у них просто детский морской кооператив, а не акт самопожертвования, и троих детей вывозят на три месяца, а мама каждого из них приезжает только на один (а родители все подобрались сугубо научные, с большими отпусками), а на второй едет отдыхать сама по себе, куда хочет.

И вот нас с Егором приглашали на будущее лето и объясняли, что Коктебель – это совсем не жарко и горловикам очень полезно, особенно если ребеночек выезжает в самом начале лета и постепенно обживается на южном солнышке да при морских купаньях, но все уперлось в мое неумение плавать. И нас с Егором уже не берут, т.к. все мамы должны заплывать куда угодно вместе с детишками.

Но сама идея такой кооперации мне очень понравилась. А тебе?»

А оленя я прикопил... твоею скифской марочкой... – Серия марок «Государственный Эрмитаж» 1966 года. – «Золотой олень». Скифское искусство. VI век до н. э.

Фабр Жан Анри (1823–1915) – французский энтомолог, писатель-натуралист, автор книги «Инстинкт и нравы насекомых». Т. 1–2. 1906–1914.

...замотанные и замученные письма... – Бывало и такое в моих письмах: «Совершенно не понимаю, как так получилось со временем, вдруг я обнаружила себя в абсолютном цейтноте, а рядом на невысказанных скоростях пролетает время, и всё в трубу, всё в трубу, и только в ушах свистит от такой ситуации. А куда денешься?

И не успеешь оглянуться – уже дело идет к двенадцати, и пора идти домой, а ничего не сделано, и на завтра работы в полтора раза больше, а на послезавтра – уже в два».



ПИСЬМО СТО ПЯТОЕ

На сей раз, друг мой – Маша, я тебе посылаю подарочное письмо! С какой стати? – спрашивается, – ведь никакой даты в ближайшее время нет и не предвидится. Вот именно поэтому: чтобы ты не грустила, и пускай в такой пустыне расцветет цветочек. А то все в моих письмах очень уж однообразно, и, я боюсь, тебе уже скучно их читать, когда все сплошь черным почерком, из которого не видно, как я тебя люблю и жалею, и вся красочность исчезает за стенкой этих ровных буковок, и пусть они немножко раскраются и заиграют при помощи этой хвостатой дамы.

Тем более, глядя вперед, я могу уже осязать август, роскошный месяц август, перед которым июнь и июль лежат выжженной равниной, и мое письмо придет к тебе уже наверное в августе. К тому прекрасному времени, когда ты, может быть, уже и ко мне съездишь в гости, и вот тогда ты вдруг получишь мое письмо и удивишься.

Словом, не мешает чего-нибудь тебе подарить, это редко бывает, и мне пришло в голову приклеить сюда эту картинку с письмом:

«Золотой Машеньке – эту рыбу-медузию* – в преддверии зимы, в разгар лета».

5 июля.

А теперь я хочу тебе, Маша, подарить четырнадцатый изразец, потому что именно на него ты мне открыла глаза, сказав, что больше других сюжетов любишь эту фигуру, и я стал думать, почему мы ее любим, и получилось, – мне кажется, тебе понравится, потому что я очень о тебе думал и медузию вспомнил тогда же и решил подарить – всё вместе.

Понятно, что любят коня. Ну, транспорт. Ну, пахарь. Правая рука на войне, первая подмога, забава. Ну там, в придачу, какое-нибудь еще божество. Оракул, радетель. Но есть же еще что-то, уже что-то художественное, чем дышит абрис всадника, заставляющий себя рисовать в роли едва ль не заглавного, государственного герба стольких культур и памятников?

Посмотрите, как он сидит на коне в великолепном слиянии линий человеко-животного тела, – алконостом, кентавром, русалкой, говорящими о сказочной жажде соединения разъединившихся форм человеческого и звериного царства, встретившихся наконец в лице коня и наездника, этой твари о двух головах, похожей на морское чудовище, дракона, левиафана. Да, всадник – счастливая находка, единственная в своем роде, позаимствованная у жизни метафора, которую искали давно по всем метаморфозам, предлагая вниманию зрителей, обсуждению ученых умов птицу с ликом девы, деву с хвостом рыбы, песьеголовцев, Полкана, Минотавра и Китовраса, хвостатых, рогатых, трехногих, шестируких и пятиглазых ублюдков, увенчавшихся громадою всадника. Оттого-то он так пришелся всем по вкусу и по нутру – по потребности в чудесном согласии между зверем и человеком, по любви к сверхъестественным фокусам, к диковинкам и курьезам природы. Никакое живое создание – будь то лев, крокодил, верблюд, жираф, носорог и даже слон – не в силах соперничать с ним в гротескной остроте очертаний и прихотливости композиции, в фантастической, граничащей с вымыслом, поставленной на ноги массе. Лишь в области мифологических образов найдутся ему параллели, вроде, например, «чуда-чудного, дива-дивного» в русском духовном стихе, представленного в близком нашему оригиналу обличье:

У чуда тулово звериное,
Ноги лошадиные,
Голова человечья и руки человечьи,
Власы у чуда до пояса.

Всадник так же во всем чрезвычайен и необычен, но у него преимущества в безусловной достоверности зрелища, которое он собою являет, в слаженности устройства, в изящной и прочной по-

садке всех своих сочленений, собранных не в хаотичную гущу, но в стройный, молодцеватый ансамбль, в художественную гармонию.

Глядя на всадника, мы видим коня, переходящего в фонтан человека, который в свой черед низвергается каскадом коня. В старых его описаниях поражает сращенность этих двух начал, позволяющая Бове Королевичу «во всю конскую пору скакать и палицею железною махать», как будто то и другое суть функции одного организма, что далее приводит к редкому в искусстве единству словесной и изобразительной формулы, словно созданной нарочно для украшения жизни средствами речи и кисти, пера и резца. Поистине, это – искусство собственной персоной!

«Конь же его бысть борз и горазд играти, а юноша храбр бысть и хитр на нем сидети. И то видя, чюдишася, како фарь (конь) под ним скакаше, а он велми на нем крепко седаше и всяческим орудием играше и храбро скакаше» («Девгениево деяние»).

Посмотрите, как джигитует он несколькими, перепрыгивающими с места на место, клише, как смыкаются глаголы «скакать», «сидеть», «играть», производя и продолжая друг друга звериными завитками орнамента. С таким же упоением, самозабвенной отдачей себя во власть резвящегося, будто наяда, рисунка изображали всадника всюду, где представится случай, – в мраморе, на монетах, на пряниках и изразцах, в иконописи и в лубочных картинках, – галопом по всемирной истории, – силясь передать первым долгом этот общий профиль свившегося в клубок двуединого существа, эту шестиногую бабочку, протянувшую к небу руки-усики, распластавшую крылья по сторонам – конской шеи и конского крупа. Эту затейливую фигуру ищут охватить каким-то одним иероглифом, общим росчерком, единым рывком и в предвкушении ее появления не устают расписывать, как снаряжался герой в дорогу и седлал коня, накладывая разные потнички, войлоки, уздечки, попоны, подпруги, как будто это важнее (и по эстетической сути важнее), чем все его дальнейшие подвиги, чтобы, наконец, усесться на нем и разом превратиться в красавца, победителя и господина, – этот миг чудесного преображения коня и человека в одно лицо вождедели запечатлеть и оттягивали удовольствие, нагнетаемое, как кульминация, в заблаговременно

подготавливаемом и все-таки всегда неожиданном взрыве возникновения *всадника*, после чего остальные события пойдут уже мелькать по сюжету, как нечто само собой разумеющееся, как мечущиеся в глаза и исчезающие под копытами камни.

Собираясь выступить в паре со своим добрым животным, всадник использует все богатство возникающих между ними сравнений. Он не только продолжение лошади, но и ее венец, и поэтому такое значение приобретает седло в этой вертикальной градации, служащее необходимой ступенью, ведущей вверх, к человеку, и выше, к его голове, которую тоже седлат какой-нибудь сверхординарный колпак, увенчанный, соответственно, шпилем или пером. Все они крепко сидят и едут друг на друге, как витязь на том же коне и как человеческий род склонен вообще представлять себе бытие – лесенкой и пирамидой, чему иллюстрацией может служить обожающий многоярусные фигуры лубок.

Но в то же время всадник выступает антиподом коня, верховным воеводой по отношению к слуге-пьедесталу, в результате чего композиция «зверь-человек» принимает весьма разветвленный и контрастный характер, предлагающий воплотить эту тему в красочном разнообразии, в капризном завихрении линий, о чем мы тоже можем судить непосредственно по произведениям живописи. Это не конь танцует и вертится, а сама идея всадника требует быстрой, рыщущей мысли, которая бы с налету ловила все ее сногшибательные ракурсы и диссонансы, складывающиеся, тем не менее, в гармоническое единство.

Если со стороны своего ума и таланта конь предельно очеловечен, в чем нередко превосходит хозяина, то по внешности он, напротив, всемерно приближен к животному:

Выбирал коня да себе доброго,
Коня доброго да неезжалого,
Выбирал он бурушка косматого,
Да шерсть у бурушка по три пяды,
А грива у бурушка да трех локоть,
А хвост у бурушка да трех сажен,
А хвост и грива до сырой земли,
Хвостом следы да он запахивает.

Дорогое убранство коня также стремится усилить и подчеркнуть в нем животные признаки. «Зверовиден» – похвальный эпитет в обращении к тому, в ком ищут и ценят зверя. Снаряжая его, хозяин сам удивляется:

Али добрый конь, али ты лютый зверь?..

В итоге взаимодействия коня с человеком возрастает чудовищность третьего, рожденного из их отношений, небывалого создания – всадника. Свойства дикости и ума, бешеной плоти и высокой духовности, лютого ужаса и красоты не стираются в нем, но, ощетинившись, режут глаз невероятностью сочетаний. Восседающий на коне богатырь предстает первобытным творением безмерных космогонических сил; все стихии раскованы и вновь связаны в нем, обращая вселенную в сцену его посадки-поездки. Все три царства – небесное, земное, подземное – откликаются на извержение всадника.

«Его добрый конь возъяряется, от сырой земли кверху подымается, что повыше лесу стоячего, пониже облака ходячего; начал скакать – по мерной версте за единый скок; ископыт коня богатырского – целые печи земли выворачивались, подземные ключи воздымались, во озерах вода колебалася, с желтым песком помешалася, во лесах деревья пошаталася, к земле приклонялися.

Скричал Незнайко богатырским голосом, сосвистал молодецким посвистом – звери на цепях заревели, соловьи в садах запели, ужи-змеи зашипели. Такова была поездка Незнайкина!»

Соловьи в оркестре со змеями, рвущиеся на цепях державного разума звери, вывороченные с корнем деревья – таков ковровый узор, сплетающийся контуром всадника. Весь мир сосредоточен на нем и узнается в его появлении, падая ниц перед тем, кто собой замещает всех. Всадник едет на нас горой, океаном и зоопарком природы, приведенной в движение волнами его голоса, облика. Он и по виду достойный соперник исконного врага человеческого, многоголовое божество – змеборец.

6 июля.

Подул ветер, и сразу стало легче дышать, и жить, и думать. А то были тут два дня – совсем печка и баня, и даже у меня сде-

лалось тяжело в голове, и вот в один миг все рассеялось и ожи- вело. И солнышко греет, и птички чирикают, и облака несутся стремглав по небу – просто рай. И мне сегодня знакомый принес горстку малины, насобирав по кустикам. Приятно вспомнить. И еще мы по временам теперь жарим хлеб на постном масле, ко- торое я стал покупать в ларьке для этого случая. И тоже хорошо.

(Приятны эти похвальные интонации в собственной речи. Как в чужом языке:

– Работала в вакантной для меня должности – поваром.

– Стрижка «под колдунью»: спереди челка, сзади висят – запад- ный момент.

– Одел ее по моде: чтобы все выделялось, как у русалки. Великолепно.)

Вчера я собрал всю силу духа и выдернул остатки второго клы- ка, который сломался еще в прошлом году, но корень мешал жить, особенно когда в воздухе давление повысится (или пони- зится?), и я решил проявить благоразумие, и очень доволен, по- тому что на сей раз меня хорошо заморозили и прошло как по маслу, а кроме того зубной врач дала поливитамины для моих де- сен и велела приходить еще, чтобы несколько подлечить и дру- гие зубы. Такое внимание очень трогает.

– Как, должно быть, гордо и одиноко живется гепардам!

Еще я выкроил время, чтобы расправиться с кучей накопив- шихся журналов по этнографии и археологии, вырезав из них са- мые интересные кусочки текста и картинки. Потому что возить за собой такую кучу – безумие, да и целую статью не всегда на- скребешь – много скушного пишут, ну а отдельные фразы все же попадаютсся, и если всю эту муку просеять хорошенько, то насо- бирается приятная комбинация-аппликация, которую я наклеи- ваю в отдельную тетрадь при помощи таких же пластырей, как твою медузу, и получается интересно. И потом, это занятие не- множко рассеивает и напоминает детство – гербарии, бабочек, марки.

А приходилось ли Егору в жизни заниматься аппликацией и чего-нибудь клеить и комбинировать картинки?

Увлекательнейшее занятие!

7 июля.

Одно к одному. Не успел порадоваться вырванному зубу, как сегодня новое удовольствие – твои письма, на которые я сразу сажусь откликаться (не то что некоторые). Пришли они в забавном порядке: № 16 и № 21 (вот так скачок!) и открытка с цветным эрдельтерьером, в самом деле очень похожим, но собакам больше идут черно-белые фотографии, не правда ли? Это я получил, придя с работы. А через полчаса принесли еще № 17!

И все – с новостями, на которые я слегка хлопаю глазами.

Во-первых, кооператив!* Это – богатство, и ты – героиня, но как ты сладишь – ума не приложу. И вообще это похоже, как ты мне подарила приемник-проигрыватель за 300 руб. старыми деньгами. Узнаю тебя, Машечка, и вздыхаю от любви и сострадания. Метраж хорош, и то, что изолированные, приятно. Несколько смущает название – Чертаново: как жить в такой местности?

Вообще-то я что-то такое подозревал – не так конкретно, конечно, и я не мог бы даже представить, что ты решишься поднимать такой груз – но по интонации чувствовалось, что ты рассеиваешь, как будто думаешь о чем-то еще постороннем, а ты, оказывается, вон куда подвинулась – ой-ой! – не знаю, радоваться или бояться за тебя, уж очень все неожиданно и непонятно.

Уйма вопросов – про долги, и где этот район расположен, и сколько стоит доехать туда на такси – но их, вероятно, лучше спросить при встрече, когда ты мне все подробно расскажешь.

О Владимире Исааковиче* – я сначала никак не мог вспомнить, кто это, и только потом догадался по Сусе и дрыганью ножкой. Далеко это все отодвинулось от меня, как в другой жизни было, хотя другие вещи – по времени более дальние – тот же Север, и мельницы, и всё-всё – совсем рядом. Наверное, это правильно, что дальнее далеко, а ближнее здесь. Про кладбище тоже понятно.

И про сургуч. И про липовый запах (хотя в других запахах я так и не разобрался).

И то, что Лидия поступила работать* почти что в зоопарк. И я сразу подумал, что в зоопарке у нас появится свой знакомый путеводитель и нельзя ли туда пойти когда-нибудь вечером, когда посетителей нет, и посмотреть, как кормят зверей и как они спать ложатся. К зоопаркам, правда, я тоже стал относиться еще хуже. Но все равно это лучше – переводить фирменные запросы

о зверях, а не о машинах. И быть в курсе дел, что какой-нибудь новый утконос приехал или муравьед. И иметь под рукой какие-нибудь звериные картинки и фотографии. Вообще, я думаю, теперь для Егора Лидия самая ценная и высокопоставленная тетья, и тоже очень рад ее трудоустройству. И не пойти ли работать сторожем в зоопарк?

8 июля.

Видя, как убывает место в этом письме за счет моего к тебе пламенного скорописания, а времени еще мало прошло и до отсылки его далеко, я решил было воздержаться на несколько дней, пока поднакопится чего-нибудь поинтереснее, чтобы тебе рассказать. Но не тут-то было. Пришло твое 23-е письмо, которое, по правде сказать, никак нельзя засчитать за полноценный номер, потому что оно лишь скромный постскрипtum к тому самому 100 номеру, с которым я уже попрощался, а теперь не удержусь и опять займу немножко места, чтобы дать тебе совет: Машечка, пошарь в своей сумке еще и пришли мне № 3, № 4 – № 13, а также бандероль, если ее там найдешь.

Теперь я ломаю голову, куда, в какую серию мне вставить твое новое письмо: расчленять его жалко – уж очень в колорите и в самом деле на тему – энциклопудия.

Я тебя люблю.

А теперь послушай старинную песню: она очень длинная, и поэтому приведу лишь начало:

Так давай посидим за дубовым столом,
Пусть буран за околицей стонет,
Расскажу я тебе, милый друг, о былом,
А былое в душе не утоишь.
Я родился на Волге в семье рыбака,
От семьи той следов не осталось,
Хоть и мать беспредельно любила меня,
Но судьба мне ни к черту досталась.
Невзлюбил я работать в крестьянстве тогда,
Ни пахать, ни косить, ни портняжить,
А с веселой братвой под названьем «шпана»
Научился по Волге бродяжить.

(Приятный анахронизм: Стенька Разин. Еще забавный обычай: все валить на судьбу. Это что-то вроде идеи фикс. Например: «Здесь живет человек жалкой жизнью изгнанья Лишь за то, что не мог примириться с судьбой...» Это еще Лермонтову нравилось: «неведомый изгнанник». Красивое слово. Или – на тему судьбы, в разъяснение вопроса, почему «противен кажется, друзья, мне белый свет»: «Какой тут свет, когда сидишь ты здесь все время За этой каменной, тюремною стеной, Я на разбитом корабле без управления, Обижен был злодейкою-судьбой». Вот уже и злодейка.)

9 июля.

А вот прелестная песня о смерти Фатимы, дочери Мухаммеда. Она считалась очень святой женщиной и правой рукой Пророка, который к тому времени уже умер.

Руками мельницу крутя,
Устами Коран читая,
Умом обозревая (уразумевая) прочитанное,
Сидела, говорят, однажды дочь великого Отца Фатима.

– Мир тебе, о дочь великого Отца Фатима! –
Сказал, склоняясь (остановясь) над нею, Ангел Смерти
Мўлкўлмўт.

– Мир и тебе, о Ангел Смерти Мўлкўлмўт!
Случаен ли твой приход или ты прибыл по делу?

– Не случаен приход мой, по делу я прибыл к тебе:
Нынче по воле Аллаха настало время твое.

– Ногти на руках и ногах моих я еще не постригла,
Хасана и Хусейна не уложила я спать, накормив,
И мужа моего, Муртазал-Али, нету дома.

– Пусть ногти на руках и ногах твоих я застану постриженными,
Хасана и Хусейна уложи ты спать, накормив,
А за Муртазал-Али я отправляюсь сам.

В горной пещере, восседающим со святыми в Совете,
Нашел он мужа Фатимы, Муртазал-Али.

– Мир тебе, о Муртазал-Али!

– Мир и тебе, о Ангел Смерти Мулкулмот!

Случаен ли твой приход или ты прибыл по делу?

– Не случаен приход мой, по делу я прибыл,

По воле Аллаха пришел я за душою Фатимы.

– О Господи-Боже, дочь великого Отца, Фатима,

Кто обмоет тело твое?

– О Господи-Боже, Муртазал-Али,

Обмоют тело мое райские девы.

– О Господи-Боже, дочь великого Отца, Фатима,

Где возьму я материи сшить тебе саван?

– О Господи-Боже, Муртазал-Али,

Саван мне сошьет Ангел Джабраил.

– О Господи-Боже, дочь великого Отца, Фатима,

Кому поручу я нести носилки с телом твоим?

– О Господи-Боже, Муртазал-Али,

Носилки мои понесут райские девы.

– О Господи-Боже, дочь великого Отца, Фатима,

Кому поручу я выкопать могилу тебе?

– О Господи-Боже, Муртазал-Али,

Могилу мне выроет Ангел Джабраил.

Меня эта вещь пленила удивительным равновесием святости и человечности, из которого видно, что даже Фатима, верная воле Аллаха, хотела бы несколько оттянуть, отсрочить конец, хотя и смиренно все принимает. Удивительно целомудренно и тонко разыграна эта партия на одних оттенках и полутонах.

12 июля.

Хожу и спрашиваю*: – Вы случайно не знаете, как похоронили Гоголя? В смысле – погребли. На какой день, в каком виде? – Никто не знает. Литератор здесь в редкость, книг о Гоголе нет, да и в книгах на эту тему обыкновенно не пишут.

А началось с того, что один старик откуда-то слышал и помнил и поинтересовался у меня в разговоре, правда ли, что Гоголя зарыли живым, преждевременно, и это потом объявилось, чуть ли не в наши дни, когда вскрывали могилу. Говорят, он лежал на боку.

Никогда не слышал. И вдруг меня точно ударило, что все это так и было, как старик говорит, и я это знал всегда, знал, не имея понятий на этот счет, никаких фактических сведений, но как бы подозревал, допускал, в соответствии с общим впечатлением от облика и творчества Гоголя. *С ним* это могло случиться. Уж очень похоже. Уж очень беспокоился Гоголь, что это произойдет, и пытался предостеречь, отвлечь. Завещание, которое он предусмотрительно обнародовал за шесть лет до кончины, поверяя тайные страхи целому свету, гласило – первым же пунктом:

«Завещаю тела моего не погребать по тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности».

Но он был мнителен, капризен, любил преувеличивать, последние же годы, по мнению многих, страдал душевным расстройством, и его словам, естественно, могли не придать значения. Кто же поверит человеку, напечатавшему завещание в книге, как афишу о собственной смерти, который после того, словно в насмешку, в издевательство над собой, продолжает жить и жить, публикуя поправки, оправдания на свое завещание и новые заветы, капризы?..

Иногда кажется, что Гоголь умирал всю свою жизнь, и это уже всем надоело. Он специализировался на покойниках, и сравнение с погребенными заживо вырывалось у него так часто, как если бы мысль о них неотступно его точила и мучила. Не просто –

о смерти, но именно – о живом мертвце, обреченном на физический ужас насильственного погребения. «Страшную муку, видно, терпел он. – Душно мне! душно!..»

Гоголь носил в груди чувство гроба, и пророческий голос его звучал поэтому с какой-то надтреснутой, подземной глухотой, с неприличным подвизгиванием, подвыванием: «Соотечественники! страшно!..»

«Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба хлопнулась над ним, а стук бревен, заваливших вход его, казался стуком заступа, когда страшная земля валится на последний признак существования человека» («Кровавый Бандурист», 1832 г.).

Подобными намеками, прогнозами – иной раз не осознанными, преподанными с комическим вывертом, в другие же моменты звучащими мрачным, прямым предзнаменованием – полон Гоголь. Сейчас приходится лишь удивляться, как, слыша это – не слышали, видя – не уразумели. Впрочем, сам он заранее дал тому объяснение. Последние десять-двенадцать лет его жизни прошли в тумане того невнятного состояния, о котором он предупреждал в завещании и которое, будучи одной из душевных тайн его, в более обширном размере отразилось на умонастроении Гоголя и его литературных трудах. В статье 1846 года «Исторический живописец Иванов» (Письмо к М.Ю.Велигурскому), вошедшей в «Выбранные места из переписки с друзьями», он так описал переходный, как ему рисовалось, на самом же деле большой, завершающий этап своей жизни и деятельности:

«...Мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Силясь открыть хотя бы одну часть себя, я видел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову слушавшему меня человеку, и горько раскаивался за одно даже желание быть откровенным. Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого – и не может даже пошевелить пальцем и подать знака, что он еще жив. Нет, храни Бог в эти минуты переходного состоянья душевного пробовать объяснять себя какому-нибудь человеку; нужно бежать к одному Богу, и ни к кому более. Против меня стали несправедливы многие, даже близкие мне лю-

ди, и были в то же время совсем невиноваты: я бы сам сделал то же, находясь на их месте».

И это писалось в книге, более всех его сочинений претендовавшей на откровенность, на полноту понимания и доверия читательской публики, которую он лишь туманил и кружил своими мечтаниями, воздержаться от которых было свыше его сил, как не может человек, видя, как его погребают, не попытаться растолковать окружающим, что он все-таки жив...

Гоголю задолго до смерти довелось испытать состояние, которое он так боялся пережить в могиле. Притом его летаргия, по-видимому, не только носила форму телесной болезни, но и глубоко затрагивала весь его духовный состав и протекала наяву, нравственно, литературно, публично, сопровождаемая ропотом общества, к которому взывал он, сознавая всю бесполезность и безумие этих усилий, еще глубже отдалявших его от мира живых.

Реакция, последовавшая на его книгу, известна:

«...Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем» («Авторская Исповедь», 1847 г.).

Все это похоже на описанный в его «Портрете» дурной сон во сне: пробуждаясь вместе с героем, мы всякий раз убеждаемся, что действительность снова и снова повторяет ход сновидения. Подумал ли Гоголь об этом, когда проснулся в гробу?

14 июля.

Моя любимая и неожиданная Машенька, все хочу тебя удивить, а получается, что ты меня удивляешь*. Это я по поводу телеграммы, где ты переехала на новую квартиру, – и что же это такое, и где тебя искать, и в кооператив мы вступили и поменялись – как понять? Это замечательно, и обмен мне нравится больше кооператива, потому что легче, дешевле и быстрее, хотя я ничего не знаю и жду тебя с нетерпением, чтобы ты мне все это объяснила на словах. А ванна меня меньше всего смущает: будете мыться у бабушки или еще у кого-нибудь. Правда, стирка. Но ежели ты без соседей, то все это уже не проблема. И вообще я страшно рад твоим успехам, тем более по штампу на телеграмме могу надеяться, что вы уже на даче.

Из писем же я за это время успел получить только № 18, где

Егор обучает* какого-то младенчика грамоте – молодчик. Но, видимо, наступило время летних отпусков, потому что письмо лежало в почтовом ящике 18 дней, после чего доехало ко мне всего лишь за три дня.

В других твоих письмах как-то промелькнуло, что в 71 году Егорыч собирается в школу. Исходя из этой даты, ему совершенно необходимо этим летом научиться читать, с тем чтобы зимой совершенствоваться, а на следующее лето освоить письменную речь – не печатными буквами, а письменным шрифтом и чернилами. Потому что если все эти достижения оставлять до первого класса, да еще с французским профилем, то у него будет ужасная перегрузка, и надо постепенно ребеночка приучать к науке.

Еще я в задумчивости, когда тебе посылать это письмо: вдруг ты потребуешь, чтобы я это сделал после свидания для бóльшего твоего интереса. Но я – сама видишь, на какой я сейчас странице, и свидание уже никак не поместится, и лучше мы о нем поговорим в следующем письме. А это, по всей вероятности, я тебе брошу числа 19-го – в приятном ожидании твоего появления. Очень я рад этому известию.

15 июля.

Хочешь не хочешь, а десятилетний юбилей*. Незабываемое. На грузовике и в чуланчике с тапочками – обувь. Как обвал эпохи – памятник в скверике, мимо, и пыль за лафетом, и солнце. И ни души рядом. И монолог, монолог, вместо зала.

Говорят – характер. Не знаю, что такое характер. И в себе я больше чувствую не себя, а отца, мать, тебя, Егора, Пушкина, Гоголя. Целая толпа, накладываются на восприятие, участвуют с нами, и едут, куда нас повезут, и мы помним (или не помним) о ней ежечасно, и если писать человека реально, то это выльется скорее в ландшафт, чем в характер.

Потому что вспомнилось вдруг, насколько много отцовского. Даже удивительно. Вообще память, вмещающая нашу жизнь во всем объеме, почему-то не учитывается, когда речь заходит о личности. Хорошо бы также – в Егоре.

А погода совсем деревенская, жаркая. Даже корова мычит. И раменские птички чирикают.

16 июля 1970.

Ужас какая жара. И я не знаю, как ты по ней сегодня поедешь. И будешь завтра печься на солнышке целый день. Здесь, правда, ветерок ее умеряет, и в целом получается роскошь, и воздух, и даже мухи цветут, и облака, распустив гривы, раскидав руки-ноги, валяются по траве. За жарой и работой как-то не замечают эту благодатную щедрость лета. На самом же деле – весна красна, но лето вдвойне краснее.

Этим настроением я обязан, конечно, твоему обещанному приезду и жду не дождусь. И письмоцо на этом заканчиваю. А ты тоже – может, с переездом на дачу и на новую квартиру (где, когда, куда и как – ничего-то я не знаю) – перестала писать. И последнее письмо по времени – 18, а по номеру 23 (он же сотый). А 19, 20 и 22 еще не пришли. Но все равно на душе менуэт и такая доброта, что даже захотелось написать об ангельской природе Лермонтова.

Очень тебя люблю и целую.

А.

19 июля 1970.



«Золотой Машеньке – эту рыбу-медузию... – Картинка не дошла: или очень уж хороша была, или цензоры решили, что в ней какой-то тайный смысл, сигнал, подвох...»

Во-первых, кооператив! – Из моего письма: «Ну, вот и все произошло: сегодня я внесла деньги в кооператив! Дом будет готов где-нибудь к Новому году, стоять он будет на краю земли в деревне Чертаново, квартира будет двухкомнатная (оказывается, я как художник, но не член Союза, все-таки имею право на 10 дополнительных метров), комнаты будут изолированные, и метров в них будет 27,5.»

Суетилась я с этой кооперативной историей около месяца, но тебе ничего не писала: жутко сдерживалась потому что, а также боялась, что где-нибудь сорвется, и чего тебя раньше времени беспокоить».

О Владимире Исааковиче... – Владимир Исаакович и Сусанна Ильинична Раппопорт – врачи-психиатры, сделавшие в своей жизни очень много добра российской интеллигенции. То одного спасали, то другого. Многих. Из моего письма: «Сегодня мы хоронили Владимира Исааковича. Он с марта хворал: вначале что-то вроде инфаркта, потом всякие

сердечные недомогания, а в последний месяц был весел, бегал по комнате, принимал гостей, дрыгал ножкой, курил папиросу за папиросой, чефирил из красивой чашечки, а днем 22 июня внезапный приступ, и к вечеру он умер.

Бедная Суся кричит в голос о самоубийстве и что ей нечем жить, а ее держат за руки и рассказывают о бессмертии души, а она все равно кричит и ни во что не верит.

И ее очень жалко, и нет сил видеть, как она корчится от боли, и что с ней теперь будет – ведь они 38 лет прожили вместе.

Хоронили его из больницы, и было очень много народа, и меня поразило, какие все были нарядные, в лучших платьях и при куче украшений. Давно я не видела браслетов, серег и колец в таком количестве, будто не прощаться люди пришли, а в перворазрядный концерт, и когда эта разряженная толпа высыпала из автобусов на Востриковское кладбище, стало мне жутко и отвратительно. Потому что кладбище это – омерзительное, прямо на пустыре, на задворках нового микрорайона, среди кочек, ям и выбоин, без ограды, и больше всего оно похоже на свалку, и это очень страшно».

...Лидия поступила работать... – Лидия Меньшутина начала работать переводчиком в тресте Зоообъединения, которое вело торговлю с иностранными фирмами зверьем для зоопарков.

Хожу и спрашиваю... – С этого письма А.С. начинает пересылать мне очередную книгу – «В тени Гоголя».

...ты меня удивляешь. – В письме от 13 июня я вступила в кооператив, а в телеграмме от 14 июля сообщала: «Поменялась в новую квартиру соседей нет ванны нет рук и ног от усталости тоже нет приеду понедельник 20-го».

...где Егор обучает... – Из моего письма: «Говорят, что это очень скверно и чревато, что у Егорки уже было столько домов, но когда я прихожу к Инессе и вижу, как наш взрослый сын читает книжку ее полуторамесячному младенцу, и всё объясняет ему про буквы, и показывает картинки, то радуюсь, что у Егорыча есть опыт общения с самыми разнообразными людьми – от совершенно седого Меньшутина до беззубого Андрейки, и изо всех этих ситуаций он выходит с честью».

...десятилетний юбилей. – 15 июля 1960 года умер Донат Евгеньевич Синявский.



ПИСЬМО СТО ШЕСТОЕ

Мои золотые, серебряные и мельхиоровые дети – Егор и Маша, Маша и Егор!* Очень мне с вами приятно и прекрасно. Это я сразу понял, но сегодня, когда уже можно спокойно на досуге все обдумать и обсудить, и того лучше. Потому что глазки меняются и сияют, то одинаково, то каждая врозь, и как та морская царевна, и как тот синий-синий свет, откуда все происходит, и от погоды, и утром и вечером все по-другому, и можно разговаривать с ними, припеваючи – «и мой сурок со мною».

Если бы я знал еще, что ты, Машенька, сумеешь две недели передохнуть и поправить свои болезни и придти в себя, то был бы совсем счастлив.

Забыл тебя попросить прислать телеграмму, когда вернешься, и догадаешься ли ты сама это сделать?

Ну и домик, конечно, всегда мечтал такой домик, впервые в жизни, ходить на лыжах за хлебом, за керосином, и дым из трубы, и это в самом деле невероятно, и никакой волжский пароход не нужен, имея такой домик.

Только ты не надорвись, чтобы нам иметь в придачу тебя в целости и сохранности, а то что же получится, и это обидно.

Письма тоже перечитываю с увлечением, вчерашние, но одно оказалось, наоборот, номером 24, перепутал, как раз квартирное, и нарисуй мне план всей жилплощади* и где чего будет стоять и висеть, когда это будет.

И букочки хорошо получились, и приятно, что их можно крутить в разные стороны, прижимая к сердцу то одного, то другого, а если приблизить, то лягушка, а если еще больше приблизить, то можно утонуть и в море, и в царевне. Но я не знаю, как они называются, и ты когда-нибудь напиши.

Странно, что сегодня 21 июля.

Кажется, неделя прошла. Сколько можно вместить. И я никак не проснусь. Это письмо поэтому будет неинтересным. Гляжу в книгу – а вижу ваши глазки и кручусь вокруг них и перебираю в уме.

А ты правильно сказала про субтропические лопухи. Все так и прет из земли и солнца. Но к вечеру похолодало, и, может быть, тебе от этого будет немного легче стоять в набитом вагоне.

И ты хорошо стояла в окошке. Как-то очень достойно.

А кофта у тебя, забыл сказать, по-моему, пятилетней давности. Но я обрадовался, что ничего в тебе не меняется. И личико тоже.

С удивлением замечаю, что все еще – 21 июля.

С твоим отъездом пошли дожди и начали падать листики с топей – впервые запахло осенью. Значит, начался новый перерыв. И так быть должно.

И я представляю, как ты рассказывала, как ты ходишь по комнатам, ничего не трогая, а только зажжешь свет, посмотришь и пойдешь в другой угол. Очень понятно.

И сегодня уже получил от тебя барашевскую открытку: вот как быстро бывает, когда ей не нужно лежать в почтовом ящике. И с прекрасным сюжетом, на который не посмотрю. Тоже на тему дома. Если бы была своя стенка, я бы ее повесил на стенку. Даже не хочется вкладывать в общую стопку писем – а так держать, под рукой, для вдохновения.

Смешно, что помнишь о Гегеле в юные годы и как меня трактуешь, в смысле трудоспособности. Но приятно.

А я не успел расспросить, какие ты бляхи куешь, и что на них изображается, и как они соответствуют Руслану с Людмилой.

И как это может быть – семь окон?!

22 июля.

Вложил твою открыточку в мое начатое письмо и, пока пишу, все люблю.

Мне кажется, слова в Древней Руси читались медленнее и произносились значительнее еще оттого, что, по сравнению с позднейшей убористой печатью, на странице помещалось гораздо меньше знаков. Маленькие, на наш взгляд, повестушки растягивались на волю, и это влияло на образное и смысловое восприятие текста: он казался громаднее.

От тебя получил 25-е письмо и коломенскую открыточку предотъездной давности. Неужели это тот самый монастырь?! Как смешно.

А мини-юбки мне совсем не жаль*, потому что одно неприличие, и я уже тебе говорил, во сколько раз во Франции увеличилось число изнасилований из-за этих «мини». И возраст здесь ни при чем, потому что раньше носили платья со шлейфами, но от этого не старели. Но если хочешь знать, то самая-рассамая распоследняя парижская мода состоит не в «макси», а в сочетании: макси-пальто и мини-юбка, а также наоборот. Получается очень пикантно: скидывает дама пальтишко, и вы отшатываетесь: в первый момент кажется, что она – в трико. Вот такая нынче мода, по моим сведениям, и нам за ней все равно не угнаться.

Не разделяю твоего минорного тона и в отношении Гашека. Во-первых, Гашек – писатель, и это уже терпимо. Во-вторых, имя слегка комическое, почти как Чарли Чаплин. В-третьих же, он Тверской-Ямской, а это просто музыка, под которую тянет плясать. Ничуть не хуже Хлебного. Разве только один Чашников переулочек лучше, но Чашникова нет, и ты его, к сожалению, не видала – какой это был расчудесный, игрушечный Чашников переулочек. И вообще, если вспомнить, что Пастернак жил на Павленке*, то я не знаю, что ты имеешь против нашего милейшего Гашникова переулочка?

А мне понравилось, что на шкафу, не держась, висят, и ты умничка, что подобрала такое сокровище.

А здесь недавно подобрали птенца какой-то мухоловки, и он, кроме мух, ничего другого не ест, а мух ему, знаешь, сколько нужно – 500–1000 в день, и целая бригада с ног сбивается, чтобы его прокормить, и когда его принесли к нам в гости, от одного его писку, весьма решительного, все мухи как сквозь землю провалились.

А знаешь, почему я так чирикаю? – потому что ты приезжала и очень мне понравилась.

– Прошел Крым и Рим.

– Квадратик бумаги – как решето, сквозь которое я выглядываю.

– Сердце, бывало, стучит, как скорострельный пулемет. А сейчас – как рыба: тук, тук.

- Лежишь – как на Луне: блаженство.
- А он, сука, дубаря секанул утречком (звукотпись).
- Татуировка: «нахал».

Немножко печально, что колечко, когда спишь, спадает. Но мне все равно никаких других не надобно, потому что раз уж люблю, то люблю.

24 июля.

В книге «Врата восприятия» Олдос Хаксли рассказывает о своих опытах с мескалином, между прочим, следующее:

«- Что же с пространственными отношениями?» – спросил его наблюдавший со стороны участник эксперимента. «Было трудно ответить. Действительно, перспектива выглядела довольно странной и стены комнаты больше не казались стоящими под прямыми углами. Но это не было действительно важным фактом... Пространство оставалось, но оно потеряло свою доминирующую роль. Ум был прежде всего озабочен не размерами и местоположениями, а бытием и значением.

И вместе с безразличием к пространству наступило почти полное равнодушие ко времени».

И я подумал, встретив эту цитату, не объясняется ли обратная перспектива в иконописи особенностями религиозного опыта, к которому близок был поставленный Хаксли эксперимент? Просто – так видят. Из наблюдений экстатиков известно, что пространство иногда сжимается, уплотняется, давит, а иногда расширяется до космических размеров, стены помещений и предметы наклоняются, искривляются, то удаляясь, то приближаясь. Причем осязаемость впечатлений превосходит реальность. Так, Хаксли испытал «страх быть поверженным, раздробленным под давлением реальности большей, чем, вероятно, мог снести разум, привыкший подавляющую часть времени жить в уютном мире символов».

Надо бы когда-нибудь разыскать эту книжицу и попросить перевести из нее места, касающиеся обратной перспективы, быть может, и более прямо.

Перспектива же, пространство и вообще вся космография хорошо представлены в повести XVII в. – «Повесть душеполезна Никодима типикариса Соловецкого о некоем брате» (типикарис –

греч. уставщик), где архангел Михаил водит по небу и преисподней душу одного грешного монаха, который потом обо всем этом чистосердечно рассказывает.

Удивительно уже, как извлекается душа из его тела (я такие кусочки для себя называю «сластями»): «Зрю свой живот, яко на две части разделен. И внезапно яко врата растворишася и яко за руку ять мене некто, и исторгнув из врат вне, и паки врата затворишася. И обретохся негде, яко на зеленой траве стоя. А тело свое зрю на земли лежащо предо мною».

Затем появляется арх. Михаил и ведет его за собой. «И идохом до облак, облацы же пред ним разступахуся. И доидохом до вод, яже выше облак и тверди ледовидныя. И видех иныя облаки красны зело, яко огневидны. И потом до небес, яже выше вод. Твердь же и воды и небеса разступахуся пред ним, яко же улицею выпсрь. И видех тамо свет неизреченный. И рече ми архистратиг божии Михаил: “Стани, недостоин бо еси тамо отити”. Аз же стах. И рече мне: “Поклонися престолу величества божия”. Аз же перекрестихся и поклонихся, яко же повелено ми ко свету оному, его же видех на небеси. И по сем архистратиг божии, обрати лице свое к земли и сниде на землю низу. Аз же вослед его идох. И абие разступися земля, и внидохом в ню, и доидохом до воды, яже под землею, и вода такожде разступися пред ним. Под водою же приидоха в места некая темная зело. В них же мнех зрети свет точию от светлости архангеловы. И видех тамо, яко же улицы и полаты некия. И в некую во едину от них внидох, яко в проходную полату, по обема странама имуща окна. На едино же от окон воззре очима своима Михаил, и абие разтворися окно, и изыде из него огонь горя пламенем, яко гром зело страшен. И глагола мне архангел Михаил: “Се есть место, иде же повеле тебе быти праведный судия Христос бог до втораго его пришествия”.

Аз же сия услышав от него, зело вострепетав и убояхся страхом великим объят бых. Припадох к ногама его и глаголах ему: “Господи мой, великий архистратиже Михаиле, возможно ли есть грешному покаяться, и избыти сея огненныя муки”. Он же се слышав, умолче и отвратися лицом своим от мене, и возвед очи свои выпсрь, и абие разступися вода и земля горе, разступившася же облацы и твердь и воды, яже выпсрь, и небеса *якоже трубою вверх*. Архангел же горе зря, такоже и аз воззрех, и *видех вверх*,

яко трубою, даже до онаго неизреченнаго света, его же прежде на небеси видех, не слышах же его глаголюща что. И паки обрати лице свое ко мне Михаил архангел и глагола ми: “Милостив тебе бысть праведный судия и се дал тебе сохранить заповеди сия: престати от нечистоты, не пити вина, не пити табаку. Аще сия сохраниши, избавлен будеши от муки сея”» (О.А.Белоброва. «Повесть душеполезна Никодима типикариса Соловецкого о некоем брате». – «Новонайденные и неопубликованные произведения древнерусской литературы». ТО ДРЛ, XXI, М.; Л., 1965, стр. 208–209). Подчеркнутая мною *труба* – интересно, подозрительная она или та, в которую дудят? Но в том и в другом случае разверзшееся трубою пространство являет точную копию обратной перспективы, да и все описание очень похоже на композицию иконы хотя бы «Страшного Суда».

Если подумать, то вообще большие пространства – небо, поле – открываются нам скорее в обратной, нежели в прямой перспективе. Мы-то маленькие, а пространство большое, и чем дальше, тем больше, а не наоборот. Раструб трубы уходит вдаль, и, чтобы передать эту трубную перспективу, приходится и ближние вещи разворачивать в том же ракурсе – из подземных глубин к неизреченному свету.

27 июля.

Ашенька! Получил открытку от 22-го, которую принимаю за телеграмму, уже из дома, с Юрьевым монастырем на обложке, на водную гладь, на самый Волхов угодил почтовый штампель и все испортил, но это ничего, и два письма, 26-е и 28-е, полные волнений переезда на новую квартиру, про которую очень интересно читать. Хорошо – с кукушкой, которая пошла, и я в это верю, как и в новый дом, который мне почему-то сразу пришелся по душе всем описанием и адресом, и очень хочется его увидеть и ухитить всеми книжками и картинками, и пусть у нас появится наконец родной дом. Девчонки – про дедушку* тоже похоже, аналогичный вариант тогда же, какого вида крокодил: – Такой мрачный старик! – с добавлением: – а жена у него молоденькая, – приятно слышать и то и это, и все правильно.

А почему Гуня – стилизатор?*

Еще благодарю за бандероль, которую сегодня вручили, все в порядке, очень быстро и точно, ты умничка, и теперь мы будем с кофе, а то уже подвело животы, и совсем уже негде стало его

доставать, и жизнь начала приобретать безнадежно-серый оттенок, а теперь опять посветлела.

На ваши глазки* тоже не перестаю радоваться и привычка к ним не стареет, всегда новенькие и милые, потому что в точку. А дни стоят ясные и тихие, умеренно жаркие и не очень прохладные – самого лучшего летнего свойства, даже странно, что такие хорошие бывают дни.

29 июля.

А ты меня спросила про тапочки, почему-то ужасно вдруг заинтересовавшись, наверное потому, что думала – в чоботах и хотела посмотреть, какие они? Но чоботы я не надел, потому что они уже совсем смешные, и я их скоро выброшу. Вообще есть удовольствие донашивать вещи до конца, имея впереди цель выбросить их, чтобы не мешали при переездах, да и вообще уменьшить объем здешней жизни, все равно как пару месяцев зачеркнуть из мысленного срока.

Завтра – август. Уже – август. Лето летит с невероятной скоростью, хотя, казалось бы, должно стоять на месте – ведь оно же не меняется, как и зима, и, значит, медленнее – но на самом-то деле это стационарное время проходит быстрее, чем меняющиеся каждый день и тянущиеся нестерпимо – веснааа, оооосень. И мне даже жалко немножко, что оно так быстро уходит, в основном, конечно, из-за того, что дает простор заниматься и как пристанище, с теплым небом над головой, под которым уютнее себя чувствуешь, чем под крышей, и нет этого шума, небо всего тише из земных стихий.

Еще я лечу зубы, на них врач обратила внимание и законопачивает мне дырки ужасно хорошим лекарством, и хорошо бы мне все залечить.

И деньги я тебе послал 100 рублей, но они уйдут, сказали, в первых числах августа.

Погода немножко портится, и, наверное, скоро будет прохладнее. И вы, сидя на даче, не забывайте одеваться по вечерам, потому что в деревне сырость воздуха много возрастает к вечеру и самое главное – умело лавировать с одежкой, смотря по температуре, – это я сам знаю по своему детству.

И ты будешь смеяться, Машенька, но номер дома на Гашеке* мне гораздо больше нравится, чем на Пятницкой, только я

раньше не говорил, но меня смущало это сочетание, которое, перемножив, мы получим 66. Лучше уж жить без этих чисел.

31 июля.

Когда Великого Пророка приблизилось время кончины, Призвал, говорят, он к себе своего асха́ба Била́ла, Сказал он ему: – Настало время моей кончины, Созови-ка в мечеть всех моих верных асхабов¹.

И Билал (по его слову)² созвал это славное братство, Объявив, что Пророк в мечеть их (к себе) приглашает, С плачем асхабы собрались (по его слову) в мечети, Читая молитвы и к Господу Богу взывая.

И став на то место, где всегда молитву читал он, Пророк сказал им, к Господу Богу взывая: – Жалел я вас, как жалеют мать и отца, И, как сестра страдает о брате, страдал я о вас³.

Скоро я преставлюсь, добрые мои асхабы. Любя вас, должен я с вами проститься, Пусть теперь тот из вас, кого я (в жизни) обидел, Встанет и возьмет с меня долг, до наступления Судного дня.

Тогда встал, говорят, (верный) асхаб Ука́шат, Сказав Пророку: – Мы были на Газавате, Когда ты меня ударил. Если бы дважды и трижды Не объявил ты об этом⁴, я бы не спросил с тебя долг.

¹ Асхабы – что-то вроде апостолов, куда входили и члены семьи Мухаммеда.

² Здесь в () возможные слова перевода, которых нет в оригинале.

³ Интересно, что по-нашему Пророк сравнил бы свою любовь с родительской, а здесь любовь к родителям больше и важнее, чем – к детям. И особенно считается сильной любовь сестры к брату. В переводе – просторечная форма в значении «сострадания». М.б. лучше:

И как сестра страдает о брате, жалел я вас.

⁴ Имеется в виду, что Пророк дважды и трижды предлагал взять с него долг всем, кого он обидел.

И Пророк послал своего асхаба Билала,
 Чтобы пошел тот к Фатиме и принес ему розгу,
 Фатима заплакала, жалея Пророка:
 – Кто посмеет себя ублажить, (требуя) спрашивая долг
 с моего отца?

И Билал-асхаб передал розгу Пророку,
 Пророк передал розгу асхабу Укашату,
 И сказал Укашат: – Ты ударил меня по голому телу!
 И Пророк тогда заворотил на спине рубаху.

Встал тогда Абу-Бакар, встали Умар и Усман,
 И было ими сказано: – Если ты ударишь Пророка,
 Кто тогда наши сердца успокоит?
 За старую обиду свою ты рассчитайся с нами.

Встали Хасайн и Хусейн, и было ими сказано:
 – Мы сыновья Али, рожденные Фатимой.
 Если нас ты ударишь, месть твоя совершится.
 (Долг получи ты у нас – чего тебе больше?)¹

Тогда встал сам Али, и было им сказано:
 – Если ты ударишь Пророка, кто наши сердца успокоит?
 Если ты ударишь Пророка, куда ты сам денешься?
 Вот за тело Пророка наши тебе тела!

Встал тогда Укашат, и было им сказано:
 – Кто бы мог помыслить тебя ударить, Пророк?!
 Стыд² этот взял я на себя, убоившись ада,
 Дабы зрелище твоего тела святого спасло меня в будущей жизни.

1 августа.

¹ Строфа эта состоит из трех строк. Четвертая в переводе дана для благозвучия. Интересно, что в этой песне Хасайн и Хусейн взрослые люди, тогда как в песне о смерти Фатимы, которая последовала позднее, они же выступают маленькими детьми. Замечательна эта способность фольклора распоряжаться фактами в зависимости от правды конкретного места. Вспоминается опять же Леди Макбет в оценке Гёте.

² Слово можно перевести и в его более употребительном смысле: Ви-ну эту я взял на себя. Стыд – ярче, но чтобы не помешать яркости последней строки, предпоследнюю, может быть, лучше немного притушить.

«...Ну, вот тебе последняя загадка: что такое *красота*? – Солдат опять свое: – Хлеб, – говорит, – красота! – Врешь, служба; красота – огонь...»

Такая маленькая, а уже понимает – где польза, а где красота! И как мошки летят на огонь, и как дети тянут ручки ко всему, что горит и сверкает, и как спички хранят в душе мгновенно возбудимое пламя, так исповедует сказка рабскую преданность свету. Ее образы покрывает ассистка:* золотые волосы, золотые перышки, золотая чешуя, грива, крыша – знак принадлежности к высшему, драгоценному блеску. В ней харкают золотом, и плачут жемчугом, и, улыбнувшись, рассыпают цветы по лицу земли, избирая наряд по требованию максимальной концентрации света, радужного полыхания красок. «Просьпается царь наутро, подходит к окну, а глаза ему так и ослепило – ажно отскочил на три сажени: это, значит, мост-то, одна полоса серебряная, другая золотая, так и горит и светится...»

Сказочный цвет имеет люминесцентные свойства и, кажется, зажигает предметы, отчего само название *сказочный* фосфоресцирует в нашем сознании. Краски тут замешаны на огне, расплавлены и утоплены в золоте, исполняющем, в частности, роль цветовой гиперболы, дополнительной подсветки, оправы, из которой образ блистает, как самоцветный камень.

«– Кукуреку! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые, голубые! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые, голубые!»

Спрашивается: какие же все-таки были жерновцы – золотые или голубые? Они и золотые и голубые сразу, и голубое в них усугубляется золотом, говорящим всегда о качественной интенсивности вещи, окрашенной, если понадобится, в любой колер, но вдобавок, для важности, еще золотой.

Золото же, как известно, – *красное*. Его присутствие изобличается незатухающим разлитием света, и это дивное свечение в сказке можно принять за красоту в ее точном виде и смысле. «Дурак развязал платок, всю избу осветил. Спрашивают его братья: – Где ты этакой красоты доставал?»

Власть, добро, благородство непреложно о себе заявляют красочным жаром, сиянием, в результате чего юрисдикция, религия, мораль, экономика заметно потеснены и трансформирова-

ны эстетикой. Все оценивается на блеск и на цвет. Мир познается и объясняется декоративно – однако не ради одной лишь утехы и прихоти глаз, но в силу какого-то чудесного законопорядка, управляющего физиологией сказки, понуждая всё и вся перекладывать на цветовую азбуку-морзе, вроде сигнализации флагами в морском флоте.

«Вот летели они, летели; говорит орел царю: – Погляди, что позади нас? – Обернулся царь, посмотрел: – Позади нас дом красный. – А орел ему: – То горит дом меньшей моей сестры...»

«...Посреди моря остров виднеется, на том острове стоят горы высокие, а у самого берега что-то словно огнем горит. – Никак пожар виден! – говорит купеческий сын. – Нет, это мой золотой дворец».

Огонь – золото – солнце – радуга – красное платье – красная девица – цветы – драгоценности – так переливается сказка дружественными понятиями, на правах синонимических признаков, ищущих представить лучистую силу источника, находящегося за текстом. Так Яков Бёме пытался подобрать недостающий эпитет к сверканию горного мира: «Это несравнимо ни с чем, кроме драгоценных камней: рубина, смарагда, дельфина, оникса, сапфира, бриллианта, яшмы, гиацинта, аметиста, берилла, сердолика, альмандина и др.»

Сказка не знакома с ученой терминологией, она проще, прямее и больше упирает на золото, на огонь. Но есть что-то ярче и краше золота, чище огня, о чем она жаждет поведать, и, силясь перескочить свой речевой потолок, она всякий раз расписывается в бессилии перед яркостью неизреченного света: «ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать!» Однако постоянство, с каким она хватается за спасительную отписку, убеждает, что позиция сказки лежит как раз на пределе, у самого рубежа несказанного, и бьется о красоту, превышающую возможности слова, и этим-то запредельным сиянием озарен ее златотканый покров.

Кстати, поэтому преизбыточное золото в сказке не тяжело, не сусально; красочность не превращается в самодовольную цветистость лубка, где цвет лежит на поверхности толстым слоем, знаменением материального блага, вне его духовных потенций, лишенного тайны и веры в сиятельные чудеса. Рыгая и харкая золотом в знак своего имманентного, неотъемлемого богатства, сказка зача-

рована больше созерцанием его волшебного блеска, и грубое вещество не теряет в ней лучистой прозрачности тончайшей стихии – огня, сообщающего вязкой материи серафическую летучесть.

Световая природа прекрасного так явственно в ней проступает, что в сказке долгое время усматривали поклонение Солнцу. Но сказка, как Елена Прекрасная, претендует на большее: «– ...Отчего ты, красное солнышко, трое суток не светило? – Оттого, что все это времячко спорило я с Еленой Прекрасною – кто из нас красотой выше». Сдается, ее тяготение к сверхсолнечному сиянию шире любого оформленного культа и вероисповедания. Оно родственно общечеловеческой страсти к яркому и блестящему, которую мы разделяем с сонмом насекомых, животных, падких на свет, на цветы, на пестрое оперенье, на всякие гребешки, хохолки. В крысиных норах находят похищенные золотые колечки, монеты, уложенные по размеру и стоимости, как у банкиров, столбиками. Слабость к блестящим вещам обнаруживают сороки, вороны. Влечения сказки, по-видимому, столь же безотчетны, но высказаны ярче, решительнее, с настойчивостью сомнамбулы.

Вообще привязанность к свету и красоте даже в современных условиях подчас проявляется в виде сверхъестественной чары – где сказка, понятно, всегда чувствует себя дома. Ее натуре близка эта замороженность создания, теряющего разум и память под гипнозом прекрасного и переживающего аффект *изумления* и *восхищения* в буквальном значении слов, близком к феномену безумия, экстаза, опьянения и прочих скользких опытов по извлечению души из тела. Любая религия в этом пункте подает руку сказке и мистика заговорит на языке любви и поэзии: «меня – нет, ты – это я». «Созерцающий становится созерцанием, а созерцание – тем, кого созерцают», – учат суфии. Индусы толкуют о счастье отождествления сознания с прекрасным объектом, в котором мы, исчезая, созерцаем освобожденное «я». Внешне это выглядит так:

«Подошел царевич, взглянул на девицу, да так и остался на месте, словно невидимая сила его держит. Стоит он с утра до позднего вечера, глаз отвести не может... Охотники тотчас же за ним... – Ну, ваше высочество, недаром вы целую неделю по лесу плутали! Теперь и нам не уйтись отсюда до вечера. – Обступили кругом хрустальный гроб, смотрят на девицу, красотой ее любуются, и простояли на одном месте с утра до позднего вечера».

Сказка со знанием дела излагает такого рода сеансы, в которых красота играет роль колдовства, по вине которого человек делается «не свой», «и ест – не заест, и пьет – не запьет, все она представляется!» «– Ничего, – говорит королевич о своей безрукой возлюбленной, – ведь ей не работать; я красоту ее и сплю – в глазах вижу!»

Отвести глаза от сказочной дивы тем более невозможно, что лицо у нее, подобно прожектору, излучает ослепительный свет. Для этого иногда во лбу устанавливается солнце, месяц или что-нибудь подобное, и мы еще толком не знаем, что это такое, и не третий ли это глаз горит у героев во лбу, совмещая магию света с энергией зрения?..

(Кусочек этот чегой-то растягивается, а письмо подходит к концу, и поэтому закончу его в следующий раз.)

2 августа.

А мухоловка за эти дни выросла такая большая, что летает в лес, и живет там, и прилетает в лагерь, и садится зекам на голову или на плечо и требует, чтобы ее кормили, и все бегают и ловят мух, и она их, негодница, лопает.

А зовут ее – Борька. И мух она ест охотнее, чем кузнечиков. Значит, мухи ей вкуснее.

За это время тоже я получил от тебя 27-е письмо с рассказами о переезде и кто как помогал укладываться, а сегодня – открыточку из новой миниатюрной серии от 30 июля.

И еще – про ваши глазки*, с которыми я все время живу, и они как часы, возродилось атавистическое чувство – все время смотреть, который час, то есть кто из вас на меня сейчас смотрит, Маша или Егор, и от этих взглядываний я совершенно в тебя влюбляюсь еще дальше и впадаю в восторг. Естественно по этому поводу вспомнить старинную волжскую песню, но она длинная и в середине скучная, и поэтому пропущу середину и процитирую сразу финал, который повеселее и занятен в стилистическом отношении:

Пела скрипка приволжский любимый напев,
Да баян с переливами лился,
И не помню тогда, как в угаре хмельном
В молодую девчонку влюбился.

Чтоб красивых любить, надо деньги иметь,
Я над этим задумался крепко,
И решил я тогда день и ночь воровать,
Чтоб немного прилично одеться.

Воровал день и ночь, как артистку, одел,
Бросал деньги налево-направо,
Но в одну из ночей крепко я подгорел,
И с тех пор началась моя драма.

Коль началась беда, открывай ворота.
– До свидания, – крикнул, – красотка!
Здравствуй, каменный дом, мать-старушка тюрьма,
Здравствуй, цементный пол и решетка!

Мне здесь больше всего нравится оборот: чтоб немного прилично одеться. Как-то очень подлинно.

3 августа.

Думал еще немножко тебе пописать, но не вышло: работа, и устал, и надо спать ложиться, а завтра уже 5-е, и откладывать еще на день нет резона – скорее дойдет.

Поэтому целую тебя, моя Машенька.

А.

4 августа 1970.



...Егор и Маша, Маша и Егор! – 20 июля я приехала к А.С. на общее свидание с ворохом рассказов о нашем новом жилье и кольцом, похожим на обручальное, где разместила два крохотных камня – изумруд и сапфир – и два слова: Маша, Егор.

...нарисуй мне план всей жилплощади... – Из моего письма от 2 июля: «Кажется, мы поменялись...

Этого не может быть, но в руках у меня уже ордер, а паспорт отдан на выписку, а потом надо будет его прописывать, а потом переезжать, а потом ехать к тебе, и неужели я все это сумею сделать?

Ничего не понимаю... а в кино на Арбате идет «Человек с ордером на квартиру», и что же это такое?

М.б., я все эти восторги излагаю несколько преждевременно... но...
НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!!!

Не могу – и всё тут, и если мои обменщики не передумают в последнюю минуту, то будет это – микроскопическая трехкомнатная квартира, где самая большая комната – светлая, южная, в 2 окна – 11,5 м² и еще две полутемных – 9 и 7 м, ванны не будет, зато кухня пристойных размеров, и еще коридорчик, и еще чего-то там еще, и Юлички тоже не будет, а этаж будет называться «бель», и надо будет делать решетки.

И все это хозяйство на улице Гашека, что бывший Тверской-Ямской переулок, рядом с фабрикой “Дукат”».

А мини-юбки мне совсем не жаль... – Из моего письма: «Скоро пять лет пройдут, я всякий раз вздыхаю про всякие предметы, которые ты так и не увидишь».

Не говоря уже про Егорово детство, от утраты которого рвется душа, даже такой пустяк, как сегодняшняя мода, уже кончается, и ты не увидишь на улицах стайки девиц на длинных ножках, в почти что балетных юбочках, и, когда ты приедешь, мы снова будем ходить в длинных платьях и мода будет называться не «мини», а «макси», и это ужасно, потому что сразу не на 20 сантиметров длиннее, а на 10 лет старше».

...Пастернак жил на Павленке... – Наш новый адрес был такой: ул. Гашека, дом 2, кв. 53, и я писала А.С.: «Все хорошо, вот только названия жалко. Все-таки «Пойдем на Пятницкую» звучит куда лучше, чем «Пойдем на Гашека»».

Мы на Пятницкой, мы в Хлебном – это все понятно, а вот – мы на Гашека?.. Ну – посмотрим-посмотрим... Пока что меня еще там не прописали, и обменщики могут четыре раза передумать».

А Пастернак в Переделкино жил на улице Павленко.

Девчонки – про дедушку... – Из моего письма: «Я уже дома. А когда я махала тебе из окошка, какие-то девчонки рядом со мной сказали: «Ой, какой дедушка!» Но я на них никакого внимания не обратила».

А почему Гуня – стилизатор? – Искусствовед Генрих Гунькин, когда-то мой университетский сокурсник, начинал впадать в декоративное славянофильство.

...ваши глазки... – Это опять про вышеупомянутое кольцо.

...номер дома на Гашеке... – А на Пятницкой я жила в доме 2, кв. 33...

...ассистка... – В иконописи – лучеобразная прорисовка, которая носилась листовым золотом (позднее – золотой краской) поверх красочного слоя икон.



ПИСЬМО СТО СЕДЬМОЕ

Сегодня письменный день, и я получил от тебя первое большое письмо после свидания, № 29, с планом нашей квартиры, где столько окон и дверей и все сплошной восторг, когда видишь на бумаге, что и кухня, и коридор в личном пользовании. Действительно, так не бывает! И я разеваю пасть на семиметровый кабинетик и рисую в мечтах, как можно жить нам всем вместе в этой мечте.

Еще пришло «Д.И.» № 7, тоже вроде бы с весточкой, только я не понял, что нужно этому Г.Бочарову*, если картинка «Жемчуг» превосходит красотой все другие, а то, что ему больше всего нравится, мне показалось надуманным и лишенным души. И еще понравилось название – «Жемчуг», без претензий на какую-нибудь «Весну» или «Свадьбу». И в номере много родных картинок с мезенских и прочих прялок, хотя и жалко немножко, что так обскакивают.

Но пока что еще не читал о них, потому что как вынешь, так и потянут из рук, а я к этим картинкам отношусь ревниво.

6 августа.

Очень стало приятно получать от тебя письма. То есть это всегда было приятно делать, но сейчас – особенно, потому что они стали веселее, в домашних хлопотах и разноцветных обоях – я имею в виду 30-е письмо, сегодняшнее, и прошлое тоже, 29-е. Очень я люблю в тебе эту – немножко взхлебушки – речь, когда жить интересно и у них было много дела, и я вспомнил, как ты мне рассказывала о Примаченке, под занавеской, в которую било не то солнце, не то ветер, и ужасно захотелось, чтобы ты мне

еще когда-нибудь так рассказывала, много-много и долго-долго, а потом бы мы пошли с тобою в кино.

А решетки как получились? – почему не пишешь. Если мы когда-нибудь будем с тобою богатыми, то эти решетки можно было бы выковать по какому-нибудь красивому рисунку, и будет как в замке, – как ты считаешь? Но это не обязательно, и так хорошо, – да?

7 августа.

Интересно тебе писать каждый день, но с тем чтобы рассказать что-нибудь новенькое, а где его возьмешь? Правда, я сегодня заметил осень в дальнем лесе: береза пожелтела – что-то вроде напутствия на новый сезон. Наверное, еще потому, что очень сухо, дождей этим летом у нас почти не было. И цветов стало меньше. А я их собираю, в рабочей зоне, и ставлю в банку на стол. Сегодня пришлось сочинять в основном из белой кашки и каких-то очень желтеньких и дешевых кусточков, и одну полынь нашел, а все равно получилось красиво.

Это я тоже от тебя научился – цветы собирать. И не стыдиться нести их в руке под удивленные и, в общем, добрые восклицания: – Зачем это вам? Отвечаю: – Для красоты.

8 августа.

А знаешь, что бывает, когда дождь идет, а солнце светит? «Тогда русалки Богу молятся». Это мне сказали латышскую поговорку, но думаю, что и в России есть что-то такое. Очень мне понравилось.

А на другой листик я переехал по ошибке и теперь уже жалко переписывать.

Но надо закончить пятнадцатый кусочек о световой природе, начатый в прошлом письме.

Красота в сказках имеет обыкновение не только приковывать взгляд, но и много видеть. В сущности, это взаимосвязанные процессы: светить – смотреть. Поэтому свет к красоте относится и во втором употреблении слова: весь свет, всё, что мы видим. Глаз, как известно, устроен по образу солнца, и если оно светит, то оно же и смотрит. В Древнем Египте изображалось Око Солнца – божественный, пронизательный глаз. Соответственно, пол-

нолуние – чтимый праздник в Египте – именовалось «полнотою глаз». Илья Муромец, собираясь в дорогу, на все четыре стороны света, куда глаза глядят, осенял себя благодатью Всевидящего Глаза.

А тут ли стал Илья да на резвы ноги,
А крестил глаза на икону святых очей...

В сиянии несотворенного света, по свидетельству очевидцев, дух преисполняется мирообъемлющим зрением, удостоенный видеть всё и повсюду. Во всем этом нельзя не приметить некую закономерность, позволяющую также и в сказке красоте-свету поворачиваться к нам своей оборотной стороной – полнотою глаз, созерцающих ярко осветившийся мир.

Сказка не так уж изобразительна, но она глазаста и стремится охватить взглядом как можно больше вещей, для чего иногда прибегает к широкоэкранным изображениям, к панорамным съемкам, показывающим воочию, что же, собственно, принимается ею за прекрасное.

«– Катись-катись, яблочко, по серебряному блюдечку, показывай мне города и поля, леса и моря, и гор высоту и небес красоту! – Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все города один за другим видны, корабли на морях и полки на полях, и гор высота и небес красота; солнышко за солнышком катится, звезды в хоровод собираются – так все красиво, на диво – что ни в сказке сказать, ни пером написать. ...Покатила наливным яблочком по серебряному блюдечку, а на блюдечке – один за одним города выставляются, в них полки собираются со знаменами, со пищалями, в боевой строй становятся; воеводы перед строями, головы перед взводами, десятники перед десятнями; и пальба, и стрельба, дым облако свил, все из глаз закрыл! Яблочко по блюдечку катится, наливное по серебряному: на блюдечке море волнуется, корабли как лебеди плавают, флаги развеваются, с кормы стреляют; и стрельба, и пальба, дым облако свил, все из глаз закрыл!..»

Как при виде широкого поля-раздолья из груди вырывается облегченный вздох, отвечающий жажде души расправить крылья во весь горизонт, и старики на такой окоем «ну и благодать!» го-

ворили, так на этом серебряном блюдечке покоится просветленное око, даже войну обращающее в украшение мира, развернувшегося парадом следующих за кинокамерой кадров, каждый из которых способен раздвинуться вширь, в картину миропорядка, где десятня под началом десятника являет образ благоустроенного и озаглавленного бытия, так же входящего в общий строй, как взвод в полк, полк в поле, обегаемое солнышком, что катится по небу, как яблочко вокруг золотого глобуса, такого огромного, уместившегося на блюдечке – хоть бери его и любуйся на Божий свет!..

Сходный метод заполнения обозреваемого пространства принадлежностями вселенной, представленной в едином ландшафте как бы разом и навсегда, применяется в старинных гравюрах. Поле зрения в старину было, безусловно, плотнее современного взгляда на вещи, подобное тогдашнему городу, заключившему в тесные стены едва ли не все государство и поэтому со своей колокольни открывающему тот самый обзор, которым ублажалось искомое чувство прекрасного как сила вместимости глаза. Произведение искусства часто мыслилось тем же городом, который любили описывать, битком набитым палатами, церквами и теремами, или немного побольше – полной чашей земли, похожей на витрину универсального магазина, где все есть и все видно. «А на ковре бы все королевство было вышито, и с городами, и с деревнями, и с реками, и с озерами... Король взглянул – все свое царство словно на ладони увидел; так и ахнул! – Вот это ковер!..» Перенесение света в обоих его значениях в горницу было равносильно возведению дома в город, в космос, поражающий своей широтой, сосредоточенной на узкой площадке.

На небе солнце, в тереме солнце,
На небе месяц, в тереме месяц,
На небе звезды, в тереме звезды,
На небе заря, в тереме заря –
И вся красота поднебесная.

Все это способствует тесноте изобразительного ряда в искусстве, будь то обращенный в ковер, изукрашенный камень собора, или гиперболы ювелирного цеха, изготовленные по рецепту –

«чтобы в каждой пуговице райские птицы пели и коты заморские мяукали» (если пуговицы такие, то какой же полнотой, вообразите, сиял весь кафтан!).

Сгущением прекрасного становится «поющее дерево» (с его упрощенной вариацией – дерево, усаженное поющими птицами), которое и поет, и цветет, и блестит, и благоухает, и потчует сладкими яблоками, воздействуя сразу на все ощущения этим синтетическим светом. Оно продолжает цвести и петь в учреждении царского сада, который, вместе с пиром на весь мир, рисует нам человечество, повергнутое в превосходную степень блаженства, какое только можно обрести на земле.

Звуковое оформление сказочного спектакля является следствием, резонансом того бесподобного блеска, который голосом птицы Сирина открывает нам двери нирваны, либо, переходя все границы праздничной вакханалии, разрешается в ружейной пальбе и перезвоне колоколов. «В городе звон, по ушам трезвон, трубы гудят, бубны стучат, самопалы гремят». «Пир во дворце! Крыльцо все в огнях, как солнце в лучах; царь с царицею сели в колесницу, земля дрожит, народ бежит: – Здравствуй, – кричат, – на многие века!»

В уплотнении массы прекрасного огонь достигает твердости металлов и минералов, а свет поет и стреляет, потакая желанию сказки превзойти себя и все-таки высказать то, о чем не дано «ни в сказке сказать, ни пером описать».

10 августа.

Всё сказки да сказки – что-то надоело, тянет на классику, например на Гоголя, к которому в виде эпиграфа можно было бы поставить слова: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» (Пушкин, «Арап Петра Великого»). (Возможен и второй: «А какое тебе дело, что у меня локти продраны?» Достоевский, «Бедные люди». Но это еще надо подумать. Остановимся пока на первом и пойдем дальше.)

Внешне биография Гоголя бедна событиями и до ужаса благополучна. О ней неинтересно рассказывать: служил, писал, лечился – сам не ведая от чего, почему. По сравнению с Пушкиным, Лермонтовым, раздражает какое-то роковое неучастие судьбы в его человеческом жребии, какая-то неодухотворенность, бес-

смысленность прожитой Гоголем жизни с его вечными геморроями, флюсами. Даже к женщинам он не знал интереса, хоронясь сердечных волнений. Даже за границу уехал он главным образом ради климата и томился там для пользы здоровья, и никакие бури истории, гонения, приключения не посетили его одиночества. И все ему как-то сходило с рук – не заботами Провидения, на которое сам-то Гоголь по малейшему пустяку возлагал непомерные требования, а как-то так, беспричинно, словно он не принимался в расчет и, как Башмачкин, не был замечен в своем пошлом существовании.

За «Ревизора», который другому обошелся бы в Нерчинск, он обласкан был царской улыбкой. «Мертвые Души» обеспечили ему ренту. Видно, Гоголя оставляли в покое для иного рода тревог.

Навряд ли найдется у нас еще другой литератор со столь же неровной и грозной душевной биографией, с такой же раздранной, загнанной в кошмарный комок психологией, наружно облеченной, однако, в довольно тривиальную фабулу, подброшенную как нарочно больному с самым беспокойным характером, который, попади он нечаянно в более крутые условия, был бы растерт в лепешку на первом же перекрестке, или, возможно, вообще не испытал бы тех потрясений и не подарил бы нас Гоголем в полном его развороте. Нет, он был осужден на внутреннее терзание, и потому ему выпала мирная, вполне безопасная жизнь. Но во что ее превратил, как ее изувечил Гоголь, не оставив в своей душе живого места, не растравленного миражами, которые он сам же вызвал и раздражил, чтобы потом безобразно тягаться с ними, и падать, и гоношиться под выдуманскими ударами!

И все-то у него не туда, не так, как надо, нестройно, неорганично, настырно, и все-то он усложнял, выкручивал и напускал на себя – и в горестях и в удачах, подобных некому «чуду», о котором извещал он Жуковского из Парижа (12 ноября 1836 г.):

«Бог простер здесь надо мною свое покровительство и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой...»

Экая самонадеянность!

Личность Гоголя – чуть вы приблизитесь к ней – зияет сплошной незаживающей раной, глумливой насмешкой, прорехой на человечестве. Бестактности, несообразные со званием писателя, нелепые затеи, вопросы, вас задевающие по живому мясу, послед-

ние, кричащие всем и каждому о безумии искусства, о безжалостности морали, о несчастии родиться на свет с этим клеймом виновности, от которого самая смерть не спасает, но ставит, в назидание, несмываемое пятно, – торчат из него, как пружины из продавленного матраца. Точно он искушал кого-то, выставляя на показ свои стигматы – опозоренное достоинство, поддельные добродетели, ложные клятвы, несбывшиеся пророчества, свой долгий нос и птичье имя – Гоголь...

«Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит».

И постарался захватить чужую должность и место проповедника, отказавшись от писательской хартии.

«...Одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла...»

И поспешил выпустить в свет новое свое сочинение, самое торопливое и несовершенное, окончательно всех исказив и запутав.

«...Я вижу сам, что теперь всё, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего».

И после этого не написал ничего, решительно ничего значительного.

«Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям), завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, – завещаю им мое сочинение, под названием: Прощальная повесть... Его носил я в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слез, никому не зримых еще со времен детства моего. Его оставляю им в наследство».

Надо ли пояснять, что лучшее сокровище оказалось очередным надувательством? Троекратное «завещаю» относилось к несуществующей повести, которую Гоголь, конечно, так и не написал.

«Тебе нужно или какое-нибудь несчастье, или потрясение. Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясение, чтобы встретила тебя какая-нибудь невыносимейшая неприятность на службе, чтобы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы ты, куда сокрыться, и разорвал бы одним разом все чувствительнейшие струны твоего самолюбья. Он будет твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха!»

И неприятности пошли косяком, и добрый избавитель сыскался, и рекомендованная приятелю оплеуха раздалась в виду всех, но заработал-то ее Гоголь. Этого он не учел:

«...Меня теперь нужно беречь и лелеять».

Некрасиво!.. Бездарно!.. Ну а вид и хрип умирающего очень пристойны? Его вопли о помощи, сборы в дорогу, страхи, жалобы – красивы, логичны? Гоголь был умирающим, о котором уместно напомнить, что умерал он за письменным столом и агония затянулась. Если, не вынеся этого зрелища, его похоронили до срока, то в некотором смысле он умер значительно раньше, за много лет до формальной даты, если вообще не носил в себе смерть от своего рождения, что проявлялось в странной болезненности, ипохондрии, небывалых, похожих на обмороки приливах творческой мощи, сопряженных с впадением в сомнамбулический транс, онемение, летаргию. Смерть лишь прогрессировала по мере того, как он жил, и когда это вполне обнаружилось, требовать приличий, последовательности, уважения к себе и читателям было по меньшей мере наивно. В «переходном состоянии», как называл его Гоголь (а все его творчество, особенно во второй половине, носило печать переходного, смутного, от жизни к смерти, качания, когда самое выздоровление возвещало ему поминутно, что жизнь, как уверял он всех, висит на волоске), его личность уже не имела строгих очертаний характера, как принято им пользоваться в человеческом обиходе, но сбивалась на какое-то множество, облакаемое по-прежнему Гоголем, но существующее как бы в разных планах бытия и сознания, ежедневно умирающее и воскресающее уже где-то за гробом и продолжающее в то же время тянуться назад, к жизни, и плакать, и угрожать, и доказывать, и спорить с соотечественниками, часто невпопад, без толку, к собственному стыду и позору, ибо как может

один человек сразу сообразить и осмыслить столько разноречивых, несхожих вещей и мнений? При всем том он не сошел с ума и не потерял голову, а, напротив, показал поразительную способность к рассудительности и самоконтролю и, пребывая в ясной памяти и здоровом уме, все старался сообразить и привести в порядок, в систему, все, что открывалось его взору в этих несовместимых аспектах, видя дальше и больше, чем дано нормальному зрению, так что следует скорее удивляться, как он сумел сохранить себя под этой лавиной мыслей и не рассыпаться в пыль.

12 августа.

По радио передают про желудочные болезни, и будьте, пожалуйста, осторожнее: не ешьте сырые фрукты и овощи, не ошпарив их со всех сторон кипятком, а лучше вообще ешьте их пока только в вареном виде – и пусть в них от этого будет меньше витаминов, зато и микробов меньше.

И воспрети строго-настрою Егору совать в рот всякую дрянь, и пусть почаще моет руки. И ты тоже.

Просто не знаешь, с какой стороны за вас беспокоиться.

Очень смешно купаются воробьи: нагибаясь, мочат брюшко, а потом долго отряхиваются. И в это время очень заметно, что у них нету рук.

– Птичка вся на шарнирах.

– Она взяла меня в такие шторы, что с меня пот потек.

– Вдруг – бух! – мать приехала.

– Нет, есть Бог. Кто скажет – Бога нет, я тому глаз выколю.

– Это такой человек, что если есть на том свете загробная жизнь, то его там надо двадцать раз повесить!

– Я с шестнадцати лет – как рыба в воде.

– У меня такая натура, с молоком матери всосанная!

Старушка говорит: а я думала, мне пенсию дадут.

– Приятно жить под высокими облаками.

Почему в народе так любят имя Катя? – потому что оно от слова катить и кататься.

Влияние архитектурного декора на оформление романской и готической книги интересно бы проследить на русской миниатюре. Тогда бы яснее встала проблема книги-дома. Впрочем, задача, возможно, была шире: архитектурный фон и декор вторгался во

всякую живопись ради создания пространства, в которое заключались человеческие фигуры. Художественное пространство вообще тяготело к формам жилого помещения. Задача состояла не в том, как разместить, но – где поселить человека.

И воду сырую тоже не пейте.

14 августа.

Так о вас думаю, что даже голова болит. А имею за это время 31-е письмо про разрисованного Егора* и как Зойка поступает в высшее учебное заведение. Почему-то вспомнилась Розалия с ее фимочками, и фраза – «из нашей семьи это первый защитил диссертацию», семейная обеспеченность, ценность, как будто в этом дело.

Еще тебе на будущее – не забудь купить папку и стерженьки для шариковой ручки или карандаша любых размеров.

Когда-то я тебя увижу, моя радость? Скоро месяц, а как давно и как по-разному: то как в кукольном театре, одна головка торчит, а то смотрим на личико и молчим, совершенно счастливые. Накладно, конечно, но как много дано, даже странно, что за одну жизнь так много всего. А помнишь, как на лодке катались по Плещееву озеру?

И если мы когда-нибудь усядемся рядком и станем все вспоминать, то никакого времени не хватит. Но мы все равно все вспомним. А кукушка совсем починилась или только временно, в день переезда, пошла?

Еще, чтобы не молчать, расскажу тебе про Магомета – возможно, апокриф – как развернутый ответ на тему, почему он заикался.

Когда он родился, неверные издали указ об истреблении младенцев мужского пола, ибо знали, что должен родиться Пророк. При появлении стражников во дворе его в поспешности сунули в горящую печь и закрыли, а когда опасность миновала, домашние хватились младенца и, вспомнив про печь, думали, что он сгорел, но огонь его не коснулся.

Оставшись сиротой – отец умер еще до его рождения, мать вскоре после, – Мухаммед был отдан в дом Абуджахила, главного среди неверных в Мекке. Говорят, еще ребенком Пророк невзлюбил Абуджахила и щипал и дергал его за волосы, когда тот брал его на колени, что не укрылось от глаз нечестивца, увидевшего в

этом дурное предзнаменование. Но жена его, добрая женщина, старалась его разуверить, говоря, что он напрасно придает значение детским шалостям. И она предложила испытать ребенка, положив перед ним на полу горящий уголек и жемчужину. Мухаммед направился к жемчугу, но видевший это Бог послал ангела Джабраила, чтобы тот своим крылом увел ребенка в другую сторону. Тот так и сделал. И Мухаммед схватил уголек и сунул в рот. Подозрения Абуджахила рассеялись, но, говорят, с тех пор Пророк всю жизнь заикался.

Из «Мовлада» (арабск. название)

Ночь, когда родился Пророк, была необычайной:
Солнце еще не вставало, но мир уже озарило сияние.

Когда младенцем Пророк однажды от обиды заплакал,
Пришла от Господа весть, что плакать ему нельзя.

– Там, где одна слезинка из глаз твоих упадет,
Трава не сможет расти, земля иссохнет. –

Исполняя волю Господню, он плакать перестал,
Лишь устами своими шептал: – Лайлла-ил-лалла.

16 августа.

Кончилось лето, наступила осень. И у нас ремонт в секции, и дождь идет, но это хорошо. Потому что на некоторое время я поселился в чуланчике, светлом, но не радиофицированном, и можно заниматься вечером даже спокойнее, чем раньше.

Еще меня радует мой ватник, доставшийся по наследству, очень длинный, почти до колен, хотя и старенький, но с домашней частично, такой уютной подкладкой, отдаленно напоминающей бабушкино лоскутное одеяло, которое я очень любил. <...>

Никак не могу привыкнуть, что на открытках теперь печатаются русские миниатюры, а на марках – Кижичи.

А оттого, что ты клеишь такие дорогие марки, многие письма и открытки ко мне приходят со штампом «Авиа». Но от этого они не идут быстрее. И я очень, ну просто очень по тебе скучаю.

17 августа.

Зато сегодня я имею от тебя два письма и две открытки, и все щебечущие и нарядные. <...> И все марки роскошнейшие при мне, потому что прямо мне в руки вручили, и я спрятал в карман и ни один филателист не видел. А то бы мне пришлось раскошеливаться – и было бы очень жалко. Не потому что я марки вздумал собирать (вон у некоторых зубчики отрезаются, и мне все равно) – но я твои письма собираю, и весело, когда они такие расписные и вся история-география отобразилась.

Еще очень понравилась открытка с Соловецким островом – точная копия, что я рассказываю в этом письме насчет плотно упакованного пространства.

А Медузия-рыба была такая: из лубка, с женской головой, в короне, и на четырех лапах, и каждая оканчивалась змеиной пастью, и хвост тоже. А на сочленениях в виде скрепок – рыбы.

Но я тоже – должно быть, чтобы никому не было обидно – безуспешно ломаю голову про чьего-то круглоголового ребеночка, но, я надеюсь, это не аллегория, а фотокарточка, которую я тоже не получил или ты ее еще раз позабыла в сумке. А если в сумке нету, то Расскажи мне на словах, чей это был ребенок, а то так, не видя, трудно догадаться.

– Всякая женщина имеет свое стремление к жизни!

Смешные интонации. «Все очень хорошо!» Ну и хорошо, если хорошо, и я так и понял, но какое «ч», шипящее, таинственное, многозначительное в слове «очень» в сочетании с вытаращенными глазами!

Еще я вижу сны в руку. Например, ничего не зная о предстоящем ремонте (и, значит, не думая заранее на эту тему), полночи провел, перетаскивая какие-то стулья, кровати. А наутро открываю глаза и вижу: тащат кровати. Спрашиваю, что случилось, и отвечают: – Ремонт!

Опять же много вижу Осичку, и в том, что это ты, я недавно окончательно убедился: Осичка предстал собакой женского пола. А в остальном все такой же.

Погода перешла на холод, и круглосуточно моросит. Наверное, вам пора уже возвращаться в Москву. Про домик твои письма продолжают оставаться очень интересными, и я ими увлекаюсь и тобою тоже.

А в остальном все обычно, только курю немножко больше, по-

тому что беспокоюсь о вас. Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы.

Целую вас, мои бесценные собачки. <...>

А.

18 августа 1970 г.



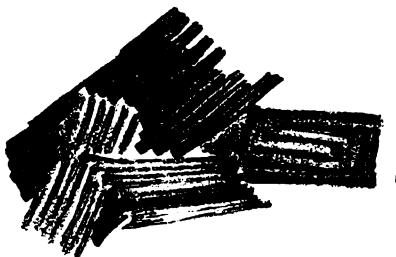
...что нужно этому Г.Бочарову... – Среди иллюстраций к статье Г.Бочарова «Камень и Оправа» (по материалам выставки «Советская Россия» – 70) – фотография моего гарнитура «Жемчуг».

...про разрисованного Егора... – Из моего письма: «Вчера шариковой ручкой изрисовал собственные руки-ноги картинками и текстами.

А знаешь, как шарик хорошо пишет по коже? (Можешь попробовать!) А как он потом ни за что не отмывается?

Так вот, я его на ночь мыла горячей водой, мочалкой и мылом, но на коленках все равно остались слова про маму, папу и Егора, и на ляжках – тоже, и на икрах – тоже, и на ладошках – тоже, и вся левая рука в орнаменте, и обе ноги – тоже.

Обрабатывал он себя таким способом около часу, а потом вышел как индеец, и все очень смеялись, и трудно сердиться, и я его люблю».



ПИСЬМО СТО ВОСЬМОЕ

Машенька!

Нам разрешили в этом месяце послать лишнее, внеочередное письмо, с тем чтобы известить родных, что у нас карантин и временно запрещены свидания и передачи, а также, возможно, посылки и бандероли.

Таким образом, следует подождать к нам ехать в гости, а также – посылать что-либо съестное – до особого извещения на сей счет.

Ты, пожалуйста, не волнуйся. Это мера сугубо профилактическая, и все здоровы, и я тоже, чего и вам желаю.

В остальном у меня тоже все нормально и обычно. 18 августа послал тебе большое очередное письмо. А вчера совершенно неожиданно получил от тебя шесть писем и одну открытку – №№ 34–39. Давно я так хорошо не отоваривался. Что значит дачный улов! И все письма большие и интересные, и я теперь более образно вижу вашу жизнь на даче. Очень ты художественно рассказываешь. Как будто заглянул к вам в окошко.

Хорошо вы переписываетесь с Егором*. Молодчики, и очень понравился способ твоего воспитания чтением, чтобы ребенок лучше кушал. Потому что когда кричат и ругают, еда уже совсем не лезет, а становится поперек горла, а награда – лучший вид воспитания, и наш ребенок станет лопать за троих, если ему на сладкое перепадают такие книжки. Я для чучела бегемота-носорога, весьма проблематичного, и то старался, а тут вполне доступное счастье послушать, как мама читает вслух.

И умилили Киплингем, чьи броненосцы были как раз моей любимой сказкой из этой же серии, а про слона, у которого крокодил вытянул нос, казалось сплошным издевательством и над

слоном и над реализмом, а гуляющая кошка была что-то слишком сложной для моего детского ума.

И марки в этот раз опять все при мне, замечательные, и приятная серия почтовых связей XVII–XVIII веков, хотя и не такая уж красочная, а по духу. Еще в Рамене была книжка про почтовые связи всех времен – с картинками.

Но марки лучше не собирать для Егора отдельным блюдом, а оставлять на конвертах – для колорита.

Фотографию неизвестного младенца* на сей раз я тоже получил, но не могу решить, чей он. У меня два варианта: либо это Викина Марина, либо несколько подросший Вениамин. Последнее – по аналогии с более юной его фотографией. А родственного сходства что-то я не улавливаю никакого. Правильно я угадал? Еще ты за меня не волнуйся, потому что в деревнях этой заразе* гораздо меньше места, чем в большом городе, о чем можно судить по мемуарам пушкинских еще времен, когда баре в таких ситуациях разъезжались обычно по деревням и отсиживались в своих усадьбах.

У нас довольно холодно. Дожди перестали, и днем еще слегка пригревает, а вечером и ночью совсем холодно. Хожу в ватнике (но это, может, и к лучшему – мух меньше будет). И как-то все сразу сделалось по-осеннему, и новый годовой перевал, начинающийся для меня обыкновенно где-то в октябре, на подступах к длинной зиме, как бы уже начался.

Эти длинные стержни для карандаша кончаются почему-то много быстрее, чем маленькие для ручки. Оглянуться не успеешь – уже надо менять. Но писать ими тоже приятно. Не буду в этом письме занимать тебя литературой. Да и времени нет. Приведу лишь несколько слов забавной песенки, чтобы рассеять твое печальное настроение, – в дополнение к лапарям, после которых, оказывается, следует:

Идут года, летят часы, минуты,
Так пролетит твоя любовь ко мне,
И ты отдашься вновь другому в руки,
Забудешь ласки, что я дарил тебе.

Отдашься вновь, не понимая чувства.
Хотя ты женщина, но все же ты – дитя.
О, милая, любимая пацанка!
Ребенок взрослый, как я люблю тебя!

После чего следует припев с теми же «лапарями». А в первой строфе он был влюблен вовсе не сильно, а жестоко, что гораздо ближе к рифме. Песенка, конечно, вульгарная, но уж очень лирическая.

Так где же ты и кто тебя ласкает?
Или начальник, или уркаган?
Или в расход ушла уже налево?
Или в побеге уложил наган?

Пройдут года, пройдут минуты счастья –
Так пролетит и молодость твоя,
И ты отдашься вновь, не понимая ласки,
И так забудешь, как я любил тебя.

В остальном я очень прошу вас выполнять предписания санитарии и гигиены и писать мне почаще в эту пору, когда особенно трудно было бы сидеть без писем. Хотя открыточками уведомляй меня о вашем текущем здоровье.

Мои же дальнейшие письма будут идти обычным порядком.

Целую вас нежно, мои родные и любимые, и очень-очень любимые детки.

А.

23 августа 1970 г.



Хорошо вы переписываетесь с Егором. – Из моего письма: «А утром мы с ним переписывались, и я ему написала, а он прочел следующие тексты: «Наш Егор хорошо завтракал. Он ел кашу. Он пил чай. Он молодец».

МАМА ПИШЕТ ЕГОРУ ПИСЬМО
ЕГОР ЕГО ХОРОШО ЧИТАЕТ
МЫ ЛЮБИМ ЗОЮ
ЗОЯ УЧИТ УРОКИ
У НЕЁ ЭКЗАМЕНЫ

Из всех этих слов Егор забыл только букву «э» и некоторые слова ленился читать до конца, а норовил угадать по первым буквам. Поэтому вместо «пил» вначале прочел «писил», а прочитав: «мы любим», бодренько закончил «папу», а там было вовсе «Зою», и пришлось заставить его перечитывать. И еще очень запутался на слове «его», никак не мог понять, почему это «Егор» без буквы «р» на конце и что это за слово такое».

Фотографию неизвестного младенца... – Не угадал Синявский. Это была Анна Сергеева, дочь Людочки Сергеевой.

...в деревнях этой заразе... – Летом 1970 года в стране были зарегистрированы случаи холеры.



ПИСЬМО СТО ДЕВЯТОЕ

Дорогая Машечка! (давно я не начинал таким простым обращением к тебе, и вот подумал: что-то я давно не называл мою Машу дорогой, и давай-ка я назову, то-то она обрадуется). Вчера вечером – сегодня утром послал тебе внеочередное письмо, которое нам разрешили в этом месяце, и как-то одиноко сделалось, когда я его послал, и вот я начинаю новое, на следующий месяц, письмо, чтобы нам не сидеть друг без друга слишком уж долго. Понятно, за такой короткий промежуток ничего интересного в моей жизни не успело случиться, и я нахожусь под впечатлением твоих дачных рассказов из той изобильной почты, которую недавно имел. (А в хорошую почту ты придумала играть с Егором. И он может теперь даже сделать себе отдельный почтовый ящик, и получать туда твои письма, и возить их взад-вперед на поезде. И вообще изобрести из этой причины массу приятных занятий.)

А я, наверное, уже писал тебе когда-то (и еще напишу), что иногда ем чего-нибудь, задумаюсь и вдруг поймаю себя на том, что в эту минуту я похож на Егора, – и на душе просияет.

– Дай я тебе рубашку постираю.

(Если произнести это просительно, как о милости, то можно заметить, что с этого и начинается семейная жизнь, хотя все общее хозяйство, и долг, и любовь, и жалость в одной этой рубашке.)

– Здесь хорошо, что человек здесь ощущает себя голой душой.

– Если бы здесь была девушка, которая рассуждает в высоком духе, я бы с нею скорее общий язык нашел.

Еще бывает примета. Если паучок ночью с потолка опускается и не улезает обратно по нитке. А потом другому опускается на грудь и тоже не улезает. И когда остался один, то паучок днем

опустился и, повисев у самого носа, поднялся, и потом опять – и так три раза.

А ремонт у нас кончился, и мы сегодня вселялись обратно в очень чистое помещение. Даже пол у нас теперь крашеный.

А ловко мы совпали с тобой во мнении о статье Бочарова?*

23 августа.

Был у зубного врача, и та, пломбуя мне зуб, неожиданно сказала, что во рту у меня почти все готово, чтобы начать протезирование, и что мне следует на эту тему подать заявление, о чем я и не думал. Но подумав, подал такое заявление, потому что нелогично отказываться, когда идут навстречу, и хорош же я буду, если, допустим через полгода, у меня выпадут последние зубы по моей же нерадивости. И вообще перечить судьбе было бы самонадеянно, и я как-то почувствовал, что надо повиноваться, когда тебе желают добра. Но что это значит?

Это значит, что, по всей вероятности, меня запишут на очередь в больницу, где производится вся эта зубная процедура, и отправят туда (это рядом) на неделю-две, но когда именно, сказать заранее нет возможности – скорее, в начале или в середине сентября, хотя в принципе не исключено, что в ближайшие месяцы мест там не окажется, да я рваться туда не хочу и не могу, поскольку мне предложили эту услугу, да и вообще от меня ничего не зависит, кроме как дать согласие, которое я дал, и иметь для оплаты новых зубов и всяких там коронок деньги на счету, которые я имею.

Я не бывал еще в больнице и плохо представляю, как все это делается и куда, например, идут письма, если там находишься не длительно, а вот так, как я собираюсь, но во всяком случае я постараюсь известить тебя обо всем своевременно, и поэтому сейчас так нудно все это расписываю заранее.

Опять же на моем тихом фоне подобное событие предстает в более преувеличенном масштабе, чем оно того заслуживает на самом деле. Тем более, что это еще на воде вилами писано.

От тебя же имею вполне реальное письмо № 43, которое проскочило без очереди, опередив другие, с известием, как вы, замерзая, строили печку, а потом убежали с дачи, не знаю, насовсем или временно.

Холода в самом деле собачьи, и ласточки улетели, не найдя корма. Сегодня, например, даже в ватнике я не смог усидеть днем на дворе (у меня отгул за ночь) и ушел в помещение.

Еще обнаружилось, что тетради в клеточку, из которых я пишу тебе письма, подходят к концу – осталось три штуки. Это я к тому, что когда-нибудь потом, хотя бы зимой, желательно еще привезти мне запасец. Есть, правда, еще у меня общая тетрадь, но бумага в ней не такая хорошая.

А на днях мы с тобою во сне видели Гоголя, заехав в деревню, где он жил на покое, не знаю, право, на небе или на земле. Потому что Гоголь был не совсем телесного цвета, а голубовато-серого, и раза в два крупнее обыкновенных людей. Но живой, немножко грустный, погруженный в свою обычную прострацию, и мы не решились его беспокоить и только полюбовались на него со стороны, он сидел в профиль, очень милый и добрый, но я удивился, какой у него, оказалось, маленький подбородок. Надежда Васильевна, сопровождавшая нас в этой экскурсии, сказала, что Л.Толстой лучшим русским поэтом считал Алексея Толстого, на что я довольно сердито заметил, что это он для того, чтобы и в поэзии на первом месте был Толстой. В деревне же у Гоголя в почете были иконки, им сочиненные, подлинник на бумажке висел тут же, прищипленный к стенке, – довольно схематичное, простенькое, чуть ли не елочкой, изображение двух святителей в рост, Иоанна Воина и еще кого-то, не помню, хотя было искушение выпросить листочек с наброском самого Гоголя, почитавшегося в своей деревне не то как помещик, не то как блаженный.

Словом, ужасно литературный сон (вроде тоже недавнего, когда на небе вместо луны видел голову Венеры Милосской), навязанный, очевидно, гоголевской «Перепиской с друзьями», изучая которую, прихожу то в ужас, то в восхищение и все ломаю голову над его жизнью и творчеством, которые он удосужился так невообразимо запутать, что необходимо сперва проследить все строптивные повороты его мысли, прежде чем придти к какому-то выводу или даже анализу произведений. Массу предварительной, черновой работы требует Гоголь, и поэтому мои беглые замечания о нем довольно случайны и неокончательны.

25 августа.

Известны признания Гоголя, что материю для своих персонажей он заимствовал почти исключительно из своего внутреннего мира, преувеличивая пороки, которые в себе находил, что по-настоящему, как писателя, его занимала только собственная душа. Это вылилось свитой разнообразных лиц и характеров, каждый из которых уносил по зернышку из великого множества Гоголя, не будучи никогда, однако, сколько-нибудь целостным зеркалом его склонного к разбеганию во все стороны «я». Не исключено, что рано начавшееся умирание, обеспечивая его сочинения энергией и сырьем, стимулировало этот процесс распада, именуемый психологией творчества, в котором душа, витающая между жизнью и смертью, вступала в раздор с собою и «новый» Гоголь уже не узнавал «старого» и пугался своей же тени, как мы пугаемся привидений.

У индейцев Северной Америки бытовало предание, согласно которому мертвые так же боятся живых, как нам, покуда мы живы, страшны и отвратительны мертвые. Заметив живого пришельца, мертвые в паническом страхе прячутся друг за друга, лишь бы не видеть того, кто всем своим нечеловеческим обликом внушает им омерзение, – такова непроходимая пропасть между ними и нами.

Гоголь вмещал эту пропасть, эти не терпящие встречи, не желающие и знать друг о друге, взаимно оскорбительные точки зрения, и оттого-то он так нещадно, ежечасно себя опровергал, и оттого же нет человека, которому бы в полном объеме был доступен Гоголь с его хождением туда и обратно и попеременным открещиванием от своих побывок, побасок. Просто он становится вдруг невидим, неузнаваем – гадок, страшен, не похож ни на что то одной, то другой своей стороной, которые, кажется, вот-вот вскинутся в ужасе – каждая на свое привидение – и обличат: “Ведьма!” – сказал он, вдруг указав на нее пальцем...”

...Но может быть, мне возразят, что искусство всегда и везде создается перед лицом смерти? Что художник больше других помнит, что он умрет, и в преддверие этого часа, о чем бы он ни писал, он пишет *прощальную* повесть?.. В таком разе Гоголь пошел дальше в деле писательства. Его последняя книга являет беспрецедентную в истории литературы попытку осмысленного прощания с жизнью, предпринятую непосредственно на смертном од-

ре, где человек, очевидно, не очень-то церемонится, но и тогда едва ли заикнется о том, что Гоголь понаписал, расставив все точки над *i*, и, не дожидаясь развязки, сам, как главный докладчик, вынес на обсуждение остолбеневшей общественности.

Впечатление кощунства, которое она оставляет, несмотря на благочестие автора, проистекало большей частью в результате смешения жанров, законных в разрозненном виде и стыкнувшихся здесь в нечто противоестественное: Библии и поваренной книги, молитвы и газеты, земных и небесных забот. Сам разговор, затеянный с громогласной публичностью на темы, о которых нам подобает тихо вздыхать, был нестерпим по тону, который Гоголь впоследствии, пойдя на попятную, осудил как ему «несвойственный и уж вовсе неприличный еще живущему человеку». Но мертвых его книга – промежуточная, межеумочная – тоже бы не устроила. Угрозы и прозрения, высказанные с широтой отрешенности, соседствуют в ней с мелким намерением высунуть нос из могилы и удружить провожающих еще не одной перепиской; раскаянье в содеянном, самое доскональное, мешается с деловитой претензией все одним разом исправить и оправдать; отрицание прошлых заслуг спорит с незаслуженной гордостью своим долгом, лежа в гробу, работать на благо общества. Так не пишутся книги, так мечутся на постели, а Гоголю еще не терпелось, чтобы его читали и обсуждали и других бы посылали читать: «Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного».

Читаешь и не веришь глазам. Происходит что-то чудовищное: по дороге на кладбище, наверстывая упущенное, Гоголь, громко охая, соскакивает с автобуса и становится в центре арены, чтобы всей России давить на психику своим авторитетом и саном раскаявшегося писателя и здесь же, не отходя от кассы, дирижировать своей панихидой.

«В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы, как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною; но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этою самой бессильною и черствою их молитвой. Я же у Гроба Господня буду

молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого...»

Неслыханно, невыносимо... Какую власть, какое величие нужно иметь, чтобы так вот, прямо, в печатном издании, распоряжаться читателем, не заботясь о лице, о достоинстве и в этом бесстыдстве обретая какой-то орлиный престиж! Или под занавес утратил он деликатность и хитрую скрытность юности, забыл, чему учили родители и что диктует инстинкт, уча зверей умирать незаметно, забиваясь под бревна, под хворост, чтобы никто не углядел унижения последнего издыхания? Или достиг он, наконец, нечувствительного могущества, когда уже все равно, что подумают, как посмотрят, и, единственно, высшие замыслы открываются духовным очам? Юродивый? Угодник Божий? Одержимый, впавший в бесовскую прелесть, закативший белки проповедник?..

Когда бы и так! Когда бы и так, то ко всему, надо всем, к его прижизненным и загробным видениям – припутан третий, посредник, от которого и набралась эта ересь смелости вылезть на публику и, разодрав одежды, предстать в задумчивом оголении. Тут пахнет писателем, чья коснеющая рука старательно заносит в тетрадь всю свистопляску мыслей вокруг прощального угощения.

«В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель...» (Авторская исповедь, 1847 г.).

«...Литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи – здесь» (В.А.Жуковскому, 10 января н/с. 1848 г.).

Вот так всегда. Заявит во всеуслышание, что никакой он не писатель, что писательство не его призвание, что он попал сюда по ошибке и теперь потерял к нему вкус и способность, а если бы даже вновь почувствовал позывы к перу, то, как честный человек, сознавая свое недостойство, вынужден был бы еще и еще раз торжественно от него отказаться, а сам под этой маркой продолжает писать и писать. Пуская всякое лыко в строку, и каждый вздох и стон и отречение от литературы обращая в литературу. Уже и сил никаких нет, и творческие истоки заглохли, и художественные образы не приходят в голову, а он все свое химичит – не художественно, а прямо так, по бумаге, канцелярски, пророчес-

ки, неисправною жизнью, разверзшейся бездной, суконным языком.

Если желаете знать, что такое писатель в самом голом, отрешенном от должности, от творчества, от таланта, от всего на свете виде, – читайте эти опусы Гоголя. Писатель – это Гоголь, проклявший свое писательство и все же что-то царапающий, скребущий, как мышь.

Даже пересказывая, переписывая эти его исхищрения, испытываешь стыд, будто следом за ним производишь что-то непристойное. Да заткнись ты, прекрати! Хочется пойти и вымыть руки. Нет, пишешь и пишешь.

А что делать?

Как в древности какой-то запальчивый полководец, истекая кровью на поле брани, приказал, когда он скончается, зарядить его трупом катапульты и выстрелить по неприятелю, в расчете хотя этим принести отечеству пользу, так Гоголь выпустил в свет, почуяв, что жизнь проиграна, свое пришедшее в ветхость, почти бездыханное тело. Так появилась книга – «Выбранные места из переписки с друзьями» (1846 г.).

27 августа.

Пришли твои недостающие (до 43-го) номера, в том числе Егорово и открытка с собачкой* моей первой любви Нади, которую я долго не мог вспомнить, кто она такая, и сперва думал даже, что это была такая собака Надя, пока не вспомнил золотую красавицу с серебряной подружкой-няней. Как все это далеко! Не те шестилетние девочки (они – ближе), а вот уже взрослая, хлебная Надя с собакой.

Колиному инфаркту я тоже почему-то не испугался, а только очень удивился (возможно, некоторые вещи на расстоянии не так воспринимаются).

Зато я совершенно упиваюсь пространностью этих двух твоих писем и вообще дачного цикла, в самом деле как будто прорвавшейся после месяцев недосыпания и рассеяния, задышавшей жизнью, в которую хоть поселяйся с руками с ногами, что я и делаю, и как это хорошо – видеть вас крупным планом, с песнями, с Киплингем, с новой квартирой, с веснушками и марками, про которые, когда на них разинули пасть, я не выдержал и заявил,

что в последний раз, и то не полностью, а делюсь, а дальше не будет вовсе – потому что мой сын сам собирает марки. Эрмитажную я, конечно, оставил себе, а Тропинина отдал. И ты знаешь, правильно сказал знакомый, несколько понимающий в изящных искусствах, что на этих марках цвет выдержан лучше, чем на репродукциях, и я тоже так считаю.

Но совершеннейшее изумление, и восторг, и глубина – это киплингowski слоненок*, про которого вам недавно писал, а сейчас, читая про Егорычеву реакцию, вспомнил, что рассказ этот был и мне тяжел именно садизмом крокодила, который как-то ужасно подробно и длинно описан у Киплинга, так что я, не перечитывавший их с тех самых пор, сохраняю от него и поныне неприятный осадок, как будто автор слегка занялся здесь изтязанием детской восприимчивости.

Но главное, конечно, не это, а Егорычева реплика о том, что слоненок в новом прочтении может не выдержать и свалиться в реку. То есть литературный сюжет обладает способностью вечно-го осуществления, для чего снова и снова требуется приложить усилие, чтобы все произошло именно так, как должно быть. Отсюда непреходящий драматизм мистерий, которые еще неизвестно, чем могут кончиться, если актеры не сыграют их правильно и зрители своими криками – давай! давай! – не помогут знакомому лицу и событию пройти без сучка и задоринки по известной канве. Может быть, и поэтому, кстати, сказку нельзя прерывать. И поэтому же Высшая драма с праздниками-узлами продолжает разыгрываться вечно, а не один раз в истории. Здесь основание мифа, который не просто действительное, но сущее, воспроизводящееся всегда и повсеместно.

Ты, Машечка, умница, и мне с тобою очень интересно жить.

28 августа.

А сейчас я болею гриппом, в легкой форме, на ногах, и уже выздоравливаю. Все это погода виновата, очень простудная, и успели вы или нет застеклить окна?

Собственный же грипп беспокоит меня только в той связи, что в ближайшую пятницу, т.е. 4 сентября, мне, возможно, представится случай идти в больницу за новыми зубами, а как их будут вставлять в такую чихающую и кашляющую пасть?

Ну, я, может, потороплюсь к тому времени поправиться, и если пойду туда, то письмо постараюсь отправить тебе немножко раньше, до отбытия в больницу. Для этого мне тоже нужно поторопиться, а тут, как на грех, с Гоголем никак не разделаюсь и поэтому, отложив болезни, спешу сказать тебе еще несколько слов, накопившихся с его «Перепиской».

Два слова играют в ней первостепенную роль: «польза» и «должность». Грозно клянется Гоголь, стуча железной клюкой, что «никогда еще доселе не питал такого сильного желания быть полезным». С детства, как выясняется, манило его служебное поприще, и лишь писательство, случайно отвлекшее, помешало ему занять более отвечающий его характеру и дарованию пост государственного чиновника, пока, наконец, эта жажда практического добра, набравшаяся душевного опыта, сознания христианских и гражданских обязанностей, созрев, не прорвалась в эту книгу советов и назиданий, встречающую во всякую щель частной и общественной жизни, с тем чтобы отовсюду извлечь какую-нибудь пользу. Даже наши болезни, несчастья, даже поэзию Пушкина и женскую красоту мобилизует он в не очень-то свойственном им значении пользы и должности и направляет на фронт замысленных широких работ по спасению души человеческой и нравственному переустройству России, и только в одном не видит никакого прока – в своих литературных творениях, искупить которые призвана его жестокая схи́ма. «Я писатель, а долг писателя – не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям»¹.

¹ Документы биографии Гоголя подтверждают, что он действительно с юных лет питал маниакальную склонность к должности и служебной карьере, чтобы затем периодически, помимо литературных занятий, стремиться с официальным лицом взойти на важную кафедру, где вскоре, как правило, с треском проваливался. Замечательно в этом смысле гимназическое послание Гоголя двоюродному дяде П.П.Косяровскому (Нежин, 3 октября 1827 г.), содержащее уже все предпосылки его позднейшего мессианства и прожектерства: «Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимой ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что

Сперва мы умненько посмеиваемся, не веря, чтобы это серьезно, чтобы гениальный писатель в расцвете славы вздумал вернуться к детской игре в чиновники, над которыми сам же потешался в своей бессмертной комедии, и пробуем спорить с Гоголем, втолковывая, что его «Ревизор» бесконечно полезнее всех этих душеспасительных выборов (как он это не понял – уму непостижимо!). Потом, при виде, с какою опустошающей страстью въелась в него эта польза, пожрав все прежние замыслы, и дар, и право на творчество, коль скоро оно не означено рубцами утилитарной морали, вас охватывает отчаяние за Гоголя-художника, принесенного Гоголем в жертву помраченному резонерству (в детстве еще была из XIX века открытка: Гоголь в припадке безумия сжигает «Мертвые Души», в то время как у него за спиной Муза или, может быть, Гений, отворачиваясь, рыдает, не в силах ничем уже помочь своему подопечному).

Однако по мере знакомства с его убийственной книгой и кругом настроений и мыслей, ее вызвавших из-под земли, к вам закрадывается сомнение, что Гоголь, возможно, по-своему был не так уж неправ в стремлении к нравственным целям, к прямому внесению доброго слова в сердца и далее, в современное общество, в историю, минуя, если понадобится ради такого благородного дела, художественные каналы. Было бы, конечно, желательнее,

мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом, – быть в мире и не означить своего существования, – это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце...

...Что-то непонятное двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствие вошло в грудь мою, что вы не почтете ничтожным мечтателем того, который около трех лет неуклонно держится одной цели и которого насмешки, намеки более заставят укрепить в предположенном начертании».

Это «что-то непонятное», «какая-то невидимая сила» – в тех же буквально выражениях – двигали пером и душою Гоголя до конца его дней.

чтобы ход его рассуждений не вредил его литературным успехам. Так ведь и Гоголю это было желательнее, и он издал «Переписку» как вынужденное и, я бы сказал, пожарное мероприятие, в условиях предсмертной горячки и проигрыша с «Мертвыми Душами», сжигавшимися совсем не потому и не так, как нарисовано в детской открытке... Словом, непредвзято входя в истинное его положение, убеждаешься мало-помалу, что выводы, к которым пришел он, если и не вполне справедливы, то субъективно необходимы, естественны, порожденные всей внешней и внутренней ситуацией Гоголя, грешащего скорее излишней логичностью, чем каким-либо недомыслием. В итоге проклятая книга вас засасывает и настраивает на свою колею; вы начинаете ей подпадать, поддаваться – нет, не очарованию, ибо вся манера и слог здесь более отвращают и вся душа терзается и протестует, пока вы в нее вчитываетесь, – но обнаруженному в ней здравому смыслу, элементарной понятности, затрагивающей за живое читателя тем сильнее, прямо сказать, когда он русский по духу.

31 августа.

Без году неделя. А еще ничего не известно: пойду или нет в больницу. Помимо прочего, я уже как-то настроился на больничный лад – немножко отдохнуть, не так физически, как просто перерыв, перемена декораций и что-то вроде каникул на пятилетний юбилей.

Дни же стоят золотые. Та самая осень. И уже пахнет вечером палой листвой от земли, и звезды похолодели.

А я в мелких сборах, которые тем еще мельче, что не известно, собираться ли. И хватит ли махорки. И брать ли полотенце.

Замечательные сигареты ты мне привозила в прошлый раз. А от папирос совсем отвык, и когда пару недель как-то не продавали махорки и пришлось курить «Север», который ведь и на воле когда-то курил, – теперь закрутил носом – махорка слаще.

И кружку, говорят, надо брать. Все-таки становишься слишком уж непрактичным – отвыкаешь.

Если пойду в больницу, то твои письма, по всей вероятности, прямо туда стану получать. Сейчас они что-то не идут. Как ты переехала в Москву, так и не идут. Или сразу все на голову свалилось – и ремонт, и работа? И как же с обещанным двухнедельным

отпуском тебе? Ведь как раз сентябрь – самое время, Машечка, отдохнуть перед зимой.

В самом деле – сентябрь. А давно ли тройка с летними месяцами. В яблоках. И был только май, кажется. И уже виднелся август. Сейчас так далеко не видно. Даже месяц октябрь где-то за седыми горами.

...А какой из себя Тверской-Ямской переулочек? В Хлебном когда-то тротуары были плиточными, большими квадратами, из-под которых летом торчала травка, а мостовая булыжная, и тумбы на всех углах, и стояли фонари, с газом, и я еще смутно помню фонарщика, который каждый вечер обходил их с лестницей и по очереди зажигал. Поэтому сказки Андерсена не казались совершенно несбыточными.

Трубочистов, правда, я не помню.

(Почему трубочисты, фонарщики – сказочная профессия? В меньшей степени, но то же – мусорщики. На периферии жизни? На окраине дня и жилища? Почти что в небе?)

Так какой же Тверской-Ямской?

2 сентября.

Машечка моя любимая! Сегодня мне уже сказали окончательно, что завтра я иду на больницу вставлять зубы. Твои письма будут мне доставлять туда, и я их очень жду. Тем более что после твоего отъезда с дачи я так и не получал, и очень скучаю и беспокоюсь за вас, мои детки.

Думаю, что больше двух недель меня там не продержат, а может, и быстрее уложусь. Так что следующее письмо надеюсь отправить тебе уже опять отсюда, хотя писать его начну в больнице и все тебе расскажу.

Все-таки удивительно, как привязан человек к своему месту на земле, и сдвинь его на два метра – и он уже готов переживать расставание. Но к тебе – сильнее, и поэтому храни себя и не уставай.

Обнимаю тебя нежно и крепко.

А.

3 сентября 1970 г.



...о статье Бочарова? – Пока А.С. излагал мне свое «фе» по поводу Бочарова (№ 107), я ему писала о том же: «Еще я обозлилась на Бочарова за его тупости в «Д.И.» (№ 7), ибо все это не так и не про то, и даже хочется слегка его уничтожить, но не в прямой полемике, ибо он того не стоит, а в более общих рассуждениях о камнях, оправках, кольцах, талисманах, мастерстве и прочем».

...открытка с собачкой... – Однажды на улице Воровского я встретила тибетского терьера с дамой, которая вдруг подошла и стала расспрашивать про А.С. и рассказывать, что когда-то в раннем детстве она жила в Хлебном переулке в нашем доме, и А.С. был в нее влюблен, и знает она это от своей няни, а та – от папочки Синявского. Ну как было не послать А.С. открытку-портрет такой прекрасной собаки.

...киплинговский слоненок... – Из моего письма: «Сейчас Егорыч уложен, и я опять почитала ему Киплинга. На сей раз – про слоненка. И читала я ему, как он пел – с выражением, и вдруг, когда началась вся эта история с крокодилом и бедному слоненку стало очень больно и трудно, Егорыч прижал кулачки к носу и так захлопал круглыми, полными слез глазами, что я не выдержала и стала его утешать:

– Не огорчайся, Егорушка! Ты же знаешь, что все это хорошо кончится и крокодил слоненка не съест. Мы же много раз читали эту сказку...

– А вдруг сегодня у него не хватит силы удержаться и он свалится в речку... И всё...

И бедный наш цыпленок захлюпал носом...»



ПИСЬМО СТО ДЕСЯТОЕ

Машенька моя милая!

Пишу тебе из больницы, где нахожусь уже несколько дней, приводя в порядок свои зубы. Жизнь тихая, спокойная, похожая на каникулы, в миниатюрном размере, отчего и почерк у меня, смотрю, становится мельче. Микроклимат.

Погода испортилась, дождь. Кормят много вкуснее, укропчик всякий. Но основная пилка зубов еще не началась, пока подлечивают кое-какие пломбы, рентген и т.п.

Не писал тебе несколько дней под впечатлением переезда. Или я стал такой чувствительный, или это в самом деле столь огромно, оглушающе – переход в соседнюю зону, где все так, как если бы мы с какого-нибудь Сатурна переехали на Нептун: солнечная система, а все-таки не то. Но озадачивает все-таки не то чтобы другая природа, а возможность ее существования где-то рядом с тобой, сама возможность ступить шаг и оказаться в иной плоскости, в иной реальности, столь же правомочной, и сходство микроскопа с телескопом, и мысль о множестве измерений, так наглядно подтверждающаяся, что закруживается голова.

Все книги-тетради я, естественно, с собой не захватил, и поэтому живу как голый, и это письмо не будет велико. Тем отраднее было сегодня утром (вот видишь – всегда вечером, а тут утром, точно солнце восходит не с той стороны, как привыкли) получить от тебя открытку от 2 октября. Тем более оттого, что, попадая на другую планету, человек ощущает себя потерянной, что ли, перед такой внезапной открытостью бытия, которая, пока оно повторяется, кажется невероятно устойчивым и вдруг обнаруживает способность меняться, теряться в тысяче случайностей. Так вот, я говорю, в такой момент получить от тебя откры-

точку, убеждающую в реальности и твоего, и моего существования, было особенно ценно. А ты еще в ней пишешь про каких-то смешных япошек, и, значит, тебе весело, и, значит, мы живем. А еще ты пишешь, что думаешь мне написать 52-е письмо, – а какое письмо я получил еще там, до отъезда, давным-давно? – все-го-навсего 43-е, и это прекрасно, что ты столько писем успела мне написать, и за столько писем можно быть спокойным, что у тебя все в порядке.

Вот и пойду спать вполне убогатворенный.

8 сентября.

Письмо мое, вижу, слабо подвигается, и испытываю угрызения совести. Потому что условия, столь хорошие для здоровья, менее удобны для занятий; и нет своего угла, все на людях, которые, помогая устроиться, требуют ответного внимания. Конечно, такие перерывы-перебои тоже нужны, что-то вроде отпуска, но начинаю уже томиться по своей трудовой должности.

– Если на них не посмотреть – они мне во сне являются.

– У меня-то рожа стрёмная (срамная)...

– И всякий человек – Коля.

Зубы мои начали пилить. Это не так уж больно, но довольно страшно, когда изо рта валит дым, как из преисподней, и запах паленой кости. Слепки тоже снимали, и я думал, челюсть останется с отпечатками.

Но от передних клыков пришлось отказаться. У меня зубы оказались такими длинными, что пластмассовые фасетки не подойдут, а для железных тоже нужно так много спиливать, что врач сказала, что я не выдержу столь травматической операции, и я радостно согласился: не выдержу. И поэтому фасад у меня останется прежним, но зато в глубине будет три моста, которыми мы сейчас и занимаемся.

Так что ослепительной улыбки не будет. Но ничего.

Довольно, однако ж, про скрежет зубовный. Чего-то веселенького. – Вставай! Страна колеса подала. – Выдурить фраера.

Говорят, в Германии самые интересные люди – полицейские: видимо, все же какое-то соприкосновение с фантазией. Улыбающаяся рожа в кормушке и кружка пива – «Смерть немецким оккупантам»: единственные русские слова, какие знает, в виде приветствия.

Скорей бы наступил отопительный сезон. Осень ранняя и холодная, и от этого тоже устаешь. А вы не замерзаете, мои раденьки?

Еще о Гоголе.

10 сентября.

В самом деле, аргументация Гоголя довольно традиционна для нас, хоть и находится где-то в начале традиции, а мы... Бог весть, к какому времени, клану и состоянию отнесет себя каждый, в ком тоже есть этот комплекс, пусть не гоголевского, а все ж родного, русского происхождения. Стоит вспомнить такие, не связанные между собою, фигуры, как Писарев, Толстой, Маяковский, не прибегая к более длинному списку литературных имен, чтобы заметить, что Гоголь не так уж одинок в своем иконоборчестве, в священной войне с эстетикой, поднятой под знаменем пользы. Несмотря на разность, а часто и полярность понятий о том, что полезно и во имя каких добродетелей следует пренебречь красотой (отчего нигилисту, допустим, не найти общего языка с православным и толстовцу – с левовцем), все они неожиданно сходятся на одном – на вопросе, на постановке вопроса в самой острой и угрожающей форме: что важнее – искусство или живое добро, и в чем заключается, следовательно, должность и польза художника?

Всюду писатель пишет; у нас он непременно сверх того еще что-то значит. И было бы даже странно, если б он просто писал и ничего больше: какой же он писатель? Вон Лев Толстой, сразу видно, – писатель: сам землю пахал.

Как развивает Гоголь эту русскую черту, придавая ей, безусловно, не последнюю роль в своем нравственном обращении, – «у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим» («О лиризме наших поэтов»). Это-то убеждение в моральном превосходстве писателя и вытекающих отсюда обязанностях и должностях толкает некоторых, наиболее ревностных, авторов в атаки на свое ремесло, ставшее низким и тесным писательскому званию. Писатель в этом смысле – в крайнем сво-

ем выражении – это тот, кто готов оставить перо во исполнение большего. Так что гоголевские сомнения на тему – художник он, или чиновник, или еще кто-нибудь, с постоянным нарушением своих вчерашних ответов, есть типично писательское, до корней волос писательское переживание, хотя оно и граничит с попыткой навсегда расстаться с искусством за его нравственной недостаточностью.

Есть что-то в нашей природе, что при всем несходстве в характерах, в литературных взглядах и вкусах нет-нет, а понуждает спросить: так что же все-таки выше – поэзия или дело, красота или польза, Аполлон Бельведерский или печной горшок, художник или сапожник? – и все эти образы пользы имеют на прицеле не какую-то убогую выгоду, но бескорыстное служение ближнему, который, покуда мы с вами тут Аполлонами упиваемся, может быть, босиком ходит или где-то в пустыне Гоби от укусов змеи изнывает (по Гоголю – погибает в грехах). Ах, знаю-знаю, вы скажете, что художник *тоже* полезен, что и Аполлон, иногда случается... Ну, а если без увиливаний: или – или? На одной стороне какая-то там красота, какое-то «доставление приятного занятия уму и вкусу», а на другой – польза во всем сиянии осязаемого добра, деятельной и благотворящей любви, спасающей и жизнь и, если угодно, душу несчастного брата, точнее же говоря – уже и не польза в ее плоском звучании, но само спасение взывающего к вам неустанно – доколе? и помощи! – человечества, – вот как *это* называется полным титулом, – так как же, я вас спрашиваю и считаю до трех!..

То-то же.

Стоит ли высмеивать или оплакивать Гоголя, если в нас самих прослеживается та же потребность? Если с детства, с самых лет еще непонимания, как первый обет судьбе, закрадывается жажда полезного, причем в той именно должности, которая всех важнее и благодетельнее для человечества, где, как заявлено дяде, «работы будет более всего», будь то должность чиновника или чернорабочего, что зависит уже больше от возраста, эпохи и социальной закладки будущего писателя, который, возможно, и в писатели-то уставился под впечатлением чудной открытки, на которой Гоголь в припадке безумия сжигает «Мертвые Души», впервые загоревшись сознанием: «писатель» (смотрите-ка:

пи-са-тель!), как чем-то драгоценным, мучительным, представшим в истинном качестве, в полной должности, в твердом уме, писателем, который не пишет, но сжигает на счастье потомству какие-то мертвые души, вместе с языками огня, темным логовом, истощенным лицом и сумасшедшей улыбочкой Гоголя говорящие нам, может быть, больше и лучше всего о писательстве как об искусстве чернокнижия чиновника-чернорабочего, таком тяжелом и гибельном, что самые слезы Гения, рыдающего над его сумасшествием, оказываются как бы наградой за долготерпение Гоголя выстаивать все эти ночи на боевом посту перед печкой, бесшумным кочегаром, шахтером, замурованным для пользы в забое. Попробуйте ему объявить, что открытка не действительна и все это пустое, детское воображение, что писатель – это просто профессия, в меру полезная, не очень нужная, не слишком опасная, не пыльная, так он, пожалуй, после этого на литературу и глядеть не захочет. Нет, скажет, это нечестно, писатель должен... Но вернемся к Гоголю.

«Соотечественники! ведь у меня в жилах тоже русская кровь, как и у вас... Дайте мне почувствовать, что и мое поприще так же честно, как и всякого из вас, что я так же служу земле своей, как и вы все служите, что не пустой я какой-нибудь скоморох, созданный для потехи пустых людей, но честный чиновник великого Божьего государства...» («Развязка “Ревизора”»).

Повторяю: пусть не смущает вас устаревшее слово «чиновник». Оно у Гоголя такой же синоним для обозначения общей пользы, как любой «сапожник», «подвижник». «Божье государство» тоже легко заменить любым другим «производством», «светлым царством добра» или еще чем-нибудь хорошим. И все станет понятно.

Непонятнее другое. Писатель настолько важное в нравственном содержании имя, что назвавшийся им все время как будто оправдывается в том, что он писатель, словно это что-то сомнительное, недостоверное, и старается доказать на словах и на деле, что он такой же честный и законный человек на земле, как, скажем, врач, инженер, учитель, солдат, чиновник, работник, сеятель, коновод, водовоз – кто угодно, но только не писатель.

Это как в геометрии Лобачевского, где параллельные линии, говорят, пересекаются. Но такое пересечение непересекаемых па-

раллелей позволяет наконец доискаться, чего же, собственно, алчет наша душа, требуя от козла молока, от художника – чиновника, от искусства – пользы. Душа (и это, сдается, посерьезнее исконной отзывчивости на чужие несчастья или жажды самопожертвования) ни о чем так не страдает, не плачет, как – о красоте.

С ума сойти! Не о пользе? Не о добре? И даже не о спасении человечества посредством душеполезных рецептов? Нет. О красоте. О той красоте, которая спасет мир. Которая совершенна, всесильна и поэтому излучает как свет – истину и добро, все удостоверяя и улагодворяя собою. И поэтому заурядная, бездейственная красота, превозносимая эстетиками, от которой ни тепло, ни холодно, которой не накормишь, не сошьешь сапоги, не избавишь от болезни и смерти, – эта неполная, недостаточная красота нам обидна и оскорбительна, заставляя в свой черед обижаться на писателей и художников, неспособных нас осчастливить в том размере, как этого ждет душа, взыскующая красоты совершенной.

14 сентября.

Мечтаю, что письма, которые сюда не приходят, складываются там в мою тумбочку и образовали немалую стопку. Вообще-то теоретически они должны сюда приходиться, но за десять дней, что здесь живу, получил пока что одну открыточку, о которой тебе писал, а более ничего. Скучновато. Все о тебе и к тебе.

Листики наглядно желтеют. Птичка вью-повью, прилетающая из Рамена, поет по утрам.

Скорей бы уж, что ли, вставили мои зубы и вернуться к привычным трудам. И к твоим письмам.

– Я кто в твоём лице?

– Рок судьбы.

– Философ Хехель, который все объясняет. (Книга в идеале должна быть в единственном числе и чрезвычайно редкой, уникальной: Голубиная книга.)

Странный у меня получился этот месяц сентябрь. Даже как будто поправился: пища вкусная, хотя обычная, и ешь ее с удовольствием. Правда, на птичьих правах, и поэтому пропадает масса пустого времени. И где, и как вы там.

15 сентября.

Выплакал-таки у судьбы на своем беспитчье письмецо от тебя, и сперва – вчера вечером – пришел № 45, а потом – сегодня утром – № 44. Ну и долго же они шли – вернее, шли-то быстро, дня четыре-пять, а вот лежали в московском ящике 20 дней, и как это можно, если время летних отпусков уже прошло?

Обе птички про то, как вы строите дом, и все трогательно и жалостно: и что Егор тоже человек* (прямо все переворачивается), и название комнаты – библиотека (одобряю: звучит совсем не пижонски, а, может быть, чуточку высокопарно, но так и должно быть, тем более имея Егора и приучая его к жизни, дав названия вещам, и почему бы комнате не быть библиотекой, если ею когда-то был затрапезный шкафик?).

И драгоценные названия тоже понравились. И мой сурок со мною, и все так и есть.

Одно лишь точит – твоя физическая выносливость, на которую все кладется без роздыху, нагнетая и нагнетая, – Машечка, побереги себя, Бога ради.

А сегодняшний день, как нарочно, повернул на тепло, и я выполз на солнышко и сижу на нем целый день, и кругом золото, и кузнечики, откуда ни возьмись, всюду застрекотали. Где они сидели до сих пор, кузнечики-то?

16 сентября.

Все так складывается, что навряд ли к завтрашней пятнице сумеют мне выправить зубы и отпустить с миром, и скорей всего сидеть мне здесь без дела еще целую неделю. Опять же до пятницы, до 25-го, значит, числа.

От этого в душе, как говорила мама, расколотость.

Правда, совесть моя чиста – в том смысле, что за пять лет пребывания можно позволить себе такой отпуск. Учитывая еще, что все-таки все болезни переносил на ногах и работал, не бегая в санчасть.

Но, с другой стороны, какое я имею на это право, если ты за все это время не имела отпуска и не можешь себе позволить отдохнуть две недели. Получается в самом деле, что я тут расселся и вроде бы отдыхаю, а ты там мучаешься, и это нехорошо.

Имей я здесь книги-бумаги и несколько иной статус-кво, я бы, конечно, занялся чем-нибудь научным и в ус бы не дул. Но так

дни проходят довольно-таки бесполезно. Между завтраком, обедом и ужином и пустой толкотней, как в доме отдыха, до которого я не любитель.

В положении моем есть тоже нечто промежуточное. В качестве зубопротезного посетителя я не считаюсь больным и живу не в палате, а с обслуживающим персоналом, откуда то преимущество, что сохраняю партикулярное платье и ватник и можно гулять более независимо. Все мое имущество помещается в сумке, которую дал знакомый на подержание, шикарная сумка, в которой я поселился с томом Гоголя и зубной щеткой, а вчера вечером, после отбоя, полез под кровать поставить в сумку беленькую кружку и вдруг чувствую, что у меня под пальцами что-то шевелится. Оказалось, в моей сумке поселились котята, наигравшись за день, а их искали вечером всей секцией, и сегодня с утра только и разговоров и смеху, что о моей сумке с котятами. Детский сад.

Но уже во второй части черные ботинки на оранжевой подкладке провизора и размышления о женской природе, нуждающейся в сглазе или мужском духе – подышать. Сюрреализм умывальника на каблучках. Роман «Волшебная гора» Томаса Манна или «Сказка о Коньке-Горбунке», где старец светел настолько, что самая одежда иной раз белеет на глазах у собеседника.

Природа в большом количестве и малом масштабе. Не так ли японский букет – две-три веточки? Или как в «Стоге сена» Моне. Один и тот же стог, то струящийся солнечным дымом, то служащий сетью луне, невероятно розовой.

А ты моя изумрудная Машечка.

17-18 сентября.

И опять же сапфировый глазик*. И очень про вас думаю и перебираю в уме, какие вы книжные полки поставили, и ходите ли уже в группу, и все милые черты личика и интерьера, такого родного, что более не бывает в сплошной нежности. И в качестве припева – «а помнишь?»

– А помнишь на Ореховой горе. Травка и травка.

И камень на Кий-острове. И Онега.

И елка, и Новый год, когда ты пришла с ребеночком, и он сразу пришелся.

Все-таки жизнь в больнице течет почему-то в большей от вас

отдаленности, нежели там, на рабочем месте, где нет ничего, кроме койки и чемодана, и хотя здесь тоже есть койка и сумка, посадочная площадка, жилплощадь осталась там, и оттуда ближе до вас, и все время кажется, что, вернувшись туда, узнаю о тебе, получу известия, как если бы почтовая связь тоже осталась там, а сюда лишь доходят отдельные, случайные письма, что на самом деле, конечно, не соответствует действительности, но самоощущение такое.

И почему-то совершенно непредставимы осень и зима, даже весна и лето следующие более видны и ясны, а вот начало шестого года, начавшегося ведь уже, не могу представить и войти в пространство, находящееся под носом, ну где-нибудь в октябре, в ноябре.

Наверное, давно не видел тебя, и отдаленность, неопределенность этой возможности накладывает печать на ход существования, принимающего образ провала в памяти, хотя речь тут идет не о прошлом, а о будущем.

Ну, как-нибудь преодолеем и этот барьер, может быть с помощью погоды, которая, поворотив на зиму, покажет, что ожидаемое уже лежит позади.

19 сентября.

Не исключено, что исторический колорит, позволяющий воспринимать эпохи и страны локальным, монохромным пятном в виде, допустим, осмнадцатого столетия или итальянского Ренессанса, тоже возможен благодаря четкой границе, проведенной в географии и хронологии довольно-таки условно, а вот провели – и видим: Италия, Ренессанс. То есть – зона. Ее контур совпадает с горами и реками, веками и десятилетиями, переходящими, естественно, друг в друга, размытыми физически, но в сознании тот контур не смоешь, хотя, в сущности, какая разница – на двадцать лет раньше ли, позже ли родился Державин и так ли уж важен рубеж между итальянскими и французскими Альпами? Но Альпы, но восемнадцатый век! – и не сдвинешь с места, ставшего вместилищем времени, которое в свой черед обрамляется, умещается только тут и так, никуда не колеблясь, не двигаясь, – пятном цивилизации, зоной народа, культуры: от сих и до сих.

Завтра я кину это письмо в почтовый ящик, а в следующую

пятницу надеюсь уже появиться у себя, в привычном качестве, так что следующее письмо, Бог даст, пойдет к тебе уже со старого места, хотя начну его писать, вероятно, в больнице, а продолжу там, получив от тебя уже более близкие письма.

Пока что пробавляюсь теми же номерами – 44 и 45, месячной давности, когда вы только-только прикатили с дачи и хлопот у вас был полон рот, и как давно это было, сейчас уже трудно представить.

• Дни стоят прекрасные, натуральные, и провожу их сплошь на воздухе, на скамеечке, любясь одним и тем же кустом деревьев, сквозь который уже начинает просвечивать реденький горизонт, и они все вместе похожи на стог сена, меняющийся от часу к часу, как у Моне, и длительность жизни с утра до вечера укладывается в один вздох.

Еще ты у меня ужасно интеллигентная женщина, и за это я тебя тоже невыносимо люблю.

В сфере зубоврачебной медленно, но верно подвигаюсь вперед. Сейчас, например, нахожусь в стадии примерки: это когда предварительно, прежде чем посадить их на цемент, мосты и коронки надеваются для обноски на голую ногу и нужно их немножко поносить в таком виде, чтобы чего исправить и еще подточить. Как передать тебе это ощущение? Вероятно, ближе всего лошадь с удилами во рту, но, в отличие от удил, все время боишься проглотить это железо, звенящее в пасти и мешающее есть. Все же терпимо, и жду не дождусь развязаться с этой скушной материей, благодаря которой у меня теперь появились стальные челюсти, в ровный ряд, как новенькие, только двух клыков недостает впереди, но оно и лучше – оставить себе на память что-нибудь свое.

В остальном продолжаю вести растительнейшую жизнь, и пока погода позволяет, оно и хорошо, даже умилительно иногда, как, например, недавно, сидя на скамеечке, долго дивились голосу, идущему из-под земли, ломая голову, птица это или кошка, выкармливающая котят под каким-нибудь крыльцом, и мне польстили, заподозрив присутствие какого-нибудь доброго вурдалака или лешака, с которым я поддерживаю семейные отношения, пока не выяснилось, что это просто-напросто лягушка кличет так зычно, скрывшись за листиком, а нам-то и показалось – из-под земли. Та-

кие вот тихие радости, в порядке иллюстрации, в единстве с природой, с деревенским образом жизни.

Пора, однако ж, и мне закруглять с этой дачей...

Целую вас нежно, мои ясноглазые деточки. От вас мне тепло, а прочее от лукавого. Будьте здоровы и веселы.

А.

20 сентября 1970.



...Егор тоже человек... – Из моего письма: «...и в самую критическую минуту, когда такси уже стояло у ворот и мы почти что погрузились, Егор запросился на горшок.

Пришлось сосуд распаковывать, и Егор расположился со всеми удобствами, а шофер нервничал, и я – тоже и, конечно, не выдержала и сказала:

– Ах, Егор-Егор, нашел время...

А вдруг ребеночек мне печально так возражает:

– Но ведь я же, – говорит, – тоже человек...

И он, конечно, был кругом прав».

...сапфировый глазик. – Это опять про обручальное кольцо, где изумруд – это я, а сапфир – это Егор.



ПИСЬМО СТО ОДИННАДЦАТОЕ

Родная Машенька, это письмо опять перевалочное, и через пару денечков я должен перевестись в старое состояние, откуда тебя, уповаю, будет лучше видать. Погода словно почуяла перемену и пошла на дождь. Кажется, с летом разделались. На иных деревьях листья сидят уже – как несколько птичек. Пора приучаться к сосредоточенной жизни на пяточке.

Опять же даты. Как давно это было. Еще не заря, но заря зари, предварение. Еще не было Рождества, Благовещения. Ничего не было. У двух бесплодных стариков родилась дочь. Исток нового времени. Сияние, первый свет в недрах ветхого храма. Слабый зайчик будущего чуда, плескавшегося покамест в самой домашней, не подозревающей еще ни о чем, младенческой естественности. Какая мягкость краски понадобится для этой сцены?

Почему новая эра имеет дело с младенцами? Никогда не было столько детей. Невинность и мысли о будущем как-то сплелись. Впервые так много – о будущем. Впервые изобразительным символом, наравне с главным распятием, стало дитя, а раз дитя, то и мать, и мать-дитя. И всё к дитю припадает, так и не повзрослев.

Не оттого ли больше других прониклась этим духом Европа? Самая агрессивная, устремленная часть света. Другие – больше в прошлое. И все искажения тоже здесь: вперед или назад, восток и запад. Не обидно ли: вместо Индии открыли Америку?

Но дети, очевидно, не в смысле нового поколения. В этом отношении – Тургенев и Достоевский. Первый весь в юношестве, в вешних водах, второй – не отцы и дети, но отцы и правнуки. Непрекращаемое дитё. У камня собираются те, чье место на небесах.

Вряд ли это – история, будущее историческое. Оно-то всегда

снисходительно смотрит на ребенка, зная наперед, что выйдет из тех шагов, которые делаются во тьме неведения и для того, кто их делает, вроде бы никуда не ведут. Будущее смеется над прошлым, имея в руках всю карту-раскладку судьбы, которую действительность не видит, не понимает, предоставленная двигаться ощупью и жить сначала и заново, в чем мать родила.

Здесь же младенец – как будто не в прошлом, а впереди, не росточком истории, но вечностью, Рождеством Богородицы, не перестающим напоминать нам, что мать тоже всегда дитя.

21–23 сентября.

Сижу притулившись, а котята резвятся, сплошь голубоглазые, и сделали из ноги моей дерево, по которой лезут на колени, а потом на постель. В давнем сне так же карабкались, но отрывал и бросал, отрывал и бросал, чтобы не добрались до горла. Я бы не узнал пейзаж на конвертике, если бы ты не пояснила – в письме № 47, – экий небоскреб вырос, и вообще, наверное, многое бы не узнал в нынешней Москве. А скучаю – по стареньким перулкам.

И еще я ломал голову о полки*, как же их и куда ставить, если еще не проводился ремонт, и только вот сейчас понял и оценил твою находчивость и сноровку. Но какие давние вести – твои письма стали ходить около месяца, и при таких темпах до сегодняшнего дня я доберусь только в конце октября. Уже снег будет идти, когда я до него доберусь.

24 сентября.

Как-то живешь и ничего не знаешь. Не знаю даже, выпишут меня завтра из больницы или нет. Пора бы выписать – все сроки прошли, да и мне надоело. Но зубы еще не поставили на цемент, а время к вечеру. Ставить, правда, говорят, недолго. А все же лучше им было бы посидеть под присмотром в зацементированном виде пару дней. Вот и не знаю, как с ними поступят.

Подводя итоги, все же нелишне заметить, что здесь я несколько отдохнул и подкормился. Супы здесь очень вкусные, из свежей капусты, и шкварок много кладут, и каша – с маслом. Но пора и честь знать. К тому же внезапно и резко похолодало, на солнышке не посидишь, самое время складываться и уезжать.

(Смешны эти чемоданные настроения на одном месте, но я надеюсь, возвращение не будет сопряжено для меня с такими странственно-временными и умственными сдвигами, как приезд сюда: все-таки все знакомо наизусть, и только одно волнует – там я как будто буду ближе к тебе. Странная aberrация, не имеющая под собой никакой, ну никакой логической основы. Просто так кажется, и всё тут. Ну, завтра посмотрим.)

Но должен же я хотя бы чаще получать письма от тебя там, как ты считаешь?

24 сентября.

Что же делается?! В Москве 4 градуса и снег идет?! И у нас, на то похоже, скоро пойдет. Как леса пожелтели, и какие они стали румяные – с другого-то бока.

Вот я и на старом месте. А что толку: писем-то все равно нету, и они меня совсем и не ждали тут большой кучкой: всё, что можно, там получил. Но все же я доволен, переместившись в старое положение и вернувшись к своему знаменателю. Как-то увереннее себя чувствуешь при виде знакомой тумбочки, койки, знакомого стула – родимые вы мои (заждались!).

Что нового в зоне? – листики облетели очень заметно, и тополя стоят голые. А так все по-прежнему. Карантин, говорят, скоро должен закончиться, но официально еще не объявлено, и толком неизвестно. Сегодня уже был на работе – по старому месту. А в свободное время занимался хозяйственной проблематикой – мылся в бане, стирал носки-платки, страшно запущенные в связи с давешним гриппом, и вообще со вкусом осваивал привычное бытие. Как-то все понятно: ящики, рули. Приятно жить профессионалом...

Еще я сегодня сделал подписку на журналы и газеты на новый год. Подписался на: «Известия», «Д.И.», «Вопросы литературы», «Сов. этнография». На «Знание – силу» не сумел подписаться: опоздал из больницы, и лимиту не хватило. Вместо того решил подписать самостоятельно этнографию (на археологию опять не подымается рука). Влетит в копейку. А зубы влетели в 19 рублей, и я удивился: так дешево!

Зубы у меня поставлены отменно и больше не шатаются и щелкают друг о друга со звоном. Как щелкунчик.

Но ты будешь очень смеяться, но придя из больницы таким стальным человеком, я вдруг обнаружил, что у меня... болит зуб. К счастью, не из тех, что под коронками. Но как это тебе нравится?

Я, понятно, развел руками и сказал себе – все, что мог, я уже совершил, и с меня взятки гладки. Пусть этот зуб делает, что хочет.

26 сентября.

Говорят: как звезд в небе. На самом же деле в действительности звезд немного. Их можно пересчитать по пальцам. Сколько в Большой Медведице? От силы семь. Но они видят друг друга и помнят: наперечет.

– Он был грамотный, но слегка помешался.

И так играл на гармонике, что оба глаза сходились к самому переносью.

– Жиды снятся (как что-то неистребимое).

– Зачем надел? По глазам вижу, а строить не хочу.

В Материалах для Словаря русского народного языка А.Н.Островского – «Кауриться. Пригибаться, настораживать уши (о лошади)». Значит, Сивка-бурка вещь *каурка* – зверь с вещими, всезнающими ушами?

Там же хорошая деталь на тему книги, грамоты:

«Зачитываться. Сойти с ума от чтения св. книг, более от Апокалипсиса. Зачитавшихся отчитывают. Это делается так: читают те же книги с конца, иногда Петра Могилу. Отчитывают большую часть дьякона».

– Да ты хоть выругайся – проще будет. Средство фамильярной общины. Свой брат.

В статье «О движении народов в конце V века» («Арабески») Гоголь сообщает, что тело *Аттилы* было положено в тройной гроб – из золота, серебра и меди. (Ссылка: о гуннах и об Аттиле см. Иорнанд, Дегине, Фишер). – Этот тройной гроб не имеет ли отношения к *трем* подземным *царствам* русской сказки – медному, серебряному, золотому?

В.И.Маркевич. Памятники искусства и культуры древнего Кавказа. – «Сов. этнография», 1970, № 3.

«В Дагестане, Северной Осетии, Грузии и в других частях Кавказа кровлю дома поддерживала мощная деревянная колонна – «корневой столб». У аварцев он символизировал единство и

мощь семьи, повреждение его было равносильно нанесению оскорбления хозяевам жилища. Корневой столб при переездах переносили в новый дом. Покупка дома со столбом, оставшимся от старых хозяев, означала приобретение «счастья и мощи» дома. Такой столб украшался тонкой резьбой – солярными знаками, крестами, свастиками; капитель столба делалась в виде загнутых крутых рогов барана». Стр. 128.

1) Не с этим ли корневым столбом связан сказочный дворец-дом, построенный всегда *на одном столбе*?

2) Не есть ли завитки античной капители те же бараньи (Сатира, Пана?) рога? И не их ли мы – в оленьем виде – видели на месте коньков?

Там же (продолж. цитаты):

«У осетин, дагестанцев, чеченцев и ингушей старинные постройки (вплоть до XVIII в.) покрывались петроглифами – выбитыми знаками и рисунками. На мечетях и могильных камнях высекали лабиринт, чтобы нечистая сила не проникла в храм или не мешала покою мертвого; на стенах постройки мастер оставлял изображение своей руки, которое гарантировало крепость дома». Стр. 128–129.

Не эту же ли цель преследовали первобытные лабиринты, значение которых пока не разгадано? И древнерусские вавилоны?

Сюжетно-речевое движение сказки из архитектурных идей ближе всего к лабиринту: знающий проходит, нечистый запутывается.

27 сентября.

Опять твои письма, Машенька, побивают все рекорды и приходят через 32 дня (№ 48) и через 35 дней (№ 46). Я сначала подумал, что в этом виновата схема полок, сыгравшая роль лабиринта, в котором даже я запутываюсь и захожу в тупик, но, оказывается, это погода такая на твои письма, которые и без лабиринтов идут больше месяца. Другие письма – например, от бывших лагерников – до меня доходят куда быстрее, не более двух недель, а то и за неделю успевают дойти из мест более отдаленных. И текст, содержание писем тоже, как оказалось, ни при чем, потому что уяснение, какую полку куда поставить и как скоро Егор кушает картошку, не требует столького времени. Просто

это бюрократическая волокита, и, если она затянется, мне придется, посоветовавшись с тобой, принимать меры, – скажем, подать жалобу в какую-нибудь инстанцию, потому что настроение у меня от этого хуже собаки.

Холод тоже тому способствует. В коридорчике уже не посидишь, и я удивляюсь, как вы выносите в своей мастерской.

Но на работе холод не берет, как-то наоборот даже: подтягиваешься при виде инея, когда груз ночью, и крепче держишь себя в руках на таком морозце. Это я уже давно заметил – дожди, допустим, или еще какая напасть действуют отрезвляюще и самую злость переводят на более моторный ритм.

Теперь ближайшей задачей становится загипнотизировать себя на предмет радио, чтобы вечерами можно было заниматься. Потому что, как выяснилось, механические способы, вроде ваты или воска в ушах, заставляют лишь больше прислушиваться к шуму, создают иллюзию нестерпимости и зависимости от этой подчеркнутой, акцентированной затыканием атмосферы. А надо просто расслабиться и не бороться с шумом, а постепенно внушить себе, что ты его не слышишь, чтобы раздражитель исчез и превратился в пустой фон.

А твой рассказ о шебуршении* (когда вы были в кафе с Егором и он ел картошку наперегонки) меня смешит и развеселяет, поскольку как-то видна цена всему этому и все это пустяки.

А не пустяки ваше дорогое здоровье, которое не должно простужаться в эту сумрачную погоду. И твое размытое личико, по которому скучаю и грущу, потеряв представление, когда же его увижу и объяснюсь с ним в своей нежности.

29 сентября.

Интересно, чем же занимался Егор*, сидя у тебя в мастерской, пока вы, замерзнув, не принимались бегать по магазинам в поисках разноцветных обоев? И как вы сидели рядышком, чирикавая время от времени, и как он относится к твоей ювелирной работе, и как я вас люблю, когда вы так сидите вдвоем и у вас много дела, и все оно общее, и как бы я тоже с вами там щебетал и варил бы чай для сугреву, и какой бы удивительный пар валил из чайника, погружая нас во взаимную семейную атмосферу?

Это называется тема с вариациями, и темой служит фраза из

твоего письма, написанная тридцать пять дней назад и полученная тоже давно, а после нее ничего не было, и вот она все варьировается, как если бы вы и сейчас продолжали сидеть в мастерской, выбегая на улицу, чтобы согреться.

Слава Богу, имею открыточку (помнишь, я писал о ней тебе еще из больницы) от 2-го сентября (ближайшая ко мне от тебя дата), где ты добралась до 52-го номера (а я на сегодня, на 2 октября – последним имею все тот же 48-й), по которой я могу судить о тебе немного больше.

И так как завтра писем не будет и послезавтра не будет (суббота и воскресенье), мне было бы совсем худо, если бы я вдруг сегодня не узнал, что ты в районе 20-го числа сентября месяца (вот как близко – совсем рядом, оказывается) была жива и здорова, чему я ужасно обрадовался и удивился еще больше, получив это письмо – откуда бы ты думала – из Калуги, от 21 сентября, откуда, как видишь, письма идут быстрее на целый месяц, чем из Москвы. Провинция к почте, видимо, относится более обязательно и не держит письма по месяцу без движения в ящике, так что через Калугу списываться со мною легче, чем через Москву, и следовало бы об этом поставить в известность Министерство связи, в качестве рационализаторского предложения, что ли.

Но шутки в сторону. Письмо очень трогательное* (а в отношении тебя, как мне показалось, даже несколько покаянное), с признанием твоей правоты (не самая в этом плане яркая из цитат: «должен тебе сказать, что в этой невероятно тяжелой для меня ситуации – я с тобой и с Марьей»), с правильным, на мой слух, отношением к сенсационно-гостевому антуражу своего возвращения на материк.

Радостно и странно. Смешно и немножечко нереально. Это как в кино, когда видишь троллейбус и спрашиваешь себя: «А что, Иван*, разве еще ходят троллейбусы?» Или как кто-то сказал, что земля мягкая – ступил, а она мягкая. Или как выйти в поле и упасть в обморок.

А главное, ты мне явилась таким невероятным путем. С другого конца земли.

2 октября.

Серенький вечер, серенький и сырой по-осеннему. И есть в этом прелесть, утешение: электрические огонечки начинают гореть в таинственном трепете, в предзимнем мерцании, вроде камелька, уголька. Как будто и не электричество вовсе, а естественный свет.

– Я придерживаюсь японского принципа вежливости.

– Внезапно смертный.

– Фигурная дама.

– Предосвобожденный период.

– Я при женщине еще ни разу не заругался.

– И во сне голос долбит: – Ты должен умереть холодной смертью! (с понижением на слове: холодной).

– Женщины все это понимают больше нашего. – Чего ты боишься? – спрашиваю. – Я боюсь, – отвечает, – что ты меня бросишь.

– Как я ему дам по скулятине.

Вот и октябрь. Сегодня перелез в шапку-ушанку и в ватные брюки. Немного рановато. Но в это переходное время – от лета к печке – самый раз одеваться.

А все-таки я под старость склоняюсь к тому, что самое любимое время года – зима. Все-таки после Циолковского* (ходившего по провинциальным лужам в калошах в рассуждении, существуют ли высшие разумные силы) что-то такое забрезжило*. Не то чтобы одной ногой – до одной ноги еще много, – но одним пальцем ноги погуливаю по циолковским просторам, испытывая, в сотой доле, наверное, то же легкое головокружение, – еще не привык.

И ветер бьет по стеклам, и ходики тикают, играя на представлении о тепле и уюте. Хорошо. Все хорошо.

3 октября.

О *Сивке-бурке* вещи каурке – на тему, почему она вещая (Тацит. «О происхождении германцев и местоположении Германии»):

«10. ...Здесь также принято отыскивать предвещения по голосам и полету птиц; но лишь у германцев в обыкновении обращаться за предсказаниями и знаменами также к коням. (Тот же способ гадания практиковался у индусов, персов, греков, славян – примечания.) Принадлежат всему племени, они выращиваются в тех же священных дубравах и рощах, ослепительно белые и не

понуждаемые к каким-либо работам земного свойства; запряженных в священную колесницу, их сопровождает жрец с царем или вождем племени и наблюдают за их ржанием и фырканием. И никакому предзнаменованию нет большей веры, чем этому, и не только у простого народа, но и между знатными и между жрецами, которые считают себя слугителями, а коней – посредниками богов» (Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. I. Анналы. Малые произведения. Л., 1969, стр. 357–358).

Там же замечательно – о *Фебе* со своею *квадригой*, всплывающей из Ледовитого океана, у самой границы мира. География и останки мифа, тающего как льдинки, но продолжающего еще слабо сиять на горизонте Рима:

«45. За свионами еще одно море – спокойное и почти недвижимое, которым, как считают, опоясывается и замыкается земной круг, и достоверность этого подтверждается тем, что последнее сияние заходящего солнца не гаснет вплоть до его восхода и яркость его такова, что им затмеваются звезды, да и воображение добавляет к этому, будто при всплытии солнца слышится шум расступающейся пред ним пучины и видны очертания коней и лучезарная голова. Только до этого места – и молва соответствует истине – существует природа». Стр. 371–372.

(Пока это писал, вспомнилось, как в низовьях Пинеги – кажется, Пинеги, – когда мы плыли всю белую ночь и к утру задремали, – вырвался, поравнявшись с притоком, из лесной расселины вихорь холодного воздуха, и в несущихся поперек реки клочьях тумана – кто-то побежал по воде, зашлепав ладонями ног: было ясное впечатление, что ноги у него, как у обезьяны, имеют широкую, как на руках, пятерню, и он бил ими по воде и пронесся за нашей лодкой, окатив волною холодных, из преисподней, паров.)

Все же детям надо с этого начинать – вот с этих древних источников, с азов.

4 октября.

Как заискивают старики у молодых и здоровых: чтобы поговорили с ними хоть два слова. Снимет ласково шапку, пожелает доброго здоровьица – ну как, спросит, заработки, сколько на харчи и сколько остается. Как будто ему интересно. А ему все равно – харчи, заработки. Но надо же перемолвиться, поддержать себя

сознанием, что он тоже жив еще, пусть с костылями, но тоже живой и в жизни все понимает. Как настоящий, как взрослый.

Какой ветер! Какой замечательный ветер. Охапки листьев метелью носятся по земле. Дидько свадьбу справляет. Дидько – чорт на западной Украине (на восточной – бис). Дидько – нельзя сказать старику, обидится, применимо лишь к чортову дидьке, который – когда закрутится пыль, или снег, или листья в его невидимом присутствии – значит, свадьбу справляет.

Поправки к Гоголю:

I. 1) «...в соответствии с общим впечатлением от облика и творчества Гоголя». Вм. «впечатлением от» – «выводом из».

2) «Он специализировался на покойниках...» Вм. «на покойниках» – «на том».

3) (Письмо М.Ю.Велигурскому) – надо: Вельегорскому.

4) «...большой, завершающий этап своей жизни и деятельности». Вм. «этап» – «период».

5) («Авторская исповедь», 1847) – снять кавычки (это не название, а условное обознач.).

6) «Все это похоже на описанный в его «Портрете»...» Вм. «в его» – «в его же».

II. 1) «Нужно ли говорить...» Вм. «говорить» – «пояснять».

2) «...привести в единство, в систему». Вм. «в единство» – «в порядок».

III. 1) «...но и тогда едва ли заикнется...» Вм. «заикнется» – «рискнет заикнуться».

2) «...затрагивающей за живое читателя тем сильнее...» Вм. «затрагивающей» – «трогающей».

IV. 1) «Как развивает Гоголь эту русскую черту, придавая ей безусловно...» Вм. «безусловно» – «очевидно».

2) «...как первый обет судьбе...» Вм. «обет» – «оброк».

3) К названию в скобках добавить дату: («Развязка “Ревизора”, 1846 г.).

4) «...позволяет наконец доискаться...» Вм. «доискаться» – «докопаться».

5) «...излучает как свет – истину и добро...» Вм. «свет» – «солнце».

6) «...не избавишь от болезни и смерти...» Вм. «не избавишь» – «не излечишь».

7) «...как этого ждет душа...» Вм. «ждет» – «ожидает».

Странные встречи – в книгах:

1) «Реквием по монахине» Фолкнера в драматизированном варианте (из прозы в пьесу) Камю. Не знаю, кто виноват, Камю или Фолкнер (хотелось бы думать, что Камю), но опять убивают ребеночка во имя высшей задачи. Спасти мать от распутства, восстановить семью – для этого негритянка – служанка – из лучших соображений душит ребенка. Опять, как в том кино, из любви под вязами. Почему это американскую тему влечет на такое, совершенно недопустимое, немислимое для нас преступление? Не понимаю. Достоевский как предел допущения всегда выставлял – дитё. А там так спокойно и просто через это переступают. Случайность это или роковая черта?

2) *Кобо Абэ* «Совсем как человек» («Продается Япония». Сборник японской научной фантастики. М., 1969). Дата повести, к сожалению, не известна. Но что подумать на монолог марсианина: «О жена моя, неужели ты забыла свою миссию? Неужели забыла свою родную планету, планету красных песков? И неужели исчезла из твоей памяти «Песнь посланца», о которой мы проговорили всю ночь напролет, когда я принес ее из лечебницы? Прости меня, я ведь понятия не имел о том, как ты одинока» (стр. 353). Жена считает себя землянкой и т.п. Неужели все объясняется простым совпадением? Или нищий – у нищего?

3) Чтобы поднять настроение после этих невеселых примеров, дай-ка я вспомню что-нибудь приятное. И тоже, чтоб не забыть, – из Ахматовой. Дорогая деталь – телефон:

– А.А., как правильно: «ночей наших пламенных чадом» или «пламенным чадом»?

Пауза.

– А вы сами – как думаете?

– «Пламенным чадом» (в звуковом отношении это казалось достовернее).

Помолчала. Кому-то крикнула: как правильно? Точно была не уверена. Потом – с амбицией:

– Ну конечно, «пламенным чадом».

Царица.

Ну вот и два дня кое-как проскрипел. Посмотрим, что скажет завтра о твоих письмах.

4 октября.

Завтра ничего не сказало. Не знаю, что и делать. Знаю, что письма должны быть, а их нет. Как отрезали. Одна надежда: телеграмма-то ко дню рождения, наверное, дойдет?

Карантин у нас кончился.

Скоро можно будет подумать и о посылке. Торопиться не надо. Но где-то в середине ноября я уже имею право получить посылку. Забыл точную дату – но середину ноября помню. В посылке – только кофе.

Это письмо под конец немножко минорное. Уж очень твое молчание затянулось. Но я все равно тебя люблю и все помню, и поэтому ты не печалься. Очень и очень. Всё и всегда. Слышишь – всегда.

Обнимаю тебя крепко.

А.

5 октября 1970.



...я ломал голову о полки... – Из моего письма: «О ремонте думаю с тихой тоской, а пока что начала заполнять стеллаж книгами, и занятия увлекательнее я не знаю.

План такой: полки набить битком по системе – чтобы больше влезло, а не по здравому смыслу и книжной логике, а потом закрыть все плотно бумагами и тряпками и только после этого ремонтничать. Ибо все равно стенку за полками оклеивать новыми обоями смысла нет, а гора вещей, когда хотя бы книги на месте, заметно уменьшится, и мне будет легче общаться с малярами и беречься от известки.

Но, разваливаясь, пачки книг открываются разными сокровищами, и вот уже второй час ночи, а я нет-нет, а пойду вскрою новую пачечку и еще чего-нибудь поставлю на место, и вдруг из какой-то книги вывалилась записка, что ты пошел провожать Гачева и чтобы я сидела дома и ждала тебя.

Так прямо и написано: «Сиди дома и жди меня», и вот этим я только и занимаюсь вот уже скоро пять лет. Можно даже эту записку повесить на стенку под стеклом, и взять ее даже в рамочку, настолько она мне кстати сейчас пришлась».

...рассказ о шебуршении... – Из моего письма: «Обедать ходим когда как – или к Инессе (она живет на Скатертном), или на Гашека, а вот сегодня проходили по Хлебному, и вдруг откуда ни возьмись – Голубая Испано-Сюиза, битком набитая Воронелями. И ехали они как раз обе-

дать в ЦДЛ, а мы с Егором как раз были в размышлении, как бы это перекусить, и вот такая случилась оказия, и мы погрузились в этого «Москвича» и отправились в кабак.

Но когда мы вошли в это заведение, Нелка вдруг мне зашептала, а что будет, если вдруг объявить, чей ребеночек пришел обедать, и мне стало невыносимо тошнотворно. А потом обсуждалось предстоящее 12-е сентября, и как Воронели поедут во Владимир, и кто поедет еще, и кто еще, и какие будут букеты и какие приветы. И от этого шебуршения тоже можно спятить».

...чем же занимался Егор... – Из моего письма: «Очень холодно стало, и, когда мы с Егором приходим в мастерскую (да-да, мы теперь работаем вместе, и, когда я отправляюсь в подвальчик, ничего иного не остается, как брать ребеночка с собой), там промозгло и мрачно, а мне к 29-му августа надо доделать одну штучку. И больше часу ребеночек в подвале выдержать не может, и тогда мы с ним пытаемся согреться в магазинной беготне, а потом – опять в подвальчик, и таким способом проходят наши дни».

Письмо очень трогательное... – Письмо Ю.Даниэля мы приводим почти целиком, опустив только приветствия, объяснения в любви и сюжеты про трудоустройство.

«Меня одолевают визиты, телефонные звонки друзей и знакомых, это безумно утомительно (а я-таки здорово сдал за последние года полтора), но отказать от этого я просто не в состоянии, как в свое время не в состоянии был отказать от выпивки или от баб. Правда, и в этой ситуации есть некие ограничения и табу: я категорически отказался встречаться – по крайней мере пока – с людьми незнакомыми, жаждущими приобщиться к сенсации, ну их к дьяволу! И вижу лишь с давними и любимыми друзьями.

Вот позавчера весь день общался с Марьей. Мы сидели, говорили, пили за тебя, выясняли отношения (и выяснили), даже всплакнули по-маленьку. И, как мне кажется, вполне поняли друг друга.

Ох, друг мой, сколько накрутилось всякой хреновины вокруг всех нас! И должен тебе сказать, что в этой невероятно тяжелой для меня ситуации – я с тобой и с Марьей. Даже если учесть всегдашнюю страсть Машки к преувеличениям, то все равно она правей. Ты не удивляйся, что я пишу об этом. Для Марьи и для тебя – это дела давно минувших дней; уже когда мы с тобой виделись, ты все расставил по местам – а для меня это только начинается. Ты же понимаешь, что я не хочу и не могу терять ни тебя, ни Марью, – а мне предстоит поездка в Чуну, к Ларе, которая мне нужна и, главное, которой нужен я. Сочетать вас – это, как я понял, почти невозможно, делать выбор – не под силу. Плохо мне, Анд-

рюшка, от этого. В общем, того и гляди, я останусь в результате совсем один».

«А что, Иван...» – Из любимого домашнего анекдота про то, как старенький генерал едет в пролетке по Столешникову переулку. Кругом шум-гам-тарарам. Старенький генерал тычет зонтиком в спину денщика:

– Иван, а Иван, почему такой шум?

– Блядей ловят, ваше превосходительство!

– А что, Иван, разве еще ебутся?..

...после Циолковского... – То есть после возвращения Даниэля.

...что-то такое забрезжило. – В этих словах А.С. намек на то, что теперь, когда руки больше не связаны судьбой друга, можно заняться и своими делами.

Мне было ясно, что переговоры лета 67-го года должны возобновиться после освобождения Юлия Даниэля. Я не помню, когда начался новый тур этой нервотрепки, кажется, где-то в конце сентября меня пригласили в КГБ и начался очень любезный разговор, что, мол-де Юлий Даниэль уже вышел, скоро и Андрею Донатовичу выходить, и как, где будем его устраивать? Вот для Ю.Д. родные попросили Калугу, и КГБ даже устроило его на работу переводчиком, а что для А.С. будем подбирать?

Выслушав все эти речи и поддакнув в нужных местах, я сказала, что нам с А.С. совершенно все равно, где жить, но об одном я предупреждаю сразу – ни одного дня он работать не будет, хватит – в лагере наработался, а будет только писать.

– А что вы будете кушать? И неужели Андрей Донатович, мужчина, такое потерпит? Вы же столько лет работали одна?

– Ничего, прокормлю, – отмахнулась я и добавила: – Есть сюжет гораздо интереснее.

И дальше я сказала, что им необходимо знать следующее: за время сидения в лагере А.С. написал новую книгу, сумел передать ее мне, я передала ее на Запад, и если А.С. досидит до конца срока, то в день его освобождения эта лагерная книга выйдет в Америке.

И что вы будете делать? Опять посадите?

Это был откровенный шантаж, рассчитанный на стереотипы кагебешного мышления: если книга лагерная, то она может быть только разоблачительная, только об ужасах лагерей. А дальше я предложила противнику сделку: вы досрочно освобождаете Синявского, а я останавливаю выход книги. Вот и думайте, господа полковники...

Самое забавное, что книга действительно была, и даже за границей. Она называлась «Прогоулки с Пушкиным»...

ПИСЬМО СТО ДВЕНАДЦАТОЕ

Получил сегодня письмо про твой сердечный кризис* и спешу откликнуться, хотя пока мало что соображаю от этого свалившегося на нас несчастья. Бормочу только под нос: Машечка, не умирай! и другие жалкие слова, не поддающиеся описанию. Спасибо – есть у меня, что на второй день после этого письма ты была жива, а вот что в таком виде жива – я и не представлял.

Сегодняшнее твое письмо – № 56, а семь твоих писем до него бродят, не знаю где, так что твое гипертоническое молчание пережито раньше, как ты, наверное, знаешь уже из вчерашнего моего письма.

Но как будет, как все это будет дальше, ужасаюсь представить.

Все-таки не зря я твердил тебе о двухнедельном отпуске, и нужно было послушаться, и, может быть, еще не поздно. Потому что с таким состоянием мы долго не протянем – ни ты, ни, значит, и я.

И надо где-то занять деньги и, оставив или послав вторично Егорыча в Тарусу, перевести дух. Совсем как докторша сказала тебе – и понимая, как это смешно, ничего иного не могу придумать, как взять тебе этот совершенно необходимый нам отпуск.

Потому что так дальше эксплуатировать твое сердечко больше нельзя, если ты хочешь, чтобы мы все были живы.

Но как могло получиться, что тебя объявили вдовой*, – и сколько раз можно помирать за это время по теории вероятности? И в такие даты тем более несерьезно.

Но как долго ко всему срабатывает машина, и странно было читать, что ты даже еще ничего не знаешь, что я был в больнице по зубной причине, и, верно, это слово «больница» – подвело.

Но зачем мне новые зубы, если ты болеешь?!

Машка, Машка, Машка, Машка, Машка...

6 октября.

В такие дни хочется с утра до вечера писать тебе письма, чтобы хотя письменно ухаживать за тобою и вызволять из болезни.

А рано в этом году зима показала нам свои коготки. Теперь же вдруг потеплело, и от этой перемены температур даже я ощущаю нехорошее давление и колотье в сердце. А как же ты, Машенька?

Интересно, догадаешься ты к завтрашней телеграмме прибавить несколько слов о своем здоровье? Ведь это нам, Маша, самое главное, и все другое валится из рук и становится ни к чему, если ты лежишь в кризисе.

И сразу уныло стало вокруг, куда ни глянешь, утешает немножко только березовая роща, такая прекрасная в желтом качестве, что кажется зацветающей старостью, перед которой молоденькие цветочки – мелкая чепуха и одно кокетство. А глядя на нее, постигаешь, что яркий цвет – это истинное свойство реальности, к которому возвращаешься, убежав из курилки, полной болтовни о кошках, тракторах, автомашинах, резке свиней и прочей призрачности. И как это, при наличии такого цвета в природе, кто-то, наподобие Чехова, мог принимать за реализм что-то серенькое и никудышное?

Смотреть на нее можно почти так же долго, как на твое личико.

Еще я тебя люблю, что ты в таком состоянии умудряешься сохраняться собою и сквозить в каждом слове.

А конвертик закапан голубыми кляксами, и не ты ли это над ним расплакалась?

7 октября.

Начну по порядку. Я не ждал ничего доброго от сегодняшнего дня и радовался, пожалуй, лишь двум его обещаниям: возможности получить от тебя телеграмму и тому, что в этом году 8 октября падает на четверг. Кажется, я и родился в четверг, и вообще это мой любимый день – за какую-то определенность, полноту и самостоятельность смысла. Другие дни недели несут обычно посторонний, заимствованный сбоку оттенок, а четверг – стоит четвергом и, не имея за душой ничего, смотрит уверенно и спокойно.

Суеты общения и гостей не предполагалось. Все, кто знал раньше, разъехались кто куда, и только один мой знакомый – Миша* помнил и поздравил. Это хорошо. Хочется больше быть

одному – особенно сейчас, когда веселиться нет оснований и у тебя так плохо, что и разговаривать ни о чем и ни с кем не хочется.

Вечером вчера я получил еще письмо № 58, от 21 сентября, когда ты сидишь в очереди за кардиограммой.

И день прошел соответственно, без событий. Ну солнышко выглянуло перед обедом в виде сюрприза и опять ушло. Ну выпили с Мишей чайку – и слегка полегчало. Тебе, кстати, говорят, при повышенном давлении очень полезен крепкий чай, но зато кофе нельзя ни капельку (учти это, пожалуйста).

В качестве развлечения случилось два анекдота. Прихожу в столовую завтракать, съел ложки три и уронил ложку, на пол. Пошел ее мыть, а мою кашу и суп тем временем вылили в ведро – думали, без хозяина (что с ними делать? – бесхозные дети). Я даже развеселился такому обороту с утра.

Второе: поздравляет меня Миша и в качестве подарка рассказывает: хотел подарить мне открытку, американскую, и уже выменял ее за полпачки чаю у немца и подписал поздравление, как вдруг обиделся, что немец из-за нее так торговался, и в сердцах порвал – пусть пьет чай, а нам ихних открыток и даром не надо.

Словом, по Лескову. И этот его рассказ с пустыми руками, которыми он разводил в горьком недоумении об утраченной полпачке, как-то связался в уме у меня с упавшей ложкой, с прозеванной кашей, и все это я воспринял как памятный знак – ни добрый, ни худой, а просто знак: уж очень похожий на сегодняшний день, прошедший без торжеств, немного печально и с дозой юмора. Похоже? соответствует? – ну и слава Богу.

Теперь бы, думаю, телеграмму от Маши получить, а если повезет – и письмо, и все в порядке.

Вообще, насколько я понимаю, человек способен справиться день рождения или другой праздник на минимуме средств, и этого вполне достаточно. Например, ноги вымыть с вечера для завтрашнего торжества (а в торжественный день избавить себя от таких неинтересных обязанностей); или сахарку прикопить и съесть сразу; или загодя припрятанную пачку сигарет распечатать вместо обычной махорки – и дело в шляпе.

Вечером тот же Миша, видя, что я не весел, соорудил картош-

ку с грибами – последние грибки в этом году, и мы хорошо наелись.

Телеграмма, вот жалко, не пришла.

8 октября.

Сегодня повеселее. Получил от тебя телеграмму, очень миленькую, но с тремя для меня вопросительными знаками: 1) почему ты ничего не сказала о своем здоровье? 2) как понимать подарок Брокгауза* – ты купила все 86 томов или они уже были у нас и ты, закругляя ремонт, поставила их на полки? 3) почему меня не поздравил Егор, и где он сейчас находится?

Над последним я ломаю голову еще и потому, что его имени нет и в телеграмме, полученной из Тарусы, и куда же он тогда делся? Еще телеграммы – общедружеская и общечунская*. Итого – четыре.

А еще я получил сегодня книги наложенным платежом из ленинградского магазина: «Игра в бисер» Гессе и Византийскую литературу IX–XIV вв. Давно мечтал их иметь и давно заказывал, но безответно, а сейчас – весьма своевременно – вдруг пришли. Очень приятно.

А утром поднялся с рассветом и пошел за кипятком, и вдруг вижу, что лес, совершенно уже осенний, светится в полутьме каким-то своим, удивительным, несотворенным светом. И вспомнил золото на иконах, и подумал, что лес, набрав солнце за лето, теперь его отдает, и, может быть, поэтому у него листья становятся желтыми – уподобляются солнцу, которому он так много обязан.

Еще интересно в природе видеть прошлых художников. То небо Сезанна, похожее на мятую жесь, то лиственный водопад в манере Головина. Значит, они все в ней содержались раньше. И Сезанн выбрал себе Сезанна, а Головин – Головина, вот и всё.

Сам слышу у себя воркующие звуки, и мир сходит в душу: вот что твоя телеграмма наделала.

Поэтому – не моги болеть.

9 октября.

Что до Гоголя, то над ним в разгар морализаторства – больше, чем когда бы то ни было – довлекла вера в прекрасное. Она-то и

понуждала его к отказу от литературного прошлого, не оправдавшего чрезмерных надежд. Но Гоголь не заглох, не охладел к писательству, – напротив, был им заворочен, околдован и ждал и жаждал слишком многого на этой шаткой стезе – что никакое искусство, строго говоря, не в силах исполнить. Оттого он и предал былые забавы анафеме – не как монах, но как автор, уверовавший в свое амплуа, в верховную должность художника, от которого на потомство по прямому проводу нисходит живой огонь, отчего зависит, если хотите, даже исход истории. В этом плане преувеличенный страх за свой писательский грех свидетельствовал о неодолимой гордыне того, чья неисправность сулила человечеству бедствия и кто, значит, волен был правильным поворотом пера избавить нас от грозящих напастей и потрясений.

Писательское покаяние Гоголя базировалось на баснословном писательском самомнении – на уравнивании художника в полномочиях с чудотворцем (недаром предсмертные вопли его походили на финал колдуна).

«Соотечественники! страшно!.. Стонет весь умирающий состав мой, чужа исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...»

В этой тираде читали приговор моралиста писателю. Но в ней же обозначились ясно писательские потенции Гоголя, приписывающего своим сочинениям неслыханную влиятельность и склонного всякое слово вменять себе в преступление, доколе не в условие всеобщего благоустройства. И если бы «Ревизор», предположим, угораздило прорасти Робеспьером, а «Миргород» – накликать судьбу Содома и Гоморры, то «Мертвые Души», по той же логике, согласно воображению Гоголя, держали на примете сразить повыползшие отовсюду страшилища и силою красоты, равной сотворению чуда, положить начало будущему Воскресению Мертвых.

Когда чудо не сбылось и мертвые – даже в рукописи, в иноскаательном смысле – не воскресли, Гоголь почел себя виновником мировой катастрофы. Однако степень падения указывала на высоту, куда он едва не вознесся, гиперболы в оценке виновности гласили о творческой мощи, что, порвав узду, обрушилась на несчастного автора, который, наподобие беспечного ученика чаро-

дея, был бессилен унять вызванные им к жизни стихии. (В том контексте «Переписка с друзьями» служила монастырской обителью, где временно укрылся художник, чтобы спешно замаливать грех прошлого своего колдовства и готовиться к новому опыту, на который уже его не хватило...) Но какое зато развил он неистовство в мыслях! какую бурю проектов внес он в повестку дня!..

Гоголю в идеале мнилась такая книга, прочтя которую мир просиял бы красотой совершенства и вечное, безгрешное племя воцарилось бы на обновленной земле. В ее мыслимом свете все, что создавалось им прежде, в виде ни к чему не обязывающих художественных упражнений, падало и уничтожалось в цене, казалось несостоятельным, вредным, требуя отмены, запрета. Не написав ее потому только, что никому не дано написать такую великую книгу, Гоголь тем не менее был ею руководим, направляем и проникался, дышал этим максимальным запасом и замыслом своей жизни, заставлявшими его возвышаться над собственными творениями и следовать дальше, желая реальнейшего и прекраснейшего, пока он не подошел к ней вплотную и не начал в смятении жечь главы, не отвечавшие азбуке его старого ремесла, и наново перемарывать, чтобы снова и снова сжигать не шедшую из головы и не достигшую кондиции книгу, видя, как вместе с нею приближается смертная тьма, в то время как все его творчество уже дымилось в руинах и все в нем было нечисто, отвергнуто и бесполезно.

С этим сознанием брэнности и непоправимости сделанного, как последний, отчаянный, хватающий за руку и опять-таки неудавшийся жест, – вышла «Переписка с друзьями». Но ответ другой, высокой, периодически сжигавшейся книги, ненаписанной, недостижимой, лежал на ее страницах, и по ним мы можем судить о цели и о предназначении Гоголя, ради которых, собственно, он и жил и писал.

Не писать – но спасать. Не изображать – ворожить, уповая на Преображение мира. Силою слова живого насквозь перестроить свет. Не когда-нибудь, а немедленно, сейчас, пока не поздно, превозмочь несовершенство природы и пошлость существования властью, данной от Бога, властью художника – явлением красоты всемогущей и чудотворной.

История не знала подобных опытов. Почти не знала: Гоголь

нашел себе пример и опору – в «Одиссее» Гомера. Уже самый объем и охват универсальной, единственной книги многое обещали, отвечая его устремлениям. (И Чичиков во всю прыть путешествовал уже по России, как некогда хитроумный Улисс...)

«Появление Одиссеи произведет эпоху. Одиссея есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. ... Илиада перед нею эпизод. ... Трудно даже сказать, чего бы не обняла Одиссея или что бы в ней было пропущено».

«Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков.

Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу».

«Одиссея произведет у нас влияние, как вообще на всех, так и отдельно на каждого».

«Одиссея есть именно то произведение, в котором заключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным».

«...Одиссея есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение...»

«Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгневие старцев, это радушное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас Существа и что ничего не может он сделать своими собственными силами, словом – всё, всякая малейшая черта в Одиссее говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков...»

(«Об Одиссее, переводимой Жуковским». Письмо к Н.М.Языкову.)

Ох, как торопится Гоголь выдать отечеству вексель, действительный на все времена, – в образе произведения, столь от нас удаленного и не похожего ни на что, что при взгляде на эту рекламу нового Левиафана, как от пения сирен Одиссея, начинает

сладко и томно закруживаться голова, и в гомеровой эпосе, как в прозрачном теле утопленницы, проступает знакомый контур, темное тело ведьмы: Гоголь! обугленный остов той колоссальной поэмы, что строилась в убожество общества, в оправдание прошлых затрат, как Жуковскому тоже вся литературная жизнь понадобилась на приготовление к подвигу перевода, который если б не был написан, Россия лишилась бы векселя, спасения, «Одиссеи», панацеи от бед, этой книги из книг, основанной на гармонии политики и религии, науки и искусства, начальства и народа, Бога и человека, на маниловской мифологии и забытом синкретизме, подобно похождениям Чичикова, сочинению Тенетникова, занятого целые дни обдумыванием фундаментальной пародии на произведение Гоголя в его полном и неосуществленном объеме («Сочинение это должно было обнять всю Россию со всех точек – с гражданской, политической, религиозной, философской, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность»).

Не знаешь, чему изумляться скорее: писательской ли лояльности Гоголя, словно проглотившего разом все свои резонерства и взявшего в образец наименее менторское и наиболее светское произведение древности? Дерзости ли его в разрешении актуальных задач гражданственности с помощью розовощекой архаики, приспособленной к российскому климату по принципу Поприщина, сшившего себе королевскую мантию из нового вицмундира? Широте ли его нравственных взглядов и умению уравновесить яростный аскетизм «Переписки» прохладными облаками Элады? Или, наконец, несбыточным, в духе Дон-Кихота, расчетам исправить человечество чтивом и добиться «Одиссеей» успехов, не достигнутых тысячелетним проповедыванием Евангелия?

12 октября.

Вот и Покров. И со вчерашнего вечера идет дождь со снегом, и сегодня весь день дождь и снег, снег и дождь: до чего же верна природа древнему календарю!

Вчера, после томительного перерыва, получил от тебя открытку, слава Богу, недавнюю, от 5 октября, и письмо № 49, от 29 августа, – ровно полтора месяца ехало, невероятно, но факт. Я полагаю, тут обоим тоже задержали*. И подумал, что такую уди-

вительную жену, со всякими смешными выдумками, иметь хорошо, хотя иногда и накладно. На наклейки тоже согласен, а обои превосходные, и я это заметил, еще не прочтя письмо – они сразу понравились, а когда прочел, то и того лучше: вот именно – библиотека! и золотые корешки на этом бордовом или как он еще называется – царственном фоне.

А ты не преувеличиваешь, что помнишь про Плещеево озеро? Вот приехала бы, и мы проверили бы – а то все на слово придется воспринимать.

Еще нашелся Егорыч. В том смысле, как отыскался след Тарасов: вчера же получил от него отдельным блюдом поздравительное письмо из Тарусы, с цветочками и курицей, похожей на жирафа (а может быть, это человек такой).

А пока пишу эти строки, пришло еще твое 60-е письмецо, тоже из Тарусы, и разница между вчерашним и сегодняшним днем в целый месяц.

А где-то едут совершенно не дошедшие до меня номера 50–55, 57 и 59. Вот сколько писем полагается мне получить от тебя, моя радость и свет очей, Маша!

14 октября.

Странный вчера выдался день. Сначала во сне приснилось (и с этого все началось), что я, случайно задумавшись или замечтавшись, сам не знаю как – побрился и увидел в зеркале свое довольно худое и молодое лицо, отчего – во сне же – расстроился и утешался лишь тем, что полтора года хватит, чтобы оно вновь заросло. Наяву же оказалось все не так плохо, как думал, и если у вас вчера тоже ничего не стряслось, то и совсем отлично, и если была примета, то только на доброе. Даже плохая погода получила совсем иной, прекрасный смысл и почти физическое осязание души сквозь дождь и холод: но ведь был же и снег!

Сегодня слегка подморозило и после расстроенных нервов как-то отдыхаю, перебирая в уме ваши письма – и всё про хорошее, что Егор вот поправился на тарусских харчах, а вот не скучал ли он там – не знаю, и почему не пишешь, что он сам говорит и как считает – хорошо ему там или плохо, а только мнения взрослых? С шофером его демарш* тоже удивителен, и это он в тебя, что тоже любимо.

И опять люблюсь цветом нашей библиотеки. (Но ничего не знаю еще о твоей кардиограмме, и поэтому все же тревожно.) И какой – стараюсь представить – у вас сейчас климат в квартире, когда начали топить.

У нас уже начали – и тепло. Еще – краски. У желтого леса появился лиловый подмалевок, это ветки просвечивают, – и на сером осеннем фоне особенно видно, что вещи, как считалось в старину, отделяют от себя зримые оболочки, которые и летят нам в глаза и позволяют видеть предметы на расстоянии. Вещи стреляют своим цветом и видом нам в глаза и не скудеют.

Как вы там живете сейчас, мои птички? – вот бы узнать, вот бы узнать...

15 октября.

Снег идет. Но небо и земля еще теплы, и поэтому идет снег. Не будь они теплыми, ничего бы не шло, а повсюду торчали одни ледяные иглы.

Писать нужно так, чтобы сначала, несколькими первыми фразами, отрезать себе путь к отступлению и жить уже по закону сказанных фраз, чтобы начатая речь действовала с необходимостью единственного бытия, которое мы имеем, не давая потачек надеждам на какой-то иной свет, кроме этого, данного нам и довлеющего себе текста, который сам уже распоряжается дальнейшим своим ходом, сюжетом и поэтому обязан с порога откинуть все задние мысли и сжечь все мосты и действовать с неслыханной самонадеянностью.

Творчество – это отчаянная постановка вопросов: быть или не быть?

- Дал простор фантазии, написав на листке – не бойтесь смерти.
 - Взять нож и идти на таран.
 - Все-таки он дает ощущение максимальной свободы. (Может быть, только она это еще больше дает.)
 - Начинать надо с березы.
 - Сторублевая Катя.
 - Все хотелось поглубже вздохнуть и очнуться от сна, к какой-то чистой и высшей жизни.
 - Все, что ты умеешь, это на ночь моцион делать.
- Еще я не пойму, почему ты сразу не послала телеграмму мне,

когда до тебя дошли такие дурные и невероятные слухи и тебе пришлось неделю загибаться, пока все не выяснилось.

Еще я раздражен катастрофическими пробелами и чехардою в письмах за последние два месяца. Тем более зная, как у тебя сейчас плохо с сердцем, – не получать твои письма или получать их с давностью в месяц и в полтора месяца – просто пытка.

Все тянул до сегодняшней пятницы: авось прояснится – что ты и как ты. И снова – ничего. Нужно откладывать жизнь еще на одну неделю. Ну раз отложишь, ну два, ну три – но если так будет и дальше все время, нервы могут и не выдержать.

Я очень надеюсь, что на следующей неделе как-то прояснится. Ну а если опять ничего?

16 октября.

Здравствуй, Машечка!

Срочно* требуются тетради в клеточку, чтобы писать тебе письма, а то, видишь, на какие мелкие листочки перешел: это значит – мои запасы уже совсем истощились, да и общая тетрадь, откуда я их вырываю, скоро иссякнет.

Твои же письма опять не идут, и я утешаюсь только поздравительной твоей телеграммой – самой позднейшей по времени и, как всегда, до чрезвычайности обаятельной. Ты вообще умеешь слать телеграммы – это я заметил еще по первой из них, в Руссу, помнишь, чтобы не плакал. Ашенька, а где же традиционный подарок? Или ты разболелась совсем? Ничего-то я сейчас не знаю, и сколько можно не знать? Это тянется уже давно – с лета примерно, и пора бы нам с тобой получить маленькую передышку. Беспросветность какая-то и сплошное оскудение жизни.

Посылку, если ты здорова, пожалуйста, пришли в середине ноября – а то я совсем обнищал в последнее время. И моя убедительная просьба – кофе в зернах, все пять килограмм. Ничего другого не нужно. И шоколад, и всякая прочая роскошь не требуется. Тем более – на зиму глядя нужен один кофеек: зима-то долгая, и надо ее пережить.

И ни в коем случае не клади чай – даже одну пачку нельзя.

Я тебе писал уже про нежданно-негаданное письмецо от Егора – с детским поздравлением. Не знаю только, сам он его сочинял или ему подсказывали, как и что писать. Или дали образец,

и он старательно все перерисовал. Немного коряво получилось, но уж очень длинная для его ума фраза. Егорушкино письмо – впервые такое событие в моей жизни. Просто чудо, что он уже настолько владеет пером. За лето, что ли, выучился? И мне остается пожелать, чтобы он непременно за эту зиму научился бегло читать. А может быть, и в письме уже переходил бы с печатных буковок на письменный шрифт. Нужно ведь, чтобы к школе он умел писать чернилами и желательно без клякс.

С первого же класса, сколько помню, вся эта премудрость уже требуется.

Я увидел вдруг, что ребеночку только один год остается до школы, и как-то забеспокоился. Я все-таки хочу, чтобы он хорошо учился, и с этим ты, вероятно, согласишься. Не говорю об отличнике – этого не требуется, но просто хорошо – надо, Пушкин просит. А до школы арифметике его учить совершенно не обязательно. Можно в точных науках целиком положиться на общешкольный курс – этого достаточно. И мне не будет грустно, если даже он будет немного по ним отставать. И лучше потому сейчас, отдавая внимание чтению и письму, цифрами не слишком увлекаться. Тем более – таблицей умножения, которую все равно заставят зубрить. Он может пока что и на пальцах считать – это интереснее. Пишу это, а сам мечтаю и лелею с ним поговорить и выяснить, чего он знает в жизни, а чего еще нет. Не в науках, а просто в сведениях о природе и мироздании. Смог бы он, например ответить на вопрос: Егор, а что такое Африка?

О скольких прекрасных вещах ему еще предстоит узнать – я за него облизываюсь и предвкушаю, и хотелось бы рядом с ним пережить эту сладость.

И вообще ужасно хочется с ним потолковать, и рассказать, и послушать. Вроде еще раз побывать в детстве. Пускай это будет на прогулке или вечером, дома, в непринужденной обстановке. Я часто думаю об этом, но совсем не представляю и не мечтаю, чтобы это произошло в доме свиданий. Пережить это еще раз было бы слишком тяжело и ему, и тебе, и мне. А нужно и можно было бы – по дороге в лес или в музей (лес и музей, пожалуй, самые приятные места, которые я могу представить сейчас). Лишь бы ты тоже была вместе с нами и помогала нам щебетать.

Никого нам больше не нужно, и мы никого не возьмем – правда ведь?

18 октября.

Письма! письма! письма пришли! письма пришли! На сей раз не зря я откладывал, и вот сегодня, в последний день, они и пришли! И сразу много! Пять штук и одна открытка! У меня аж голова закружилась – за целый месяц, почитай, и все из разных дат и мест, трудно разобрать даже сразу: №№ 57 (циолковское*), 61, 63, 65 (поздравительное) и 66 (от 11 октября). И одна открытка от 16 октября (почти рядышком!). Конечно, по-прежнему девять писем (если считать до 66-го) еще не получены, но все-таки такая масса Маши изумляет и восторгает.

Наверное, я сразу на все это счастье не сумею и среагировать достойным образом, но на самые главные пункты хочется ответить немедленно, потому что я уже сейчас должен кидать это письмо в ящик.

Во-первых, я счастлив, что, судя по открытке, бритый сон проехал у вас без потерь, и он был к добру, я уверяю тебя, Маша, к добру, и когда-нибудь потом я тебе все это объясню и растолкую.

Во-вторых, я тебя безумно люблю, и все это одна самостоятельность, что, если хочешь, приезжай. Не если захочет, а если сможет – потому что тогда, в тот день, ты для меня лежала без движения в кризе, и я имел в виду твое физическое состояние, а не финансы или что еще. И вообще он не в курсе дела, и зачем я стал бы объясняться тебе в любви таким способом?

В-третьих, свидания у нас идут нормальным образом, и в доме свиданий топят, и некоторые уже получают дополнительные свидания в соответствии с новыми основами. Народу, правда, сейчас приезжает многовато, каждый день едут, но очередей пока нет.

В-четвертых, я понял наконец, что в самом деле ты мне подарила все 86 томов и, выпучив глаза, целую тебя в обе щечки за такой шикарный подарок, очень на тебя похожий, моя желанная деточка. Но что ты будешь кушать при таких потравах в хозяйстве? И ответь мне поскорей, золотые ли у них корешки, у этих восьмидесяти с лишком томов, потому что я уже воображаю, как они будут сиять на малиновом фоне?

В-пятых, мне ужасно понравились зеленые, в серебряных цветах, обои и как ты их описала, и они на сей раз пришли быстренько, не то что первые, и весь кабинет засиял у меня перед глазами, только ты не надорвись, производя такую красоту в доме, а действуй помаленьку.

В-шестых, мне было очень приятно, что Егор прибыл домой в такой день и принял в нем участие, и спасибо Виктору Дмитриевичу за папиного учителя.

В-седьмых, я совершенно с тобою согласен по циолковским вопросам*, но это нужно было бы подробно обговорить с тобою, а пока предоставляю тебе все полномочия решать как лучше.

В-восьмых, меня потрясли зубро-бизоньи марки, и я их зажал и никому не даю смотреть, а то выпросят.

В-девятых, в-десятых, в-одиннадцатых и в-двенадцатых, я тебя люблю и жду, когда ты приедешь, и всегда буду любить, и мне с тобой хорошо и интересно, и как человека тоже.

А интерьеры на фотографиях не обязательно присылать. Я бы лучше их посмотрел в живом виде когда-нибудь, и такие, и сякие, погружаясь в созерцание, и чтобы никто не мешал вполне осознать свой дом, единственный и ненаглядный.

Если же поедешь на свидание, не забудь привезти 1) тетрадок в клетку, 2) обещанную папку для бумаг, 3) немножко стержней для шариковых ручек.

А когда поедешь на общее свидание, то стоило бы привезти Поморин, потому как чищу последний тюбик и еще две «Мэри» осталось. Но в ближайшем и личном разе не привози.

И почему ты мне ничего не рассказываешь в письмах, как Егор отнесся к новому домику и сумел ли оценить это великолеpie. Смешно и грустно* – как он уцепил транзистор с передачей о детях для взрослых. И вообще он очень хороший мальчик.

Хочу закончить это письмо сегодня, чтобы быстрее ушло, потому что следующее тоже нужно будет послать чуть раньше обычной даты, чтобы не залежалось на праздники. Поэтому очень तो роплюсь, но обнимаю тебя не спеша и очень покойно и нежно.

Будьте здоровы, мои чудесные дети.

А.
19 октября 1970.



...твоей сердечный криз... тебя объявили вдовой... – За время дела Синявского–Даниэля мне дважды сообщали, что А.С. умер. Первый раз еще во время следствия, когда А.С. был в Лефортовской тюрьме, с этой «новостью» пришел В.Высоцкий. В 70-м году мне такое преподнесла собственная мать. Подробности в «Абраме да Марье». Из моего письма: «Ну вот – позавчера, 15 сентября, ты чуть было не овдовел, потому что у жены твоей Маши был сердечно-сосудистый криз и она была на весьма-таки критических гранях и лежала пластом, поднимаясь только для некоторой рвоты после каждой таблетки и всякого глотка воды, и голова раскалывалась, а сердце отказывалось, и температура была ниже 35, а неотложку вызвать боялись, потому что сейчас как только рвота, так, не разбираясь и не задумываясь, немедленно отправляют в больницу с желудочными подозрениями, но к вечеру все-таки стало лучше, и вчера Голошточек загнал меня в поликлинику, и вот тут-то мне сказали, что я отделалась легким испугом.

А во всем виноват ты, потому что 8 сентября до меня дошли слухи, что я овдовела (что за роковое число – 8-е сентября! Ничего себе юбилейчик получился...), и тут вот я и кончилась, и хотя ходила, и куда надо звонила, и справки наводила, и даже кокетничала в телефон, но меня не было, и была я невменяема, и с тобой не переписывалась (подумать только – 55-е письмо я отправила опять-таки 8 сентября, а сегодня 17-е...), и вот 14-го мне совершенно ответственно заявили, что с тобой все в порядке и ты вставляешь зубы (где вставляешь, куда, какие?), а 15-го я свалилась».

Миша – Михаил Конухов, солагерник А.С.

...как понимать подарок Брокгауза... – 8 октября 1970 года А.С. получил от меня такую телеграмму: «Поздравляю днем рождения в честь круглой даты дарю тебе восемьдесят шесть томов энциклопедии Брок Гауза» (правописание, естественно, почтовое), а дней через десять к нему пришло мое письмо с подробностями:

«Я тебя поздравляю и объясняюсь в сплошной любви, о чем уже отправила тебе вчера телеграмму, и получил ли ты ее сегодня?»

Хорошо бы получить, потому что там про подарки, а они у тебя на сей раз от жены-Маши вполне роскошные: в виде классического Брокгауза и Эфрона в 86 томах (ого!), попавшегося мне на глаза позавчера, и я тут же не выдержала и купила, прикрываясь твоим сорокапятiletием. И доволен ли ты мной? И ведь всегда хотелось? (Чувствуешь, что я даже вроде бы как слегка оправдываюсь, но уж сил не было устоять, по-

этому – бери, и не укоряй за мотовство – очень уж хороша энциклопедия!»).

...обещунская... – От Ю. Даниэля и Л. Богораз.

...обоим тоже задержали. – Я послала А.С. три письма на обоях нового жилья: темно-вишневые гладкие – для библиотеки, темно-зеленые с тонкой золотой и белой разделкой – в кабинет и светлые полосатые – в детскую.

...его демарш... – Из моего письма: «А еще меня поразил Егор. Дело было так: сели мы с Егором и Алешиной мамой в такси (а ведь у нее трехмесячный младенец и время – только от кормления до кормления, и все прочие бабушки и дети еще на даче, так что младенчик остается один, да и у меня со временем не густо) и поехали по хозяйственным магазинам. Я искала гвозди (это тоже не просто), а она – кисти-краски.

Подъехали к одному – пусто (а Егор в такси ждет), потом к другому – тоже безрезультатно (а Егор все в такси), а когда мы вышли у третьего и оставили Егорыча, а сами пошли в магазин, я почему-то оглянулась на машину. И что же я увидела? Наш маленький сын двумя руками схватил за шиворот мощного дядьку-шофера и трясет его как грушу. Я бросилась к машине, и выяснилось, что шофер, пока мы ходим, задумал слегка развернуться, но только он тронулся с места, Егор решил, что угоняют машину, и как же можно уезжать без мамы, и как там мама останется одна, и начал наводить порядок своими силами. Самое удивительное здесь то, что он не звал нас на помощь (а ведь мы еще в магазин не зашли, и можно было крикнуть, позвать), а кинулся в атаку самостоятельно».

Алешина мама – это Инесса Бешенцева.

Срочно... – Здесь шифровка: «Срочно вышлите посылку и телеграмму с уведомлением о вручении».

...циолковское... по циолковским вопросам... – Именем великого русского ученого мы означали Даниэля и город его проживания после освобождения – Калугу. Из моего письма: «Привет тебе, привет с родины Циолковского, куда жена твоя Маша только что съездила на историческую встречу.

Одновременно имели место циолковские чтения, и гостиница была битком набита космонавтами, и космонавтам подавали обед из ресторана в номер, а нам – нет, и мы целый день сидели в номере вокруг бутылочки коньяку и фруктов.

Коньяку мне было нельзя по причине гипертонии, а собеседник тоже его почти не вкушал по крайней своей слабости. Что нам оставалось? Фрукты и беседа. Первые были кислыми, вторая – горькая.

Мне трудно писать на эту тему, может быть, когда-нибудь, не сейчас,

я изложу ее подробнее, но смысл встречи был таков: Юлька пытался встать в позу «а что случилось, а ничего не случилось, ну подумаешь, с кем не бывает, стоит ли из-за всякой чепухи» и т.д., и все объяснял, как он нас с тобой любит вместе и порознь.

И полной для него неожиданностью была вся бесовщина, накрутившаяся на фривольный карфагенский сюжет, и когда я ему излагала, что из всего этого получилось и какими боками повернулись ко мне все его друзья и знакомые, бедный Юлька прилипал к потолку, и вопил не своим голосом, и корчился, и хватался за сердце, и было его очень жалко, но факты вещь упрямая, и пришлось ему изложить многие из них. Конечно, половину забыла и, возвращаясь три часа в электричке, перебирала все новые и новые убийственные аргументы и непоправимые ситуации, и, конспективно, мои высказывания выглядели так:

Я его очень люблю. Ты его тоже любишь. Мы его любим и в его любви не сомневаемся. Мелкие его прегрешения передо мной и некоторые наши претензии к нему столь незначительны, что общую любовную кашу испортить не могут, но...

Любя нас и дружась с нами, он должен примириться с тем, что на всех углах я буду утверждать, и рассказывать, и доказывать, что жена его – говно и друзья его – тоже говно.

В самом деле – из всей его шатии одни только Воронели не примкнули к улюлюканью по моему и твоему поводу, и хотя бы этим немножечко помогли мне выжить.

Ну, Юлька, конечно, загрустил, что без восстановления дружбы с Ларой наши отношения будут затруднительны или даже невозможны, но по части Лары я была вполне непреклонна, и ноги ее в нашем доме не будет, и надеюсь, ты меня по этому вопросу поддержишь».

Смешно и грустно... – Из моего письма: «Да и гостей у нас становится все меньше и меньше: Меньшутины больны, Коля лежит – ему опять хуже, опять неотложки-валидол. Были только Реформатские триом, Игорь, Эмка, Людочка Сергеева.

Еще позвонил Крупничек из Новгорода (они там в отпуске) и Бамдаска.

Попили коньячку с барашкой, потом – чайку с вареньем, и по домам.

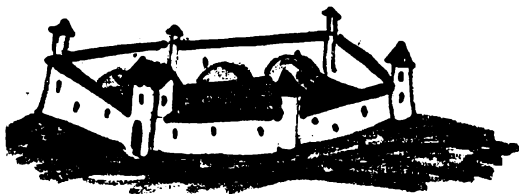
А мы остались с Егором, который пришел жить в дом и знает, что пришел в день твоего рождения, и сколько тебе лет, и что это были твои гости, и я вижу, как радуют его вещественные доказательства твоего присутствия в нашем семействе.

Тут мне Вика рассказывала, что в Тарусе Егорыч повадился слушать радио, и однажды его невозможно было оторвать от передачи «Взрослым о детях». И хотя всячески ему доказывали, что это не для него, а то

было бы «Детям о взрослых», но он прижимал к груди транзистор и ловил каждое слово. А речь шла о бедных семьях, где родители в разводе, и как трудно жить детям без папы. И кто его, Егора, знает, какая там у него складывается конструкция наших внутрисемейных связей и отношений, но мне иногда кажется, что где-то в нем появляется комплекс «мальчика без папы».

И мне его очень жалко, и поэтому *твои* именинки я ему подчеркивала и внушала, и хотя мы, конечно, мешали ему спать своим галдежом (я из-за этого даже с бабушкой повздорила: она настаивала, чтобы Егорыч в этот вечер был у нее: ребенок не игрушка для гостей, ребенку нужен режим, в городе грипп и т.д.), но не покидает меня чувство правильности сделанного. Еще хорошо с Егором объяснялся Дувакин (он тоже был), рассказывая, что он – «учитель твоего папы».

– А папа тогда был маленький?»



ПИСЬМО СТО ТРИНАДЦАТОЕ

Машенька – любовь моя!

Получил два (из девяти) недостающих письма от тебя № 62 и № 64 и три новеньких открытки. На одной Ахматова, на другой Петровский домик вниз головой, на третьей ты в виде собаки, но только ты гораздо красивее. А из писем получился, наконец, более-менее стройный ряд, который я прочитал сначала, чтобы уразуметь где – когда – и чего было в нашей жизни. И про новые достижения Егорыча* по большому делу тоже узнал, но умеет ли он зашнуровывать и завязывать сам ботинки, да так, чтобы не только узлом, но и бантиком?

А приятно получать от тебя открытку, написанную всего неделю, а то и пять дней назад! Значит, вы были здоровы.

Неразбериха во времени происходит еще оттого, должно быть, что живешь сразу и на месяц назад и на месяц вперед: назад – когда ты писала письмо, вперед – когда отправлю это и оно дойдет до тебя. Поэтому сегодняшний день воспринимается очень общо, в смутных контурах времени года – где-то посреди осени, ближе к зиме.

– Черный чемодан (схоронить, спрятать, положить под сукно).

– Выбери свою звезду и иди. Масса железных дорог останется слева.

Посмотрел на профиль Льва Толстого и увидел, как ужасно он все же похож на Чарльза Дарвина.

Новость: пусть лучше ребенок умрет некрещеным, чем, крещеный, ничему не научится. Меньше спрос. Анафемствование подразумевает своих – отсечение. Нельзя анафемствовать, кто никогда не принадлежал.

Еще мне смешно и приятно, что ты выбираешь открытки, какие мне лучше послать, хотя могла бы любые. Это просто удивительно – Маша выбирает открытки.

23 октября.

Продолжу слегка «Одиссею» в переводе Жуковского, в изложении Гоголя, но только на сей раз должно быть много цитат, так что ты уж извини, Машечка.

«...Во-вторых, Одиссея подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она оживит критику...»

«...В-четвертых, Одиссея подействует в любознательном отношении, как на занимающихся науками, так и не учившихся никакой науке...»

«...Наконец, я даже думаю, что появление Одиссеи произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственной волей Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни на есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя; когда всем наконец начинает становиться подозрительным то совершенство, в которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение; когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, чем он есть, может быть, происшедшая от прекрасного источника – быть лучше; когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно-услышанных идей слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий, как в массах, так и отдельно взятых особях; словом, в это именно время Одиссея поразит величавою патриархальностию древнего быта, простою несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленную, младенческую ясностью человека. В Одиссее услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца, по мере того как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться».

«Словом, на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства Одиссея подействует. Много напомним она им младенчески-прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество как свое законное наслед-

ство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзий навевается на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью!»

Все-таки до чего хорошо, чудесно и премудро задумано – «Одиссея» в переводе Жуковского... и следом за «Одиссеей» Россия, а следом за Россией Европа, осознавшая свое недостоинство, переводятся на положение подлинника, возвращаясь во времена золотые, старосветские, младенческие, невидимо, безбоязненно, посредством одной лишь Книги, благоухающими устами поэзии навевающей нам райские сны...

Красота в умозрениях Гоголя обладает тайной воздействия, превышающего установления общества и государственной власти. Не так ее созерцание, как сила красоты, ее активная миссия в мире занимали воображение Гоголя. В его глазах она всегда панночка, обращающая тело и разум наши в орудие собственной воли. К ней подошли бы скорее эпитеты не молитвенные, но правительственные и батальные, аналогии с Брунгильдой, с Валькириями, прободающими души копьем. Описанные им по последней моде, по всем мировым стандартам, красавицы сверх того наделяются смертоносной чертой ударности своего бытия. В них видится «что-то страшное-пронзительное» («Вий»), «что-то стремительное, неотразимо-победоносное» («Тарас Бульба») – от усмешки, «прожигавшей душу» («Ночь перед Рождеством»), до искусства подымать-опускать «сокрушительные глаза» («Невский проспект»). Огненное сравнение с «молнией» подтверждает их пробивную способность. Даже в пародийном ключе прекрасное у Гоголя воинственно, агрессивно: «...Подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какую-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения» («Шинель»).

Кто это – панельная дева или Ника Самофракийская?¹

¹ Какая, однако ж, разительная противоположность Жуковскому, на чей перевод он надеялся как на собственное творение и кто лучше других мог оценить его стремление сблизить красоту и религию. В письме к Гоголю «О поэте и современном его значении» (1848 г.) Жуковский отводит прекрасному область не от мира сего, куда мы в принципе не

Поэтому и в рекомендованных им нравственно-воспитательных мерах по исправлению человечества красоте отводится роль, ка-
имеем прямого доступа. (Возможно, будучи в курсе деяний и намерений Гоголя, Жуковский по-стариковски пытался несколько его охладить и уберечь от слишком тесных и опасных контактов с прекрасным.)

«...Прекрасное существует, но его *нет*, ибо оно, так сказать, нам является единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы нам сказаться, оживить, обновить душу, – но его ни удержать, ни разглядеть, ни постигнуть мы не можем; оно не имеет ни имени, ни образа... весьма понятно, почему почти всегда соединяется с ним грусть – но грусть, не приводящая в уныние, а животворная, сладкая, какое-то смутное стремление: это происходит от его скоротечности, от его невыразимости, от его необъятности. *Прекрасно только то, чего нет* – в эти минуты тревожно-живого чувства стремишься не к тому, чем оно произведено и что перед тобою, но к чему-то лучшему, тайному, далекому, что с ним соединяется и чего в нем нет, но что где-то, и для одной души твоей, существует. И это стремление есть одно из невыразимых доказательств бессмертия: иначе отчего бы в минуту наслаждения не иметь полноты и ясности наслаждения? Нет! эта грусть убедительно говорит нам, что прекрасное здесь не дома, что оно только мимопролетающий благовеститель лучшего; оно есть восхитительная тоска по отчизне, темная память о утраченном, искомом и со временем достижимом Эдеме...»

Гоголь тоже придерживался нездешней природы прекрасного. Но Гоголю этого было мало: элегические вздохи Жуковского по непостижимым зарницам у него перекрыты молнией, сжигающей дотла созерцателя, и содроганием естества, пораженного восторгом и ужасом прямого ее попадания. «О, какое небо! какой рай! дай силы, Создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу!» («Невский проспект»).

Тем самым прекрасное из удаленной субстанции изливается в огнеподобную силу пересоздания бытия, в энергию, свыше ниспосланную для производства исполинских работ. «... – Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, – я побегу исполнять ее! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, – я сделаю, я погублю себя» («Тарас Бульба»).

Не в этой ли подмене значений «сделать невозможное» – «погубить себя» пружина крушения Гоголя? Не он ли, возжаждавший непосильной работы, в самоистребительной страсти к прекрасному, принял удар на себя? Не мораль и не польза убили его, но молния красоты совершенной, похищенная с неба. Поздний Гоголь являет собою образ нагого дерева, разбитого и спаленного громом.

кую мог предложить ей не моралист и не мыслитель, а единственно – художник, уповающий на прекрасное как на самый бесспорный довод. Знаменательна в этом смысле статья, открывающая «Переписку с друзьями» (следом за Предисловием автора и авторским Завещанием) и служащая первой, преподанной Гоголем, лекцией на тему общественного спасения – «Женщина в свете».

С чего же, интересно, начинается проповедь Гоголь? Все с той же «Одиссеи» – с аргументов и поучений эстетикой. С того, чем, можно догадываться, желал он усовершенствовать мир в своей несбывшейся Книге.

«Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, – даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему неспособны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наивнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру?»

25 октября.

Открытка от 21 октября – о смерти Суси. Как быстро она – вслед. Письмо № 68. Про то, как не получил писем и они пропали и почему. Уж очень много совпадений. И что свидания не дают. Тоже совпадение? Странно получается. Выглядит слишком ненатурально. Посмотрю дальше, что будет. Во всяком случае картина тебе достаточно ясна, чтобы не удивляться и не принимать иные неожиданности слишком близко к сердцу.

– Землячок! – Емкость слова. И кто не землячок? Косоглазый, и тот землячок. Все землячки.

– Он такой изоляционный, что с ним никто не пьет.

– Шарфик с этикеткой.

«Век живи – век учись». (Такой раздел следовало бы завести в журнале «Знание – сила».) Примеры:

1) Булавка, на три дня приколотая к мертвецу (пока он лежит в доме), наделяется силой, охраняющей целомудрие дев и жен. Матери пользовались для сохранности дочек. Что-то вроде магнитной силы. Ср.: Мертвый зуб в сказках, ту же булавку, заколку в Спящей царевне. (Как глубоко – обратная сила смерти.)

2) Сходную роль выполнял запертый замок, положенный под подушку.

3) За всех ли можно молиться? За всех. И за самоубийц? И за самоубийц. Лично – ни за кого не возбраняется.

4) В Эфиопии существует предание, согласно которому Спаситель, явившись Богоматери после Воскресения, оставил Третий Завет, именуемый Заветом Милости. По нему Она приравнивается лицам Троицы, и кто поклоняется Ей – спасен.

(До этого о Третьем Завете – тоже в еретической версии – я слышал лишь как о Завете Духа.)

Текст не известен. Дескать, сохраняется в тайне. Так же, как Ковчег Завета, тоже, по преданию, со скрижалями перешедший в Эфиопию.

Эта молва имеет тем больший успех, что страна по традиции принадлежит Богоматери. Цари там ведут свою родословную от Соломона (Ее линия).

Отсюда же бóльшая близость к Ветхому Завету. Вероисповедание – монофизитство (родственное православию). На старинной монофизитской миниатюре разбойники изображены на крестах, а средний – «пуст», т.е. неизобразим. Хотя позднее эта традиция нарушается, сближаясь с православием.

5) В Эфиопии же во время богослужения около храма исполняется танец по примеру царя Давида, плясавшего перед Ковчегом Завета. Танцуют лишь священники – торжественно и ритмично. Ср. у ильинцев в духовном стихе: «Царь Давид плясал вприсядку, женский пол платком махал».

6) Что будет, если духовник нарушит тайну исповеди? – Таково быть не может: он забудет, или Господь ему уста затворит.

Генераторы: «о, ночи, полные огня». И аккумуляторы – все это полыхание света куда-то в землю. Поэтому и воспринимается центром, в любой отдаленности: генератор. Работа, важная для бытия. Сладость этой разреженной атмосферы и тоска по ней. Вот где все производится.

27 октября.

Интересно у тебя в письмах читать про щекастого Егора. И я согласен, что Таруса ему, должно быть, полезнее Валентиновки. Но хорошо бы в дальнейшем прибечь к помощи тарусских

хозяев, а не снимать тебе одной самостоятельную дачу, беря все на свою бедную голову. Или кооперироваться с кем-нибудь из знакомых родителей.

(А в каком-то старорусском тексте встретился недавно – «Ягор», и я обрадовался, потому что мы с ним так веселились, когда он раскачивался в коляске и с крыльца ему с упором на «Я» – Ягор! и он улавливал юмор.)

И еще интересно – и не перестает – про домик с его серебристо-зеленым кабинетом и багровой библиотекой. Или это на всю жизнь мечта, как о елке, что ты исполнила? Замечательно, как самые средние, обывательские идеалы преисполняются таким романтическим одушевлением, что твоя Африка или Бразилия («на далекой Амазонке* не бывал я никогда»). И это надо ценить.

А у нас снег по колено, и синица залетела в сени, и, проведя ночь, ее выпустили, и она в самую метель уселась на дальнем проходе и так запела, так запела, что сердце переворачивается. Ах, птичка-синичка синее перо! О чем она и откуда это?

Попал в руки альбом средневековой живописи, и, полистав, опять убеждаюсь, сколь она архитектурна. Надо бы развить, но нету времени, и сразу начерно. Видимо, вообще можно говорить о бóльшей архитектурности средневековья по сравнению с греко-римской античностью (где та же архитектура с ее низкорослой пластичностью более скульптурна). Помимо иерархии, космоса, тут чувствуется стремление расчленить пространство, разбить его на сегменты – отграничить и разграфить. Пространство похоже на треснувшее стекло. Причем в Европе бросается в глаза бóльшая остроугольность, графичность, геометризм. Самый орнамент рельефнее, четче, структурней – у нас витиеватей, у них прямее, квадратнее. Уже тянет кубизмом, очерченностью форм. И вытянутые фигуры, кажется, подчеркивают не высоту, но остроту рисунка. Острые локти, острые коленки, остроносая туфля из-под платья – стрелы, экспансия Европы, остроносые броненосцы.

Сюда же преизбыточность складок в одеждах, необходимая для того, чтобы разрезать ими пространство и преподнести в мозаическом виде, в орнаменте треугольников и квадратов, в клетку, в полоску, – складок, разбегающихся пучками, лучами, не считаясь с объемами тела и строением ткани, какого-то чертежа, тем

же скелетом, что выпирает ребрами контрфорсов и аркбутанов, расчлененностью храма, обнажившего свой стройный костяк, скорлупу кровеносных сосудов, пучки нервов и сухожилий, готическую графичность, многочленность и сложнотрубность органа, колчаном линий-стрел (в отличие от нашей ухищенной круглоты – полноты – мягкости – смазанности). В этом смысле витраж пришелся там ко двору не только идеей света, пронизывающего оттуда – сюда (согласно «Иконостасу» Флоренского), но и тем, что он раздроблен-составлен из очерченных крепко кусочков, из рисунка, образованного ободком всех этих стеклышек, играющих роль фона для этой ветвистой решетки, для древовидного папоротника, похожего на скелет того же храма. Здесь та же четкость многолепестковой разделки-оснастки, что и в Амьенской розе, – кристаллограмма цветка. Обращают внимание на стекло витража, но не менее примечательна рама – хитин, перепончатость средневековья. То же в складках – видят неумелое подражание антикам, но в антиках меньше складок, а здесь они понадобились сами по себе, независимо от тела, при отсутствии всякого интереса к анатомии. Им вторит многочленность, составленность самих фигур, сложенных по частям – из головы, рук, туловища (родство с примитивом – но цель иная – архитектурная, музыкально-математическая), и каждый пальчик приставлен отдельно к этому препарату, в котором – опять-таки при отсутствии интереса ко всякой анатомии-физиологии – утрирована мускулатура с целью перерезать тело какой-нибудь грудобрюшной преградой и преподать его из кусков. Членистоногость средневековья сродни насекомым; тот же внутренний скелет вылез наружу, коркой, хитином, панцирем – и человек похож на костюм средневекового рыцаря, составленный, как витраж, прообразом робота.

Сюда же архитектурный фон в росписях и иконах как непреходящий антураж живописи и – седалища – троны, похожие на города, на которых восседает дворец человека.

В византийско-русской традиции в рисунке главное контур и преобладает округлость, окружность. На западе круг композиции раскромсан и взрыт скелетом; рисунок там стрельчат, в стиле готического шрифта, агрессивен. И в церковной архитектуре – сплошные башни и шпили, в отличие от круглого купола. И ост-

рые крыши светских черепиц. И планы многих строений походят на самолет, на чертеж подводной лодки. Что это, бомбардировщики из будущего (или из прошлого) полета Валькирий?

Из более второстепенных различий обратил внимание, что на Западе Младенцы взрослее, тянут на трехлеток, предвещая ренессансных купидонов, и есть случаи, когда младенец по размерам явно взят у 12-летнего ребенка, хотя в позе новорожденного. Точно эти дети раньше нас повзрослели.

Большая изобретательность и разнообразие жестов. Головы в разные стороны, фигуры больше танцуют, дергаются, движения экспансивнее. В снятии с креста Богоматерь падает в обморок, обещая экзальтацию Джотто и Каваллини.

Интерес к монстрам, экзотичность. Поэтому резной камень Владимира и Юрьева-Польского смотрится отголоском романского Запада: слишком изобретательно, фантастично. Словно они уже знают, что поедут в кругосветное плаванье. Стремление к занимательности: избиение младенцев, всякая нечисть, тщательно разделанная в приуготовление Босха и Фауста...

Средневековье, я бы сказал, это перепончатокрылая структура.

30 октября.

Вот и месяц октябрь уже за плечами, такой тяжелый, что не след к нему оборачиваться, а идти дальше. Вокруг уже зима, небывало ранняя в этом году. А они говорят так громко, что по пятнадцать, по двадцать раз возвращаешься к одному слову, и письмо скользит и не пишется, или нервы не к чорту. Spина, правда, перестает болеть, хорошо – не радикулит, а, должно быть, простая, рабочая ломота, и это пройдет.

Снег – хороший, глубокий, не видал никогда столько снега в такое время. Лишь бы не потаяло.

А у Егора на крыше другие дети катаются на лыжах или нет? А то, если катаются, ему обидно. И ходит ли он сейчас на крышу (в письмах об этом еще ничего не было)? И, может быть, стоит, если пришлось по вкусу, отправить его недельки на три в Тарусу – зимой, вроде зимних каникул?

Вышел Бодлер – «Цветы Зла» (М., 1970) – прекрасно составленный, в переводах Эфрона, Элліса, Вяч. Иванова и много Ле-

вика. Я здесь читаю, но, в принципе, хорошо бы иметь в доме. Пусть Левик подарит.

А писем от тебя опять что-то не видно.

Зато глазки не соскакивают*. Расточил. Возлюбленные, вечно возлюбленные (как бывают вечнозеленые елки). И спим вместе. И раскачиваемся вверх-вниз: глазки – писем не видно – спина перестала – Торкватто на картине у Байрона (но писал свой Иерусалим он гораздо раньше) – снег... Зима в разных интонациях, в минорных, в мажорных. Сама-то по себе – зима! – конечно, в мажорных.

1 ноября.

...И если бы выбирать серебро или золото – я бы выбрал серебро.

Но никакие немецкие балки-фермы мне не нужны, и это какая-то ошибка-фальшивка, и очень удивился, получив сегодня открытку с Троицей на обложке.

Древнерусской округлости линий Запад сумел достичь лишь в Спящей Венере Джорджоне. Поэтому на Рублева радуются: Ренессанс. (Совпал с чем-то знакомым, похожим.)

- У него баба с пятидесятого года.
- Не каждая баба такая капризная. (О машине.)
- А я стою как вон та Бухгалтерия.
- Но ихний образ у меня в глазах остался.

А какой свет в окошке. Какой белый свет в окошке. И он сходится на тебе. Давно сказал, а все сходится.

В «Повести о подвигах Александра» (XIII–XIV вв. – христианская обработка позднеантичного сюжета) библейский пророк Иеремия говорит Александру Македонскому: «...Ты станешь намного выше всех царей и дойдешь до самогорая; там найдешь мужей и жен, пребывающих на одном острове, где ведут они жизнь среди яств из фруктов, с которыми ничто не может сравниться. А одежда их состоит из собственной кожи, покрытой волосами. Вместе с ангелами они наслаждаются любовью, имя же им – блаженные от Бога».

Вот и выясняется, что земной рай, который так долго искали, совпадает скорее всего с человекообразными обезьянами. Смесь Оранг-Утанов и Йогов.

Но мне очень понравились названия глав в «Романе о Калимахе и Хрисоррое» (XIV в.), выдержанные в том же стихотворном размере, что и основной текст, и писавшиеся когда-то красными чернилами. Например:

7. О Рока злобного скрижаль,
Судьбы безумной воля,
Свершай волшебные свои
Теперь предназначанья.
(И в тексте главы – они свершаются.)
8. Смотри и удивляйся ты
Старухи вероломству.
9. Волшебное и злостное
Укрытие старухи.
12. Приятный отдых девушки
В саду среди деревьев.
15. Но вот теперь уж и конец
Несчастьям наступает.

Приятный сюжетный ход, от которого прихожу в умиление. И еще мне очень хочется, чтобы ты научила Егора любить Мочарта.

2 ноября.

Вчера отправил две поздравительные открытки – тебе и Егору, а сегодня – как раз перед отправкой письма, которое нужно послать немножко раньше, чтобы оно успело уйти до праздников, – пришло твое письмо № 69, и открытка с параллельной открыткой с восточным натюрмортом, и еще письмецо от Вики с фотографией Егора и Марины, первая, по-моему, сделанная в фотографии, а не любительским способом, и мне не очень понравилась: Марина, правда, похожа и на Марину и на Вику, а Егор невыразительный, разве что шапка с помпоном, которую вижу впервые, удивляясь – ну и помпон!

За восточный натюрморт тоже спасибочки – все-таки трогательно, что помнят так далеко.

Письмо же твое – о смерти Суси* – и как-то странно, будто я допускал в душе, что так кончится, хотя не думал, и странно, что не думал, а допускал.

Все, что ты пишешь, очень умно, глубоко и серьезно – и дей-

ствительно, мы за внешностью не узнаем людей и, может быть, это и значит любить ближнего, что так трудно и почти невозможно, а все же – истина и состоит в том, чтобы любить.

И все-таки не принимаю эти мысли о самоубийстве – хотя, может быть, ей нечего было делать больше, но коль скоро у них много дела* или какой еще долг перед покойным, то хоть и труднее и невозможнее, а приходится выживать. Понятно, одно – говорить, другое – испытывать, и сформулировать получше нету сейчас возможности и поэтому отделяюсь голыми словами от той реальности, что на самом деле реальна, и об этом лишь речь, а не просто так, для обычных слов, говорю.

А тебя люблю еще больше и проникновеннее, и за то тоже, как это ты точно определяешь метафизические ситуации, про которые и раньше знал, что чувствуешь, а сейчас вдруг так все как по-настоящему определяешь, и это уже искусство, и как это получается, что, век живя со мною, ты все растешь в моих глазах, чтобы я не перестал удивляться, и как это может быть?

Но как все сгустилось в этом месяце – октябре, и от этого избытка смертей как-то не по себе немножко.

Но я тебя целую – и заклинаю – и опять целую.

А.

3 ноября 1970 г.

Не смущайся, что конвертик – авиа и, кажется, даже пахнет духами: уже поздно лезть в чемодан за конвертами, и одолжил у соседа. А ты моя Маша.



...достижения Егорыча... – Из моего письма: «Утром – звонок в дверь, и входит Егор с воплем:

– Мама! А я научился вытирать попу!

Получила я ребеночка с доставкой на дом, щекастого, румяного и, как видишь, здорово усовершенствованного, причем в том самом пункте, про который я ломала голову и не знала, как бы это его преодолеть. И зад он вытирает отлично, и трусики не пачкает, и я его люблю».

...«на далекой Амазонке...» – Р.Киплинг в переводе С.Маршака.

...глазки не соскакивают. – Речь о кольце, см. письмо 106.

...о смерти Суся... – Из моего письма: «Я совершенно подавлена и сражена: умерла Суся.

Ведь совсем недавно похоронили Владимира Исаковича, и я писала тебе об ее угрозах, и к ним никто не относился слишком серьезно, и когда где-то в начале сентября Суся наглоталась снотворных, ее промыли у Склифосовского и отнесли все это за счет чрезмерной истерии. Но на всякий случай начали присматривать за ней построже (а ее и так со смерти Володички одну не оставляли на ночь).

И вот она обманула бдительность всех: одним сказала, что едет на дачу к другим, другим – что будет на даче у третьих и так далее, а сама заперлась в комнате и тихо-тихо опять-таки выпила снотворное.

Сутки спустя ее обнаружила сестра, у которой был свой ключ.

Вот и всё.

И я не могу прийти в себя и опомниться, и все это очень страшно, эти две смерти рядом, одна за другой, и рухнувший дом, где никого не осталось.

Но и понимаю я сейчас Сусю, особенно после страшных моих сентябрьских дней, и вижу, что не было у нее другого пути и деться ей было тоже некуда.

И даже оправдания я ей нашла, ибо ежели по христианским системам она и согрешила и обрекла себя на вечную разлуку, то с индусской точки зрения (если я правильно это помню и толкую?) она взошла на погребальный костер мужа, и тогда душа ее прямиком возносится в рай, и все ее потусторонние дела складываются как нельзя лучше.

И впервые я думаю про Сусю серьезно и почтительно, и жалею, и стыжусь, что не находила и не разглядела за всей суетой ее дурацкого салона возможности таких больших чувств.

Она его любила и не смогла без него жить. И все светское верчение, все Сеземаны-Каменские, все друзья и почитатели оказались бессильны перед этой формулой ее бытия».

...у них много дела... – См. примечание к письму 99.



ПИСЬМО СТО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Деточки мои зелено-голубые!

Так скользко на дворе, что боязно, как бы вы не упали, и, хотя мокровато, работаю в валенках, потому что на погрузке падать совсем уже ни к чему.

Не помню, писал ли тебе такую фразу, которая мне понравилась, из какой-то песни:

Вдруг поезд, как вкопанный, стал.

Прекрасна эта инерция традиции. Или:

Отец командовал полком
И пользовался славой,
И пал за Родину свою
В сраженьи под Полтавой.

Высокие слова должны быть чуточку неправдоподобны – для лучшей экспрессии.

Капитан строил город для цели,
Чтоб торговлю открыть между стран.

Из других законов слóва. Человек видит чудо, и все время хочет курить, и ищет спички, имея в кулаке пустой коробок, и бежит ночью, и забегает в курилку, где сидит народ, и, открыв дверь, видит, что она полна дыма, но в ней ни души, и вдруг видит у ног, на полу, свежую, чистую, нетронутую спичку, которая своею конкретностью ошеломляет его больше, чем все чудеса,

только что им виденные, и, рассказывая о них, он вынужден все время возвращаться к этой спичке, потрясшей до основания.

Или слышит хор голосов – может быть, духов земли или всех народов на свете – и, прислушиваясь, чувствует вдруг, что если он поймет сейчас из этого хора хоть слово, то сойдет с ума. Понять – сойти.

– Рубашка на нем центровая!

– Иди, там тебя ждет недописанная страница!

6 ноября.

Хотя мы далеки еще от центра зимы (звучит как – от центра земли), уже много проще, что она началась и можно прямо смотреть ей в глаза.

Шапка с опущенными ушами похожа на шлемофон летчика. Даже дома почти не снимаю. Жарко, но зато тише.

Книги, что я думал отослать домой, мне сегодня вернули. В том числе запасы «Декоративного искусства» и всяких вырезов. Когда-нибудь, в нескором будущем, нужно было бы похлопотать о посылке книг, а то с таким грузом с места не сдвинешься. Говорят, в принципе это возможно.

За эти дни отдохнул. Главное – спина прошла. А то порядком болела: перегрузился.

А ты какая-то ужасно одушевленная в последнем, 69-м письме. Какой-то сплошной дух, и он светится. И ты снишься мне почти каждый день.

8 ноября.

Сегодня Миша получил посылку, и мы теперь, слава Богу, с кофе. Повеселели. И сегодня же пришли от тебя две открытки – про первый снег – и письмо № 70 на спальных полосках, и я теперь вижу, какие вы зебры. Все же библиотека и кабинет непревзойдимы, а эти поскромнее. Но так и быть должно.

А Егоровы рвоты не от глистов? А если на чистых нервах, то, может быть, попробовать на завтрак давать ему поменьше. И может быть, это от волнения, от торопливости ехать ему в группу, а тебе на работу. И тогда не нужно насиловать – уже самая необходимость еды, и еды обильной и быстрой, когда есть не хочется, тянет на рвоту. Я же не мог есть перед лекциями, хотя и не

волновался. И сейчас я за завтраком вопреки медицине, которая рекомендует завтракать плотнее, а ужинать легче, ем с неохотой, через силу, потому что надо, а не от голода. Почему же Егорыч должен отличаться от нас?

Очень хочется, чтобы ты мне рассказала, и не в письмах только, а на словах и на пальцах, где что висит и стоит в доме, который меня совсем обворожил. И я даже подумал в возвышенном стиле, что дом – как космос – и поэтому в нем первым делом должны быть любовь и огонь. Дом – как космос – и поэтому тоже в нем должны быть закон и порядок. Дом – как космос – и поэтому в нем должна быть красота.

9 ноября.

Как-то сразу окунулся в вашу жизнь, детики, в один вечер получив три письма (71–73) и две открытки, – в быт, в снег, в оконные рамы, в Егоркины хворости, в твои волнения, долги и нежное отношение, из которого видно, что я тоже недаром живу на свете. Еще очень понравилось Егорушкино письмо и как он хорошо и правильно пишет: «Драгое мое папа». Это он правильно, своими словами, старается передать трудную букву «йот». Если не знать «й», то на конце в самом деле звучит немножко на «е» (je).

Но марки не хочется отрывать от твоих конвертиков – так они аппетитно выглядят именно на конвертах, оставляя аромат истории и географии, как чемоданы в туристских наклейках и даже краше, – тем более я не уверен, что эти вложения дойдут до вас, как уже пропадали картинки, – и я попробую придумать что-нибудь другое для Егора, чтобы ему тоже было интересно со мной переписываться.

Но я так и не понял, ходит ли он сейчас в группу и занимается ли языком.

А у нас в избушке, где греемся на работе, тоже были щели, но, в отличие от ваших рам, я на них радовался, потому что очень жарко топят, а сейчас общими усилиями их заделали, и я один горевал по этому поводу – стало как в бане. Народ любит тепло, и ты это поймешь, как вспомнишь, как мы старались ночевать на поветях.

А денежек нету, чтобы тебе прислать в облегчение жизни, и теперь не скоро накопятся: после подписки на зубы и журналы осталась тридцатка.

Но зато я тебя люблю еще сильнее, и это получается так огромно и прекрасно – наша любовь, – что я даже не знаю.

10 ноября.

Ко вчерашним письмам надо еще добавить, что как-то густо опять последнее время пошли дети. Помимо фотографии Анны Андреевны*, в которой ты меня попрекаешь, и Марины Михайловны*, о которой тоже недавно тебе писал, тут еще Раф родил сына, о котором очень неожиданно (мы никогда, по-моему, с ним об этом не говорили) и понятно пишет, что ребеночек его видом и мыслями более относился к прошлым поколениям, не реагируя на окружающий мир. Э-хе-хе, а я так и не расспросил Егора в свое время об этом...

Еще получил (и все вчера!) курьезное письмо из города Ярославля*. Но это лучше рассказывать в лицах. В письмах совсем не умею писать в игривом и живописном стиле, и это очень жалко, потому что, боюсь, ты меня забудешь в человеческом образе за чересчур научным характером моих к тебе эпистолярных признаний.

Жаль, что-то отказывают мне в этом году в традиционном подарке, а напрасно. Пользы от этого никому, один вред, и нам с тобою тоже, конечно, плохо, но я не вижу резона, чтобы нам было слишком плохо. Голая эмоциональность, а расчет? – расчет может дать лишь обратные результаты. Ну, посмотрим.

11 ноября.

Мне понравился старинный анонс в провинциальном городе: «Русский богатырь Николай Жеребцов».

И выражение заботы в женском письме: «Береги себя и застегивайся на все пуговицы».

Вспомнил твою приговорку о времени года в этой части света и вдруг подумал, что новое в этих штампах – лиризм и доброта общечеловеческих связей и попытка разыскать тепло души в самых близких стандартах. Началось это, вероятно, с оборотов типа «Вспомни, где будешь». Зощенковские стереотипы мертвее и бессердечнее. А тут какой-то сплошной плачущий смех как выражение умиленности над детской дураковатостью человека. Это скорее стиль какого-то неосентиментализма. Как тебе нравится это определение – неосентиментализм?

Если вспомнить тоже захлебывающееся заклятие Наташе* – я люблю тебя и т. под. – так и получается.

И это естественно в смысле смены стилей: классицизм – сентиментализм.

Забавно.

12 ноября.

Все правильно, что после писем должна быть пауза, а все же угнетает. Особенно когда не знаешь, какой же все-таки анализ крови получился у Егора. Про мочу получил, а про кровь – нет. И долго мне еще не знать: сегодня – пятница.

Быстро проходит ноябрь. Ноябрь вообще быстрый месяц. Октябрь тянулся куда дольше. И декабрь, судя по воспоминаниям о прошлом декабре, будет долгим.

Бывают дни – ничего, даже весело. А бывает – весь день немножко кряхтишь и все делаешь, как бы забыться и уйти поскорее в сон, в книгу, в работу. И никуда не денешься – само существование тогда походит на затяжную боль. Терпишь и терпишь. Еще потерпим.

И письма – как суеверное держание тебя за ручку. Каждый вечер – подержаться. Сказать: Маша, Машенька – и пойти спать.

13 ноября.

- И стали жить – я тебе дам.
- В собственном берлоге.
- Короче говорят.
- Он набрался мужества и пошел.
- Потому что ты тоже своей участи не знаешь.

Оригинально истолкован у Г.Гессе («Игра в бисер») исповедник как мастер своего дела. Неверно представлять его перегруженным чужим опытом, отягченным сверх всякой меры лицом (дескать, сколько он слышал, сколько он знает всего – впору охладеть к людям от такого огромного знания об их непотребствах). Этот ход впору Л. Андрееву, но не Гессе. Ибо здесь поражает скорее отсутствие человека, ничего не оставляющего, не задерживающего в себе, но открывающего проход в ночное небо. Скорее щель, через которую, как пылесосом, вытягивает сор, залежавшийся годами, спрессованный, выщелуцивая комки – точ-

но ветром подуло – не в ухо, в уход, в простор, в отверстия души, затягивающие с такой силой, что кажется – вслед за грехами сам туда улетишь. Человека нет, и поэтому стыд тоже отсутствует; напротив, торопятся ничего не оставить, и редкие реплики, вздохи помогают освободиться, уносят – совершенно стонного, ничего не запоминающего и не оставляющего в своем решете, в своей клетке свидетеля. Даже видимость его прозрачна, словно бы плоть исчезает, редеет, присутствуя, главным образом, голосом, подобным античному хору, легким стенанием, сопровождающим действие исповедуемой и отпускаемой жизни. И улавливается никакая не личность, но безликий хор, создающий подобие фона, на котором клубками свивается сбросившая кожу душа. На этом ветре, на этом дожде голосов и можно понять античную драму – как реальное переживание.

14 ноября.

Но ожидая от женщины столь веские наказания прогрессу, Гоголь ничего не требует от нее, кроме того, что она уже имеет как женщина, – ни нравочений, ни общественной деятельности. Ее благая задача – быть собою, являя всем в назидание свою красоту, более для нас убедительную, нежели любая воспитательная метода, воспользовавшись которой, она бы все испортила одной этой привнесенной, не вытекающей из ее облика нотой (как испортил Гоголь второй том «Мертвых Душ»). Гоголь в данном случае, нельзя не заметить, рассуждает как истый художник, проникающийся природой создания и довольствующийся красотой в собственном значении слова, ничего к нему не примешивая; его женщина в свете то же, что образ идеального произведения, и потому все его советы прекрасной корреспондентке могут быть распространены на советчика, на Гоголя: исполни он сам их – он остался бы на высоте положения (но он не был бы Гоголем, если б он их исполнил).

«Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть, не спорьте с Провиденьем. ...Ваш голос стал всемогущ; вы можете повелевать и быть таким деспотом, как никто из нас. Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим; повелевайте самим бессилием своим, на которое вы так негодуете; повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утра-

тила женщина нынешнего света. ... Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело, с той же сияющей вашей улыбкой. Входите в него, как в больницу, наполненную страждущими; но не в качестве доктора, приносящего строгие предписанья и горькие лекарства... Ваше дело только приносить страждущему вашу улыбку да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес его сестра, и ничего больше. ... Храни вас Бог от всякого педантства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи вносите и в свет».

Не странно ли, что Гоголь при всей фантастичности замыслов менее претенциозен и более прост и доступен, чем многие прожектеры его ропшущего столетия, отвечавшие, как и он, на вопрос, что делать молодой, образованной, красивой, состоятельной, нравственной и все же не довольной своей светской бесполезностью женщине. Он не зовет ее ни резать лягушек, ни упразднить корсет, ни даже плодить детей, ни воздерживаться от деторождения. Все гораздо легче, естественнее. И все же его мирная доктрина, предлагавшая скучающей барыне совместить ее природные свойства ангела с натуральным домашним обычаем, показалась несносной утопией, менее прочих приемлемой и интересной для женщин, увлекавшихся тогда несравненно более радикальными фантазиями (см. романы Тургенева).

Гоголю в истолковании женщины, как и «Одиссеи» Жуковско-го, помогло высокое чувство такта, вместе со знанием дела проявляемое им всякий раз, когда он соприкасался с прекрасным, выдавая ему, несмотря на суровый зарок, нескончаемые авансы. Красивая женщина, судя по всему, в соответствии с его пониманием, не нуждается в подтверждениях ни политикой, ни религией, она сама и политика и религия, она довлеет себе, оправданная самим фактом своего существования в мире.

Когда бы все мы имели такие виды на жительство!.. «Ты должен, должен!» – стучит нам молот в мозг в напоминание о деле,

о пользе, которыми надлежит расплатиться за грех и удовольствие рождения на земле. Одна прекрасная женщина никому ничего не должна. Она – есть. Она оплачена тем уже, что полностью, как цветок, реализована в своей скорлупе. Она спокойно завтракает, со вкусом одевается и едет в гости, и вот уже все приподняты и улучшены ее присутствием. «Чудный праздник летит из лица ее навстречу всем» («Рим»). Мы не спим, мы устали, изнемогли, но не можем остановиться. Не можем отдохнуть, умереть. Обязанности. Долги. Высший императив, на который нам все равно не подняться, не утолить, и мы погибнем. Она одна – безо всяких трудов и стараний – заранее спасена!

Не таково ли тоже значение творчества? Не об авторе речь. Автор сгинет, спятит с ума, как Гоголь (туда и дорога). Но образ, но красота!.. Как это отраднo, прекрасно – быть женщиной, не человеком – пейзажем, быть фреской, Джюокондой, Хлестаковым, «Тройкой» Гоголя (звонит колокольчик)... Всех смешить, изумлять. О, я верю: искусство спасется. Не художник – искусство. Выйдя сухим из воды. Никому не задолжав. Просто будучи собою, пребывая в собственном свете, допуская в виде милости на себя любоваться...

15 ноября.

Вот когда еще спасают твои открытки! Когда приходят дурные вести безо всякого просвета и не знаешь, что делать и как жить в такой темноте, а открытки, давным-давно полученные и читанные-перечитанные, стоят авангардом за более поздние даты и немножко заговаривают боль. Хотя бы этими хлопотами, тобою предпринятыми в них по-моему успокоению и обеспечению добрым словом от вас. И вот я смотрю по новой, что снег напал на крыши и вы с Егором смотрите на него в окно (30 октября), и что корешки золотые (31 октября), и опять снегу навалило сугробами (2 ноября!) – а в руках у меня 74-е больное, сплошное письмо с Егорушкиным страданием* и твоим мытарством, пока он лежит один в комнате, и что анализы все еще ничего не показали (29 октября). И глядя на эти передовые открытки, на снег в который раз, на золотые буквицы, стараюсь разобрать, смотрела ли к этому времени Егора доктор Нина Иванова (ведь 29 октября она должна была придти завтра), и что у него нашла, и что с вами сейчас.

Разумеется, его надо отправить к бабушке, чтобы не лежать одному в пустом доме, когда такому маленькому и больному это очень страшно и трудно, а тебе бы не носиться к нему – от него по скользкой мостовой.

Может, Егора еще каким профессорам показать?

Ох и крепко же приходится нам в этом году – и твои, и Егорушкины какие-то непонятные и совсем уже дикие внезапные заболевания и прочие тяжести, словно специально выбранные, чтобы помучить.

Держитесь поспокойнее и помедленнее немножко живите, чтобы все это вытерпеть. И я тоже буду стараться не сорваться.

А про тетради, что я писал, что надо привозить, не думай. Если их и не будет, я продержусь на другой бумаге несколько месяцев. А письма тебе на общей тетради тоже хорошо писать – листочки небольшие, но какие-то уютные, и не так толсто выходит. Чем бы, чем бы мне вам помочь?

16 ноября.

Очень трудно вечером. Днем легче, потому что ждешь, что к вечеру придет письмо. Но вечером, глядя на весь завтрашний день, как-то совсем невыносимо.

Сгущения последних месяцев* тоже, должно быть, не проходят бесследно. Они почти физически ощущаются в воздухе, начиная с компактной пропажи шести твоих писем (№№ 50–55)¹, падающей как раз на первую половину сентября и до странности совпавшей с нелепыми слухами о моей смерти, которые тебя довели до сердечного припадка. И то, что тебе в такой обстановке не дают свидания*, приходится относить сюда же, к общему ряду, и я так сейчас настроен, что жду и других неожиданностей.

И пожалуйста, никому не верь, что я к тебе не вернусь. Это специально делается, чтобы нас разлучить или хотя бы помучить. Я только никак не могу представить выражение лица у официальных лиц, ведущих подобные разговоры с одновременным уклонением не дать нам встретиться: ведь если серьезно возникают такие опасения, то почему же разлученным супругам не дать объясниться?

Не напоминает ли тебе все это атмосферу первого года? Мне напоминает, и я даже, кажется, догадываюсь, в чем тут де-

¹ Кроме того, пропали №№ 59 и 67.

ло: предпоследний год. Видишь ли, последний год оставляет слишком мало места для таких упражнений, да и человек тогда более жизнерадостно смотрит на вещи. А предпоследний – самое время если не посмотреть, то хотя бы приблизиться к рельефам незабываемого Дмитровского собора и фрескам Успенского, откуда, из группы праведников, идущих в рай, взята голова Петра для медали в честь Андрея Рублева. Я бы охотно последовал этому направлению (как это в старину говорилось? – «людей посмотреть, себя показать»), если бы не твое сердечко и не твои просьбы в прежнее время на этот счет, которые для меня святы. Но ведь в иных ситуациях и твои просьбы могут измениться - я так понимаю? Во всяком случае не предупредить тебя об этом и по-прежнему делать вид, что я ничего не замечаю, я не счел возможным. Ты уж извини, но иногда нужна ясность.

17 ноября.

Добрый день*, моя родная Маша!

В последние недели много работы, порядком устаю, и дни слипаются в одну черно-белую пленку: день-ночь: в конце года всегда тяжелее.

Я даже не знаю, как тебя обременять сейчас дополнительными заботами хозяйственного характера, но откладывать нет возможности, и все же обращаюсь. Дело вот в чем: по новым основам нашего содержания посылки и бандероли не обязательно высылаются родственниками и можно любого просить, а мой знакомый Миша, с которым вместе я пью и ем, вообще не имеет родных, а обращаться к посторонним лицам нет ни смысла, ни времени. И как ни раскидывай умом, самое удобное, чтобы ты выслала ему положенную в этом году бандероль (кофе в зернах), желательно не откладывая и известив об этом его либо открыткой, либо телеграммой с уведомлением о вручении. Бандероль может вернуться или пропасть, как уже бывало в нашей жизни, а растягивать это удовольствие на сей раз не дают обстоятельства – ему скоро освободиться. И было бы вернее – ценной бандеролью послать. Прошу только не потерять квитанцию. И если бандероль вернется, отправить ее немедленно вторично.

Будет лучше, я думаю, если ты сама пошлешь бандероль, поскольку в этом нет ничего предосудительного, и известишь меня об этом тоже в письме (и не в одном, ибо письма тоже имеют тенденцию пропадать) – чтобы быть в курсе дела и понапрасну не нервничать.

А где моя посылка – я пока ничего не знаю. Может быть, ты уже послала ее, как я просил в прошлом и позапрошлом письмах, но я не получил. Плохо то, что от одной посылки до другой (в отличие от бандеролей) должно пройти не меньше года сроку, и так каждый год. То есть в случае запаздывания в этом году придется запаздывать и в следующем году. И думать о посылке поэтому, как это ни скучно, приходится загодя. Вот почему, хотя и есть сейчас у нас кофе, я торможу тебя по этому поводу и нахожусь в легком недоумении. А в отношении бандеролей – ситуация другая: они просто могут быть две в год, и расстояния между ними не имеют значения. И как мне представляется, мои бандероли лучше мне послать поближе к весне, о чем я тебя извещу отдельным блюдом. Так что в итоге от тебя требуются: 1) посылка мне; 2) бандероль Мише (скорее); 3) бандероль мне – потом.

Я надеюсь – все правильно и понятно здесь тебе растолковал, ну а если тебе теперь совсем не до того с Егорычевой болезнью или чем еще – то, понятно, не требуется никаких скоростей и все претензии исключаются.

Думал-думал (тоже своего рода хозяйственная проблема, только масштаб иной), как бы порадовать Егорыча марками. А что решил – смотрите на конверте, куда и наклеиваю сразу двух зубров. Наверное, было бы слаще посадить их внутрь, чтобы они не запачкались (ведь не такой еще у нас Егор филателист, чтобы собирать непременно гашеные марки). Я собирался даже наклеить их прямо на бумажку – в письме к нему, которое приложится, если не уместится на твоей страничке. И только печальный опыт с изъятием всяких картинок заставляет меня сажать этих зубров прямо на конверт. Видать, вырабатывается у меня уже мания – всюду мерещится вмешательство вышестоящей руки. И я бы пре небрегал, когда бы это уже не перешло границы (ну, ладно, не буду опять заводиться...).

Не стану более философствовать, да и письмо пора закруглять, чтобы оно ушло к тебе раньше понедельника (нынче четверг).

Я просто очень сильно тебя люблю, и ты всегда это, Машка, помни и знай, что бы ни случилось. Кроме того, когда ты получишь это письмо, нам останется сидеть только одну четвертушку. Нисколько не преувеличиваю: подсчитай, и сама увидишь, что 75% уже сделано. Умирать же в последнюю четверть, когда три четверти терпели, – было бы просто смешно и глупо. Ну и давай я тебя на этом обниму и поцелую.

А.

19 ноября 1970.

К этому письму прилагаю на отдельном листочке письмо Егору. Очень мне его жалко и тревожно за вас и очень жду известий о его здоровье.



...Анны Андреевны... – Дочь Л.Сергеевой.

...Марины Михайловны... – Дочь В.Швейцер.

...курьезное письмо из города Ярославля. – См. примечание к письму 117.

...заклятие Наташе... – Это финальные строки повести Абрама Терца «Гололедица»: «Говорю тебе, Наташа, перед там как наступит конец. Подожди одну секунду. Повесть еще не кончена. Я хочу тебе что-то сказать. Последнее, что еще в силах... Наташа, я люблю тебя. Я люблю тебя, Наташа. Я так, я так тебя люблю...»

...письмо с Егорушкиным страданием... – «И кровь у нас хорошая, и моча у нас – лучше некуда, и глистов пока что не обнаружено (но это не окончательно, ибо с первого захода они не всегда попадают), а хиреет Егор не по дням, а по часам, и синяки и отеки у него под глазами жуткие, и бледность в лице сине-зеленая, а про объемы ручек-ножек и говорить не приходится, и что с ребеночком – я не знаю, а доктор Нина Ивановна будет только завтра, и пока что Егор ходит в группу через день, а когда не ходит – лежит, бедняжка, один дома, а я убегаю в мастерскую на час-два, потом прибегаю его обедать, потом – опять на пару часов поработать, а Егору оставляю кефир на полдник, и он его съедает сам, а потом я опять бегу к Егору, и вот таким маятником я пребываю, когда Егор не в группе, и что же это такое с нами делается?»

Сгущения последних месяцев... – «...Про все твои терзания я читаю с удовольствием (вот какая у тебя кровожадная Маша): вот как он му-

чается и страдает, что писем нет, значит – любит. И на следующей страничке – опять терзается, и на следующей...

Терзайся-терзайся, думает злая Маша, по крайней мере я своими глазами пойму, как любишь и как тебе нужна, а то что-то последнее время я опять начала сомневаться в этом, что происходит не без помощи официальных и частных лиц.

И чего этим лицам надо – я не знаю, но среди прочих идей чрезвычайно пропагандируется одна – что ты ко мне не вернешься.

Ну, подробности при встрече, а встреча опять затягивается и откладывается, и «нет» мне не говорят, и «да» не слышно, и к чему бы это?

А если это соединить с загулявшими письмами и разгулявшимися слухами, то жизнь моя – совсем печальная и беспросветная».

...не дают свидания... – «Почти каждый день звоню про поездку к тебе. И всё на том же уровне: еще нет, завтра, послезавтра, через два дня, какая вы, однако, нетерпеливая, завтра, в понедельник и т.д. Грустно. Зато Егор насмешил: у тебя, говорит, две фамилии – Марья Васильевна и мама».

Начиная с моего заявления в КГБ о книге Синявского, написанной в лагере и отправленной за границу (см. с.235), жизнь ужесточилась. Стали пропадать мои письма к Синявскому, и поползли новые слухи.

Добрый день... – Здесь шифровка: «В декабре будет голодовка я участия не приму».



ПИСЬМО СТО ПЯТНАДЦАТОЕ

Дорогие мои, ненаглядные Машенька и Егорушка – поздравляю вас с имеющими скоро начаться днями ваших рождений, которые для меня всего краше и лучше в жизни и которые уже не за горами даже здесь, в моем далеке, тем более у вас, когда вы получите мое письмо, встающее сейчас на цыпочки, чтобы дотянуться до вас и расцеловать. Чтобы вас порадовать и вправду тоже, скажу, что нам не так уж долго ждать друг до друга. Потому что только один Новый год будет нас скоро разделять, да и то все убывая и убывая. Но лучше, Маша, не так считать*, как ты это делаешь в недавней открытке, измеряя время совсем не теми величинами, которые нам соответствуют. Ну как можно, например, подключать сюда ту дачу, сидя на которой вы вот-вот уже увидишь меня?! И количеством писем ты считаешь тоже неправильно: не сорок пять, а сорок писем остается. Во-первых, отнимем то сентябрьское, которое придет уже после нашей встречи; потом отнимем то, которое уже написано было, когда ты считала, и потом еще одно, прошлое, и минус вот это нынешнее, и плюс еще то надо вычесть, которое я напишу в то время, как ты только будешь это читать. Вот как быстро пять из сорока пяти мы уже сделали!

Но на самом деле нужно считать по-другому, и, кажется, летом я тебе про это говорил, но ты еще не усвоила. А нужно разделить остававшийся тогда кусок на семь отрезков, каждый из которых равен четырем месяцам, что более соответствует нашему измерению. Не такой уж большой и не такой уж маленький – самый подходящий отрезок, и достаточно компактный, цельный и трудоемкий. И вот что получается в результате. Тогда, летом, мы жили в седьмом отсеке, а сейчас, вернее скоро, сразу после Нового года,

мы находимся в пятом. Итак, два из семи надо снять. И если не считать пятый отсек, который уже идет и таким образом поддается обозрению и окончанию, а также не считать тот, который первый от конца, потому что тогда мы все уже будем жить в сплошном предвкушении, то остается, таким образом, в чистом виде три всего кусочка, которые нам и надо пройти.

Многовато арифметики, но как не посвятить тебя в мою систему счета, которая гораздо удобнее и реальнее твоей?

А еще я недавно слышал фразу в разговоре, сказанную совершенно серьезно: – Мне теперь немного остается – четыре с половиной года.

А ведь это в три раза больше нашего.

А еще я получил от тебя пять открыток и одно, 75-е письмо. Между ними комплект Глазунова, искренне изумивший меня моей же отсталостью: я и не подозревал, что за это время он сделался таким распространенным художником. Но еще удивительнее видеть Рериха и Мусатова на нынешних открытках. Если так дело пойдет, то, когда я выйду, на открытках уже вовсю пойдет Татлин с Малевичем, и ты, пожалуйста, их все покупай, чтобы мне совсем уже не остаться в хвосте искусства.

Опять же жалко Каргополь с Кирилловым: если Глазунов их так распатронил, что же нам остается делать? Но какой у него совершенно декорационный подход. Словно в опере о Князе Игоре и граде Китеже. И как он сдирает с Рериха...

А про Егорову болезнь* меня совершенно укрепил во мнении, что она нервная, довод, что по субботам и воскресеньям эти бактерии отдыхают. Я и не знал об этом обстоятельстве. Но, вероятно, все-таки не так виновата бабушка, как общий нажим жизни, в которой надо спешить, и бояться опоздать, и слушаться маму, хотя кусок не лезет, а также наследственная, идущая еще от бабушки боязнь опоздать на поезд, что повлияло даже на Осичку, который торопился первым сесть в вагон. Должно быть, какой-то период, если Егора возить в группу, – нужно будет специально несколько замедлять темп сборов в дорогу и стиль еды и не пугать его надвигающейся, неустранимой торопливостью существования, хотя на все это нужны и время и нервы, но нам не остается ничего другого, Машечка, как держать себя в руках и быть спокойными.

Видимо, от занятий подсчетами мне вдруг пришло в голову, что, даже когда Егору исполнится шесть лет, я буду старше вас вместе взятых, и поэтому вы оба должны меня слушаться.

А молния-то расстегивалась совсем не на конце, а на хвосте*.

22 ноября.

Немного подморозило, и я стал жить крепче и бодрее. И вдруг заметил с удовольствием ушедшего уже далеко человека, что темнеет-то рано, а светает-то вон как поздно, позднее некуда, так, значит, мы уже в глубине, в зиме, и как это я не заметил, когда прежде здесь, что ни год, это все подмечалось, изучалось, чуть ли не день, со всякими ахами, вздохами, приговариваньем, а нынче, поди ж ты, проспал, прошляпил, а уж куда темнее, темнее некуда. И так я обрадовался, Маша, что даже странно.

А вчера пришли одновременно телеграмма и открытка про то, что ты едешь. Как-то не верится. Уж очень давно ждал и в прошлом письме даже впал по этому поводу в легкое буйство*. Ну ничего. Ты его получишь уже после свидания, и впечатление от моего неуравновешенного настроения, я надеюсь, сгладится.

А сейчас что-то вроде разрядки – в устало-блаженном памятовании, что мы увидимся, ведь увидимся же!..

24 ноября.

Приятно так жить – все делая к твоему приезду – чистить зубы, мыть шею, есть кашу, спать – и все принимает сразу удивительную осмысленность.

Мне кажется, это похоже на репетицию того прекрасного состояния, какое, Бог даст, мы испытаем когда-нибудь через год, или немного раньше или немного позже, когда можно будет жить, непрестанно во всем готовясь и даже не поспевая – к милочному дню.

А я уже запасся бумажкой про трехдневный отгул, который мне положен за внеурочное время работы, давным-давно заготовленное впрок для тебя. А сейчас и бумажка есть в кармане...

Еще никогда не было, чтобы я за столько времени знал о твоём приезде, – и это и трудно столько дней волноваться, приближаясь к тебе, но и хорошо тоже, как-то очень наполненно,

так что я даже воздухом нарочно сегодня вылез подышать в честь твоего приезда. Дескать, пригодится воздух-то – чтобы дожить.

25 ноября.

Прискакало – в буквальном смысле, обогнав семь еще не полученных писем, – 83-е письмо, с тем же прекрасным известием о твоём возможном приезде. А я так жду тебя сейчас, что даже боюсь получать письма: вдруг придет с другим поворотом обстоятельств или откладыванием, и вот я согласен пока только чтобы увидеть тебя без проволочек, а потом уже и письма получить... Многого захотел! Так ведь сколько же не виделись!

А все-таки, Маша, мы много дали друг другу – даже если считать по одним лишь домам свиданий, где мы имели счастье встречаться, – сколько смеху и самой чистейшей поэзии...

То письмо было черное, а это пока все идет светленькое, в самом поздравительном тоне.

– Термйн (тёрмин).

– Да ты бандитее меня!

– Его поразило грубое сходство с говядиной.

Еще за пять лет так устал от людей, что, бывает, зайдешь в комнату и по телу физически, волнами разливается блаженство: она – пуста.

А сегодня (пятница!) писем от тебя не было, и я – наверное, впервые в жизни – не очень огорчился. А получил письмо из Калуги*, на сей раз что-то очень минорное. Первое-то было с веселой сумасшедшинкой, жеребячье – от избытка воздуха вокруг.

Как-то ничего не можется делать – все на тебя отвлекаюсь, и не только мыслями, что всегда бывает, а как-то целиком, невозможностью и неинтересностью жить ни на какую другую тему, кроме твоего приезда. Что же делать еще, чем заниматься – если ты едешь?

От нечего делать пришел все пуговицы. И штаны залатал. Давно надо было, да все не было времени, а теперь вдруг образовалась такая масса его, что не знаешь, куда себя деть.

Сплошные междометия.

27 ноября.

Пока есть время, побалуясь цитатами, выпавшими, как карты, из разных книг – на тему земли и неба, порядка и красоты, гармонии и церемонии, позволяющими понять, как и почему в древние времена самая жизнь в определенных аспектах преисполнялась чудным искусством, что накладывало и на искусство печать, превращая его в густое и постоянное сопровождение жизни.

I. *Константин Порфирогенет* (он же *Багрянородный*, 905–959 гг.) в Предисловии к своей книге – О церемониях при византийском дворе:

«Не пропорционально, а как попало сложенное тело, когда члены его не составляют гармонии, любой назвал бы нестройностью, так и царское правление, если бы оно не велось и не направлялось бы по известному порядку, нельзя было бы отличить от низкого и неблагородного уклада жизни. Чтобы этого не произошло и чтобы не казалось, что мы, пренебрегая этим порядком, оскорбляем царское величие, мы решили все то, что в более ранние времена установлено и очевидцами передано, и самими нами видено, и в наши дни принято, тщательно выбрать из множества источников и представить для удобного обозрения в этом труде тем, кто будет жить после нас; мы покажем забытые обычаи наших отцов, и, подобно цветам, которые мы собираем на лугах, мы прибавим их к царской пышности для ее чистого благолепия; это будет походить на некое блестящее зеркало, водруженное среди властителей, в котором отражена совершенная красота, все, что подобает царской власти и сенатскому сословию, и пусть правящая рука в красоте и порядке держит поводья управления.

А чтобы написанное было ясно и понятно, мы пользовались речью простой и обиходной, словами и названиями, издавна в любом будничном деле принятыми. В них воплощены размеренность и порядок, всеобщая слаженность и гармония, царской власти присущие, творцом установленные, так что для созерцающих это зрелище величаво, а значит сладостно и удивительно. Поэтому и следует сказать, как и по каким правилам исполняли и отправляли каждый обряд» (Памятники Византийской литературы IX–XIV веков. М., 1969, стр. 77–76).

(Как синоним «великий» переходит в «красивый». «Величие» и есть «красота», предполагающая «порядок», в устроение кото-

рого царь ставит спектакли для подданных, выступающих в качестве зрителей «державы». Социальное пронизано эстетикой, подобно золотому шитью, на которое клевали романтики, тяготившие к монархии по эстетическим соображениям. Нам же интересно другое – широта и полнота искусства, не игравшего самостоятельной роли, сведенного к прикладному значению, но зато приложимого всюду – и в религии, и в государственности. Ощущение, что в прошлом было много искусства, – в общем правильно; и музеи, набитые рухлядью, это подтверждают.)

II. *Урядник Сокольниковского пути* (т.е. ведомства царской соколиной охоты, которую обожал Алексей Михайлович, сам, возможно, принявший участие в составлении Урядника), XVII в.:

«Государь, царь и великий князь, Алексей Михайловичь, всеа Великия и Малыя и Белья России самодержец, указал быть новому сему образцу и чину для чести и повышения ево государевы красныя и славныя птичьы охоты, сокольничья чину. И по ево государеву указу никакой бы вещи без благочиния и без устроения уряженного и удивительного не было, и чтоб всякой вещи честь, и чин, и образец писанием предложен был. Потому, хотя мала вещь, а будет по чину честна, мерна, стройна, благочинна – никто же зазрит, никто же похулит, всякой похвалит, всякой прославит и удивится, что и малой вещи честь, и чин, и образец положен по мере. А честь и чин и образец всякой вещи большой и малой учинен потому: честь укрепляет и возвышает ум, чин управляет и утверждает крепость. Урядство же уставляет и объявляет красоту и удивление, стройство же предлагает дело. Без чести же малитца и не славитца ум, без чину же всякая вещь не утвердитца и не укрепитца, безстройство же теряет дело и составляет безделье. Всякий же, читателю, почитай, и разумевай, и узнавай, а нас слагателя похваляй, а не осуждай». («Изборник». М., 1969, стр. 567).

(Общесредневековая склонность к чину-уряду получает здесь свойственный XVII столетию оттенок витиеватости, кокетства, пестрой игры ума декадентского эстетизма. Установитель чина больше любит им, нежели благоговеет, больше играет в бирюльки, чем прозирает структуру мира. Декоративизм берет верх над формой.

И все же – здорово. Здорово, что урядник (полицейский то

есть) равнозначен режиссеру, дизайнеру. Что наряд и порядок связаны. Что урядство зовет красоту в объятья, и куда ни плюнь – искусство: искусство соколиной охоты, лошадиной езды, гулянья, плеванья. Понятно, что искусство тогда совпадало со словом «хитрость» (уменьше что-то устроить, урядить, поставить на свое место). Что искусство и наука (хитрая наука) шли об руку...

Важна здесь не столько мысль, сколько слова, сближающие понятия, для нас уже удаленные, но тогда стоявшие в удивительной близости. «Красносмотрительно же и радостно высокова сокола лёт». Красносмотрительно! Или возглас, открывающий ритуал обрядования сокола: «Начальные, время, наряду и час красоте». – Можно пожелать журналу «Декоративное искусство» взять эту фразу своим девизом.)

III. «Лицзи» («Книга установлений», или «Записки о нормах поведения», Китай, III–II вв. до н.э., – свод правил, регламентирующих поведение конфуцианцев. Одна из глав – «Записки о музыке («Юэцзи»)):

«Музыка идет изнутри, ритуал и правила поведения – от внешних выражений. Раз музыка идет изнутри, она чиста и спокойна. Раз ритуал идет от внешних выражений, то он изящен. Великая музыка должна быть легкой и естественной, великий ритуал должен быть простым. При совершенной музыке не было недовольства, при совершенном ритуале не было борьбы. Управлять Поднебесной значит уметь применять правила поведения и музыку».

«Великая музыка – как гармония неба и земли. Великий ритуал – как различные категории на небе и земле. Установленная гармония приводит к тому, что каждая вещь идет своим путем и не сбивается».

«Лишь ясное понимание того, что относится к небу и земле, может привести к процветанию ритуала и музыки» («Музыкальная эстетика стран Востока». Л., 1967, стр. 188, 189).

(Чем древнее, тем ярче проступает единство политики и искусства, тем единее всё и ближе к источнику. В «Земле и Небе» надо бы добавить главу: «Иерархия» – о проблемах композиции, уряда, которые при всем том на Руси норовили раскваситься в сплошное цветное пятно. Обратимость ритуального консерватизма в популярное равенство лубка. Побеждающая, приливаю-

щая сказочность русской души, небрегающая композицией почти китайского церемониала.)

29 ноября.

Маша-Машенька, как бы все рассказать и объяснить по порядку. Ну, сначала темно и холодно. Очень темно и очень холодно. В окнах вагона, полупритушенных, ничего не разглядишь. Помахали впустую*. Это – детское махание ручкой на каком-нибудь полустанке. Вытягивание души вдаль уходящему, на покачивающихся ногах.

Помогло то, что в эту же ночь подняли на погрузку контейнеров. К половине третьего я достаточно уже отдохнул и был рад этой физической встряске, пробы на морозе, не поддайся, – словом, встрече с реальностью, одним ударом, рывком возвращающей к жизни из рая, в тоске по которому можно издохнуть. Эта ночь поставила на ноги, и днем я уже спал сном младенца.

То есть опять помогла зима. Главное – как-то внезапно мы попали в декабрь, так что встряхиваю башкой, осознавая: неужто декабрь? в самом деле декабрь? не может быть! Но снег, романтический снег уже грезит о Рождестве и подтверждает: декабрь. Ах, вы, мои любимые, непрестанные, незабвенные... И свет в окошке – тот самый, из оперы «Евгений Онегин», из пальмы, из тебя. Как было прекрасно! (даже когда ругалась – все равно прекрасно). Мне иногда кажется, что ты сделана из хрусталя.

Яблочки, понятно, раздал. Нэс* тоже совместно. Пирожное оказалось шербетом. Это мне растолковали восточники, специалисты. А я-то думал, шербет гораздо экзотичнее, сказочнее.

Все хорошо, все очень хорошо. И даже я, не очень склонный на подобные обещания, на сей раз тебе, кажется, повторял, что все будет хорошо.

(И еще ужасно понравилось возвращение к Онеге на фоне ковровой собаки. Только балалайку я бы больше сравнил с лютней. Не из-за красивого слова, а просто больше сходства.)

Потом я начал читать твои письма – те, что пришли перед самым твоим приездом, а также – новенькие, две открытки и 85-е (где ты меня прорабатываешь), которое тоже пришло мгновенно. Так вот, это все я стал читать и перечитывать, слегка меша-

ьясь в уме на наши речи, которые продолжаютя в этих письмах (76–79), и вообще все продолжается.

А красивая литовская марка с гербом! (Забыл тебя спросить про европейское средневековье – согласна ты или нет на перепончатую трактовку?) И про тибетца опять понравилось, и что мы столковались бы с тобой по части шаманов. И родное словцо «разнотык», вставленное в бабушку.

А про важный совет в салоне, о котором ты пишешь в письме, что он еще будет, ты не рассказала. И еще мы позабыли поговорить о статье Бочарова в «Д.И».

Зато хорошо – про японцев, и ты права с ними. А в письмах – я все дакаю и дакаю: да, говорю, картинки, не лобовые, а боковые. Как бы на полях. (Можно было бы и вообще на полях, если их раскатать на полстраницы и какого-нибудь не белого, а бледно-зеленого или серого тона, по которому, почти как орнамент, фотографии всяких прялок и складней, снятые не в фокусе, размытые по зеленому фону, а буквы не столько большие, сколько зернистые, крепкие, чуть-чуть впадающие в готический шрифт, – как ты считаешь?) Но не обязательно на полях – буквально, а как бы на полях, по дальней ассоциации.

А Егорыч мне пишет какие-то очень трогательные письма, которые я, может быть, слишком прямо понимаю – про «скучаю», например. И все правильно пишет: в слове «напиши» после «ш» – «ы».

В этот приезд мы о нем мало говорили – потому что грустно, наверное. Но я о нем все думаю и думаю, и очень хочется с ним пожить-погулять месяцами, годами...

А ты – прекрасна.

4–5–6 декабря.

Потом я стал читать открытки, сам для себя угадывая, где Рерих, где Кузнецов, где Марке, где Глазунов. И все правильно угадал.

Глядя на Глазунова, видать, что пора уходить от декоративно-романтического восприятия седой старины. Даже от «Мира Искусства», которому он подражает. Но не от искусства же – вот ужас! – не от искусства же, по вине Глазунова?

– Лист бумаги – как лес беглецу.

– Солдат, то и дело отдающий честь в пустоту.
– В своих глазах я вижу его прокаженным!
– Во мне злости столько, что положи меня на лед – на полтора метра оттает.

– Читал с надеждой, что какая-нибудь шальная, непрочитанная мысль попутно залетит ему в голову, обычно так и бывало.

– И взгляд его на моем лице как щупкий шаг паука.

Словари, которые надо иметь в доме:

Даль. Толковый словарь (переиздан – кажется, в 4-х томах).

Фасмер. Этимологический словарь рус. яз. (недавно издан в 4-х тт.).

Преображенский. Этимологический словарь (редкость).

Срезневский. Словарь церковно-славянского и древнерусского языка (сверхредкость).

Собр. соч. Вл. Соловьева.

Л.Леви-Брюль. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937.

Еще хорошо бы иметь в доме книгу: Анна Комнина. Александа. М., 1965 (из серии Памятников) – это чудесная хроника в чудесном древнедамском стиле.

А из новинок меня занимает книга: Б.Успенский. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы. М., «Ис-во», 1970.

И несколько раз пытался выписать «Книга – почтой» и получил отказ на: «Гоголь в воспоминаниях современников». М., 1952.

Кстати, одну-две книги ты бы могла привезти мне на свидание, и на общее тоже – их просмотрят и отдадут.

И еще, кстати, напоминаю, что хорошо бы нам подписаться на новое Полное собрание сочинений Достоевского.

А также пускай Турковы* меня подпишут на «Знание – силу».

Вот, кажется, все книжно-журнальные данные, которые я собрал в кучку.

Еще мне повезло, что три дня (включая отгул за ту ночь) у меня сейчас выходные, и мне легче, заручившись ими, оглядеться и опомниться.

Боже, как хороша зима. И в солнце и в снег, и ночью и утром. Она удивительно молодая и сильная и возвращает к жизни.

А я и не знал, что много пишу тебе про погоду и про природу.

И ты умничка, что возвратила в смысле умственной полноценности. Не то чтобы я стыдился маски дегенерата. Но все же иногда надоедает ходить в дураках и в золушках.

И еще я радуюсь, как ты трактуешь книжки про всякую древность. Но их все надо иметь, чтобы быть в курсе. И поэтому тоже нужна «Знание – сила».

4–5–6 декабря.

Если бы он закрепился на этой безупречной позиции спасения человечества силами красоты – чтением «Одиссеи», общением с прекрасными женщинами, слушаньем музыки, созерцанием антиков, – никто бы на него не обиделся и не рассердился. Ну, вздохнули бы грустно над милым идеалистом, поздравили бы Россию еще с одним Шиллером, и дело в шляпе. Но Гоголь дело России, дело претворения в плоть слова красоты совершенной, принял к сердцу, буквально, не в мечтательном куреве прежних своих арабесок, где все удалено, смягчено зыбкой проблематичностью, всемирной географией, немецкой философией, растворенными в море ускользящих иносказаний, высокомерной и малокровной духовности, а честно, без дураков, с ножом к горлу: вынь да положь! В подмогу прекрасному он не замедлил привлечь гражданские и церковное ведомства, хозяйственный статус и разум, съевший собаку в вопросах психологии, педагогики, подвергнув души читателей самой интенсивной, чувствительной разверстке и обработке. То, надо думать, была тотальная мобилизация автором всего своего мирского запаса и аппарата.

И все же, можно догадываться, то не было изменой поэзии, но – развитием почерпнутых в ней энергий, свершений до ее уничтожения. Красота от полусонных зевков и шамкающих пререканий с действительностью («Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!») решительно пошла на таран; в жажде повелевать и видя, что дело не клеится, она кинулась уговаривать зрителей стать прекраснее, чище и разом растеряла последнюю убедительность. Ее лицо исказила тоскливая напряженность, натужливость. Искусство в лице Гоголя надорвалось в усилии пересоздать действительность по образу Утопии, тем более неподъемной, что автор пожелал в ней стоять на твердой почве. (Его снова и снова подвел его реализм.)

«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь вы стоите над бездною...» (Письмо В.Г.Белинского, 15 июля н/с 1847 г.).

Гоголь-то был спокоен, что под ногами у него прочные рельсы, реальные установления общества, в которое мы посланы жить, ничего не меняя, не сдвигая с места, не дав увлечься себе какой-нибудь вздорной реформой, сомнительной, единовременной гипотезой или теорией, но соблюдая во всем строжайшую осмотрительность. Письмо Белинского поразило его крайним субъективизмом, горячечной односторонностью взгляда. Напротив, его ответ знаменитому критику обескураживает успокоительной логикой, готовностью к примирению, что вызвано не одним лишь тогдашним подавленным состоянием Гоголя, но выросшей еще в «Переписке с друзьями» тенденцией все увязать, взяв всякую вещь во внимание, найдя для нее надлежащую благоразумную середину. Право же, как-то неловко встретить такую терпимость, умеренность, рассудительность в устах такого фанатика, каким он прослыл в эту пору!

«Не все вопли услышаны, не все страдания взвешены. Мне кажется даже, что не всякий из нас понимает *нынешнее* время, в котором так явно проявляется дух *построенья полнейшего*, нежели когда-либо прежде: как бы то ни было, но все выходит теперь внаружу, всякая вещь просит и ее принять в соображенье; старое и новое выходит на борьбу, и чуть только на одной стороне перельют и попадут в излишество, как в отпор тому переливают и на другой. Наступающий век есть век разумного сознания; не горячась, он взвешивает все, приемля все стороны к сведению, без чего не узнать разумной середины вещей. Он велит нам оглядывать многосторонним взглядом старца, а не показывать горячую прыткость рыцаря прошедших времен; мы ребенки перед этим веком» (Письмо В.Г.Белинскому, 10 августа 1947 г.).

Все правильно: Гоголь искал гармонии. Да век-то, оказалось, менее всего склонялся к золотой середине. В его расстановке Гоголь исходил не из каких-то идей (он вообще не доверял идеям), но из окружающей данности, из наличного бытия и разрушительные процессы, потравы надеялся уравновесить чем-то стабильным, солидным, в виде полномочно и долговечно существующих

церкви, царя, губернатора, которые ведь были реальны (губернатор реален, а генерал-губернатор куда реальнее!) и находились при деле, на должности, укоренные в бытии, испробованные на опыте (можно проверить, потрогать), и сам не заметил, как попал в ретрограды. В поисках равновесия его заносило назад.

4-5-6 декабря.

И еще я смотрю, как много у меня всякого припаса: шариковых стрижней и зубной пасты хватит до конца срока.

А ветчинную банку и супы мы еще не ели – и все еще впереди.

С декабря, с твоего приезда, я как-то забеспокоился, что мало времени в сроке остается, чтобы проработать все книжки, у меня накопившиеся (хотя бы на одни «Сказки» Афанасьева сколько еще нужно!), и понял, что время убывает быстрее, чем мы думаем.

С декабрем мы перерезали зиму пополам, она упала за нашей спиной и лежит без движения, а мы по колено в снегу идем дальше – туда, к маю, к июню... Достигаю взглядом до августа (дальше пока не вижу).

Возможно, зимние страхи тоже уже позади.

Все это немного похоже на путешествие Магеллана. Забавно, что ты вспомнила о бурлаках. А я всегда о них помнил. И о шахтерах тоже.

И приятно, как вспомню, что в апреле совсем не 19-го, как думал, а 5-го. Потому что январь и февраль компактные. А март длинный, растяжимый. Март всегда растяжимый.

А спина у меня сейчас не болит. И хорошо бы у тебя тоже ничего не болело. И Егорыч бы постепенно освоился в жизни и шел бы с нами в ногу.

Опять же забыл спросить про неосентиментализм.

И еще я многому у тебя и при тебе радуюсь и удивляюсь.

Все-таки мне хотелось послать это письмо на один денечек раньше обещанного. Чтобы тебе всегда было от меня больше, чем ты ждешь. Чтобы оно ушло не 8 утром, а 7-го. Кажется, получилось.

Целую тебя нежно и крепко.

А тибетские травы в супе мне весьма пришлись по вкусу.

А.

6 декабря 1970.

Письмо Егору прилагаю.



Но лучше, Маша, не так считать... – Из моего письма: «А сегодня нам осталось год и десять месяцев.

Как много!

Два Новых года, две дачи и сорок пять твоих писем, включая уже отправленное 5 (?) ноября и первое сентябрьское в 72 году».

...про Егорову болезнь... – Из моего письма: «Что же нам делать с нашим ребеночком, от которого пару дней назад пришла в ужас доктор Нина Ивановна и сказала, что его надо немедленно госпитализировать, так как у него чрезвычайное истощение без внешних признаков болезни, и надо проводить клиническое исследование, ибо такие утренние рвоты иногда дают лямблии (какие-то печеночные глисты), и поймать их можно только в больничных условиях.

А знакомая невропатологиня (которая лечит Меньшутина) заявила, что все это на нервной почве, потому что где вы видели таких грамотных лямблий, которые работают только когда надо куда-нибудь собираться и идти, а по субботам-воскресеньям, когда никуда спешить не надо, – эти лямблии тоже отдыхают, и при таком состоянии нервной системы ни о какой госпитализации речи быть не может, так как это будет для Егора жуткая травма».

...не на конце, а на хвосте. – Я прислала А.С. открытку с каргопольской картинкой Ильи Глазунова и текстом телеграммы, которую в нашу первую поездку, летом 1955 года, А.С. отправлял Е.Докукиной из Каргополя.

«Мою ноги Онеге. Отыскался след Тарасов. Пришли молнию растягивается на конце...»

А Глазунова издают уже целыми комплектами».

...легкое буйство. – Из моего письма: «И как тебе не совестно! Думаешь – от жены письма не приходят!!! Всего только 12–15 в месяц да десяток открыточек...

Ну, ребенок прихворнул – так все они болеют, у жены гипертония – так ей тоже не 25 лет... Так с чего такие отчаянные вопли?

Тебе же еще не объясняли, что я померла или вышла за кого-нибудь еще, а вот получив такие твои рассуждения, я целую ночь не спала, и сегодня опять болит сердце. А ведь с сентября не болело.

И за что ты меня так?

Наверное, в этом письме особого смысла нету, так как в кармане уже лежит билет к тебе, и, может быть, все, что здесь изложено, ты услышишь от меня в устной форме и укрупненных выражениях, но... чем черт не шутит, вдруг чего не получится...»

...письмо из Калуги... – От Ю.Даниэля.

Помахали впусую. – Вслед поезду, на котором 30 ноября я уезжала с общего свидания.

Нэс... – От французского Nescafé, марки растворимого кофе.

Турковы – Жена литературоведа Андрея Туркова работала в редакции журнала «Знание – сила».



ПИСЬМО СТО ШЕСТНАДЦАТОЕ

Еще не успели дни рождения пролететь, а я вас, детки, уже с Новым годом поздравляю! И с Рождеством Христовым!

Интересно, удалось ли тебе построить Егорычу елку в этом году? В Германии вон, пишут, елки в лесу теперь опрыскивают какой-то вонючей дрянью, чтобы не крали, которая, как размерзает, сразу начинает ужасно пахнуть.

Еще мне понравилось про стекляшки, на которые европейцы хотели у дикарей покупать за бесценок раритеты, и как ты ответила. И про котятков тоже очень понравилось.

И вдруг я заметил, что научился от тебя, когда сморкаюсь, мотать головой. Раньше я это не делал.

А как ты считаешь, не облысею я оттого, что все время сижу в шапке?

Интересно, почему у меня в письмах много про погоду и про природу? – потому что ее мало или потому что ее много? Но помимо прочего, – появилось доверие к ней – с любым дождем, жарой или морозом. Все ее действия воспринимаются как забота о нас. И рука дружбы и помощи. Небо надежнее крыши над головой. Не в метафизическом, а в самом телесном смысле. Кожей чувствуешь поддерживающую руку природы. Какая же она равнодушная, когда на ней одной только все и держится? И в газетах пишут: малейший перегрев с нашей стороны или отбросы, химия, физика, и все летит к чорту. Но, значит, по какой тоненькой тропке между холодом и огнем, наводнением и засухой, по какому лезвию ножа ведет нас природа, чтобы мы жили, вот уже сколько веков, никуда не сворачивая и выбирая среди стольких возможностей этот предельно узкий и единственно правильный путь!

С Новым годом, с новым счастьем, мои светики!

. 8 декабря.

Забавно, что радио в секции увертывают только тогда, когда оно играет классическую музыку. Особенно не переносят симфонии. С участием скрипок совсем невыносимо. Я вспомнил Осипа*.

Вообще надо быть скромнее и не думать, что в своем естестве мы очень уж превзошли лошадей – или кошек. Мы ближе к ним, чем это кажется с первого взгляда, и это тоже неплохо. Почему лошадь можно бить, а меня нельзя? Наоборот, присутствие во мне развитого сознания это более допускает, потому что я понимаю что к чему, и значит, мне легче. Если меня надо пожалеть, то скорее за мою физическую неприспособленность по сравнению с лошадью. Не потому, что я выше ее, а просто потому, что слабее. Как неприлично бить женщин.

Такие понятия, как «личное достоинство» и т.п., я ощущаю как общепринятый код обозначения вещей, как удобопонятный и практически выгодный воляпук, своего рода жаргон, типа восклицаний «скажите пожалуйста», «да что вы говорите», на котором можно объясняться. Но всерьез это понять и принять никак не возможно. В глубине нет никакого «личного достоинства».

Вот где-то в книге возмущаются, что Платона продали в рабство. А почему бы и нет? Разве это не подходит к Платону? А Эзоп вообще был рабом, и не исключено, что это ему соответствовало.

Все хорошо. Только вот телеграммы от тебя нет как нет.

9 декабря.

– А имя «Маргарита» я знаю, потому что с одной Ритой переписывался.

Кстати, какая бывает переписка. Один писал письма заочнице, и, поскольку не был таким уж грамотеем и писать ему было особенно не о чем, он, сам рассказывал, накалякает ничего не значащие слова, да побольше, а потом зачеркнет густо-густо, и так почти все письмо пишется – на одном зачеркивании. Так она эти зачеркнутые места и на свет смотрела, и молоком мочила, и все ей мерещилось – там самое важное сказано, и просила его еще раз в письме воспроизвести все зачеркнутые слова. Они ей были всего краше и слаще. Из этого мы видим, как и в жизни действует закон поэтической недосказанности. Очень мне понравилось это зачеркнутое письмо. Литературный прием.

Еще мне нравится замедленность существования по сравнению с обычным ритмом жизни, которым, хотят не хотят, руководствуются, чтобы успеть на автобус, на службу, в театр. Поэтому мысль здесь течет как бы естественнее, без ухищрений разума кого-то опередить. Торопишься лишь в отдельных, локальных случаях, а в более обширном значении перестаешь спешить – (куда?). И бытие раскрывает шире свои голубые глаза.

Мертвые, не исключается, потому нас пугают, что, кажется, зорко подсматривают за нами из-под приспущенных век. Поэтому специалисты именуют их непочтительно «жмуриками».

Иногда одолевает немотивированный приступ веселости. Когда мы смеемся, мы свободны. Никто так не хохотал, как Рабле. Он буквально трясся от распиравшей его свободы.

Нам нужно вернуть ощущение дышащей жизни.

– Нет, ты пойми! Работает без каких-либо физических усилий! (Чудодействие машины.)

Жизнь – как жертва, которую либо мы принесем, либо нам принесут, но тогда уж не открутиться.

– Человек, голодный как волк.

– Я работал как лев возле этого деда.

– Стоит повар – будка: 40 на 90.

– Это – как любовь, которую носишь повсюду и заходишь в гости вдвоем.

10 декабря.

(Немного о Гоголе – точнее, о его реакционно-утопических взглядах в «Переписке с друзьями».)

Он не хотел быть ни правым, ни левым, ни западником, ни восточником, но самым что ни на есть образцовым, благонамеренным гражданином. Середину он полагал на строго консервативной основе. Основа же, по его вычислениям, нуждалась в востании мертвых – в восторге и перевороте, которые бы, ничего не меняя, раскрыли природу вещей, вернув их на прежнее место, в изначальное положение. Все призвано было остаться таким, каким было, став абсолютно иным, небывалым, неузнаваемым. Отсюда и максимализм, ультимативность предъявленных им обществу счетов, и угодливая осторожность в уяснении перспективы.

Он шел не путем реформ, поправок, нововведений, но – восстановления в Боге, пресуществления в Вечность всего, что почиталось законным, а значит, предустановленным, истинным. Будущее ему рисовалось в символах настоящего, стремительно, в жажде прогресса, поворотившего вспять. Он не желал ничего выдумывать, изобретать, добавлять от себя, но брал вещи как есть. Он был практичен. Именно боязнь скороспелых, непроверенных путей и решений, склонность мыслить резонно, трезво, наверняка – толкали его тогда к невообразимым химерам. Он был тем более утопистом, чем менее был склонен к утопиям.

Гоголь не был Дон-Кихотом. Он был Дон-Кихотом, смешавшим донкихотские выходки с ухватками Санчо Пансы, и досаждал своим здравомыслием хуже сумасшедшего. Это сообщало его алхимии характер мануфактуры. Он был, я бы сказал, мистическим материалистом и свою эсхатологию поверял экономикой. Анахорет, бессребреник, он лез в министры финансов, и планы его обычно были просты и дерзки («– Рыбью шелуху, например, сбрасывали на мой берег шесть лет сряду; ну, куда ее девать? я начал с нее варить клей, да сорок тысяч и взял. Ведь у меня всё так»). Легковерие, беззаботность по части реализации замыслов самых несусветных сочетаются у него с въедливым упрямством, с занудством вникать во всякую дрянь, с тем чтобы заранее все обсудить, рассмотреть и сесть в лужу обдуманно, всесторонне; слабость к сказкам, к воздушным замкам – с кулацкой прижимкой, с нахрапом старого барыги и ябедника, ужиливающего чужую деньги; детская наивность, беспомощность в современных предметах – с каким-то крысиным чутьем к историческим трассам и кризисам.

Ведь это Гоголь в качестве палочки-выручалочки поднес России – не Чацкого, не Лаврецкого, не Ивана Сусанина и даже не старца Зосиму, а – Чичикова. Такой не выдаст! Чичиков, единственно Чичиков способен сдвинуть и вывезти воз истории, предвидел Гоголь в то время, когда не снилось еще никакого развития капитализма в России, и все было глухо забито обломовыми, скалозубами, и требовалось полвека, пока Щедрин, раскусив орех, выплюнет эпиталаму Чумазому, а Гоголь уже тогда тихонько двинул шашки и вывел в дамки – мерзавца: этот не подведет!..

«Нет, пора наконец припрячь и подлеца.

Итак, припряжем подлеца!»

Его пронизательность тем шибче вас озадачивает, что в этом гладком, респектабельном, словно из задницы сделанном лице не видно никакого просвета, как и в пороках его нет никакой сверхъестественности, таинственной исключительности, могущих что-то сулить, – ровно ничего, кроме общего места, денежного оборота, расчета все одолеть и побить копейкой. Скотобаза! Оттого-то на ней, понял Гоголь, и можно строить, и взял курс на Чичикова. Причем как раз недостача человеческого лица, съеденного напроць делячеством, одноклеточность всего существа и состава, способных, однако ж, к колоссальному разрастанию все одного и того же, круглого, воспроизведенного в миллионах нуля, оказывались гарантией, что он, и никто другой, послужит генератором историческому прогрессу. В тех условиях Чичиков был откровением, был, если хотите, нуждой и надеждой отечества.

«Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: *вперед?* кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем¹ мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек. Но веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово» («Мертвые Души». Том второй. Глава первая).

«– Русский человек, вижу по себе, не может *без* понукателя: так и задремлет, так и закиснет.

...Иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек – какой-то пропащий человек². Все думаешь – с завтрашнего дни начнешь новую жизнь...

Мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живет, собирает и копит деньги, не верю я и тому. На старости и его чорт попутает: спустит потом все вдруг. И все

¹ Без чародейства он не мог обойтись!

² В ранней редакции второго тома Хлобуев в этом месте уточняет: «Нет силы воли, нет отваги на постоянство».

так, право: и просвещенные и непросвещенные» («Мертвые Души». Том второй. Глава четвертая).

Вся эта веками копившаяся, растущая по ходу поэмы потребность России в двигателе, в железном дельце подводит неукоснительно к Чичикову, который, поистине, вытянет гоголевскую повозку, застрявшую в мякине где-то на полпути к идеалу. Уж он-то не свернет, не обабится. Но будет ради рубля, безо всякого понукателя, сам всех торопя и толкая, не зная отпуска, ни совести, ни любви, всецело замещенных рефлексом приумножения, тащить и двигать вперед. «– Если уже избрана цель, уж нужно идти напролом». Эта жестоковыйная заповедь закланного паразита, зовущая в путь, подключенная к «Тройке», заставила выдвинуть Чичикова в герои эпохи. Подлец, почти антихрист, а между тем на нем – на его изобретательной, неиссякающей жадности – свет клином сошелся. В громадном бесптирии Гоголя, посреди тюфяков, пустобрехов, ему отводится место энергетического потенциала, незаменимой тягловой силы, причем – не притянутой за уши, не вывезенной из заграницы, но зародившейся в подворотне, в навозе, что, дайте срок, напечатает тысячи точно таких же оптимистических живчиков. Чичиков!..

Кто, кроме Гоголя, мог так страшно, так далеко глянуть в глаза реальности?..

13 декабря.

Дочитав до этого места мое письмо, ты можешь судить, Маша, пространственно и количественно о моем долготерпении. Ведь до сего момента – в переводе на время: десять дней – я не получал ничего после твоего отъезда. А так как мы договаривались о телеграмме, это отсутствие всех известий означало для меня, что либо ты заболела с дороги, либо Егор очень болен, либо меня решили еще немного позлить и подержать на изморе. Но я вместо этого писал тебе письмо, правда несколько, может быть, философическое, но какой быт можно было описывать, если это был не быт, а сплошной крик и вопеж, который я не клал на бумагу, следуя твоим уговорам проявлять максимальное спокойствие и деликатность. Вот я и проявлял – сама видишь.

Телеграмма так и не пришла, и первая открытка, написанная

усталой рукой сразу по приезде, тоже еще не появилась, и недоданные раньше предсвиданные письма опять-таки где-то плавают. А вместо всего этого сегодня я получил от тебя две открыточки, от 6 и 8 декабря, и письма №№ 86, 87, которые, слава Богу, писались уже после твоего возвращения домой, так что я могу уже кое о чем иметь представление. Сбрасываю со спины сразу тонну груза и переключаюсь на щебетание.

А какую Новую жизнь вы начали с Егором? В смысле переезда на Гашека или еще как? И рвет ли он, если его водить в группу, как мы говорили, не сразу после завтрака, а ближе к обеду? И как ты себя чувствуешь по возвращении в строй? И где же бандероль и посылка?

Билибинская марка такая большая и дорогая (20 коп.), что я стал бояться, как бы ты, во-первых, не разорилась на них, а во-вторых, что нашелся еще один собиратель марок, который и удерживает по этой причине многие твои письма. (Последняя гипотеза, правда, отпала: не собирает же этот филателист вдобавок к маркам еще телеграммы?!)

Зато твое беспокойство по поводу моей спины должно рассеяться: после свидания она перестала болеть. Я думаю, то была обычная физическая перегрузка, когда было много контейнеров. Но на свою работу мне тоже сейчас жаловаться грех. Во-первых, потому, что лучше не бывает. Во-вторых, непосредственное мое участие во всех грузах зависит отчасти от моей доброй воли, поскольку, как рабочий склада, я не обязан быть аварийщиком, а делаю это потому, что не могу же я выступать на вспомогательных ролях, когда все работают полным ходом, – это было бы нехорошо, да и с житейской точки зрения так удобнее. Ну, это долго объяснять. К тому же это сейчас уже не должно служить предметом волнений.

И настроение у меня самое доброе, а если бы вы с Егорычем поправились, я бы был совсем счастлив.

Вот, Машечка, как влияют твои письма на мою любящую душу.

За то время, пока я не получал твоих писем и не решался придрагиваться ни к чему конкретному, чтобы не бередить раны, мы, должен сказать, съели уже те два супа в пакетиках, и оба они оказались очень вкусными и прямо-таки живительными в своей куриной крепости. Вот бы таких супов иметь целый ящик! Это,

понятно, чисто отвлеченное восклицание, которое тебе не следует принимать к руководству.

Просто от полноты душевной хочется тебе выразить мое отношение и объяснить, как ты мне дорога и полезна.

14 декабря.

Под впечатлением вчерашних твоих писем сегодня я пошел в баню, что лучше, конечно, делать в добром расположении духа, чтобы и телу доставить некое возлияние. Вообще всякая физика-химия всегда соответствует психике и от нее зависит. Это я к тому тоже, что после бани выбросил в урну продравшиеся совершенно носки, сделав это с тем же удовольствием, с каким сбрасываешь со счета незаметно просиженные два месяца. Так сказать, овестествление и материализация идеи освобождения. И я уже загодя предвкушаю, как начну с весны все выкидывать, как змеи сбрасывают изношенную кожу, чтобы приехать к тебе легким и молодым. Очень это облегчает жизнь – выбрасыванье вещей.

В этой же связи должен заметить, что и перчатки я советовался с тобою надеть на работу, чтобы придать всему большую достоверность, а не только чтобы уберечь ручки от морозов и царапин. То была для меня мобилизация средств на трудный год-перегон, и вот теперь я грузу в твоих перчатках, потому что так они валялись без дела (когда холодно, и в них холодно, а в теплую погоду они тоже ни к чему) и имели смысл лишь в виде воспоминаний, которые и так сидят в моей груди, а сейчас я ими воочию укреплен и подтянут и смело кидаюсь на ящики, которые ведь тоже имеют символический смысл преодолеваемых нами преград в объятия друг к другу. Так что одно к одному – и все получается правильно.

Все хочу и каждый раз забываю на свидании попросить тебя спеть Каир – как бы он пришелся к онежскому коврику-фону, который хорошо я догадался восстановить в нашей памяти и пожить немножко с полным пониманием подаренного тобою уюта и простора. Я бы зафрахтовал у тебя такие часы, исполненные самого жгучего романтизма, – на все отведенные нам годы жизни. Кают-компания! Ведь это же и есть кают-компания, и они стоят на корабле у борта, он смотрит на нее с тревогой и мольбой по дороге на Кий-остров, когда соленое море и впрямь било в ли-

цо, и мы плыли сюда, в каюту дома свиданий и дальше, Бог даст, в том же качестве и составе, как капитан Гаттерас. Понятно, что я вспомнил Каир.

15 декабря.

Еще мне нравится твоя непосредственность: на тему «Крестьяне завтракают»* (Серебрякова). Очень похоже и правильно: каждому свое.

Ну, как они завтракают – это мы посмотрим в четверг, завтра то есть, когда выдают бандероли.

Но мне на твой почерк смотреть приятно даже на крестьянах. А хорошо человек перед волей задумчиво говорит: – Пива выпью... (Длинная пауза.) Колбаской закушу... (Пауза.)

Так как насчет зафрахтованной кают-компания?

16 декабря.

А вот такая сладкая цитата из Истории о Казанском царстве:

«И от пушечного и пищального грома и от многооружного крежета и звяцания и плача, рыдания градских людей, жен и детей, и от великого кричания и вопля и свистания, и обои воиржания и топота конского, яко великий гром и страшен зук (звук) далече на Руских пределах, за 300 верст слышася. И не бегу слышати язе, что друг за другом глаголет, и дымный мрак зелены возхожаше вверх и покрывающе град и Руская воя, и ночь яко ясны дни просвещася ото огня, и невидима быша тма ночная, и день летни яко темная ночь осенняя бываше от дымного воскурения и мрака».

А все на одних скрежещущих штампах – а как живо. Даже не верится, что все это чистая стилистика, а не списано с натуры. Между тем, едва ль не всемирный тогда батальный жаргон.

В «Малайской истории» (XV в.):

«И от того, что двигалось такое скопище людей, все джунгли исчезли, превратившись в поля; земля дрожала, как при землетрясении, и горы рушились до самых вершин, и все возвышенности превратились в равнины, и все камни разлетались по сторонам, а все до единой большие реки высохали и становились похожими на слякоть, – все от того, что два месяца подряд непрерывно двигалась толпа людей. И от блеска оружия и сияния кня-

жеских корон даже в самую темную ночь становилось светло как в ясное полнолуние; а когда на небе гремел гром, то его даже не было слышно, ибо крики военачальников и вопли всего народа сливались с трубным ревом слонов и ржаньем лошадей».

Почему-то в подобных цитатах всегда вспоминается Чехов, предлагавший – как образец наблюдательности и мастерства – описать пепельницу: как бы он этим мелким пером нарисовал эту баталию?

А достала ли ты для Егорыча «Маугли»?

16 декабря.

Бандероль пришла. Но за это время выяснился ряд новых обстоятельств, которые нужно учесть. Во-первых, Мише положена еще одна бандероль. Во-вторых, с Нового года, по-видимому, изменится порядок с бандеролями, в которых можно будет посылать лишь писчие принадлежности. Поэтому следует незамедлительно выслать – ту одну, и мне – две (сразу все и такие же). Отсылку сопроводить открытками и квитанции хранить, чтобы в случае возврата получить обратно. В крайнем случае вернуться. А мою посылку можно и отложить, если еще не отослана. Январскую же посылку лучше отправить не 13-го, а числа 9-го – 10-го. Прости, что я так наваливаюсь на эту тему в смысле срочности и крайности, но сама понимаешь, что писчие принадлежности мне ни к чему сейчас, а жить надо еще год и девять месяцев.

Еще я получил твою первую, усталую открыточку, когда ты только добралась до дому. А у нас мороз крепчайший, а я забыл спросить, как ты заделала окна.

17 декабря.

А сегодня вы меня совершенно осчастливили сказочными письмами, 88-м и 89-м, и открыткой с Коломенским Вознесением, и я даже не успеваю сразу на все радоваться: и открыточка из любимых, и страус с фазаном, о чьих перьях мечтал всю жизнь, и письмо Егорыча, от которого сердце заходится («папа, как ты мил!»), и твой рассказ про новую жизнь* и как вы обтираетесь и как лечитесь от вашей мании телефоном и Робинзоном. Совершенно робинзонские письма, и вы мои Робинзоны, и я вас так и вижу на вашем гашечном острове.

А «Робинзон» детский или полный? И я представляю, какое это блаженство нашему крокодилу слушать из твоих уст. И пусть только ты ему читаешь «Робинзона» и больше никто, потому что это твое право – в золотом ореоле. И еще ты ему будешь читать «Маугли». А потом, а потом – ты знааааешь, можно попроообовать – «Остров сокровищ».

И «Щелкунчик» пусть тоже из твоих уст. И «Ночь перед Рождеством».

Если б вам в помощь сейчас досталась Мастраша*, я думаю, вы бы справились с этими болезнями. Молодчина Эмма, что помогает. Но все равно золотые книжки – только от тебя.

18 декабря.

А Егор ходит во двор гулять один или с какими соседскими детьми? И что он там делает – в снежок играет? И соблюдает ли он правило никуда не выходить со двора и не приставать к машинам, если они заезжают?

Из ленинградского магазина «Букинист», откуда я ко дню рождения получил Гессе и Византийскую прозу, пришел недавно заказ. А заказ был вот какой:

- 1) «Гоголь в воспоминаниях современников». Гослитиздат, 1952.
- 2) «Памятники средневековой латинской литературы», 1970.
- 3) «Взаимодействие литературы и изобразительного искусства в Древней Руси». Труды Отдела древнерусской литературы, т. 22, 1966.
- 4) Р.Липец. Эпос и Древняя Русь. М., 1969.
- 5) Орочские сказки и мифы. 1966.
- 6) «Младшая Эдда».
- 7) Е.М.Мелетинский. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968.
- 8) Русские нар. сказки (под ред. Э.В.Померанцевой). М., 1969.
- 9) А.Эфрос. Два века русского искусства. М., 1969.
- 10) А.Погорельский. Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Монастырка. М., 1960.

Это я воспроизвожу не для чего-нибудь, а просто чтобы ты была в курсе книжных интересов. Из этого списка главное и крайнее, конечно, пункт 1. А самое для души сладкое и таинственное, о чем краем уха слышал, что там сплошь Привидения (и опять же параллель к «Вечерам на хуторе»), – это пункт 10 (Погорельский).

Дорого и мило (как ты мил!), что ты, оказалось, помнишь про Плещеево озеро, хотя с женской непосредственностью и поставила на первое место моторную лодку.

А календарики я тоже получил. Но один-то, теперь уж наверняка, придется оставить себе, и я опять смеялся на твою непосредственность.

Очень ты мила.

19 декабря.

Третий день живу под крылышком ваших давешних писем, обеспечившись ими с пятницы на субботу и воскресенье, на самые, значит, бесписьменные и бесперспективные дни. И с той же робинзонадой в душе вхожу завтра в неделю ваших дней рождений. Получается очень уютненько, а это редко бывает. Хорошо бы нынешнее время вашей жизни соответствовало этому настроению и вы бы в добром здравии и согласии вступили бы в Новый год, а я вместе и следом за вами тоже поковыляю.

Несколько раз спрашивал в прошлые годы, но так и не уловил – имеет ли Егорыч сейчас лыжи и санки. И может быть, ты ему те или другие подаришь от моего имени. Или о лыжах тоже нужно думать с лета? А то бы как хорошо ему начать потихоньку на них кататься во дворе, пока ты чего-нибудь варишь, или взять в группу и держать, если можно, там, устраивая горки на крыше.

Очень приятно, что вы начали обтираться холодной водой, и скажи Егору, что я в детстве всегда так делал. И если вам не повезло с Мастрашей, попытайся достать с Воротниковского* приходящую тетю, которая бы время от времени мыла посуду и протирала пол, что трудно сделать в коммунальных условиях, но в отдельной квартире много проще, оставляя посуду на кухне сколько влезет и хоть два раза или даже раз в неделю имея помощь. И ты бы тогда смогла больше уделять времени Егору и его нервам, и вообще все бы покатило под горку. Попроси девочек* от моего имени достать такую старушку. Ведь пора же вам переходить на более стабильную жизнь.

А Егора, если продолжает тошнить, попробуй все-таки водить в группу часов в 10–11, сказав предварительно, что пойдете туда

только после обеда, или вообще как бы передумав и отправляясь в группу экспромтом. А французский ради поправки здоровья можно и отменить.

Обожаю вас и обдумываю, как маленьких. И будьте веселы, пожалуйста. А я целую вас крепко-крепко.

А.

20 декабря 1970.

Письмо Егору опять прилагаю.



Я вспомнил Осипа. – При звуках скрипок наш любимый спаниель Осичка (Осип, Оська) бросался подпевать-подвывать на разные голоса.

...«**Крестьяне завтракают**»... – В открытке с «Крестьянами» З.Серебряковой я сообщила М.Конухову про бандероль (с кофею).

...**рассказ про новую жизнь**... – Из моего письма: «Вчера мы начали с Егором новую жизнь, о чем я уже сообщила в открытке, и сегодняшние новации сводились к тому, что я вообще не предлагала ему завтракать, а, бодро одевшись, мы помчались на французский и уже там пили чай. Урок-то в 9.30...

А после урока была группа, а вечером я зашла за ним на часок пораньше, и мы пришли на Гашека, и я начала читать человеку «Робинзона Крузо».

И уже сегодня утром он примчался ко мне в кровать с «Робинзоном» в зубах и требовал продолжения, но я начала реформаторскую деятельность, и сначала мы занялись физкультурой, потом – обтирались холодной водой, потом обтирались жестким полотенцем до сплошного покраснения: Егор даже в зеркале видел, какой он красный, а потом я его выгнала во двор и занялась приготовлением легкого завтрака.

Ну, слегка он позавтракал (ковырнул разок-другой омлет и отпил полчашки чаю), но я уже счастлива и думаю, что не все сразу.

А за завтраком был чистейший разврат: пока Егор ел, я ему читала все того же «Робинзона».

А после такого полужавтрака Егор вдруг помрачнел и стал объяснять, что боится вырвать. И тут я нашла выход: я научила его звонить в телефон. И он тут же забыл и про страхи, и про рвоту, а начал набирать (сам!) всякие номера и разводить светский треп.

Поболтал с Зойкой, с Лидией, с Хаславской, и еле-еле я его выгнала на улицу.

А потом – группа, а потом – ужин, а потом «Робинзон». И вот он уже спит, а у меня гора хозяйственных забот».

...досталась Мастраша... – Друзья сватали мне домработницу с диковинным именем, о чем я писала А.С.: «А знаешь ли ты такое имя – «МАСТРАША»? Вот я тоже впервые слышу. А между прочим, так зовут даму, родившуюся в 1916 году в вологодской деревне. И крестили ее в местной церкви, и если это имя сокращенное, то каково же полное?»

...достать с Воротниковского... Попроси девочек... – В Воротниковском переулке жили однокурсницы А.С. – Е.В.Докукина и Е.А.Ефремова.



ПИСЬМО СТО СЕМНАДЦАТОЕ

Вот мы и прожили самую длинную ночь, и сегодня я уже получил твое телеграфное поздравление с завтрашним Егоркиным днем и возрадовался твоей расторопности и тому, что вы веселы и, может быть, даже не очень больны в такую чудесную для всех нас дату!

Писем новых пока нет, но телеграммочка твоя так успокоила и разнежила, что, несмотря на здоровый мороз, я совсем тепленький и уже думаю, чем бы тебе ответно воздать, и непременно воздам, но на другой страничке. А пока замечу только, как это странно, когда у вас по радио пять градусов, а у нас, вероятно, семнадцать, хотя мы обычно держимся на вашей температуре. Из других загадочных вещей поделюсь научным фактом, которому я сам недавно был свидетель. Сосед рассказывает утром, что во сне поймал волка руками, а через час наяву его освобождают по суду, и он едет домой. Но какой нужен редкостный сон, значит, чтобы в лесу поймать волка голыми руками!

А ты хорошо умеешь сочинять телеграммы.

22 декабря.

Все стараюсь разгадать, вглядываясь в интонацию твоей телеграммы, получила ты уже мое письмо после свидания или нет, и что-то мне кажется, судя по тону, что получила.

И как вы сегодня празднуете день рождения.

Ты хорошо придумала – отдельную полку для книг, приобретенных в дом за мое отсутствие. То-то раздолье в них всех забраться или даже просто посмотреть, как они будут стоять рядом.

– Как жадный фраер.

Мороз – неплохо. Но немножко устаешь, когда на работе нужно им дышать – ртом. Надоедает.

А радуется Егор своему дню? И знает ли он сам, без твоих напоминаний, что вот завтра или послезавтра наступит день рождения?

23 декабря.

А что я вчера делал? А я вчера сочинял вам поздравительные открытки на Новый год. И сочинил их две штучки – тебе и Егору. А третью послал в Калугу*.

А сегодня получил от тебя открытку от 11 декабря с Рерихом, иже зареза Редедю пред полками касожскими, и огорчился утратой Мастрши, чье имя звучит почти как Редедя, и удивился такому сюжету, который я за Рерихом не видывал никогда. И увидел, что открытки твои, так весело прилетавшие еще недавно за пять деньков, опять начали ходить ко мне две недели.

И ты будешь очень смеяться, Маша, но твои старые, до свидания еще посланные, письма №№ 80, 81, 82, 84 так и не пришли. Будь на твоём или на моём месте гр-н Гареев*, он бы уж доискался, и пришлось бы почте все справки представить, куда делись письма (недавно он официальным путем добрался-таки, почему я ему не отвечаю). Вот я и думаю, что при следующей, столь же густой пропаже твоих писем, следует нам избрать метод этого типа и направить соответствующие заявления сразу во все инстанции. Как ты считаешь?

И Дмитрий Донской долго смеялся тем самым, несколько неестественным, давно уже для меня загадочным смехом.

25 декабря.

За эти холодные дни немножко поддался гриппу в легкой форме. Снизу он дошел у меня до колен, сверху до носа и на руках до локтей, а середина вся еще здоровая. Лечусь луком, жуя его и нюхая: мне как нельзя кстати подарили две большие луковицы.

Голова слегка в тумане, и наверно поэтому некоторые предметы выглядят расплывчатее обычного. Например, всегда считал существование похожим на остров, а сейчас смотрю – материк, континент, и судьбы людей, на этом материке побывавших или уехавших, входят в его состав, и отсюда его пространство

растет и прихватывает столь открытые дали, что, при всей локальности, начинаешь понимать, как создавался эпос, всегда привязанный к месту, к какому-то в форме острова обитавшему народу и племени, от которого, однако, ответвлялись ручейки индивидуальных судеб, путей, в свой черед втекавших в эту, уже пространную, уже материковую зону. Связь по крови сообщала разбежавшимся лицам единство, благодаря которому жизнь каждого, включающая память о всех прочих, могла сделаться центром эпического пространства (как это и случилось, например, в Одиссее и в Энеиде). Робинзон же, сидя на острове, ни о ком, кажется, не вспоминает, а если бы помнил и получал известия, что с кем стало из его спутников, то его крохотный островок и превратился бы в континент и мысленный горизонт Робинзона раздвинулся бы до границ и масштабов, которыми имели привычку оперировать древние.

А мороз уже, слышно, добрался и до Москвы.

26 декабря.

Когда, если не сегодня, нам надо себя поздравить еще с одной годовщиной, моя милая Машенька?! Ну, не восемнадцать, так ведь когда приеду, и наступят как раз те восемнадцать лет, и значит, все правильно, и сувениры в самом деле на потоке. И вот, встав пораньше – благо сегодня воскресный день, – я сначала поздравил, потом представил тебя, и ты мне очень понравилась, с чего мы и начали, если помнишь, и будем так продолжать всю жизнь. А потом – день-то воскресный – пришлось идти еще на чужой день рождения, и я тихо пил чай и размышлял, как это прекрасно (совершенно серьезно утверждаю), что тебе уже срок лет, и с такой взрослой женою я чувствую себя тоже более солидно.

(Что же касается внешних данных, то могу тебя порадовать, что, по последним сведениям, тебе дают 30, а мне 55 лет, и эта разница в четверть века, подходящая для неравного брака в изображении Пукирева* или Неврева (всегда их путаю), позволяет догадываться, почему тебе не дают меньше тридцати: отсчитывать-то приходится людям от 55-тилетнего старика, и было бы уже совсем неприлично мне на тебе жениться, будь ты еще мо-
ложе.)

А потом я подумал, что такой день надо чем-то отметить, и пошел в кино, тем более оно было про Чехова, что не лишено интереса, и с участием, говорили, Марины Влади, которую я никогда не видел и тоже решил посмотреть. Кино называется «Сюжет для небольшого рассказа», и если ты на него наткнешься случайно – есть смысл пойти. Во-первых, оно, насколько я понял, из самых модных новинок, на большое декольте. И хотя фильм про настоящую жизнь, в нем широко и удачно применяются мультипликация и вообще все происходит на наполовину нарисованном фоне, выдержанном немного в стиле лубка, и даже мне послышалось влияние «окраины» и картинок, к ней приложенных, так что художнику и искусствоведу этот фильм надо смотреть.

Но что происходит в столь приятном обрамлении? А происходит документальный роман Антона Павловича с Ликой Мизиновой, послуживший затем сюжетом для «Чайки», – и это неприлично. Очень похожий Чехов, в пенсне и с бородкой, моет шею в тазике, пьет водку и целуется с Ликой, и такое впечатление, что нам показывают, как все это проделывал Чехов на самом деле, и это невыносимо. Выносимо – когда он пляшет, или крутится на одной ножке, или лежит по-собачьи на диванчике – потому что тогда не возникает прямых сближений с бытом и туалетом А.П.Чехова. Все это экстравагантно и потому терпимо. Но когда идут натурные съемки, не знаешь, куда деваться: ведь так можно показывать, как Лев Толстой чистит зубы (ведь чистил же), а Лермонтов бреется (ведь был грех – брился!). Я понимаю, когда берутся необыкновенные события в жизни всем известного лица – ну Сирано де Бержерак дерется на шпагах, Сальери травит Моцарта. Но когда Чехов крупным кадром целуется с Мариной Влади – ! И это при всей изысканности постановки, доступной лишь узкому кругу зрителей, помнящих «Чайку» и биографию Чехова и знающих, кто такой Потапенко.

Подвел, вероятно, крен в интимную жизнь. По радио раза три уже в этом году передавали спектакль, позабыл название, про старичка Тургенева, увлекшегося актрисой Савиной (очевидно, отсюда и кино про Чехова вышло), – вся пьеса в западном духе – из двух лиц, говорящих друг другу цитатами из своей переписки. Но Тургеневу еще простительно: он любил покрасоваться на сцене таким непонятым селадонном. Но за Чехова с его скромностью и

конфузливостью я просто шокирован. Он, даже помирая, говорил по-немецки – *ich scherbe* – и вдруг попасть в кинокамеру под стогом сена с Ликой Мизиновой! Представляю, как он сейчас ругается.

А Влади показала похожей на красивые щипцы-кусачки для колки сахара. Вот какие случаются противоречивые впечатления.

27 декабря.

Грипп слегка в меня внедряется, и на сегодняшний день я даже имею освобождение. Но беспокоиться нет оснований – все протекает на низких температурах, и только немного грустно и странно самому о себе заботиться в смысле лечения, – например, на ночь надевать носки, что, знаешь, я так не люблю делать и всегда капризничал, а теперь не покапризничаете: надо, говорю, и всё тут.

Бери с меня пример.

Но настроение доброе. Мороз несколько уменьшился за счет пошедшего снега, стало очень красиво, и хотя писем все еще не имею, неделю назад полученная телеграмма тоже обеспечивает.

Да, забыл написать: 26-го вечером, накануне твоего дня рождения получил посылку – очень все хорошо, и красиво, и удивительные мешки в цветах и ягодах, а шоколадка, вероятно, имеет сувенирное значение: я и не знал, что у шоколада бывают такие названия.

При случае пришли с письмом пару-другую трехкопеечных марок. Много присылать не надо, а несколько штук пришли, чтобы мне было чем тебя поздравить на 1 мая.

Теперь, пока есть времечко, процитируем Гоголя:

«...Есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рожденья его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им: все равно, в мрачном ли образе или пронесшись светлым явлением, возрадующим мир, – одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то,

что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме».

Не правда ли, этот не вяжущийся с чичиковским прозаичным обликом заезд в метафизику напоминает обращение Гоголя к женщине в свете, которая тоже недаром наделена красотой, но, может быть, на общую пользу и скорейший прогресс. И там и тут тайна, и там и тут Всеспасаящая рука оборачивает ко благу слепые стихии земли – победительную женскую слабость, хозяйственную распорядительность Чичикова. И тут и там автор, глядя в душу как в шурф, прокладывает шахту в заочные, подземные закрома, доискиваясь до первопричины вещей, до каких-то фундаментальных подвалов, поставленных в обоснование человеческих страстей и характеров, в своей завязке всегда ведущих к более сущностным, краеугольным и жизненосным пластам, чем высывающееся на поверхность лицо, – до глубин сатанинских, и глубже – к устрояющей порядок Премудрости...

(Гоголь – психолог? Скорее – геолог, географ. Люди его занимают как странные минералы, редкие ископаемые, музейные экспонаты какой-нибудь флоры или фауны, служащие обнаружению тайн, законов и капризов природы.)

Там, на большой глубине и мощности залегания, у самого ядра бытия, покоятся клады, хранилища заветных энергий, имеющих перековать человечество посредством им же сокрытых, незнанных массивов, бассейнов. Надо только разумно ими воспользоваться, найти всему уместное, по должности, применение, подобрать ключ к замку...

(Писатель-исследователь-делатель в его запросах и опытах слались в одну фигуру, хоть и вступали порой в жестокую междоусобицу.)

«...Что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру?» – ломает голову Гоголь над превратностями красавицы. «Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!» – хлопчет он вместе с Муразовым, всеобщим опекуном, о преобразовании каторжника в Сивку-бурку. А в самом деле – что бы было тогда, если б Чичиков копил и работал не в свою шкатулку, но в осуществление великого поприща, муд-

рого предначертания? Если б всю тоску и безмерность российских просторов завинтить его оборотливой, не знающей утомления волей?

«...И вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?..»

Критику немало смущало, что на гоголевской тройке едет-то все-таки Чичиков! Загвоздка, однако, не в том, что он едет, но в том, что он везет, что без него не обошлась, не прогремела бы вдохновенная тройка, которая ведь не просто бесплатное приложение к «Ниве», сочиненное невпопад сатирическому сюжету поэмы для того, чтобы нам потом было что учить наизусть, но законное колесо в механизме и конечное производное Чичикова, и на нем, на окаянном, постылом, все в ней вертится и несется в неоглядную даль. Иначе зачем бы потребовалось затрачивать столько стараний на то, чтобы «припрячь подлеца», хорошо его обуздав, застращав (вот где понадобился генерал-губернатор!), наваливаясь кагалом – с автором во главе, с Костанжогло в горле (не выговоришь, и долго он, Гоголь, откашливался от застрявшей фамилии, клича свою худьбу Судронжогло и Гоброжогло, не в силах расстаться, однако ж, с разьевшей кость червоточиной, с глаголом «жечь!»), отчего хмурое лицо иноземца почернело и запеклось в прожженное папирсой пятно); с Муразовым в коренниках, с этим Мининым и Пожарским зараз, стратегом-миллионером (что, ждите, с гостинцами явится и всем – от пуза – по чеку)...

Спрашивается: с таким активом – нуждаться в Чичикове?! Что они – сами не могут? Не могут. Не кони. Призраки. Транспаранты, состряпанные кое-как, на соплях, с одной задачей – учить и перевоспитывать Чичикова, проча в пристяжные России: иначе – не свезешь, не потянешь. «Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью...» Костанжогло не вытанцовывается, сколько ни жилься, ни жги; Муразов – сплошная дыра, протертая в школьном альбомчике с надеждой увековечить портрет гуманного ростовщика, доброго американского дядюшки, подоспевшего с несметным наследством (к фаланстеру бы – филантропа!); а Чичиков – кинь ему горстку-другую навозцу – смотришь, уже зачири-

кал, приветствуя каждого: жив. Как же им за живого не ухватиться: действительность!

«...И мчится вся вдохновенная Богом!..»

(Да, но впряжен в нее у Гоголя – чорт...)

29–30 декабря.

Сижу и гадаю над твоей новогодней телеграммой, моя нежная Машенька. На сей раз она пришла удивительно ко времени – как не бывает – за пару часов до отбоя, в самый что ни на есть новогодний вечер. Я и не ждал.

А гадать остается – насколько серьезно болен Егорушка. Ветрянка-то ничего, да как он ее утрясет со своим тощим тельцем. Как топор, посланный вдогонку из старого года в новый, – эта, еще одна, напоследок болезнь...

Очень я с вами сейчас, и раньше, до этого вечера, с вами, а тут уж совсем. Держу за ручки и уговариваю.

Другие гадания – уже легче. Это – какое письмо ты не получила? От начала или от конца месяца? Неужели после свидания ты еще не имела моих писем? Непонятно. И ничего-то я не знаю и живу, как в темноте, ощупью. Трудновато. Если б еще интуиция работала. А то какой я интуит?..

Третий вопрос – уже совсем забавный. Среди твоих пожеланий самых прекрасных и необходимых нам совершенно вещей значится, между прочим, – «недоверие». И это бы еще ничего – чего не напишут замотанные вконец почтальоны (после службы папочки на почте я научился их понимать и жалеть). Но ты представляешь: сначала написано «доверие» и зачеркнуто, а потом уже – «недоверие»*. Это уже мистика!

Но – моя золотая, новогодняя и елочная Маша! – я слишком тебя знаю и люблю, чтобы поверить в эту мистику, от которой я могу в крайнем случае впасть в ярость, восставая всем простым, человеческим «нет!», но уж никак не поддаться. Так что я все равно – по зачеркнутому-перечеркнутому – ставлю доверие и вижу, что так будет правильно и никак по-другому. Потому что по-другому не может быть.

Словом, я был бы совершенно счастлив от твоей телеграммы, если б Егорыч не заболел.

Догадайся прислать мне телеграмму, когда ему полегчает.

Новый год на сей раз не очень удался и встречает нас резким – в ветер с дождем – потеплением. Настроение тоже неважноец. Но я все равно вас приголубливаю, откладывая письмо до завтра, потому что уже отбой. Попробую-ка я поспать – интересно, что получится.

31 декабря.

С новым счастьем, мои детики, – вот мы и в Новом году. Слегка похолодало, и уже лучше: снежок. Грипп я тоже к сему времени почти весь переборол и хожу опять здоровый, только насморк остался. Хороший метод лечения – стирать носовые платки в горячей воде – и сразу два зайца: и боль из суставов выходит, и в платки можно опять сморкаться. Еще очень помог чай с медом. Чай – полпачки – лежал у меня в загатнике, а ложку меда дал сосед. И мы с ним вылечились.

С бандеролями теперь (после твоей телеграммы) тоже все прояснилось. Конечно, для меня это большая потеря, но ничего не поделаешь. Надеюсь только на твою январскую посылку, которая при любых обстоятельствах места и времени должна быть послана: половина уйдет на провода, а половина останется мне – на долгий год. Так что бандерольное кофе переложи в посылку, добавь еще два – и шли, запасшись всеми квитанциями.

Новогодние праздники провожу в подборке-подчистке фольклорного материала по всяким книжкам, которые нужно отдавать, и вот сижу и срочно выписываю. А мыслями витаю в ваших днях рождениях, про которые еще ничего не получил. Пришло только третьего дня, перепрыгнув три номера, 93-е письмо* и открытка – все от того же 21 декабря и все связанные с посылкой, с очередями на почте, с Егоровым интересом к сургучу и прочей механике. Приятно думать, что он тоже прикладывал ручку к тем сияющим мешкам, красота которых такова, что один даже слугит мне теперь салфеткой на тумбочке. А он правда радовался – отправить мне посылку?

В одной научной статье говорится, что обычай петь на море существовал до недавнего времени у наших поморов, о чем свидетельствуют беломорский сказитель М.М.Коргуев и пудожский – Ф.А.Конашков. Сказывание былин, говорят, усмиряло стихии – отсюда ситуация с гусями и морским царем у Садко. Ту же маги-

ческую задачу имеет в виду распространенная в былинах концовка: «Синему морю на тишину, добрым людям на послушание».

Но если продолжить этот мысленный ряд, то можно заметить, что вода и пение вообще тесно связаны. Не от нее ли, не от воды ли столько песен – о лодке, о кораблике, начиная с «Мы на лодочке катались, золотистой, золотой...» до «Белеет парус одинокий...» и прочих «Из-за острова на стрежень...», так и лежащих на музыку, на волну. Тон песен протяжный, успокаивающий, независимо от словесного смысла – будь то будто бы «бурное» «Нелюдимо наше море...» или «Славное море – священный Байкал...» И я подумал, что песня так же связана с водной стихией, как сказка с лесом и лодка – с ладом, и поэтому Гайавата или Калевала строил лодку пением: это устройство гармонии на море – ладьи в предметном образе. Песня – лодка, которую мы пускаем плавать, чтобы установить тишину на волнах. И я подумал, что на воде вообще тянет петь (как в лесу – говорить шепотом), что мы и делаем практически – поем, не подозревая, что тем самым мы в сущности молимся Морскому царю. И я не подозревал об этом, когда пел по пути на Кий-остров «А море бурное ревело и стонало». На самом же деле я бессознательно пел о том, чтобы оно не ревело. И ничего не чувствовал, кроме «душевного подъема». Но этот подъем и толкает людей петь на воде – это и есть та самая подводная потребность-необходимость лада, регулирующего волны моря.

Вообще многие древние традиции, проявляющиеся в фольклоре, живут в нас негласно и потому и проявляются, что поддержаны изнутри нашей психофизической организацией, об устройстве которой мы не отдаем себе отчета, тогда как древние больше в этом знали толк. Иначе непонятна стойкость этих и неизменность этих традиций, существующих, как пишут исследователи, с первобытных времен. Они бы просто не сохранились. Вот еще в другой статье прочел, что обычай в эпическом сватовстве искать и находить «суженую» проистекает из древнего правила экзогамного брака, когда брали жен непременно из другого, противоположного как бы рода. Но почему в таком случае мы до сих пор чувствуем, что нашли или не нашли «суженую», – почему в ее присутствии все успокаивается в нас и улаживается, как при музыке на море-окияне? Значит, она реальна, эта «суженость», а

не просто когда-то давно так было. И никакой экзогамии, слава Богу, давно не существует, а суженая осталась, и, может быть, реальная, никуда не пропадая потребность в ней породила в какой-то момент преходящий экзогамный обычай, а не наоборот. Если бы традиции не поддерживались нашей нынешней психикой, уже не опирающейся, правда, ни на какую логику, ни на какие обряды, но тем не менее значащей и подсказывающей неслышно, что надо, а что нельзя, – мы бы не помнили ни сказок, ни былин, ни песен. Но голос крови бывает сильнее доводов разума, и мы даже в официальном порядке шьем для покойников тапочки и приносим им цветы на могилку, хотя давно уже не пытаемся их оживить этим подношением, и поем на море и о море, о лодке, и любим суженую с первого взгляда, даже если она пытается это отрицать.

1–2 января.

Молодчина – Машечка, что угадала послать еще одну новогоднюю телеграмму, которую я и получил сегодня, – про Егорушкино здоровье и то, что написала мне 98-е письмо. Я же имею последним на сегодняшний день – как уже говорил – № 93, а 90, 91 и 92 не имею и 80, 81, 82, 84 тоже не имею. Вот какой опять длинный список недошедших писем, чтобы ты знала на случай установления истины железным методом гр-на Гареева, который все более, мне здается, может служить нам примером.

Вокруг то мороз, то оттепель, то дикая пурга, и от такой неравной погоды грипп ко мне то возвращается, то опять уходит, – но все же больше уходит, чем возвращается, и ты не беспокойся. К тому же твоя последняя телеграмма должна меня поддержать.

Сегодня первый день после новогоднего почтового перерыва, и я, кроме твоей телеграммы, получил кучку открыток от бывших сидельцев и письмо из Калуги*. Есть смешные пожелания и милые, хотя я предпочел бы твое письмишко.

А у Симеона Полоцкого хорошее выражение – «слон нелеполичный».

А посылку январскую независимо ни от чего высылай, как и просил тебя. Но держи в кулаке квитанцию, чтобы не пропала.

Письмо же Егору на сей раз не вкладываю.

Еще раз поздравляю тебя, моя радость, с нашим серебристо-золотым юбилеем, и целую ваши глазки, мои любимые дети.

Поскорее выздоравливайте и впредь не болейте.

А.

4 января 1971



А третью послал в Калугу. – Ю.Даниэлю.

...гр-н Гареев... – Гражданином Гареевым А.С. называет солагерника Гареева, который прославился правдоискательством по любому поводу и забросал массу разнообразных инстанций жалобами. А.С. однажды получил от него письмо (см. письмо 114), которое мы здесь приводим:

«Глубокоуважаемый А.Д.!

Шлю Вам свой братский привет. С начала этого года ишу Вас и никак не могу найти, если... если не нашел и этим письмом. Письма, отправленные в Вашу московскую квартиру в доме по Хлебному переулку, – пропали. При прохождении, в начале Вашего местоисхождения, по союзным и республиканским инстанциям МВД пришлось попутно распутать некоторые путаницы, возникшие не по моей вине. Спрашивали: почему я – Ваш брат – имею другую, чем Вы, фамилию! Письмо, отправленное по адресу: Явас, Учреждение ЖХ-385, Синявскому А.Д., – пропало. Это дело распутываю до сих пор. Долго не мог добиться ответа нач. учреждения ЖХ-385. Наконец-то получаю ответ нач. учреждения ЖХ-385/3 Ю.Бойкова и нач. части И.Филина, где сообщается, что Вы содержится по адресу: Мордовская АССР, Теньгушевский район, пос. Барашево, учреждение ЖХ-385/3.

Написал в Москву письмо М.В.Кругликовой-Синявской. Письмо как в воду кануло. Опять какая-то путаница – сейчас распутываю, а как... решил написать Вам это коротенькое письмо, задачей которого является только одна задача – спросить Вас... до какого времени Вы содержались в п. Явас, учреждение ЖХ-385 и...

В общем, ладно. Остальное потом.

Остаюсь с гражданским уважением и коммунистическим приветом
Тареев.

24.19.70 г.»

Из моего письма: «Еще я получила письмо от господина Гареева, которое он отправил заказным и ценным, и грозитя приехать, если не по-

лучит от меня и на сей раз ответу, а если получит, то все равно приедет, так как не поверит и решит, что это – фикция. Тебе меня жалко?..»

Пукирев Василий Владимирович (1832–1890), «Неравный брак» (1862). Обличительный жанр.

...«**недоверие**». – «Поздравляю новым годом желаю всему нашему семейству счастья удачи здоровья спокойствия любви и ~~даже~~ недоверия».

...**93-е письмо**... – Это письмо приходится печатать целиком – это шифровка.

«**Тебя**, наверное, уже совсем извело бесцельное ожидание посылки, и ты, наверное, уже кроешь жену свою – Машу всякими нехорошими терминами.

И хриплым голосом. Сочным словом. Стеная горестно, обвиняешь бедную Машу в легкомыслии, забывчивости, растяпистости и прочих грехах. А я – так совсем наоборот: жутко извелась от полной беспомощности: кофия-то в магазинах больше недели не было, и я бегала за ним туда-сюда, и все безрезультатно, и только в четверг раздобылась, и тут выяснилось, что к почте не подойти: стоят длинные хвосты в посылочные отделения, и вчера я провела около двух часов в такой очереди и ушла ни с чем – не достоялась. И тебе меня хоть немножечко жалко?

Отвезти пришлось вчера посылку к бабушке: она живет рядом с почтой; зато сегодня утром мы отправляли ее вместе с Егором.

И сыночек все спрашивал про сургуч, и ящики, и адрес, и почему сургуч горячий, и где в нем ток. Какой ток, спросишь ты? Предельно простой ток. Кастрюлька для сургуча нынче сделана как электрический чайник и все время слегка подогревается. И наш крокодил видел шнур и розетку и требовал объяснений. А сколько было верещанья на почте! И как бы мне хотелось получить в Егоровом обществе посылку от тебя...

Разговаривать сегодня Егорыч может только про почту, и посылку, и тебя, и что ты ему пришлошь в день рождения.

Роковой день – 23 декабря – приближается: послезавтра нашему ребеночку шесть лет.

Моих сил уже не хватает отвечать всяким знакомым на банальнейший вопрос: чего ему подарить.

И хотя все они хорошие люди, втолковать им простые вещи почти что невозможно. Для чего столько игрушек! – воплю я в голос. Соглашаются. И пусть у ребенка будут заветные мечты и почти что невыполнимые желания, взываю я. Соглашаются. И тем не менее через минуту вопрос: а все-таки, что же подарить Егорушке? (Мать-мать-мать-мать...) Оаху, вздыхаю и прошу ограничиться какой-нибудь чепухой.

Об этом дне думаю со страхом, и чем он ближе, тем в большей я хан-

дре: ты не представляешь, какой нагрузкой стали для меня даже самые минимальные гости!..

Собака моя! Ослабела твоя Маша. А ведь когда-то я свободно усаживала за стол человек 15–20 и со всеми шумела и радовалась. Вот как. И будут ли еще когда-нибудь силы на такое? Хотя бы когда-нибудь... А желание? И дело ведь не только в силах, но и в желании, а я решительно никого не хочу видеть. Веришь ли и понимаешь ли? И никто мне не нужен. Никто. Никогда, кроме тебя, моя родная Андрюша, которую я целую нежно».

«Тебя хотят отвезти Саранск разговаривать о моих хлопотах об освобождении».

21 декабря 1970 года мне сообщили, что проблемы освобождения А.С. и нашей дальнейшей жизни кагебешное начальство хочет обсуждать не только со мной, но и с «самим», для чего его вывезут в Саранск. Я пыталась объяснить, что вряд ли Синявский будет с ними разговаривать, ибо, по нашей семейной поговорке, «если у тебя есть собака, ты не обязан лаять сам» (и, судя по тому что Синявского в Саранск не возили, до них что-то дошло). Но на всякий случай именно тогда я отправила Синявскому телеграмму, призывая его к недоверию, и шифровку в письме. Через несколько дней меня вызвали и предложили написать заявление о досрочном освобождении в Президиум Верховного Совета, а к нему приложить объяснительную записку на имя Андропова. 28 декабря 1970 года Лубянка приняла эти документы, взяла на себя их отправку, и это была моя первая маленькая победа.

Председателю Комитета
Государственной Безопасности
Тов. Ю.В.АНДРОПОВУ

От М.В.Розановой-Кругликовой,
жены А.Д.Синявского

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

8 сентября 1965 г. мой муж А.Д.Синявский был арестован, а в феврале 1966 г. осужден Верховным Судом РСФСР по статье 70-й У.К. РСФСР на 7 лет.

Срок его заключения (отбываемого в Дубровлаге, Мордовия) кончается 8 сентября 1972 года.

За годы заключения А.Д. Синявского вопрос о его досрочном освобождении вставал неоднократно, и неоднократно «опекающие» меня сотрудники Комитета давали мне понять, что заявление об освобождении от лица Синявского было бы встречено благосклонно.

Мы с Синявским много раз обсуждали эту тему и пришли к следующим выводам:

а) Ни в ходе судебного процесса, ни в последующие годы Синявский себя виновным не признавал, и никогда не считал себя не только борцом с Советской властью, но вообще каким бы то ни было политическим деятелем.

Синявский – писатель, и только писатель.

б) Но просьба о досрочном освобождении со стороны заключенного называется просьбой о *помиловании* и предполагает его раскаяние и признание вины, а т.к. Синявский ни того ни другого не признает, то заявление от его имени невозможно.

Тем не менее, т.к. и я и Синявский считаем, что его досрочное освобождение взаимно целесообразно, то после длительного обсуждения Синявский *разрешил* мне подать соответствующее заявление и вести переговоры на эту тему, но все это при условии *полного* его устранения из сферы этих забот.

Поэтому я подаю заявление в Президиум Верховного Совета РСФСР о досрочном освобождении Синявского, мотивируя эту просьбу состоянием его здоровья, внушающим мне опасения, а также своими семейными трудностями, и прошу Комитет поддержать мое ходатайство.

В случае благоприятного решения этого вопроса я очень-очень надеюсь, что мое семейство ни в какие виды политической деятельности вступать не будет, что соответствует изначально занятой Синявским позиции писателя, а не политического борца, которую я всецело разделяю и постараюсь проводить в жизнь.

М.Розанова
28 декабря 1970 года.

Председателю Президиума
Верховного Совета РСФСР
тов. Я С Н О В У

от Розановой-Кругликовой М.В.,
проживающей по адресу: г.Москва,
ул. Гашека, дом 2, кв.53

З А Я В Л Е Н И Е

В феврале 1966 года мой муж Синявский А.Д. был осужден Верховным Судом РСФСР по статье 70 У.К.РСФСР на семь лет лишения свободы.

В настоящее время он отбывает наказание в Мордовии, в учреждении жх-385/3, где срок его заключения кончается 8 сентября 1972 г.

В связи с тем, что в последнее время состояние здоровья А.Д.Синявского внушает мне опасения, а также с тем, что мне одной все труднее содержать и воспитывать шестилетнего ребенка, прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности его досрочного освобождения.

28 декабря 1970 года

Розанова

Эти заявления писались вместе с Игорем Голомштоком, который держал меня за руки, приговаривая: «За такие ваши слова, Розанова, Андрея не только не освободят, а еще ему срок прибавят...»

..письмо из Калуги. – Из письма Юлия Даниэля от 26/XII-70: «Что обо мне? Живу я быстро, шумно и бесплодно. Боюсь, что утратил творческую потенцию, и печалит меня это несказанно. Одна была соломинка – и той нет. Ладно, смирюсь и с этим.

Обнимаю тебя, мой милый. Твой Ю.»



1971

ПИСЬМО СТО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Все же никак не могу привыкнуть к обыденности этого вечера. Детские впечатления, видимо, из самых фундаментальных. А завтра – сочельник. И он когда-то отсвечивал на этом дне. Топили парафин для гадания. Шарады. Я рад, что у нас в семье зима тоже осталась праздничной.

– До кості мозгов.

– Все-таки женщина пользуется большой популярностью в мире.

Нельзя забывать, что в восемнадцатом веке в России правили по преимуществу женщины. То не было, конечно, случайностью или прихотью судьбы, поставившей на престол самодержца – подряд – представительниц слабого пола в такое жестокое и мужественное, в общем, столетие. Тут чувствуется некий расчет, позволивший физиономии века принять более мягкие, сглаженные очертания. Дело не в том, что под царицей было легче, чем под царем. Но здание Петра нуждалось в обживании, во внутренней отделке, что лучше могли исполнить женщины, отдававшие больше внимания сервировке, мебелировке, кулинарии, модам и прочей домашней утвари. Правление этих варварок, падких на развлечения, наряды, машкерады, галантное обхождение, сообщало русской культуре 18 столетия ту естественность в усвоении западных вкусов и правил, что вынянчила Пушкина через сто лет после Петра – в живой и в то же время душистой, оранжерейной атмосфере. Даже то обстоятельство, что императрицы у нас были неважными матерями и женами, но несколько уподоблялись гетерам, искали любви, удовольствий, светского блеска и шарма, придало цивилизации бальный лоск, надолго за ней закрепившийся и помогший ей в пустыках – в литературе, в искусстве – конкурировать с пригожей Европой. Ода, посвященная даме, сбивалась на

мадригал. Восшествие Елисаветы на руках гвардейцев заставляло их проникаться духом куртуазности, мушкетерства и превращало вчерашних долдонов в кавалеров и шелкоперов. Не будь женщин на троне, не был бы создан стиль жизни «осмнадцатого столетия», начинавшийся с проблем этикета и туалета. И русский классицизм и барокко не принесли бы золотые плоды на болоте, обращенном Петром в строительную площадку. Нужны были почва – навоз – воздух, и все это сделали дамы.

5 января.

Сочельник провел лирически: под елкой, со свечой. Елка, разумеется, мелкая, два вершка, и вместо игрушек – конфеты в бу-мажках и печенье подвешены, и то – спасибо.

А письма – как отрезало: не идут, и всё тут. Ситуация внешне напоминает начало сентября. Возможно, тому причиной – Новый год.

Со мной все хорошо. На дворе мороз. Грипп из меня почти весь вышел. И насморк заметно уменьшился, и глаз перестал гноиться.

Только вот рассказывать не о чем по причине бесписемья, и поэтому я пока занимаю тебя наукой. Следовало бы, конечно, отодвинуть ее подальше, к середине письма, а начинать с более живых и приятных предметов. Но все равно наука тоже нужна, и вот я ей затыкаю создавшуюся паузу, чтобы не молчать или не ныть понапрасну. Потому что не хочется откладывать письмо, и я уже привык писать тебе если не ежедневно, то через день – через два, и ты, моя бесценная Машечка, если уж очень надоест читать эти ученые размышления, переверни несколько страничек вперед и посмотри, что дальше с нами будет, когда, Бог даст, я напишу тебе чего-нибудь повеселее. А пока – делу время, потехе час, и дело на сей раз относится к «земле и небу», к проблеме, условно говоря, портретности, которая вдруг прорывается в иконе, на наш взгляд, вполне уместно, поскольку та изначально тяготеет к лицу, к точным персоналиям – не в обход канона, но в его идею и осуществление. По этому поводу в науке – когда слишком уж явен прорыв к естественной достоверности образа – раздаётся возглас восторга, мотивированный, однако, обычно каким-нибудь предренессансом, эллинизмом и другими причинами, нару-

шающими традицию, тогда как они коренятся в самой традиции, но не всегда очевидны. (Уже восьмой час и писем сегодня не будет. Со стесненным сердцем думаю о завтрашнем вечере – в пятницу, как обычно, если не будет – еще на два дня. А холодно, знаешь, и поэтому день, кажется, застывает в длительной бесполезности в одну неподвижную ноту, которую мы сейчас перебежим каким-нибудь восклицанием.) Сошлюсь в этой связи на оценку Н.Г.Порфиридовым Волоотовских росписей, горячо и всецело поддержанную Лихачевым:

«Мастеру хочется индивидуально характеризовать каждое изображаемое лицо. Имеют свои, непохожие друг на друга, облики пророки. Неожиданны в их острой характеристике цари Давид и Соломон, в особенности последний. Большое человеческое разнообразие придано святителям в алтаре. Изображение двух новгородских владык-ктиторов, Моисея и Алексея, отмечены чертами портретности. Мастер сумел индивидуализировать, предварительно очеловечив, даже ангелов» (Н.Г.Порфиридов. Древний Новгород. Очерки по истории русской культуры XI–XV вв. М.; Л., 1947, стр. 280–281).

Сходную индивидуализацию образов обнаруживает Порфиридов в росписях Феофана Грека в церкви Спаса на Ильине (а Лихачев присоединяет к ним и другие фрески XIV в.: в церкви Рождества на Красном поле, в Михайло-Сковородском монастыре, в ц. Спаса на Коволеве и т.д.):

«Щедро рассыпанное в Волотове мастерство индивидуальных характеристик в живописи Спаса достигает совершенно изумительного уровня. Пророки в барабане здания, святители в диаконике, в особенности святые в северо-западном приделе на хорах (Макарий, Акакий, столпники) являются образцами острых психологических характеристик, способных казаться почти невероятными для своего времени. (!) В этой любви к характерному, почерпнутому из жизненных наблюдений, чувствуются эллинистические традиции. Отдельные типы и головы фресок Спаса (как и Волотова) по силе и выразительности не уступают созданиям великих мастеров Возрождения, микеланджеловской силе» (там же, стр. 287).

Но эллинизм – эллинизмом, и южнославянское влияние – пусть его! – а куда деть Кирилла у Дионисия Глушицкого и про-

чие безо всякой античности и ренессанса запечатленные лики? Иконопись периодически демонстрирует нам живое лицо, которое – при утрате или большом удалении от источника – то застывает в условную маску, восходившую, впрочем, когда-то опять-таки к живому лицу и поэтому, для сохранения жизни, застывшую, то – при новом контакте с реальностью – вновь зацветает чертами индивидуализации, всякий раз изумляя ученых, не понимающих, откуда смотрят на них чьи-то глаза. Сходные «открытия» происходят в литературе.

(Я думаю, в развитии прозы как-то слабо до сих пор учитывались возможности скобок. Они имели в основном вспомогательное значение и не смели претендовать на конструктивную, структурную роль. Между тем построение речи на каких-то параллельных или пересекающихся кусках, что чисто графически можно выявить скобками, сближает письменность с формами пространственного искусства, в котором глаз перепрыгивает с предмета на предмет, с одного пятна на другое, и придает словесному полю своего рода рельефность, неровность, сложную глубину, где скобки, в принципе, могут сыграть не подсобную, но самую первую скрипку, оборотившись пещерой, ущельем, откуда и вытекает, разлившись, главный, проникающий смысл.)

Лихачев во втором издании своего «Человека в литературе Древней Руси» ссылается на Записку Иннокентия, опубликованную в книге Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник». М., 1871 (неприменно учесть – в «Земле и небе»):

«Записка Иннокентия о смерти Пафнутия Боровского – это своеобразное литературное «чудо» XV в. Иннокентий писал ее в 1477 или 1478 г. Он стремился к полной правдивости, записывал по возможности всё, что знал о Пафнутии, с буквальной точностью передавая иные из его слов. В результате в ней не только тщательно переданы все отношения Пафнутия внутри монастыря, а отчасти и его отношения с немонастырскими лицами, но очень точно обрисован и самый характер Пафнутия. Следовательно, в этой записке налицо такие явления литературного ряда, которые осознанно вступают в литературу значительно позднее. Перед нами как бы бессознательный, стихийный средневековый натурализм. Раньше, чем характер человека был открыт в

литературе, здесь перед нами выступает вполне четко обрисованная индивидуальность: волевой, очень решительный человек, необыкновенно сильный и властный, старчески раздражительный и упрямый.

Записка Иннокентия написана с потрясающей для своего времени (!) правдивостью. Иннокентий сам пишет: «...не буди мне лгати на преподобного, понеже и сведетелие суть неложнии». По-видимому, непосредственные и непретенциозные рассказы послухов и свидетелей во все времена отличались чертами правдивости, в которых не следует усматривать особой литературной позиции этих свидетелей и послухов, особого стиля или литературного направления. Это не реалистичность литературы, а реальность самой жизни, как бы перенесенная в литературу, это стихийный натурализм документа, точной записи происходящего.

В пределах XV в. эти записки, как и самые события, перерабатываются в схемы, далекие от реализма. Записка Иннокентия была переработана Вассианом в *житие* Пафнутия» (Д.С.Лихачев. Человек в литературе Древней Руси. М., «Наука», 1970, стр. 129–130).

У меня очень много есть что возразить Лихачеву на тему «реализма», но прошло уже довольно времени, как я погряз в этих цитатах и занял на них слишком много места в нашем письме. Поэтому, всячески ужимаясь и сокращаясь (письмо-то, Машечка, пришло! И я рвусь к нему и к тебе в объятья) и ужасно торопясь, замечу только, что, хотя правдивость свидетелей и послухов не есть еще стиль и литературная позиция, но систематическое введение их в литературу, прямая и сознательная ориентация на них и есть как раз самое что ни на есть стилевое и позиционное направление. И никакого стихийного натурализма не существовало, но существовал реализм древнерусского искусства, который, конечно, отличен от реализма 19 столетия, но не менее реалистичен.

Скажу еще тоже в самом быстром темпе, что поэтому житие Аввакума неправомочно рассматривать как принципиально новое явление в русском искусстве, порожденное уже новыми, реалистическими и психологическими веяниями. Оно – увенчание старого, традиционного житийного жанра и его ярчайший пример, ничем принципиально не выделяющийся из этого литера-

турного ряда, но в силу некоторых жизненных обстоятельств, связанных с его написанием, представивший в более чистом и рельефном виде то, что содержалось в этом жанре всегда. Житие Аввакума – это очередной, хотя, может быть, и несколько сверхординарный выплеск портретности в средневековом искусстве, такое же «чудо», как записка Иннокентия и тысячи других чудес в иконных росписях и повестях, из которых нет-нет, а высунется вдруг и посмотрит на нас умное, живое лицо.

(К литературе вопроса надо читать книги, к которым отсылает и с которыми спорит Лихачев:

Вл. Соколов. Реализм в древнерусской иконописи. Чтения в церковном историко-археологическом обществе Казанской епархии. 1917. Вып. 1–2.

Н.Я.Яхонтов. Жития святых северо-русских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань, 1881.

А.Кадлубовский. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. Варшава, 1902.

М.В.Соколов. Психологические воззрения в Древней Руси – сб-к «Очерки по истории русской психологии». М., 1957.)

Ух! Наконец-то я до тебя добрался! А о Лихачеве мы поговорим в другой раз.

7–8 января.

Ах, совсем другой поворот жизни и мысли, когда ты мне пишешь письма, а я их получаю! И кровь в моих жилах сразу начинает течь веселее, и весь я оживляюсь и улыбаюсь. И хотя письмо пришло только в одном экземпляре – № 97 (это после 93-го, если считать по номерам!) и по величине оно тоже довольно миниатюрное, все равно я счастлив прижать его к сердцу.

Потому что оно поздравительное с Новым годом от 30 декабря. И потому что в нем Егорушке стало немного лучше. И оттого, что ты разрисовала его зеленой*, как индейца, и я вас обоих в этом раскрашенном виде сразу узнал и понял и полюбил, и ты моя единственная футуристическая Машечка.

(Действительно, жаль, что нельзя написать на Егорыче – или на тебе – всякие слова и читать их, когда соскучишься.)

Правда, остается вся та же проклятая неизвестность, какое мое письмо ты не получила ко дню рождения – неужели все еще

, то, первое письмо от 5 или 7 декабря, где я все-таки немножко успел тебя поздравить?! Мне кажется, я уже целый месяц спрашиваю тебя об этом – какое письмо ты не получила – и все не жду ответа, и это как во сне, который никак не кончится.

А у нас тут два дня был дикий ветер, просто вихрь, но не февральский, как бывает, когда метет по всей земле, а так, как если бы февраль соединился с январем и они бы вдвоем на нас набросились. Очень впечатляюще. А сейчас утихло и потеплело.

Бегаю в валенках, и они скоро развалятся. Но я об этом нисколько не беспокоюсь и даже рад, потому что на эту зиму, вижу, мне хватит их доносить. А на ту – я и не думаю: или другие дадут, или я прокручусь в одних ботинках – и это прекрасно – прокрутиться в ботинках последнюю зиму.

А еще у меня совершенно порвалась майка с рукавами, и я ее уже выбрасывал и вдруг, неожиданно сам для себя, придумал вот что: разрезал ее на кусочки, и получилось двенадцать примерно носовых платков, которые, посморкавшись, можно выбрасывать, и можно будет их не стирать, и мне их хватит на целый месяц.

(Не вздумай по этой причине привозить мне платки или новую майку: я не об этом совсем пишу, а про то – как мне весело жить после твоего письма, когда я узнал, что ты меня любишь.)

Еще я не знаю, где ставить точку, когда закрываешь скобку, а внутри осталась целая фраза или даже несколько фраз, – за скобкой или перед ней, и жутко от этого мучаюсь.

А еще мне подарили чайную ложечку, и теперь у меня – впервые за пять лет – собственная чайная ложечка. И очень, оказалось, удобно мешать ею сахар в кружке или растворимый кофе.

А ты еще говоришь, что я тебе про быт не пишу.

9 января.

А январь назывался – «свадебник», в согласии с традицией играть свадьбы в этом месяце. И значит, все правильно.

И недавно, болея, заметил за собою, что спал, закинув руки высоко назад, как это делал Егор, когда был маленьким.

Обидно до сих пор ничего не знать о ваших днях рождениях – как они прошли и что подарили.

Еще я получил поздравительную, с новым годом, открытку из Калуги, но не знаю, дошли ли мои.

И начал получать газету «Известия».

И думаю, как приятно будет в сентябре-октябре подписываться на все журналы только на полгода.

Еще я забыл тебя порадовать, что осталось 20 месяцев – хорошее измерение в смысле общего ощущения – соответствует. И это не так уж много.

– Никак не вырвусь на свободу – кумысу попить.

(В фонетическом отношении составлено безукоризненно – «кумысу!»)

10 января.

Все еще приходят поздравительные открытки – от Надежды Вас., от Меньшутиных. В этом году вроде их больше, чем в прошлые годы. То ли предпоследняя годовщина сказала и память, так сказать, после срединной полосы относительного забвения, когда голоса живых доносились все глуше и глуше с каждым годом, как будто уходишь под воду, и я понимал, что сколько же можно плакать и переживать, как ты хорошо тогда заметила по поводу Вивальди и его вдовы, – так сказать, оживилась и моя фигура, возникла более реально, что ли. То ли просто за это время больше освободилось знакомых.

Среди этой кучки красочных – трогательных, а иногда чуточку раздражающих – поздравлений только одно письмецо от тебя – № 99, вернее от Егора, от 1 января, очень длинное, смешное и милое. Прекрасно стал он писать, и орфография прекрасна (например: дьен – день (а кто написал – есьм?)), хотя плохо понял, какие три толстяка могут быть на пластинке: музыка или прямо пьесу шпарят?

И хотя букочки приятно кувыркаются и скачут по всей бумаге, как это ни печально, надо, вероятно, приучать ребеночка писать по линейке – как ты считаешь?

А в Знании, которая Сила, рекламируется новинка: Б.Спок. «Ребенок и уход за ним», М., изд. «Медицина», 1970 – американского врача, которая, мне показалось по приятным цитатам из нее, может быть полезна для нас с тобой. Между прочим, там говорится о праве родителей сердиться (и они люди, дескать, как и ребеночек) и доверять себе. И рассказано, как быть с аппетитом, когда ребеночек не хочет жрать. И предлагается взрослым

представить рядом с собой гиганта, который их пичкает, когда им не хочется есть.

И еще я никак не пойму, какие ты могла подарить Егорычу шашки?

12 января.

Наконец-то посущественнее: две открыточки, от 31 декабря и от 5 января, и стааренькое письмо № 94, про Егорычев день рождения*, дошедшее до меня в лучшей традиции, за двадцать дней. И наконец-то я понял все про проигрыватель (про трех толстяков – так и не понял) и про шашки. Только все равно не понятно: разве наш ребеночек умеет играть в шашки и, если нет, неужели он, ты считаешь, способен обучиться этой скучнейшей игре?

А проигрыватель ты хорошо придумала, чтобы складывались. А можно на нем играть тоже взрослую музыку?

И я доволен, что ты блистала.

А с письмами – в смысле их доходчивости до меня и до тебя – стало так плохо и столько их за прошлый месяц пропало безо всякого повода, что я решил принять меры и начать на эту тему официальную переписку с различными Министерствами и Комитетами при Министерствах. Пусть официально распутывают эту слишком уж надоевшую историю. Характер этих заявлений я тебе изложу позднее – в этом письме или на свидании: хочу все же иметь твое «добро» на это начинание, к которому до сих пор не прибегал, полагая, что можно утрясти в рабочем порядке. Но, видно, не получается.

Зато мне вчера вернули папку*.

13 января.

Представляю, как скучают без меня иные книги на полке. Грешно вымолвить, но они скучают, кажется, сильнее, чем некоторые друзья и знакомые, и свидание с ними тоже рисуется гораздо радужнее.

Мне как-то пришлось затратить уйму времени, чтобы многими страницами переписывать «Мертвые Души», оттого что своих нет, а вдруг переезд или еще какая оказия, и книги под руками не станет. Возможно, мое чрезмерное цитатничество в письмах объ-

ясняется тем же бессознательным цеплянием за текст, пока он в руках. И еще процитирую – на тему Чичикова.

Верим – не то что верим – видим: Чичиков мчит.

Допускаем – хотя с натяжкой: промышлением начальства, уговорами почитателей, надзирателей, духовных и жандармских чинов – Чичиков завяжет проказничать.

Но потянет ли он, исправившись, лямку с тем же азартом – ради одного удовольствия тянуть ее в поте лица?

На вопросе этом Гоголь запнулся. Уж с какого бока ни подъезжал он к своему подопечному – и грозил ему палашом и Сибирью, и раскидывал перспективу тихой пристани в семейном кругу, и втолковывал глубокую этику и поэзию земледелия (в предварение наблюдений в этой области Гл. Успенского). Задолго до Толстого, до Чехова пропел он дифирамбы труду, из проклятия, наказания – вопреки церковным запретам – обращенному Гоголем в подвиг самодеятельного подражания Богу. (У Костанжогло в запальчивости от этих речей на челе проскакивал уже венец Вседержителя...) Ну а Чичиков?

«– Так вы полагаете, что хлебопашеством доходливей заниматься? – спросил Чичиков.

– Законнее, а не то что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше. Не говорю – не заниматься другим, но чтобы в основание легло хлебопашество – вот что! Фабрики заводятся сами собой, да заводятся законные фабрики – того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей... Да вот же не заводу у себя, как ты там ни говори в их пользу, никаких этих внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки! Пусть я буду перед Богом прав...

– Для меня изумительнее всего, как, при благоразумном управлении, из останков, из обрезков получается, что и всякая дрянь дает доход».

Что он, табаком погнушается при такой целенаправленности, откажется от сахара, от лезущего в рот миллиона, от прокладыванья железных дорог, также, кстати, не встречавших сочувств-

вия Гоголя, хоть и был тот любителем быстрой езды («какой же русский не любит быстрой езды?..»)? Ему на все эти тонкости, прямо скажем, начхать; из рассказней Костанжогло он гнет свое и не может не гнуть; не был бы он перводвигателем – рассуждай он по-другому, как Гоголь, и Гоголь его видел насквозь и продолжал поучать и улещивать, видя бесполезность затеи, не в силах остановиться, ни выскочить, ни приструнить взятого в упряжку мерзавца...

«– Да, – сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова, – надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! И не потому, что растут деньги – деньги деньгами, – но потому, что все это дело рук твоих; потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага¹, сыплется изобилье и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслажденье? – сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего, сиял он весь, и казалось, как бы лучи исходили из его лица. – Да в целом мире не отыщете вы подобного наслажденья! Здесь, именно здесь подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творенья, как высшее всех наслажденье, и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя».

Ну а Чичиков тоже – следом за Костанжогло, за Гоголем – потянется в боги, в хлысты, поставит капитал и рабочих на возведение лестницы в небо? Поставит, на что угодно поставит – на сахар, на всякую дрянь. Он лоснится от восторга, он глотает слюну, слушая хозяйские речи, отзванивающие ему полновесным, трудолюбивым рублем. Но прижмите ему аппетит, уберите целковый...

«...Как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду и, чудо, засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волосы на голове колдуна» («Страшная Месть»).

Гоголю не везло с пристяжными. Да и поездки и полеты его были всё по кривой. Он рвался в будущее и, непостижимым путем, давая косяка, кругался, оказывался где-то в хвосте истории.

¹ Нет, положительно, – магия, колдовство не давали покоя Гоголю!

Устремлялся идеалами в прошлое, в патриархальные времена, и выныривал впереди каравана. Как колдун, что, уходя от расплаты, подвигался к ней ближе и ближе, и куда бы ни поворачивал коня, его мчало в противоположную сторону. Как Хома Брут, забивший поленом, как лошадь, прекрасную панночку-ведьму, бежавший в ужасе прочь и неудержимо, кругами, все возвращавшийся вспять – к своей жертве и смерти. И главное, он заранее знал, что так оно и будет и чорт его занесет неведомо куда, и ждал, и противился, и, случалось, искал уже сам, как бы дать стрекача, кругая, и неся вперёд, но его тянуло назад.

И шире – пространство у Гоголя коробится и круглится, не уходя напрямик к горизонту, но сгибаясь в какую-то вогнутую, сфероидную, что ли, форму; прямые, «вытянутые по воздуху», становятся кривыми, словно знают теорию Римана, благодаря чему неудержимая тройка, уносящаяся на наших глазах в безответную даль, по существу, заворачивает – вместе с медленным вращением, опрокидыванием всего окоема – и, законно, окажется там, куда мы не гадали заехать, вместе с Гоголем бодрым голосом устремляясь «вперед» и «в дорогу». (Между прочим, здесь, возможно, срабатывает скрытая пружина и гоголевского «искривленного» стиля и самой его природы и творческой биографии – с массой поворотов, петляний, загогулин и оборачиваний, где всё наоборот, навыворот, не так, как надо, так что, может быть, правильнее следить за его развитием начиная с эпилога, с могилы, пятясь против движения жизни нашего автора, что авось приведет к основанию ее ближе, вернее – в соответствии с безотчетным ощущением *Гоголя* как чего-то закругленного, изогнутого и уходящего у нас из-под ног. Ехать не вперед, а назад: назад – к рождению, или, как позволил бы я выразить его миссию в мире лозунгом одного остролова: вперед – к истокам!)

Ведь немалый конфуз, получившийся у Гоголя с Чичиковым, с этим «пристяжным подлецом», не поддавшимся его уговорам, заранее у него же описан в истории с пристяжным же конем по прозвищу *чубарый*, которого кучер Селифан, в точности как автор героя, учит и понукает, пробуя безуспешно наставить на доброе поведение. Камнем преткновения в обоих случаях становится бескорыстное служение ближнему, научившись которому, Чичиков объявится в неопознанном качестве современного

Одиссея, чубарый – помчит его бричку к заветной цели. Едва отправляясь в путь со своими героями, Гоголь как бы знал уже, чем кончится предприятие, и потешался над своими затратами, хотя программа по перевоспитанию Чичикова, по всей вероятности, еще не сложилась у него в голове и он высмеивал себя, так сказать, впрок, наперед, видя заочно, что дано ему было исполнить потом, когда он взялся переучивать Чичикова методом Селифана.

Последний, «довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой стороны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудился от всего сердца, так что в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие¹. «Хитри, хитри! Вот я тебя перехитрю! – говорил Селифан, приподнявшись и хлыстнув кнутом ленивца. – Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой – почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему с охотою дам лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель тож хороший конь... Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говоришь! я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь куда ползет!» Здесь он опять хлыстнул его кнутом, примолвив: «У, варвар! Бонапарт ты проклятый!»². Потом прикрикнул на всех: «Эй вы любезные!» – и стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому...»

15-16 января.

Ты, Маша, умничка! – что написала в телеграмме к 20-му, что Егорыч в группу ходит. Очень это мне надо иногда слышать. А то я последнее время даже по радио не могу слышать, как дети плачут.

¹ Как предлагал Костанжогло Чичикову получать удовольствие от работы в поте лица.

² Вспомним, что и Чичикова принимали за Бонапарта, с портретом которого он обнаруживал определенное сходство, чем, похоже, воспользовался в «Войне и мире» Толстой, списавший с Чичикова своего Наполеона.

Вчера, в выходной день, когда все ушли в кино и можно было три часа посидеть в тишине и безлюдье, я привел в порядок последнюю сотню твоих писем (без сотенного, правда, пока еще письма). И вот какие получил неутешительные цифры: за последний сезон (сентябрь-декабрь) я недополучил от тебя:

Итого:

<i>Сентябрь:</i> №№ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59	7 штук
<i>Октябрь:</i> № 67	1 шт.
<i>Ноябрь:</i> №№ 80, 81, 82, 84	4 шт.
<i>Декабрь:</i> №№ 90, 91, 92, 98	4 шт.
	16 шт.

Итак, статистика показывает, что из 50 писем, написанных за эти месяцы, я не получил 16, т.е. *одна треть* твоих писем ко мне не доходит. Такого за все время моего сидения еще не было, вот почему я и решил принять меры.

А сегодня я получил от тебя очень для меня драгоценное письмо № 96 (и его, понятно, уже не включаю в пропавший список), которое поэтому, наверное, и добиралось до меня 23 дня. Оно все светится твоим рождением и утром, о котором я бы и сейчас сказал то же самое-самое и, даст Бог, еще скажу. А во-вторых, поблагодари от меня Эммочку* за подарок, который в самом деле сплошное чудо и умиление. И ведь надо же такое: загадки для детей! Ну просто так не бывает. «Давным давно, в девятнадцатом веке...» Я вас всех целую.

18 января.

Долго думал, когда мне лучше послать это письмо, чтобы быть тебе приятнее, – 19-го вечером, как это бывает обычно, или после твоего ненаглядного свидания. И решил в конце концов не откладывать и не искушать судьбу, а если ты на самом деле приедешь и мы в действительности увидимся, я потом тебе про все это напишу в следующем письме. Так ведь?

Ужасно я тебя люблю, моя Машечка, моя единственная Машечка, и в связи с этим расскажу вот еще какой австралийский миф, который считается ужасно неразвитым и неинтересным, как и вся мифология Австралии, а мне, наоборот, показался он замечательным, и потом я объясню почему:

«...По версии арунта, первоначально жили недифференциро-

ванные существа, плававшие в воде, покрывавшей весь мир. Когда вода высохла, они оказались в беспомощном состоянии. Тогда с севера прилетела мухоловка и выручила их из затруднительного положения. Каменным ножом она отделила одни члены от других, вырезала глаза, открыла уши, рот, нос, отделила пальцы друг от друга, сделала обрезание (отсюда обряд), дала им копье, копьеметалку, щит и бумеранг. Она разделила их на фратрию жителей Воды и фратрию жителей Земли и ввела различные обряды и церемонии» (А.М.Золотарев. Родовой строй и первобытная мифология. М., «Наука», 1964, стр. 91).

Вот и весь миф. Но я через него впервые по-настоящему понял, почему вода лежит в начале мира и является первоматерией, как учил Фалес, первый философ на Земле, и что мы видим во множестве мифов и верований разных народов. В начале Космогонии – почти всегда вода. (И отсюда же древнейший устойчивый комплекс-образ: вода-змея-женщина, как некая первооснова жизни, что отражается опять-таки во множестве сказок и мифов.) А вода, оказывается, потому в начале – что она наиболее подходящая стихия для недифференцированных еще существ. Она бесформенна, аморфна, текуча, и в ней живут бесформенные еще существа, из которых все может получиться и еще неизвестно, что получится, и они перетекают друг в друга; вода – стихия метаморфоз, и они тянутся к ней, своей матери, пока не затвердеют.

Другие детали тоже прекрасны: мироустроитель – птица, т.е. дух, и она строит формы каменным ножом, которым, кстати, полагалось совершать обрезание и в Ветхом Завете, – священным орудием, переданным, возможно, из прежней эпохи, от предков. И кстати же, этим же орудием вырезаются органы, делающие человека человеком, и даже пальчики у него предусмотрительно вырезаются – как делают дети, на елку...

А по поводу сладкой книжечки я вдруг вспомнил, что ведь и мне первым книжным подарком, который я воспринял как первую, персонально мне принадлежащую книгу, – были «Научные развлечения» Тома Тита (не знаю, сохранилась ли она). И вот по ней я делал фокусы, немного, правда, утомлявшие своей излишней научностью, но все равно ужасно развлекательные. И получил ее в IV, кажется, классе, потому что имел одну четверку, и это меня так очаровало, что имел всякий год мечту получить одну чет-

верку и следом за нею книгу, но либо учителя натягивали на круглую и пустую грамоту, либо родители уговаривали, обещая подарить книгу в качестве приложения, но всегда забывали. Так что Том Тит остался первой и единственной книгой. И понимаешь, как мне странно и сказочно слышать про загадки и развращения?

18 января.

Оставил местечко, чтобы поцеловать тебя перед отправкой письма и сказать, что завтра я тебя жду, а сегодня получил две открытки, от 7-го и 9-го, про то, что письмо мое ты тоже получила, и письмо № 95, которое поэтому я вычеркнул из недостающего списка и цифирь исправил. А Егор просто на глазах растет в своих письмах ко мне, и вы мои сладкие дети, но я ему ответ сейчас уже писать не буду, а напишу в следующем письме, когда будет больше места.

А ты живи спокойно, и не нервничай, и не болей, моя золотая жена, и я тебя обнимаю, и пришлось по этому случаю даже вставить новый стержень в ручку – настолько я тут расписался в нежной признательности...

А.

19 января 1971.



...ты разрисовала его зеленкой... – Из моего письма: «Егору сегодня чуть получше. Я его расписала зеленкой в разные картинки, изобразив на нем цветы, человечков, кошек, мышек, домики и просто горошек.

Наш грамотный сын был весьма доволен, но все требовал еще слова и чтобы я написала на его руках-ногах-пузе про него и про себя. Но я побоялась бабушкиного гнева (и так она серчала, что на щеке родного внука – цветочек) и от надписей удержалась».

...про Егорычев день рождения... – Я рассказывала А.С. так: «Гостей сначала принимал Егор, и гости, сколотившись, подарили ему проигрыватель и разные детские пластинки, и уже сегодня утром он его сам включал-выключал, а потом Егор спал и гостей поила-кормила я в зеленом кабинете.

А я подарила Егору шашки, а от тебя он получил письмо с маркой и прочел его сам.

А гости у нас были такие: Викт. Дмитрич и Надежда Васильевна, Игорь, Владя, Россельсы, Людочка Сергеева, Эмка, Вика с Мишей и бывшие мои студенты – Миша Колкунов с Аленой Кайранской.

И от всяких салатов меня освободили, и я только принесла с базара разные соленья, а Игорь жарил мясо».

...вчера вернули папку. – В очередной раз изымали рабочую папку с текущими бумагами, заметками, рукописными клочками.

...поблагодари от меня Эммочку... – Из моего письма: «Вчера мне устроили небольшой праздник: я целый день трудилась в мастерской (Егор у бабушки, воскресенье как-никак...), а потом Инессин муж пошел к нам домой и нажарил много-много цыплят на всю ораву. И сделал красивый стол. Таким образом, я уже вторые именины обхожусь чужими силами.

Перепали мне и кое-какие подарки, из которых самый драгоценный – от Эмса: она у кого-то из своих учеников отобрала книжечку загадок и развлечений для детей, изданную в 1897 году в городе Сызрани в типографии Е.М.Синявского».

Евгений Михайлович Синявский, дед А.С., основал первую в Сызрани газету (куда сам и писал), первую в Сызрани типографию, а когда у него родился сын Донат, то, опасаясь крайне вредных для ребенка революционных влияний, дед решил воспитывать сына на книгах собственного изготовления.



ПИСЬМО СТО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Моя Маша!

Очень уж быстро на сей раз ты приехала и уехала, как-то всё в мановение ока, оглянуться не успели, и днем оно получается еще быстрее, чем вечером. И потому что без особых хлопот.

И где ты сейчас моешь ручки?..

Но я успокоился, что письма ты все же начала получать, а я сегодня – открытку от 10 января, где ты все время про меня думаешь.

Вчера же вечером, одновременно с твоим отъездом (не знаю, успела ли ты уловить этот факт?), пришла посылка, и теперь ощущаю себя много обеспеченнее в жизни.

Духота, конечно, тоже влияет и как-то отуманивает. Так что когда у нас будет домашнее свидание без вывода, мы, надо думать, будем не такими уж увальнями и все пойдет живее и веселее. И мы, наконец, доскажем, чего не успели досказать. И ты мне устроишь экскурсию по нашему интерьеру, взяв за ручку. А то я так и не понял, много ли свободных квадратных метров в нашей квартире и в какой комнате их больше всего.

Забыл, говорил ли тебе уже, или писал, что ты еще никогда не называла меня своим сердцем, как это случилось в 96-м очарованном письме, и это фантастика, что так любим друг друга.

Ну а теперь будем ждать весны.

21 января.

И не смей плакать – потому что это влияет на наши глазки.

А Егор просит не сердиться за то, что он заболел, как просил «лошадку», и это совершенно невозможно слышать.

И я не знал до сих пор, что ты умеешь играть в шашки, и как

это может быть? А не лучше ли вам с Егорычем играть в «блошки» – по-моему, это увлекательнее, и мне очень нравилось, что они разноцветные. Или в игры типа лото – но с увлекательным маршрутом, вроде мухи, которая вдруг попадает в варенье и пропускает уйму ходов. Еще полет на Луну был интересной игрой, пока она не была открыта, и лететь нужно было чуть ли не через Венеру. А шашки – что-то слишком сухо...

– Почему нельзя притворяться в мертвый час, будто спишь. Чтобы не дать повода думать, что ты согласен спать.

– Археологические раскопки и старые отношения кармы у копающего с тем, кого он откапывает.

– Кирюха говорит: пойдём посмотрим, как тут одного резать будут.

– Кошка во сне улыбалась.

Но Штейнера все равно не покупай. Это не обязательный автор. Представляю, как Соловьев разделал Блаватскую!

А ты мне очень понравилась – и внешне тоже, и все это сплошной лепет и вздыхание...

Еще ты меня изумляешь какой-то невероятной конкретностью в образе слова – как в свое время и в разные времена: «щенками», «отростком», «балалайкой», «кататься по полу» и т.д. Это какая-то зрячесть языка, абсолютность находки. И я очень верю твоему слуху на вещи.

23 января.

Реплика на арию Ленского «Куда, куда вы удалились...»:

– Долго он будет петь, Мопассан этот?!

Забавно наблюдать, как чувствуют себя люди в «предосвобожденный период». Иногда – ужасно капризничают, до истерики, придираясь к мелочам, не стоящим внимания даже в обычные дни, переживая как катастрофу какой-нибудь галстучек, носовой платочек, прическу. Право же, освобождаясь, человек становится слегка ненормальным.

И мне интересно, помимо прочих удовольствий, пройти эту стадию и посмотреть изнутри, как это бывает на самом деле.

Еще не пойму, отчего иногда так громко разговаривают. Буквально крича друг другу в уши, и не от эмоций, а просто какая-то потребность бывает у людей говорить с подчеркнутой громкос-

тью. Более это понятно у инородцев, где сильнее дает себя знать чувство языка. То же бывает, когда человек, отвыкнув от родного языка, говорит на нем, немного рисуясь, кокетничая, демонстрируя окружающим свое умение. Человек на своем языке говорит как иностранец.

А вот, Машечка, книги из тем. плана изд-ва «Искусство» на 1971 г., поражающие своей шикарностью. Например: Прикладное искусство средневековой Европы в Эрмитаже. Альбом, 25 п. л., 8 руб.; Ярославская икона. Альбом, 8 руб.; Росписи гуцульских гончаров. Альбом, 6 руб.; Фрески Ферапонтова монастыря (!). Альбом, 34 п.л., 10 руб.; Ростово-суздальская живопись XII–XVI вв. (в издательстве «Изобразит. искусство»). Альбом, 6 руб.

Но я бы просил тебя при случае оставить в каком-нибудь магазине предварительный заказ на три книги:

П. Богатырев. Вопросы теории народного искусства.

А. Гуревич. Категории средневековой культуры.

В. Лазарев. Старые итальянские мастера.

Все они должны выйти в 71 г. в изд. «Искусство».

Ну, может быть, еще Фрески Ферапонтова монастыря. Ведь Ферапонтова же!!

24 января.

Мало кому случалось так попадать впросак, как это угораздило Гоголя в поздних его сочинениях. Его лицо, выжидательно глядящее с этих страниц, страдальчески перекашивается и разъезжается по бумаге в старании скоординировать свои черты в устойчивую физиономию. Следить за его гримасами, не укладывающимися в уме, похожими на адскую пляску раздерганных уголников, настолько стыдно и тягостно, что, должно быть, поэтому позднего Гоголя предпочитали демонстрировать выборочно, как ряд не идущих в прямую связь эпизодов – Чичиков (сатирический тип), тройка (вера в Россию), руководство помещикам, как управляться с крестьянами (крепостническая реакция), мысли о Пушкине, о русской песне (образец пронизательности), высказывания о царе и о церкви (верх мракобесия) и т.д., – тогда как все они суть необходимые сочленения в умозрительной трапедии Гоголя, хоть и тянущие в разные стороны, с тем чтобы охватить бытие целокупно и всесторонне, найдя всякой

вещи законную середину и место. Поиски середины, единства в условиях роковой разобщенности и удаленности сопрягаемых звеньев (полиции и религии, морали и хозяйства, церкви и театра, первобытной идиллии и европейского просвещения), попытки восстановить перемирие с опорой на множество точек разбежавшегося по вселенной сознания, вздыхающего по позабытому со времени Гомера и Библии глобальному равновесию, сулили перекосы и вывихи, сообщавшие всей экспозиции какую-то шутовскую ходульность. Гоголь не кривляется, не гримасничает, но балансирует, ища увязать то, что уже никем не увязывалось и существовало разъединенно, оторванно, впадая неукоснительно в шарж, в гадость и благоглупость, там, где с давней поры недоставало моста.

Скажем, он предлагает, как родного отца, уважать и любить начальников – в память об отцовстве, лежащем в основании космоса, дома и государства. Или с искренней верой в музыку сфер, в мудрую иерархию мира до небес превозносит чиновников, не затрагивающих ничего уже в охладевшем сердце сограждан, кроме мутной тоски по каким-нибудь казенным харчам. Социальные рекомендации Гоголя развиваются, примерно, по схеме жителей города NN, суетившихся вокруг Чичикова с его покупкой несуществующих душ и мифическим имением где-то в Херсонской губернии.

«Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может сделаться среди своих крестьян некоего рода отцом...»

«...Полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не ездит, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства».

«...Позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки и пошел рубить себе новую избу».

Теперь он так же кудалтал, высиживая из Чичикова полезного стране Одиссея или, в «Переписке с друзьями», рассуждая об

отеческой власти помещика, о достоинствах капитана-исправника. Кажется, Гоголь нарочно подстраивает своему перу ситуации, над которыми недавно смеялся, и ставит себя в положение своих потерпевших героев, превращаясь закономерно в объект общих щелчков и насмешек. (Мог ли он в этих условиях не питать неприязнь к прежним произведениям, мешавшим двигаться дальше, уличавшим на каждой фразе?) Он всерьез подошел к проблемам, от которых прежде отшучивался, и вдруг – в измененной тональности, в новом, рассудительном стиле – заговорил устами почтмейстера, городничего, Хлестакова, Манилова... (Трудно было нелепее закончить свой жизненный путь!)

Однако наша рука, лоящая его погранично на страшных противоречиях, растерянно повисает в пространстве, едва мы допускаем, что автор намеренно пошел под огонь своего вчерашнего смеха и принял в лицо оскорбления, розданные им когда-то другим, вымышленным заместителям. Что поздний Гоголь это не какой-то другой, видоизменившийся или пошатнувшийся автор, но в точности тот же самый, лишь открывшийся со своей оборотной, теневой стороны (либо вышедший наконец-то на свет из темноты своего прошлого творчества). Что оба антипода как нельзя удачнее уравнивают и дополняют друг друга, складываясь в единую фабулу завершенной судьбы человека, расплатившегося при жизни сполна – во второй половине пути – за вину (или удачу) первой своей половины. Что если существует возмездие за писательский грех, то Гоголь уже на земле испытал весь ужас писательского же, по специальности, ада и ушел от нас примиренным, очищенным, расквитавшимся, в то время как у других все еще впереди...

Все эти нелепые домыслы, странные начертания не пришли бы, наверное, в голову, если б гоголевские поздние строки – со всей их разящей контрастностью и отрицанием прошлых творений – не воспринимались все же как их естественное закругление, как некая стилистическая и логическая необходимость в развитии его мысли и личности. Если бы, уличая писателя в очевидных натяжках и ляпсусах, мы не заметили вдруг, что они обязательны при такой, как у Гоголя, доскональной постановке вопроса, в подобном охвате и синтезе всех мыслимых измерений. Что автору в колоссальном балансе, не снившегося тогда никакому уже универ-

салу и верхолазу масштаба, ради увенчания замысла оставался единственный путь, который он не преминул найти, сорвавшись с гармонической вышки в кощунственную карикатуру.

Как, не потеряв равновесия, построить башню до неба? Как, в самом деле, не впадая в комедианство, достичь высшего синтеза Вечности с сегодняшней суетой, бешено мчащейся тройки с апологией тишины и застоя? Чем пробить средостение между Богом и государством, если не низведением божественных санкций в жилистые руки правительства – царя – губернатора – исправника – и, падая дальше, если уж идти до конца (а Гоголь шел до конца, до буквальная реализации своих метаморфоз и фантазий), – в объятия Держиморды, который ведь тоже недаром мерзнет на законном посту?..

Рискуя прослыть глупцом, если не продажным писакой, Гоголь, как фокусник, тянет опасную связь – с земли на небо, с неба – до преисподней. (Что же делать, когда гармония оказалась возможной только в такой вот рискованной и перекошенной форме?..)

«В груди нашей заключена какая-то тайная вера в правительство. Что ж? тут нет ничего дурного: дай Бог, чтобы правительство всегда и везде слышало призыванье свое быть представителем Провиденья на земле и чтобы мы веровали в него, как древние веровали в рок, настигавший преступленья» («Театральный разъезд», 1842 г.).

«Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях, какие ни есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть, все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности нашего государственного быта...» («О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности». Письмо к гр. А.П.Толстому, 1845 г.).

«Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей.

...Чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что Сам Бог строил незримо руками государей» («Занимающему важное место», 1845 г.).

25 января.

Все-таки я рад, что получил твое 98-е письмо, хотя оно и печальное, а также – 100-е и открытку от 12-го, на которой Егор впервые пошел после ветрянки в группу, а Глазунов уже перебрался внутрь Кирилло-Белозерского монастыря и так и шпарит подряд родными пейзажами. Только глаза тарачишь: и когда он успел все это напечатать?

А письма, хотя и грустные, но совершенно лирические, и я тоже диву даюсь: мне показалось даже, что ты стала меня любить сильнее обычного: это прекрасно, но непонятно, за что и почему.

Ну, таким образом, сотню мы закрыли – трудно было закрывать, не шли никак последние номера-то. А все ж круглота достигнута, и я ее сейчас поволоку в чемодан.

Следуя твоему совету, шумное заявление на тему пропажи писем подавать сейчас воздержусь. Поскольку ты есть мое доверенное и полномочное лицо, тебе виднее, как лучше поступать в этих вещах. Но все же не забудь, что, начиная с сентября, одна треть твоих писем до меня не доходит.

(Надо же так случиться, что на этом самом месте, буквально на этой строке меня прервали: принесли назад мое письмо, отправленное неделю назад, 19 января, про которое я тебе уже рассказывал и был в полной уверенности, что оно давно уже ушло. Причины возвращения пока не знаю, и на то, чтобы узнать, тоже нужно время. А ты, бедняжка, ждешь его там и волнуешься, а оно у меня лежит без движения – представляешь, как я расстроен! Из-за такого вот пустяка в один миг разлетается в пух и прах все мое хваленое спокойствие. Пока не стану продолжать. Надо сначала выяснить недоразумение с прошлым письмом. Никаких нервов не хватит. Поэтому закрываю скобку и ставлю дату.)

26 января.

Уф! Письмо отправил. Оказалось недоразумение: уже после него я отправлял заказ в «Книгу – почтой», что не входит в лимит, но его сочли за третье письмо и вернули мне второе. Бывает. Еще я наклеил лишнюю марку на всякий случай: вдруг это вес виноват. И марки у меня кончились. Поэтому, будь добренькой – пришли мне немножко марок.

Возвращаюсь ко вчерашнему. Сотню, значит, я закончил и жду начать новую. Но ты, по-моему, ошиблась в смысле совпадения

на 6 января. Расписываться – очень может быть, что и расписывались. Но у Николая Александровича*, помнится, были до Нового года. Да и некогда было бы в канун Рождества. Ничего. Нам и так хватает совпадений. Даже иногда с избытком.

У нас тут несколько дней шел такой дождь, что зимы как не бывало. И теперь она должна начаться по-новой, и на это обидно смотреть.

– Если ты дух, говорю, то бери и иди.

В Каноне покаянном встречаются слова, помогающие схватить суть иконописания:

«...даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки образа Лица Твоего...» Если всякому человеку предписывалось так говорить, то как же о том же самом должны были молиться и помышлять иконописцы!..

27 января.

Тоже начали новую сотню Егоровым длинным письмом, которое, несмотря на его закорючки, ехало до меня 20 дней. Но неужели он так рвался на свидание, как ты успела сказать! И что помнит о том приезде. Все это необъяснимо. Ведь не так уж он меня знает и помнит. Но идея фикс – отцовство, сиротство.

Очень я вас глубоко люблю.

А знаешь, какая книжечка вышла?

И не книжечка, а целый томина Полного собрания рассказов Эдгара По в серии «Памятников», в издательстве «Наука». На русском языке столь полного издания еще не бывало, и вот его-то нужно иметь непременно в доме. (Кстати, составитель и комментатор небезызвестный тебе Николюкин!*). Тираж 50 тыс. И тут один получил «Книга – почтой», а больше уже не шлют.

И какая чудесная. Я за нее ухватился двумя руками и читаю наперегонки, пока хозяин не читает. Сегодня на работе весь день предвкушал, как в детстве «Робинзона», перед которым нужно было сперва ложиться спать, потом гулять, а потом уже – дали в руки. И обычно такие предвкушения и ожидания не сбываются. Книга оказывается скуднее, чем от нее ждешь. А тут – нет, на том же самом, ожидаемом уровне. Не все рассказы, конечно. Но зато – например, «Лигейя» просто диво. И я понял по нему строки Ман-

дельштама: «Я научился вам, блаженные слова...» Там тоже – Лигейя. Нет, не зря Эдгар По взят в образцы*.

29 января.

Смотри – какая жалость, какие бледные чернила оказались в тех маленьких трубочках для шариковой ручки, что ты привезла и мы думали – на два года хватит. Хватить-то хватит, но очень скучно писать такими бледными буквами. Есть еще несколько черных (в стеклянных трубках), но их мало. И когда будешь в другой раз покупать – проверяй, пожалуйста, какого цвета: самые лучшие – черные. И я ими буду писать тебе, пока не кончатся.

Несколько дней болел животом и лечился Эдгаром По и кофе-ем, который, говорят, помогает, если ешь его натошак в сухом виде. Как будто помогло (не знаю кто и что). Очень это противно, тем более когда и не есть совсем тоже не с руки: грузить-то требуется.

И говорил животу, как кошке: – Ну ты же добрый человек!..

– И ты был когда-то «я»...

В хозяйстве перехожу на единоличную жизнь. Сам варю кофе в маленькой кружечке, благо печка под боком. Сам планирую конфеты, махорку и номера газеты, где бумага потоньше, – на закрутку. Отвык. Несколько лет уже этим бытом не занимался. От жареного хлеба вечером придется отказаться. А кофе – додумался – иногда варить в запас и оставлять на утро холодным. Ничего, проживу. Зато уединенней.

– Мы люди немзыкальные. Симфонии нам не нужны.

Вот и наступил мягкий и вкрадчивый месяц – февраль.

31 января 1971.

Сегодня у меня урожайный вечер. Одним взмахом получил от тебя три письма и три открытки. Даже и те, которые не ждал еще получить: после свидания. Открытки – все три по приезду. А письма № 2 и 3 и № 6, где ты целый день была в лежащем состоянии. И хорошо, что сюда же приплюсовалась открытка от 25-го, т.е. через день после того, как ты свалилась: может, не заболела (?).

А тебе надо устраивать периодически такие – не то что выходные, а лежачие и спящие дни. И не когда уже с ног валишься, а заранее – чтобы не свалиться. Потому что чем дальше в лес, тем

больше ты устаешь, я вижу, А нам надо вести себя разумно, чтобы быть счастливыми.

Егорушка весьма пунктуален в выполнении моих заказов-просов и, как я просил, нарисовал елку. Я и не думал, что у нас с ним наладится такая – действительно взаимная – переписка. Я думал, будет – я про Фому, он про Ерему.

К сожалению, его просьбу повесить его рисунок на стенку исполнить я не смогу: не положено. Ты ему, конечно, об этом не говори.

Никак не могу привыкнуть к изменению вкусов, отраженному в открытках и марках. Что вот на марке – Самари*. Та самая, об которую столько копий сломалось. Или Ида Рубинштейн*, которая для меня когда-то была почти как Елена Гуро и вызывала такие приливы почтительной и нежной влюбленности... Про Самари не скажу, но Ида с ума сводила. Она витала, как Прекрасная Дама – где-то между Бердслеем и кубизмом...

Не знаешь, радоваться или грустить ее открыточному воцарению.

1 февраля.

Насколько все-таки романтизм в историко-культурном отношении оказался богаче и перспективнее реализма, сообщив толчок развитию даже ряду наук – истории, фольклористике, этнографии, филологии, эстетике и т.д. Недаром Вальтер Скотт, Пушкин, Гоголь, Бальзак, Достоевский в своем исходе имели романтический корень, хоть и выросли в совершенно самостоятельные деревья. И даже главным своим открытием – что и крестьянки чувствовать умеют – реализм обязан романтическому влечению к дальнему в ближнем человеке, который, прежде чем сделаться Платоном Каратаевым, показал себя в образе Квазимодо.

Интерес Эдгара По к науке тоже говорит нам об этом влечении к дальней тайне и попытке оседлать в романтических полетах к чудесному оказавшийся под руками и подымавший голову разум. Кабинет ученого смахивал еще на обиталище мага (Фауст) и сулил изумление сгоравшему от любопытства, вышедшему за границы действительности познанию, желающему скорее удивляться, нежели изучать и осваивать. Героями романтиков сделались ученые, похожие больше на волшебников и отшельников

(Манфред). Наука еще находилась на уровне эзотерических знаний, а техника сбивалась на чистую поэзию или искусство для искусства, имея дело с воздушным шаром, с электромагнитными волнами колдовства и гипноза.

Все же нужно знать и учитывать очень много побочных сторон и деталей, чтобы что-то понять. Недавно узнал о старинном обычае (в Рязанской губ., в частности) кататься на масленицу с гор – на прялочных донцах: чтобы лен долгим рос. Теперь понятно, почему прялка испытывает слабость к сюжету катания на саях. Он не просто заимствован из окружающей жизни как приятное воспоминание, но вытекает из должности прялки как орудия колдовского катания. Прялка становится сказочной вариацией коня и саней. Сюда же припутались сани, кареты и корабли свадебных обрядовых песен, куда как к идеалу и пряже своей женской судьбы стремится молодая хозяйка.

Также стоит обратить внимание на календарную поговорку-примету: «на Егория (23 апреля) – конь травы поест». Связь Георгия с конем (на иконе) подкреплена и продолжена в исчислении его праздника. Понятнее становится и пословица, давно уже меня занимавшая: «Что у волка в зубах, то Егорий дал». В роли хозяина пастбищ и покровителя стад Егорий отчисляет необходимый прожиток волкам, выступая, начиная с травы, необходимой всякой скотине, уже и их, волков, прокормителем.

Кстати, живая связь Георгия с конем прекрасно выявляется в «Ромейской истории» Никифора Григоры (XIV в.), где, в VIII-й книге, события смуты сопровождаются предзнаменованием – ржанием коня в полночи, о котором свидетель рассказывает: «Сейчас, – рассказывал он, – когда царские секироносцы и меченосцы расходились спать, по всему дворцу пронеслось ржание и перепугало всех. Ведь была кромешная тьма, и нигде ни во дворце, ни у ворот не было ни одной лошади, ни царской, ни сенаторской. Все, кто слышал ржание, встревожились и задавали друг другу вопросы об этом странном случае, но не успело первое волнение улечься, как снова раздалось ржание еще сильнее прежнего, так что его услышал сам царь и просил спросить, откуда в такой темноте доносится столь сильное ржание. Ему принесли ответ, что ржание исходит от коня, нарисованного на дворцовой стене про-

тив храма Богородицы Никонеи. Я говорю о том коне, на котором знаменитый древний живописец Павел дивно изобразил Христа мученика Георгия».

Точно такое же ржание от того же изображения раздавалось несколько раньше, когда Византии грозило нашествие римлян.

Дивная история. В духе Эдгара По, но только лучше, потому что достовернее. Ржущий с иконы – конь. Труба судьбы. Факелы в полночи. Беготня по царским покоем. Начало смуты.

2 февраля.

Забавное. Вижу сон: всё как есть в секции, темно, входит дежурный и говорит – контейнеры. Надо просыпаться. Просыпаюсь, не во сне просыпаюсь, а по-настоящему: обстановка та же, но никто не приходил, и все спят. Засыпаю: дежурный продолжает: контейнеры. Я просыпаюсь: никого. Засыпаю: опять сначала. И так раз пять подряд – туда-обратно, так что в конце концов совершенно запутался, где правда, а где сон.

А еще говорил, что производственных снов не вижу.

А недавно во сне слушал с тобою чудную музыку и с какой-то ссылкой на старую, будто ведомую уже нам партитуру – с перспективой уходящих в прошлое снов.

Тоже забавное. Из жизни. Один вдруг извиняется, обращаясь ко мне персонально: – Извините. – Я не понял. А он крутит головой: извините. Оказалось, он при мне матерился, чего я, признаться, не заметил.

Так бывает иногда. Выругается кто-нибудь в общем разговоре, и вдруг поклон в мою сторону, точно я женщина. А мне смешна, и трогательна, и даже немножко горда такая вдруг респектабельность. Все-таки сфера духовности.

Это письмо я посылаю на два дня раньше: февраль-то месяц короткий.

И прикладываю письмецо Егору – с маркой скифского оленя, тем более мне дорогого, что рога у него как на прялке – сплошные лебеди. Этой марке я бы дал первую премию. Не просто замаркированное произведение искусства, но – эмблема.

А ты не забудь прислать мне марок (ни одной не осталось).

И еще забыл спросить – удалось ли подписать меня на «Знание – силу». Не в виде намека, а чтобы знать, чего мне причитается.

Опять по тебе скучаю.
 Всегда люблю.
 И очень тебя целую, моя милая Машечка.

А.
 3 февраля 1971.



...у Николая Александровича... – Из моего письма: «Вдруг меня осенила одна идея про 6-е января, и если это так, то все это неспроста в нашей с тобой жизни, и вспомнилось мне, что сегодня у нас вроде бы юбилей и что именно 6-го января ты меня сводил за ручку в ЗАГС.

Но это еще не все, потому что сдается мне, что именно 6-го января 62 года мы были с тобой у Николая Александровича в районе Донских улиц, и помнишь ли ты про это, и верно ли, что эти события произошли в один день? Вроде бы верно...

Иногда жалею, что не вела дневников. Не для изложения идей и соображений, а просто для цифровых выкладок, в которых вдруг обнаруживается известный смысл и предопределенность. Егора-то я родила не когда-нибудь, а 23-го...»

Николай Александрович Голубцов, священник Малого собора Донского монастыря, крестил А.С.

...небезызвестный тебе Николюкин! – А.Н.Николюкин – литературовед, сотрудник Института мировой литературы, был уволен из ИМЛИ по обвинению в занятиях фривольной фотографией.

...Эдгар По взят в образцы. – Он был взят в образцы при выборе псевдонима. По звучанию. Протяжное – Эдгар, и резкое односложное – По. Протяжное, почти мечтательное – Абрам, и как удар кинжала – Терц!

Самари Жанна – певица, модель Ренуара.

Ида Рубинштейн – балерина, изображенная на портрете Серова.



ПИСЬМО СТО ДВАДЦАТОЕ

Родная жена Машенька!

Совсем заново началась зима. Она не вернулась, а пошла по второму кругу, помолодевшая, свежая, прибавившая в весе, в морозе, в снеге. Но и в свете тоже. Наконец-то мы почувствовали изобилие зимы. Давно бы так. А то солнышко сияет, а холодам конца краю не видно.

В феврале хорошо питаюсь. Сыра закупил, пряников. Выручает запас махорки, который оставил Миша*. Ем в этом месяце на все пять рублей!

Интересное высказывание о Мандельштаме встретилось в воспоминаниях Вл. Милашевского («В доме на Мойке. Из записок художника». – «Звезда», 1970, № 12). О нем так мало известно, что любое слово дорого. Но в данном месте присутствует и возможность поворота более глубокого. Действие происходит где-то в районе 1921–22 гг.

«Мандельштама мы все хорошо знали со всеми неровностями его жизни и его характера.

Осип, как мы его все называли, был своеобразно остер, интересен, часто не укладывался ни в какие рамки. Никто из нас не считал его «великим». В нем были и смешные черты. Особенно мы их ощутили, когда этот сугубый горожанин, лишив себя привычной среды, общества интеллектуалов, предстал перед нами на фоне лесов, в глухих дебрях древней Псковщины, среди людей перевозданной природы. Никакой режиссер не придумает таких мизансцен, таких диалогов... Он казался выходцем с другой планеты.

Само мышление, строй его образов были непривычны.

Лист гербария и лист на дереве! Живой, влажный кленовый

лист, лист естественный, почти не обращает на себя внимания. Но этот же лист в гербарии поражает своими остро-дьявольскими, изоощренно-колкими очертаниями. Он фантастичен, почти страшен! В нем можно усмотреть и шпили готических соборов, удушливое гетто средневековья, костюмы Мефистофеля и доктора Фауста. Зеленый же лист прост, как народная песенка.

Искусство Манделъштама – тоже какая-то «сухая ветка», основа его – некая отчужденность от всего того, что для других насыщенная жизнь, жизнь мира» (стр. 196–197).

Я думаю, чувство «гербария», «сухого листа», «марсианина» в общении с Манделъштамом проистекало не от его отчужденности от мира и жизни, но, напротив, – необыкновенной способности воспринимать текущую жизнь как историю и жить не просто в воздухе, как все живут, но в исторической жизни, в воздухе века. Обычно история предстает как что-то нас не касающееся, с нами не связанное («Но это же история!» – о Риме по сравнению с нами) и обычно – не живое, как мы, но окаменевшее где-то позади, в виде хронологических дат и учебников. Для Манделъштама же история – не прочитанная книга, отложенная в сторону, а такая же реальная, как наша, жизнь, и поэтому, в свою очередь, наша жизнь ему исторична, и дворник со звериной зевотой ничем принципиально не отличается от древнего скифа. Мы делим время на живое растение (когда мы живем) и гербарий (древность), а гербарий у Манделъштама рос уже в нашем лесу («Страусовые перья арматуры», «Ассирийские крылья стрекоз»), а ветхая древность цвела живым Саламином.

В этом смысле я не знаю более современного поэта, чем Манделъштам, у которого век существовал не по теме или стилю произведения, но во всех порах сознания.

Возможно, его увлечения некоторыми науками также объяснялись стремлением проникнуться атмосферой эпохи, набраться ее имен и звуков, чтобы жить не только биологической и психологической жизнью, как мы живем, но в полном объеме исторической. Мне кажется, его привлекали не столько концепции в науке, сколько эта известь в ее крови, позволяющая снять с живой ветки четкий слепок. Путем сопряжения далековатых идей воссоздать арматуру, стрекозиные крылья эпохи.

Наконец-то начинаю понимать его искусство жить в челове-

честве вполне конкретно и целостно, упираясь ногами в землю людей и осязая как соседа и брата давно умерших египтян, ассирийцев. Задачу связать песенкой распавшуюся связь времен и вдруг очутиться в океане живой истории. Отчего он и воспринимался каким-то чужаком, будучи всех ближе к нестареющей семье человечества.

А Милашевский – хороший художник?

7 февраля.

Прекрасны две строфы из пиратской песни, в общем довольно вялой («В нашу гавань заходили корабли...»):

И в воздухе сверкнули два ножа,
Пираты затаили все дыханье:
Атамана они знали как вождя
И мастера по делу фехтованья.
Но Гарри был задумчив, молчалив,
Он знал, что ему Мери изменила.
Он молча защищался у перил,
Хотя она в тот миг его любила.

Ничего не понятно, но все правильно. Какие возможности заключены в этом стиле!

А я – после перерыва – получил (правда, совсем не в номерном порядке) письма № 4, № 7 и № 8 и две открытки.

Одно меня совершенно убило твоим огорчением и новым приступом темы*, которая казалась исчерпанной. Это как бить кулаком в стенку: чем сильнее бьешь, тем больнее. И я одно твержу, держась за тебя двумя руками: Машечка, не впадай, родимая, не надо. А вид открыточной урны совсем уж доканывает. И как это бывает с природой – она аккомпанемент, и вчера был такой адский холод, давящий, от которого трескается голова. Просто молоток, забивающий гвозди.

И не могу, когда тебе плохо. Совсем неотделимо и невозможно и невозможность.

Сегодня более ранние письма и открытки из них же – как слабая улыбка на измученном личике. Потому что более ранние и это горе, что сначала ты улыбалась, а потом в урну, и такой наступил холод, что от него вроде бы даже стало на земле темнее.

И я прячусь в более ранние, и опять вспоминаю, что уже потом, и держусь как за заклинание за Егорычевы крокодильи стихи*, что я сперва подумал, что это он сам сочинил, и за марку с Гогеном с той самой картины, которую я у него больше всего любил, и за открытку с Византийской эмалью, и за то, что ты в седьмом письме уже ответила с Егором на Австралию*, про которую я его спрашивал в прошлый раз, не зная, что ответ уже едет с вами ко мне, – так вот за все это хватаюсь, и заклинаю, и шепчу, чтобы вы не болели и не впадали.

Стихи о крокодиле светятся тем же юмором, каким был полон Егор во младенчестве, когда его, например, купали, хотя и с опаской в глазах, но и в невозмутимой веселости, которая делала его как-то мудрее и старше нас, – и поэтому мне показалось, что стихи уж очень Егорычевы и специально для него и про него.

И тоже правда, что месяц вполне обозримая и удобная единица, а их всего 19, и это тоже довольно легко обозреть. Только ты, Машечка, потяни еще немножко, умоляю тебя всем Гогеном и всей Австралией, и куда ни посмотришь, все мы и мы вдвоем, и нет ничего, кроме этих вдвоем заработанных и пережитых ценностей, где все с полуслова понятно, и где еще так бывает и может быть?

А географическая карта Егору, конечно, нужна мировая, в полушариях, которая гораздо больше позволяет понять и увидеть, чем глобус, и у меня в детстве была на стене такая карта. И лучше, если она будет физическая, с изображением гор и рек.

И на Трезора тоже согласен*. Только бы вы были живы.

8–9 февраля.

Наконец-то февраль стал на себя похож и, отойдя от декабрьской, безвыходной стужи, заговорил пургой и вьюгой. И снега навалил горы за один день. И все валит. И все метет.

Приятно видеть вещи в их собственном жанре и стиле. И ты тоже этому меня научила. Терпеть не могу противоестественные смешения. На днях кто-то из ребят предложил угостить «растительным салом», так меня от одного названия тошнит – настолько это невозможно «растительное сало». Сразу представляешь растение, у которого откладывается жир, как на свинье, – в листьях и стеблях.

А письма, как это бывает часто, застыли на плохом месте.

И как теперь сойти с этой точки? Когда они приходят кучкой, я всегда первым делом ищу глазами последнее, чтобы сразу знать, как вы живы и с чем предстоит нам жить следующий отрезок. Поэтому так спасительны открытки. Они, залетая вперед, несут благую весть: все в порядке, дорога чистая, можешь идти дальше.

Но сейчас застопорило вместе – и на письме и на открытке...
– Хотя и поляк, а мясо порет быстрее татарина.

По радио – женский смех. Как соловьиное пение. Ни от чего. Почему это женщины любят смеяться? И даже особый сорт – хотуши. Есть в этом какая-то непостижимость. И прекрасная. И холодная. Смеяться ни от чего. Наверное, это какой-то физиологический смех. Как щекотка. Смех в отсутствии юмора. Как внешнее раздражение.

Зато как вполне прекрасна беспомощная косолапость детей. И во сне мы тоже часто спим косолапо, пятками врозь, уткнув колени...

10 февраля.

Рассказали прекрасный способ лечения коклюша у детей. Болезнь протекает столько же времени, как ей положено, но легко и незаметно, и ребеночек совсем не надрывается в кашле. Нужно его обложить свежими стружками сосны, под подушку и вообще вокруг постели. Чтобы он дышал этим запахом все время и во сне тоже. И кашель резко идет на убыль. Это рассказал человек, у которого трое детей и все болели коклюшем, и он сам на них попробовал лечение запахом стружки.

Еще узнал интересные цифры из переписи 1738 г. – при Анне Иоанновне. Всего в России было тогда 10 млн. 893 тыс. народу. И десять самых больших городов:

- 1) Казань – 192 тыс.
- 2) Новгород – 168 тыс.
- 3) Нижний Новгород – 156 тыс.
- 4) Москва – 151 тыс.
- 5) Ярославль – 127 тыс.
- 6) Суздаль – 126 тыс.
- 7) Владимир – 116 тыс.
- 8) Симбирск – 108 тыс.

9) Смоленск – 105 тыс.

10) Вологда – 92 тыс.

А в Петербурге тогда было 68 тыс. Что же выходит, братцы? В Суздале народу в два раза больше, чем в столице! В Новгороде больше, чем в Москве! Боже, как эта карта все еще сдвинута в сторону Древней Руси! Как-то реальнее начинаешь воспринимать Древнюю Русь, когда видишь, как она до середины аж 18-го века вертела населением Российским в свою пользу.

11 февраля.

(О Гоголе – в связи с его рассуждениями о монархии.)

Было бы преждевременно этот небесный проспект сплошь свести к изъявлению верноподданнического восторга, к гражданскому чревоуещанию или патриотическому великодушию автора, отважно перешивающего святительские ризы и нимбы на должностные спины и лысины. Естественно, все власти и ранги в Российском государстве, по Гоголю, все службы и уложения спущены прямо с неба, однако не столько с целью порадовать земных командиров, сколько подать им зеркало исконного правопорядка, напомнить о первообразном чине и назначении и тем возбудить на подвиг высокого домостроительства. Гоголь взыскует вернуть общество к первоисточнику блаженного единения с Господом в каждой судебной инстанции и притягивает за волосы, с бюрократической жесткостью, к созерцанию священных проекций: в граните Санкт-Петербурга – горнего Иерусалима, в помещике, в царе, полицейском – утраченной ипостаси Отца. («Будьте как боги!» – он шепчет. И корчит рожи...) Не временное, на текущий день, состояние должностей в государстве, но сокрытая в них и завещанная на последний час Теократия трогает Гоголя. На героев своего «Ревизора» он взирает теперь не иначе как *sub specie aeternitatis*. Поэтому все лица и роли берутся им в должностной расфасовке – не по лицу, но мундиру, по месту, им уготованному от Бога, от века, что больше, ему представляется, соответствует спасительной истине, разумной композиции мира. Он верит, что человечество спохватится еще, загоревшись стать в совершенстве таким, каким должно было быть по первоначальному Плану. Тогда-то и прозвучат все должности и уложения. В противном случае вся история человечества не стоит свеч...

Его абсолютизм радикален и в поисках абсолюта, по русскому обычаю, граничит с нигилизмом. (Поддай ему небо в алмазах, а нет – хоть трава не расти!) В славословии трону, в истолковании государственных таинств он пришел к отрицанию всякого не означенного Вышней рукою поста, будь то власть и престол самого Императора.

«Власть государя явленье бессмысленное, если он не почувствует, что должен быть образом Божиим на земле».

Цензура, понятно, терзалась при виде такого усердия, не брезгающего креститься на шапку городского и вместе с тем, не задумываясь, послать в отставку царя, коль скоро тот не несет божественного подобия. Апостол самодержавия, каким зарекомендовал себя Гоголь, готовил переворот в пользу иного избранника, какого не чаяли видеть, какого и ждать забыли уже на святой Руси. В ход пускались рецепты из библейской истории: цари Давид, Соломон. Государю предлагалось достичь требуемой его должностью святости в два приема:

«...Исполнив прежде все, что должен исполнить всякий человек, уподобясь Христу в малейших действиях своей частной жизни¹, уподобиться сверх того еще Богу-Отцу в верховных действиях, относительно всех людей».

Задача не по плечу человеку. Не по плечу она никому и из князей человеческих с их земными богатствами, обязанностями, страстями. И тем не менее Гоголь ее взваливал на рамена предполагаемому помазаннику в качестве условия самого существования ничем другим не доказанной, не оправданной власти царя, который и на царя не похож, но больше напоминает монаха, истаявшего в постах, кошмарах, галлюцинациях, какого-нибудь иступленного, пророчествующего Савонаролу, взявшегося разыгрывать фарс пришествия на царство Христа. Здесь зреет костер духоборчества, мученичества и еретичества Гоголя; здесь под новым соусом, на сей раз в императорской мантии, прокрадывается к рулю сорвавшаяся в писательстве, сожженная в «Мертвых Душах» фантазия спасти и вознести человечество одним усилием духа, всемирным взрывом мятущегося, истощенного сердца.

«Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечест-

¹ Как если б это было возможным и дозволялось христианским обычаем!

ва, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов... всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся, наконец, до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такую, какую никогда еще не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех как одного человека. Всё полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши всё, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретает тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновение будет не жестко его ранам, который один может только внести примирение во все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение свое – быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь» («О лиризме наших поэтов». Письмо к В.А.Жуковскому, 1846 г.).

Но где же он, этот аскет, день и ночь проводящий в молитве за вверенное ему человечество? Где венценосец, чья власть заключена в отречении, в жертве, ради счастья всех до единого, неподведомственная уже земным измерениям? Нельзя допустить, чтобы его почему-то вообще не предусмотрели в проекте, чтобы на таком королевстве недостало бы короля! («Не может стать, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности».) Неужто в отдаленной примете никто не являлся писателю, рассказывающему о странном Монархе так внятно и близко к сердцу, что, мнится, вот он откроется в своем инкогнито!

«Год 2000 апреля 43 числа.

Сегодняшний день – есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскан. Этот король я... Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог

думать и воображать себе, что я титулярный советник... Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони...» («Записки сумасшедшего», 1834 г.).

Знакомый почерк. Гоголю тоже как-то вдруг все стало ясно. Во все он вникает, обо всем рассуждает как власть имеющий. В 1848 г. историк Погодин записал в своем дневнике:

«Православие и самодержавие у меня в доме: Гоголь служил всенощную, – неужели для восшествия на престол?»

Мог бы – и на престол. Иного, более близкого, соответственного его мерке наследника – не было. Среди современников Гоголя мы можем указать лишь одну фигуру на предложенное им поприще – Гоголя. Как это с ним часто бывало, «Записки сумасшедшего» служили черновиком для более разработанной и поздней фантазмагии. На Поприщине Гоголь примеривал собственную корону: идет!

Нет, дело не в сумасшествии. Царственные замашки писателя, его внешнее высокомерие тоже пока не в счет. Существеннее другое открытие: «Я узнал, – говорит Поприщин, – что у всякого пехуха есть Испания, что она у него находится под перьями». Это он писал о себе. Его Испания тоже находилась при нем, под перьями, и вынашивала Монарха на будущие свершения. Разношерстные облики Гоголя – чиновника, хозяйственника, отшельника, государя, писателя (не считая уже его персонажей) – были выходцами оттуда, из внутренней империи автора. Какое то было громадное и населенное государство! Поэтому и в писательской мании Гоголь похож на царя, который в свой черед явственно уподобляется Гоголю. Последний в роли писателя также, мы знаем, точил зубы на должность помазанника, верховного миротворца, раскрывшего, молясь и рыдая, объятия всему человечеству, пожертвовавшего собою, писательством, ради возлюбленных чад, поставившего в закон и условия всего дальнейшего творчества рассчитанную по нотам немислимую, недопустимую, противную христианским понятиям амбицию – «сделаться христианином во всем смысле этого слова», после чего произвесть нечто сверхъестественное...

«Чище горнего снега и светлей неба должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существования» (письмо к В.А.Жуковскому, 26 июня 1842 г.).

Так собирается с силами Гоголь-писатель: «чище горного снега» – вровень с Самим Творцом! Короче, в идеальном Монархе, как тот ему рисовался, нам рисуется Гоголь во весь исполинский рост, с маниакальной задачей и страстью к неземному владычеству, с жаждой святости столь безмерной, что в ней временами мелькает словно что-то испорченное...

14 февраля.

Когда я тебе не пишу несколько дней, то я начинаю так скучать, как будто давно не видел. И хоть совсем беспросветно и ничего нового и письма перестали идти на той самой точке, берусь за родную бумажку – Маше.

Какой февраль холодный – из всех зимних месяцев самый в этом году!

А перчаточки – я только сейчас от тебя узнал, что они парфюмерные. Но все равно они мне очень помогли и до сих пор выручают и еще не порвались. И на них сверху надеваю рукавицы, чтобы дольше служили. А время как-то странно застыло. И недавно, наткнувшись на 14-е число, я долго вспоминал знакомую цифру: к чему она? И вдруг вспомнил: Покров. Рукой подать. А уже четыре месяца. И ситуация как-то психологически совпадает.

А еще Мандельштам шел всю жизнь от мелодии каких-то строк, запавших в сознание и воспроизведенных по-новому. На этом строится вся «Грифельная ода», по которой я часто скучаю, не помня и не видя ее много уже ведь лет. Но и начинал он, мне показалось недавно, со строки Пушкина «Как звук ночной в лесу глухом» («Что в имени тебе моем»), отозвавшись звуком «Плода, сорвавшегося с дерева». Не с того же начала пошла его тоска и вечное кружение вокруг забытого имени?

16 февраля.

На шум пушкинских волн он отозвался напевом леса. Первое стихотворение. В этом схождении-расподоблении с натурой, которая то схватывается, то исчезает и растворяется, словно взятая не в фокусе, в приближении-удалении к имени и от него, – и возникает озвучивание любимого предмета, культуры собственным его поэтическим голосом.

16 февраля.

Все же я дожил, лапочки, до ваших писем, что при этакой стуже не так просто. А пришли они не обычной стайкой, а одно за другим, письмо № 9 и три открытки, из которых сначала пришла одна, а когда я вернулся с ужина, то и другая, а потом уже пошел в чайхану пить чай и когда пришел через час, то за это время прилетела и третья. И так я провожу весь вечер – в сплошной радости с продолжением следует, в которое я очень верю, в продолжение-то... А письма такие мирные и семейные, что дивлюсь, как они с этим детским и птичьим пухом существуют в таком холоде, а раз существуют – то как может быть холод и тьма и долгое их блуждание: при их виде, кажется, любой лед растопится.

Ну в письме, прямо сказать, больше пишет Егор, но и твоя душа там тоже воркует среди его елок и закорючек, и я так рад, так рад всему этому, просто ужасно, особенно после того, на чем мы остановились прошлый раз, и я ничего не имел с тех пор и жил беспросветно. Но я думаю, с любимым городом* у Егора ты преувеличиваешь: не взял ли он эту фразу из какой-нибудь передачи? Ведь есть у него слабость к эффектным словечкам. Но все равно вы мои любимцы.

А елку ему нарисовать, как он просит, я не могу: не чернилами же ее рисовать, – а цветных карандашей или красок у меня нет, да и не положено их иметь. обойдется без моей елки. А ты в случае возвращений его к этой теме как-нибудь замни. Вот марки я ему буду наклеивать по одной, если ты их пришлешь. А марки на твоих письмах становятся все потрясающей – ахаю, люблюсь и возмущаюсь: Эль Греко, это надо же, Эль Греко! И я не уверен, что нужно такое переводить на марки.

(И несмотря на приложенные колты, думаю, что все же правильно сопротивлялся: ведь быт-то другой и бабы другие, и я не знаю, возможно ли носить крест в серье для одной красоты, а то еще хуже – для фифства какой-нибудь соблазвившейся средневековой экзотикой дамочки. Ведь все-таки ты делаешь серьги не как вещь в себе, но как живое украшение, способное переходить с шеи на шею. Пусть уж лучше переходят какие-нибудь языческие цветочки и даже крест, но – в виде солярного знака...

А тут в «Новом мире» (№ 12) по повести Ю. Трифонова «Предварительные итоги» я вдруг увидел, какую модой стали иконы, затронувшие самые инженерские дома. Одно дело знать отвле-

ченно, а то вдруг увидеть и убедиться в своей отсталости за эти годы. Тебе, наверное, не так все это заметно при постепенном развитии, но я на эти скачки просто моргаю и моргаю...)

Опять же Пикассо на открытках. Ну, я еще понял бы – какая-нибудь Майорка с корабликом на голове, куда ни шло, ну голубой период, и тоже умел рисовать, но когда (а это сегодня была как раз третья, после всех остальных прилетевшая открытка) пошли распивочно кривые негритянские миски, – я сказал: – Нет, Машечка, ты просто шутишь!

17 февраля.

Вчера не успел выразить все восторги и перенес на сегодня, чтобы сегодня же опустить письмо в ящик: февраль-то короткий, и воскресенье на носу. А температура у нас знаешь какая – вчера и сегодня утром -31° ! И весна ожидается холодная – по примете: на Сретенье воды не было – значит, Пасха холодная. Это все ничего. И ничего, что валеночки мои еле-еле душа в теле – подметки отстают. Я их мечтал доносить в эту зиму, чтобы хватило, но кто же знал, что февраль захочет рассчитаться за все январские слякоти и декабрьские дожди. Но это тоже пустяки – дней на десять, вычислил, мне валенок хватит, а там – март.

Хуже другое. Сегодня был на работе, а у меня, в мое отсутствие, при обыске забрали все тетради-бумаги, а потом, без меня же, положили назад эту кучу, и вот сейчас, разбираясь в ней, не нахожу очень нужную мне тетрадь с записями о Гоголе. Придется по этому поводу ходить-просить-требовать и т.д. – по возрастающей инстанции. Расстроено. Если мне не удастся найти эту тетрадь, придется тебе включаться в это скучное дело.

Нужно спешно заканчивать письмецо. Пока его дописывал, пришли контейнеры и мы успели их нагрузить, и вернулся я в три ночи и вот, немножко поспав, очень спешу выразить тебе нежное отношение и послать его побыстрее.

Будьте здоровы, мои миленькие, Машечка и Егорушка, и не болейте, и не замерзайте, и пишите мне, и давайте себе роздых в работе, и будьте умничками.

Люблю и обнимаю.

А.

18 февраля 1971 г.



...который оставил Миша. – Лагерный приятель А.С. Мишка Конухов освобожден 30 января 1971 года.

...новым приступом темы... – Из моего письма: «Что же происходит на свете?»

Чистая ерунда и любовный переполох. Представь себе ситуацию, что до одной дамочки дошло, что ее не было. И что с господином X она не спала, хотя несколько лет изо всех сил всем окружающим доказывалось обратное.

Представляешь дамочкин гнев и негодование? Слезы, вопли, проклятия и угрозы всем предъявлять подругу, которая уступала свою квартиру и даже показывала, где лежат чистые простыни, а также водить за собой весь писательский дом, под окнами которого часами на виду у всей братии просиживал этот небывалый любовник, поджидая даму сердца, а также сделать ожерелье из сотрудников «Литературки» – очевидцев этого невероятного вздыхания по редакционным коридорам.

Потому что до сих пор дама вела и ведет себя благородно, но если подмочат ее репутацию, сказав, что она с мужчиной не спала, то ей теперь будет нечего и доказывать, что она спала, она будет всеми способами.

Интересно перевернулись представления о репутации в наше время: когда-то бабы держали свои шуры-муры в секрете и репутацию подмачивала огласка постельных приключений. А сейчас сказать про женщину, что с господином X она вовсе не переспала, – значит оскорбить ее до чертиков. И счет любовников – как линий на гербе – чем больше, тем слаще, и может быть, земля уже крутится в иную сторону и снова начинается матриархат?

Что-то меня эта история здорово тошнит и раздражает...»

...крокодилы стихи... – См. письмо 121.

...уже ответила с Егором на Австралию... – Из моего письма: «– Мама! а ты знаешь, Австралия – это такой большой остров, что его даже считают материком, а он вовсе остров, потому что вокруг него океан!

– Мама! А правда, что земля стоит на трех китах? А киты плавают по океану? Значит, внизу, под землей, вода? Да? Поедем – посмотрим...

Вот тебе и последствия глобуса, и это так умирительно, узнавать от Егора про Австралию.

А еще я хочу повесить Егору над его лежачком большую-большую карту, чтобы была она как ковер: и обои чище, и интересно.

Вот только никак не могу решить – какую: Государства Российского,

Европы или Мира.

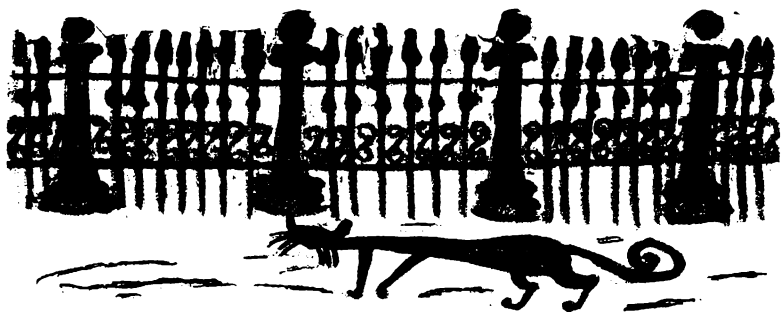
Пожалуй, в его возрасте интереснее всего – мировая, чтобы были два полушария, а на них и Африка, и Америка».

И на Трезора тоже согласен. – Егорка бредил собакой, разговаривал со всеми встречными, и ему было обещано, что, когда папа закончит свою важную работу и приедет, мы тут же заведем щенка.

...с любимым городом... – «Все-таки Егор – он пишет очень нежно и проникновенно. Это надо же – так придумать:

– А в котором ты живешь, мой самый любимый город...

Мой тоже. Город, в котором ты живешь. Город Барашево, улица – самая Центральная, а дом – самый первый».



ПИСЬМО СТО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Я в совершенном восторге: мне подарили целый рулон бумаги, жалеючи, соседи, за понесенные утраты с тетрадкой, – прекрасной, оранжевой, плотной, оберточной! – и можно теперь писать на ней, нисколько не экономя, широко, как рука поведет, и размашисто. И мне сразу захотелось всю ее исписать – со страшной скоростью, в восполнение пробелов, белых пятен, – на желтой бумаге.

Все-таки пустая ужасно бумага вдохновляет, и, я полагаю, Бальзак и другие Дюма понасоздали такие тома, потому что им повезло с запасами чистой бумаги, которая ждала и обязывала. Жаль, я не могу писать тебе письма на этой бумаге – они получились бы слишком толстыми и большими, но зато ты бы увидела по ним, как я тебя люблю.

Это как загрунтованный холст, в ожидании живописца сам собой покрывающийся чудной росписью. Или как норовистый конь, в нетерпении бьющий копытом: когда поедет? Жаждущее застройки пространство. И как чудесно, что она не белая, а цветная, словно уже наделенная готовым фоном, на котором лишь остается выявить и уточнить кое-какие фигуры.

На оранжевой бумаге черные буквы смотрятся так ярко, так красноречиво!.. Уже резать этот рулон на полосы и лоскутки огромное удовольствие. А что начнется, когда начнешь, задыхаясь, на ней писать?..

20 февраля.

Маленькая девочка спрашивает приехавшую подругу: – А ты когда сюда привезлась?

– Филгармония (– И приезжали к нам разные филгармонии).

- Работала по легкой атлѣтике.
- Дети у них – Игорек и Валерка.
- Адаптович (Донатович).
- Я оккупировался, на ногах стоял.
- Васѣк пищит. (О кошке.)
- И по культуре он выделялся, разговор такой, сами понимаете, перстень на нем золотой, с большим камнем, шофер первого класса.

Кошка с голой, мясистой, отвратительно вырванной грудью: старуха попала в капкан – для ворон. И когда лижет языком голую грудь, слышно, как он шуршит.

– И снег пошел. И в нервах слышно: пошел снег.

21 февраля.

Прихожу вчера с погрузки, а у меня на кровати богатство – четыре письма и четыре открытки (кругом четыре – было когда-то, а сейчас – кругом пять!) – № 5 (Егорычево, с сопроводительной открыткой, в котором ты опоздала на месяц), № 10, № 11 и № 12 (открытка же последняя аж от 14 февраля! и на ней – Руссо!!). И вот все с погрузки побежали сразу в кино, а я выключил радио и разложил все это загляденье на кровати и начал в нем купаться, плескаться и на него любоваться, как сказано в стихах о крокодиле. И заварил еще кофе в одиночестве для полноты картины и провел в таком счастье часика полтора.

А у Егора в крокодильих стихах* сами слова как будто купаются, плавают и ныряют в ванне, вместе с крокодилом, о котором они рассказывают. Я бы эту уникальную графику вставил в рамку – в качестве примера изобразительной письменности, сохранившейся сейчас, может быть, лишь где-то в Японии. На меня этот листик действует так же сильно, как в свое время, теперь очень давнее уже, его первая елка – сплошь в разноцветных кружочках. Обе картинки воспринимаются совершенно законченным и прекрасным произведением. Надо, чтобы этот листик не затерялся среди прочего детского хлама. Ведь это же истинное искусство – каракулей. А слово «плескался» показалось его сердцу столь уж любезным, что он его даже другим цветом написал, и все буквы в нем играют и плещутся.

А ваши утренние разговоры* с Егором звучат уже почти как

афоризмы Василь Васильевича. Из той же расхожей домашности, но очень умные.

И мне очень нравится, что вы опять живете с Егором вдвоем и в унисон. И что на Гашеке все помазано медом.

А Дега этот был чуть ли* не первой моей в жизни собственной экспозицией. И сперва висел не в подвальчике, а наверху, за шкафом, где я жил еще до книжных шкафов. И я хотел повесить «Плачущую женщину», но мама умолила, и сторговались на Дега.

А на этом Матиссе меня всегда почему-то раздражала пижама. На картине в пижаме нельзя. Ни то ни се. Нужно либо при всех орденах и украшениях, либо голым. В кальсонах, и то приличнее, чем в пижаме. Какая-то непрявленность, межеумочность. Подделка, подмена: костюм в отсутствие костюма. Ну, в быту еще куда ни шло. А на картине – стыдно смотреть.

Это в нем, в Матиссе, его буржуазность проявилась.

Еще ты что-то часто рыдаешь последнее время. А ты не рыдай, а радуйся. И еще ты ужасно искренняя баба (к ссоре с Меньшутиным), и мне от этого хорошо, а они дураки, что не ценят, но не принимай все так всерьез и близко к сердцу. Меня в этой отдаленности или забывчивости трогает лишь практическая сторона дела (кому с Егором посидеть, кто вещи дотащит) – потому что она самая сейчас существенная и проверочная. А билетки в кино мы сами купим и пойдем без них.

22 февраля.

В прошлом письме я тебе рассказывал про коклюш. Но это для нас сейчас, насколько я понимаю, не так уж актуально. А вот сейчас я изложу очень важное и проверенное на опыте средство излечения детей от худобы. Причем исходило оно от очень старого и мудрого врача, а потом рассказчик опробовал его на собственном сыне, которому тогда было 3–4 года и он был тощим, как ни кормили, а за полтора месяца поправился и расцвел на всю жизнь. Это – пиво с яйцом. Один стакан пива (в день), в котором разбалтывается сырое яйцо, и немножко посолить. Пить ежедневно, регулярно, лучше не во время еды, а просто так, между прочим. Вскоре у ребеночка появляется зверский аппетит. Я считаю, обязательно надо применить на Егоре. Тут, наверное, самое трудное приучить ко вкусу пива. (Дочка то-

го же папы, 6-ти лет, не захотела пить пива, сладкоежка, и осталась худой на всю жизнь.) Но тут должно вмешаться в психологию ребеночка сознание мужского достоинства и приохотить к пиву. (Я, по-моему, в Егоровом возрасте его начал пробовать, когда ходил с отцом в баню.) Пожалуйста, Машенька, не пренебреги этим полезным советом.

А я тут у Льва Николаевича* (не подумайте плохого: «Имя сыну – Лев, Матери имя – Анна») в книге о монголах встретил строки «И как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова», без имени автора, между прочим употребленные посреди научного текста, и стало очень благодарно на душе: не забыл.

Я у него уже вторую книгу читаю, первая – «Древние тюрки», а эта – про царство пресвитора Иоанна, написанная в необычной, приключенческо-научной манере. И как-то сразу проступило, что редко бывает, лицо историка.

Очень он широко развернулся в последние годы. Лети.

23 февраля.

По твоим маршрутам походить?* – тоже интересно. Но больше всего, что мне хочется, – это встречать с тобою Новый год.

24 февраля.

Какие у меня маленькие радости? Во-первых, вернули тетрадки. А я за них беспокоился, потому что там мелкие листки, никак не скрепленные, и я боялся, что, сочтя это ненужным вздором, выкинут их в мусорный ящик. Но все в порядке.

Во-вторых, получил «Книга – почтой» «Гоголя в воспоминаниях современников» и том его же писем. И уже один вид этих воспоминаний, толстеньких, в золотых обрезках, опьяняет, и я в них купаюсь и плескаюсь. А портрет какой! Какой, Маша, портрет работы Александра Иванова!

В-третьих, позавчера я послал тебе поздравительную открытку ко дню 8-го марта и надеюсь, что ты ее своевременно получишь. Между прочим, написал там и еще повторю, что погоди слать мне бандероли: как-то не пойму, чего можно в них класть, чего нельзя, и требуется уточнить. Во всяком случае до свидания лучше обождать. А на свидание напоминаю привезти одну штуку (не пишу – пару, чтобы ты не привезла их в двух экземплярах)

трусов. А цепочка пять с половиной лет тому назад лежала в среднем ящике верхнего письменного стола, но где сейчас этот стол, я как-то слабо представляю.

А мороз прыгает сразу с 30 градусов на 3. А потом залезает обратно. И все это очень странно.

26 февраля.

Но кто б ни процвел на троне гоголевской всемирной империи, его облик и роль говорят, безусловно, о передаче прерогатив в государстве светской властью духовному пастырю. В царское место действует Первосвященник, чье ослепшее в слезном постриге, утопшее в Отчем лоне лицо поднимает со дна морского тень Великого Инквизитора, смутный отзыв Крестовых походов, дозорных и часовых Ватикана. Примечательно, что в исторических экскурсах папство неизменно встречало оправдание и одобрение Гоголя, преданного православным догматам, но влекущегося неодолимо к теократическому правительству, к полномочному и централизованному образу религиозного руководства народами. В сущности, и на российском престоле он затеял не что иное, как замену Самодержца некоторым аналогом Папы.

Нельзя не заметить, однако, что оцерковленное государство соблюдает в устремлении к небу казарменный порядок. Пусть монархия планомерно там проваливалась в монашество; церковь для компенсации давала крен в бюрократию. Слишком тесные прямые контакты политической власти с религией обязывали расплачиваться либо урезыванием принадлежностей Кесаря, от которых ничего не осталось, кроме голого милосердия, либо превращением Царства Божия в заурядную канцелярию. Автор попеременно оказывался то наивным идеалистом, то чересчур уж находчивым циником. Цари у него курятся ладаном; попы воняют конским потом; писатель лезет в департамент; помещик смотрит исподлобья косолапым Пантократором. (Прекраснее утопию трудно представить, чудовищнее невозможно придумать!) Божество, внедренное Гоголем в плоть и кровь мирского общества, то с одного, то с другого бока кажет рогатую голову. Не нарочно, но иного быть, по-видимому, не могло там, где небо соединилось и поменялось местом с землей. Святотатство начи-

налось, едва лишь автор попытался примирить святыню с практикой повседневного бытия, чтобы не в одной молитве, а до последней копейки жить и действовать по-христиански – торговать, судить, наказывать, промышлять и богатеть во Христе, всюду, в каждое дело подмешивая, как колесную мазь, Писание¹.

¹ *По-христиански жить нельзя, по-христиански можно лишь умереть*, – этот вздох христианской души может показаться кощунственным, противоестественным парадоксом, нарушающим ясные заповеди христианского жития, и тем не менее он отвечает его внутренней сути и муке, внежизненному, неземному ядру, предполагающему в мирском и природном, физическом смысле не жизнь, но расставание с жизнью в предвидение бессмертной обители и сознающему сверхъестественность и неподвластность человеческим силам того, что возможно одному Богу, давшему эти заповеди, с тем чтобы исполняющий их не принадлежал уже себе, человеку, ни собственной воле, ни жизни, ни личности в их обычном наполнении. Попытки исполнить все заповеданное, не умерев в житейском значении, таят соблазн обожествления собственной своеобразной способности, то есть разрыв с христианским сознанием либо насильственное его приноравливание к доводам разума, практической выгоды, к общественным или естественным стимулам. Все это в завершённом виде пережил и исполнил Толстой, проделавший путь, отчасти схожий с умозрительным развитием Гоголя. Спор Толстого с православием начался как раз с попытки самосильно претворить в дело жизни Нагорную проповедь, когда он столкнулся в своих дерзаниях с непонятным равнодушием церкви, упрямо, словно по инерции, разделяющей небо и землю, веру и практику, святыню и жизнь.

«Богословские объяснения о том, что изречения Нагорной проповеди суть указания того совершенства, к которому должен стремиться человек, но что падший человек – весь в грехе и своими силами не может достигнуть этого совершенства, что спасенье человека в вере, молитве и благодати, – объяснения эти не удовлетворяли меня...

...Читая эти правила (Нагорной проповеди), на меня находила всегда радостная уверенность, что я могу сейчас, с этого часа, сделать все это. И я хотел и пытался делать это; но (нашел виновного!), как только я испытывал борьбу при исполнении, я невольно вспоминал учение церкви о том, что человек слаб и не может сам сделать этого, и ослабевал.

Мне говорили: надо верить и молиться... Но и разум и опыт показывали мне, что средство это недействительно. Мне все казалось, что действительны могут быть только мои усилия исполнять учение Христа» («В чем моя вера?», 1884 г.).

Не забавно ли: начав с максимальных претензий Евангелию, Тол-

Не оттого, что был он нетверд в православном вероучении, но из ревностной религиозности, жаждущей обеспечить веру всем личным естеством и составом, слово – делом, небо – местом в каждом доме во всякий час, – Гоголь временами ввергался в неясный и невольный раскол. Помимо сладких воспоминаний о величии средневековой Европы под началом Святого Отца, в его концепциях просвечивают подобию толстовства, хлыстовства и других сектантских утопий, воодушевленных той же идеей воссоединения Бога с обществом. В православном облачении Гоголь по-своему выразил очень широкую и разветвленную на Руси стихию мистического прожектерства.

В 1804 г. царю камергером Еленским была подана записка – «Известие, на чем скопчество утверждается». Наряду с информацией, касающейся утверждения секты в звании верных, с первых времен, христиан, записка заключала секретные предложения.

стой закончил, по существу, минимальным его принятием («Хоть мало, но верно», – оправдывался он по этому поводу). Нагорную проповедь он переделал на посильный человеку размер и решительно отказался от крайностей и безрассудств христианства, несовместных с его проповедованием рациональной и естественной этики. Не заносясь так далеко, как Толстой, в индивидуальном толковании веры, Гоголь остался в общепринятых рамках церковности и государственности. Тем кошмарнее натяжки, к каким он вынужден прибегать, фантастичнее и пародийнее выдвинутая им композиция. Но Гоголю, нужно помнить, труднее, чем Толстому, который попросту отбрасывал противоречащие его этике звенья – церковь, религию и государство, тогда как Гоголь считал своим долгом привести их в согласованность.

С другой стороны, если богоборческий опыт Толстого мог бы служить предостережением Гоголю, то последний в карикатуре ставит под законный вопрос некоторые из идей Достоевского. Тот, известно, в обход и в обиду католическому Риму, впадшему, как считал он, в сатанинское искушение властью и обратившему церковь в светское, государственное учреждение, звал к принципиально иному, православному решению – обращению государства в церковь и его растворению в церкви. Предполагалось, что доросшая до церковной духовности власть утратит звериный образ – в предварении Царства Божия. Гоголь с его несчастным примером оцерковленной государственности настраивает задуматься, насколько вообще благотельно смешение государства и церкви и не чревато ли оно появлением подобных же монстров, независимо, с какого конца производилось бы такое слияние.

В важнейших учреждениях Российской Империи, а также при самом государе, предлагалось ввести особую должность пророков, которые бы своевременно возвещали начальству волю Святого Духа. Себя Еленский в числе 12-ти пророков предусматривал поместить при главном командовании. Специальных пророков рекомендовалось назначить на военные корабли, еще не знавшие радиосвязи, – дабы «командиру совет предлагать гласом небесным, как к сражению, так и во всех случаях». В общем, перед нами проект духовного оснащения войска и всего аппарата государственной власти.

Живи камергер Еленский немного позже, он смог бы на должность пророка зачислить Гоголя. У того вырисовывалось что-то похожее в непосредственном общении с небом, и он пенял хорошо знакомой калужской губернаторше, почему не удосужилась та ввести его в дело на подведомственной ей территории:

«Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть и до Бога, Бог может послать уму моему вразумление, а ум, вразумленный Богом, может сделать кое-что лучше того ума, который не вразумлен Им» («Что такое губернаторша». Письмо к А.О.Смирновой, 1846 г.).

Что сравнится с такой пронизательностью? Разве что многозначительность нажима, ласково намекающая, *с кем* губернаторша имеет честь переписываться. Интонация так прозрачна, что так и видишь за фразой приготовленный к вразумлению палец, наморщенные в ожидании брови и собранный в розочку ротик... Алло! Гоголь у провода!

28 февраля.

Не устаю изумляться, как пронзительно холоден март – не сейчас только, а вообще, всякий март. Ужасный месяц. В январских морозах чувствуешь радушие, широту натуры. Но мартовские ветры до костей – поражают какой-то уже совершенно бессмысленной, необъяснимой злобой.

Ну, ничего. Февраль мы пережили. И март, Бог даст, переживем. А в письмах – опять заминка. За все это время одна открытка, где Егор поет песенку из «Трех поросят»*. Приятно, что вы с ним ладите, и очень радостна эта подрастающая дружба. Мне еще из старого письма понравилось про медовые стены нашего

домика. И как такой маленький мог чего-то различить. Но не занимается ли он с поросятами мелким подхалимажем? Впрочем, даже если это и так, все равно не стоит обрывать это изъявление преданности.

А Мишка *, ты права, уехал в другую сторону. Получил от него письмо, очень тяжелое и грустное. Даже странно, что на свободе пишутся такие письма. Казалось бы – радоваться и удивляться. Ан нет, чаще наоборот. Потеря смысла, что ли, который был раньше – выйти?

– А у чеснока какая тенденция? – зимой уезжает в землю. Весной выйдешь – море на огороде.

– А контейнеры волнистые – как на сопках Маньчжурии.

– Ширево.

– В шахте у человека развивается характер мечтательный.

Март мне хорошо запомнился, и поэтому я уже знаю его коварный нрав – зимы впереди еще целое поле белого снега. А я жду, когда она немного потает, с большим нетерпением. Две пришедшие в ветхость рубашки не терпят разорвать на носовые платки.

2 марта.

Меня вдруг потянуло написать о «Гамлете» Шекспира, как он воспринимается с дальнего-дальнего расстояния, из которого не видно не то что подробности, но самые образы выступают как-то расплывчато, и, значит, можно попытаться схватить общую идею и атмосферу вещи, которые только и остались в памяти с того времени, как я читал его, – лет десять, не меньше, назад. Тогда бы, если б я все-таки решился высказать свое суждение о таком огромном предмете, стоило бы осветить его не как писателя даже, но скорее как учителя жизни, оказавшегося таковым для всего нового времени и вот уже несколько столетий волнующего все новые и новые поколения учеников как никакое другое произведение в мире. Возможно, это вызвано тем, что Гамлет поставлен в необходимость самостоятельно и заново решить все вопросы, на которые до него уже дан был ответ долгим средневековым укладом, вдруг рассыпавшимся в прах перед событиями действительности, разорвавшей все те семейные и нравственные связи, которыми руководились веками, и он попал в положение потер-

певшего, голого, свободного человека, призванного восстановить справедливость в ситуации полнейшей внешней и внутренней духовной разрухи и потери руководящих критериев. Шекспир в этом смысле совсем не ренессансный, но средневековый писатель, призванный утвердить старый закон бытия в новых условиях, когда самый закон должен быть понят как свежее, из души человека выросшее дерево, и заново пройден и найден ходом живой судьбы и мысли человека, обязанного самостоятельно пройти и решить то, что раньше делалось по обычаю и традиции, под диктовку самого бытия, вдруг потерявшего смысл и потребовавшего его восстановления методом личного пути и развития. То, что Гамлета длительное время воспринимали в качестве слабовольного, рефлектирующего неврастеника, который, ничего не делая, обо всем рассуждает (и что легко разбивается простым воспроизведением в памяти рисунка его действий, исполненных энергии и находчивости, сумевших выполнить долг с удивительным искусством и среди массы вариаций сумев избрать наилучший, единственно правильный выход), – было следствием вверенной ему Шекспиром миссии заново решить и осмыслить весь путь, который он должен пройти, придав моральным догматам характер личного поиска. После того как мать изменила и стала женой братоубийцы, все в мире требует личной проверки, которую и производит Гамлет, начав с проверки истинности самой заповеди отца, переданной ему неожиданной и подозрительной тенью. Стоило бы присмотреться к тому, как накладываются, расходясь и совпадая, закон (слепо и поэтому плохо исполненный Лаэртом и так виртуозно и, я бы сказал, музыкально сыгранный Гамлетом) и свобода героя поступать как ему вздумается, оказавшаяся обязанностью действовать наилучшим, наитончайшим образом; как взаимосвязаны мнимое и подлинное актерство героя, его искусно разыгранное сумасшествие и безумие ситуации, в которую он угодил, всего лишившись для того, чтобы вырасти принцем в истинном, глубинном значении, из отпрыска царских кровей став аристократом судьбы и духа. Эти накладывающиеся и в то же время распадающиеся, чтобы снова сложиться, планы бытия создают ощущение множества оболочек, обрисовывающих фигуру героя, так что она словно дышит и окутывается собственными отделившимися образами, принимая незаконченный,

не отлитый раз и навсегда, но как дымящийся в будущее очерк, в соответствии с ненавязанным тождеством, которое еще нужно достичь путем совпадения вырастающей души и закона. Гамлет настолько не установлен заранее, но нищ и обширен, настолько зыбок и открыт в своем облике, что мы абсолютно не знаем, что он сделает через пару минут, и нам нужно с ним всякий раз заново и лично решать, как ему быть и что делать, чтобы выполнить миссию с такой артистической грацией, как может только сложиться естественное единство лица – разума – воли – инстинкта – вкуса – долга – судьбы. Гамлет открыт всему человечеству, и им может, в принципе, стать всякий человек, призванный решить без подсказок и исполнить наилучшим образом религиозную программу своей судьбы. Гамлет для нового времени – это средневековый христианин, внезапно лишенный всех своих старых запахов и вынужденный вплавь пересечь море истории. Кто из новых героев обладает большим авторитетом для нас, основанным единственно на внутренней музыке образа? Почему он объемлет собой всякого интеллигента в наивысшем значении слова, всякого аристократа в нравственном смысле, всякого принца, рождающегося в неустроенном мире не для того, чтобы стать королем, но выйти и победить и сложить свою голову принцем? Шекспировская эскизность есть следствие того же учительства, которое не задает уроков, но проверяет жизнью, на ощупь – на все случаи жизни.

Вот о чем мне хотелось бы написать, если бы хватило решимости и силы браться за такое чудо, как «Гамлет» Шекспира.

3 марта.

Только открыточки – изредка, по одной – до меня долетают. Да и те идут теперь по две недели. И все же они, очень нежные и приветливые, удостоверяют, что вы живы, мои ненаглядные цветики, и это главное. А так, кроме этого милого пунктира, ничего от вас не слышать.

Я тебе, Машенька, писал в поздравительной открытке и еще напишу сейчас, чтобы ты знала: у нас появился Индекс: 431200. По всей вероятности, он еще не обязателен, но, может быть, при его помощи письма начнут ходить быстрее. А так на сегодняшний день последним письмом имею № 12 от 5 февраля. Ровно ме-

сяц. В нем ты водишь меня по своим неизвестным маршрутам. Это прекрасно. Но, мне кажется, тебе предстоит большее. То есть весь показ мироздания. И будешь водить и показывать и объяснять: – Вот это трамвай! А это Большой театр! – И я всему буду удивляться и радоваться.

Прилагаю письмецо Егору на листочке той самой очарованной бумаги. Обнимаю вас горячо и долго.

А.

5 марта 1971.



...в крокодильих стихах... – «А такие стихи Егор читает сам и переписал их специально для тебя и сказал: пошли папе в письмо.

ИГРУШКИ, КОНФЕТЫ МНЕ НЕ ДАРИТЕ
 ВСЁ ЭТО, ВСЁ ЭТО ВЫ ЗАБЕРИТЕ
 МНЕ КРОКОДИЛА ТАКОГО ЖИВОГО,
 НЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО ЛУЧШЕ КУПИТЕ...
 Я БЫ ТОГДА БЫ ЕГО ПРИРУЧИЛ
 Я БЫ КОРМИЛ ЕГО И ЛЕЧИЛ...
 ПУСТЬ БЫ ЖИЛ У МЕНЯ КРОКОДИЛ
 Я БЫ В ВАННУ ЕГО ПОСАДИЛ
 И ТАМ У НЕГО БЫЛА БЫ ВОДА
 И ОН БЫ ПЛАВАЛ ТУДА-СЮДА,
 ОН БЫ ПЛЕСКАЛСЯ! КУПАЛСЯ!
 И Я Б НА НЕГО ЛЮБОВАЛСЯ...»

(Эмма Мошковская)

...утренние разговоры... – Внеконтекстная переброска фразами. Например:

«– Мама! А ты зверей любишь?»

– Люблю...

– Вот и я люблю. Очень.

Это из утренних разговоров с Егорычем».

А Дега этот был чуть ли... – «Голубые танцовщицы» Дега, «Плачущая женщина» Пикассо и «Разговор» Матисса – все это хозяйство А.С. получил от меня на открытках. А мама – Евдокия Ивановна Синявская – в живописи предпочитала реализм.

...у Льва Николаевича... – Гумилев (а не Л.Н.Толстой), сын Ахматовой и Н.Гумилева, историк-этнолог, цитирует стих Н.Гумилева «Слово».

...песенку из «Трех поросят». – Только мотив был из «Трех поросят», а слова такие:

«Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь,
Лучше мамы не найдешь, не найдешь, не найдешь...»

По твоим маршрутам походить? – Из моего письма: «Я хотела бы взять тебя за ручку и провести по всем моим маршрутам прожитых без тебя лет.

Вот здесь Маша ходила одна, а здесь она шла с Егором, а тут она поджидала, а здесь надеялась, в этом проходном дворе она когда-то споткнулась и слегка вывихнула коленку, а вот здесь оторвалась пуговица и упала в снег, искали – не нашли...»

А Мишка... – Мишка Конухов.



ПИСЬМО СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Сегодня у нас первый весенний день. Как-то не верится: и солнышко припекает, и слегка закапало. Зимы впереди еще много и долго, а все ж какая-никакая худенькая весна показалась. И с весной небеса поплотнели и отвердели, оформились, появились какие-то розовые и фиолетовые полоски, на фоне которых серая масса деревьев смотрится очень отчетливо и прямо-таки орнаментально. В общем итоге заметно невооруженным глазом, что деревья составляют средний, между небом и землею, простенок, из чего можно сделать два вывода.

Во-первых, разделение Неба и Земли есть первое условие возникновения и существования мира. Об этом толково рассказывают Новозеландские мифы: пока Небо с Землею пребывали слитными, была тьма; с разделения начинаются и свет и жизнь, хотя это им, Земле и Небу, в обиду. Интересно тоже, что Мать от Отца, Землю от Неба никто из детей не мог оторвать, кроме их сына и бога, ведающего лесами, растительным царством и всем его живым населением. Таким образом, во-вторых, ясна промежуточная, срединная роль деревьев. Поэтому, вероятно, деревья и воспринимаются нами как что-то очень нормальное, естественное. Естественнее деревьев нет ничего на свете. Они нашего, среднего, поля ягода. Они – мера мира, а значит, и норма.

Дерево как середина составляет дорогу с Земли на Небо (происшедший боб). И тот же срединный образ (норма, аршин) взят за основу в общей экспозиции космоса: мировое дерево. Не зверя взяли в посредники и в универсалы, и даже не человека, а дерево. Все три мира (подземный, земной и небесный – нижний, средний и верхний) мы постигаем при помощи выкроенного из середины – из нашей середины – отрезка. Дерево с нами вровень.

Как человек – мера всех вещей, взятых в отдельности, так дерево – мера в пути и в охвате Земли и Неба.

Еще я недавно понял, почему Лорелея чешет волосы. Потому что волосы – волны. Женщина – вода – пряжа – это единство, помимо прочего, увязано еще волосами. На это намекает армянский заговор, чтобы волосы у девицы росли, который произносила дородная женщина, ударяя по волосам со словами: «Волосы да будут в ширину с меня, в длину – течения воды».

Вот это течение воды чешет и Лорелея-русалка.

Хорошо бы все же связать всем кошкам хвосты. Чтобы получить некое округление жизни. Чтобы фантастика взгляда соединилась с магией (сказка) и метафизикой (средневековье). Тогда бы и был реализм.

Кстати, у колдуна должно быть все заколдованным. И даже кашу с маслом он ест из заколдованной миски – заколдованную кашу с заколдованным маслом.

А когда два колдуна дерутся, то, поскольку их колдовские силы примерно одинаковы, они постепенно съезжают с верхнего этажа и в конце концов лупцуют друг друга чем попало – кастрюлями, кулаками, как люди.

Богатырь же в сражении должен поминутно переговариваться со своими руками-ногами (– Вдарь ему, моя правая ручка! Левая, хватай его за волосы! Левая коленная чашечка – бей в живот!). И со своими глазами тоже переговаривается – на тему меткости. И с сердцем, и с печенью. Богатырь весь в деле, всем составом. Он должен по временам расчлениваться и вновь собираться в кучу.

Различие сказки и былины основывается на переводе магической силы в физическую. Это как разные цирковые номера. Сказка – фокусы. Былина – тяжеловес, атлет, кажущий необыкновенные бицепсы. В широком смысле, бицепсы – уже упадок, огрубление первоначального фокуса. Голый кулак.

Вообще, все, что осталось, – теперь находится в цирке. Колдун – фокусник – плут – вор: эволюция литературного образа. С цирка начали. Цирком и надо кончать.

6 марта.

Живу как на необитаемом острове и читаю мифы и сказки Океании. Попадают очень забавные, с простором для размыш-

лений. Вот начало сказки «Вождь Туо и вождь Тендо» из Новой Каледонии, напоминающее карликов, у которых было много дела:

«Вождь Туо расчищал валежник вокруг своего дома, отбрасывал сор в одну сторону, отбрасывал в другую.

Он подумал: «Что бы мне сделать, чтобы поесть мяса? Сделаю-ка я силок для птиц».

Он лег спать, а утром начал плести веревку. К вечеру он сделал силок, пошел и поставил его на большом фикусе. Потом вернулся домой, покурил и лег спать. Он спал, спал до света, а утром встал и пошел проверять силок. Там он увидел двух крыланов. Туо взобрался на фикус, распутал их, отрезал им лапы и крылья и сбросил крыланов вниз. Потом он спустился, поднял их и отнес своей матери. Мать взяла копалку и вырыла два клубня ямса и два клубня таро, завернула крыланов в листья и сунула все это в горшок. Она стала готовить на печи и нюхала пар, чтобы узнать, когда еда будет готова. Потом она достала еду: вот один крылан для вождя Туо, вот один для нее – его матери, вот один клубень ямса и один клубень таро для вождя Туо, один клубень ямса и один клубень таро для матери. Так они ели, пока не съели все. Они покурили и пошли спать. Утром вождь Туо встал и пошел проверять силок.

И что же он там увидел? О чем пойдет наш рассказ? Наш рассказ пойдет о вожде Тендо, о духе, который попал в силок».

Словом, прежде чем рассказывать, нужно сперва пообедать. Все время ждешь завязки, а она оттягивается за счет изложения жизни, которая сама по себе важна и интересна рассказчику, обдумывающему, чего бы покушать, понюхать, как бы соснуть, покурить. Гениальное начало – сквозь которое все бытие дикаря является как на ладони, и все это между прочим, попутно, безо всякого бытописательства. «Так они ели, покуда не съели всё».

Ожидается перемена погоды, и меня всего разломило. Завтра, верно, потает. Сижу как побитый, и все части тела воспринимаются в каком-то развинченном и отдельно преподанном виде. Все же я немного разъехался в эти годы и научился реагировать на все эти давления, потепления.

«Однажды крылатые женщины, которые жили на небе и летали как птицы, захотели искупаться и спустились на землю. Они

оставили крылья на берегу и вошли в воду. Все это видел Квату, который как раз шел мимо. Он схватил одну пару крыльев и вернулся в деревню. Здесь он зарыл крылья у опорного столба своего дома. Потом Квату вернулся на берег и стал подглядывать за купающимися женщинами».

Вот я чего никак и никогда, наверное, не пойму. Как Иван-дурак попал на Новые Гебриды. Ну, я понимаю, когда повторяются общие блоки и целые кирпичи – проглатывание китом, змеи, ведьмы, живая и мертвая вода. Но как могли совпасть все эти запятые – крылышки, которые отцепляются, прежде чем купаться, и т.п. Ведь этот негритос шпарит не то что по схеме, а точно по всем завиткам Елены Прекрасной!..

Кругом бело и пустынно. Как в Океании. И, как пальма из песка, одинокий, старинный романс, переданный по радио на такой шемящей ноте, что вдруг воочию видишь, что ведь жили, на самом деле жили эти люди – неповторимо реально. Куда они могли испариться, если *так* они пели?..

8 марта.

Очень трудно сообразиться, Машечка, моя единственная и драгоценная Машечка, когда письма приходят вот таким порядком, как сегодня: № 16 (это после 12-го), № 24 и три открытки. Открыточки я обнюхал первым долгом – все славно. Письмо № 16 Егорыч писал. И вдруг 24! Про то, что он заболел. От 5-го марта. Еще никогда письма так быстро не приходили – от 5 марта! Почему так быстро?! Вот приходится отчаиваться, что быстро. Обычно от того, что долго, – невыносимо. А тут от быстрого. Потому что, понимаешь, очень близко от сегодняшнего числа он заболел. Как-то совсем впрытык. А когда давние известия, можно надеяться, что прошло уже, и не болит, и все осталось в том месяце, а сейчас уже выздоровели и об этом мне скоро напишете. А тут – 5 марта. И все озабочивает и настораживает – как могло придти так быстро письмо? Почему это?

То, что температура понизилась, великолепно. И если бы не так оно скоро пришло, я бы и не беспокоился. Ну, поболит гриппом немножко, и все пройдет. А тут почти вчера все случилось. Не расхлебать.

Открыточки – милые, открыточки славные, но и они отстали.

Последняя – от 3-го марта. Когда Егорушка еще не болел. И все потускнело. И странно читать, что ты получила письмо от 18 февраля. Долго сообразить не мог, когда это было – 18-е-то февраля. Ведь я еще не знаю, получила ли ты письмо от 20 января, посланное за день до свидания. Ведь в прошлых письмах ты его еще не получала.

А Егорушкино письмецо – сплошное радостное расстройство. И тоже как-то очень скоро. Про Африку. И чернилами пишет. Чернилами. И опять просит нарисовать. А как я ему нарисую? Не бьет ли его этот Алеша, который дерется?

Хорошо, что в прошлом письме ему послал – на золотистой бумажке. Не думал, что ему так понравится со мной переписываться.

А какими он чернилами пишет? – не пойму? Неужели макает? И как вообще чернилами сейчас полагается писать в первых классах? – спроси у Эммы. Может, они теперь уже сразу самописками шпарят. А если канцелярскими перьями, то и Егору нужно канцелярским попробовать. Чтобы не делать кляксы. Я-то и первые курсы университета таскал непроливайку. Но сейчас, когда кругом шариковые ручки, может, и детишки уже на них перешли. Хорошо бы. И чистописание не будет так мучить.

Почему же все же так быстро пришло письмо?

9 марта.

Егор мне написал: «Я хочу, чтобы ты мне нарисовал меня, а я тебе нарисую мяч». Бесподобная фраза по изяществу композиции. Ожидаешь: «а я тебе нарисую тебя». Ан совсем и не тебя, а – мяч. Так и летает этот мячик из одной половины фразы в другую.

Как прекрасно в Егоре это абсолютное иногда попадание – в цвет. Никогда не думал, что он так быстро научится и с такой страстью начнет со мной переписываться. Он вырос так незаметно для меня, что иногда я просто растериваюсь, какой он взрослый.

А на небе уже появились летние облака. Теплые такие на вид. Шерстяные.

И глянув на днях на лес, который всегда был недоступным, я вдруг подумал, что это мой лес, и удивился такой вольной мысли. Что значит весна. В последнюю весну, я полагаю, мне будет уже не до таких тонкостей. И вот нынешняя уже делается постепенно моей, как будто мне завтра освободиться.

И я тоже подумал, что мне в этом году не стоит подписываться на журнал «Декоративное искусство» на следующий год. Лучше тебе подписаться, а весу у меня все же будет меньше, а без тех шести номеров я уж как-нибудь проживу, как ты считаешь?

11 марта.

Из раздела «Век живи – век учись». Медведь в освежеванном виде очень похож на человека, говорят охотники. И возможно, об этом есть у Арсеньева в «Дерсу Узала». А сторона дела чрезвычайно важная, потому что показывает, почему медведь в старину считался бывшим человеком. Я не говорю, что на одном этом факте основывались, и допустимо, что медведь на самом деле был некогда человеком, наподобие обезьяны, но его скрытая человекообразность служила подтверждением древнего поверья и позволяла лучше понять, почему он хозяин и оборотень. Он буквально оборачивался медведем – обернувшись кожей, под которой сидел человек.

И другие свойства – умение ходить на задних лапах и прочие способности – удостоверяли тот же факт. Но главное все-таки, что он под шкурой настоящий Миша. Поэтому выворотить шубу и сыграть роль медведя на святках было почти то же самое, что войти в его шкуру, в его образ. Он же сам занимался таким маскарадом, а сам был барином леса, лешим и божеством.

– Как я его любил! Будто маленького пацана! Поднимешь рамку – на пятьсот метров бьет без промаха!

– Пустыня, где даже красный камень не растет.

– Тары-бары, сарай-амбары.

14 марта.

Все вырисовывается понемножку, и я думал, что будет хуже и мне до конца месяца не узнать, что произошло после 5 марта, когда Егорушка заболел, и все эти числа заговаривал себе, да и тебе, зубы, чтобы не выть от неизвестности и мрака. Но сегодня фортуна мне улыбнулась в виде открытки, проскочившей от 9 марта, когда Егор все еще болен, но уже не так, и ты получила женскую депешу. И эта открыточка мне просто спасение – потому что после 24 номера письма когда придут, ты представляешь?

Если сегодня я из писем получил пока что только № 13, который шел до меня в лучших традициях – один месяц и одну неделю. Письмо-то от 8 февраля, а в Москве оно болталось, к твоему сведению, до 3 марта. Вот какие странные кренделя выписывают твои письма, из которых писанное месяцем позже приходит раньше писанного месяцем раньше.

Зато я теперь узнал, что ты получила январское письмо, и приятно поговорить немножко, что было у нас в январе. Письмо-то очень нежное и ценное для меня. И ты права не в иноскаательном смысле, а буквально, потому что, конечно же, о дамах 18 века я писал для тебя.

И на открытках сплошной Сезанн, а на марках – Рубенс, и можно слегка отпустить вожжи, на которых держал себя все эти дни, и пойти посмотреть, как падает снег.

15 марта.

Воспользуюсь тоже свободным часом, чтобы поддержать разговор о Гоголе, в котором, помнится, к концу жизни обнаружались хлыстовские ноты.

И все же не ересью страшен он в эти часы, не падким на прощания и умственное распутство радением. Пошлостью, прущей по всем трубам и проводам, густопсовой, хронической пошлостью травит себя безвозвратно и раздавливает Гоголь. Будто и не Гоголь это, а Иудушка Головлев, пристроившись застольным шпионом, перемывает косточки Господу и нашептывает на ушко полученные им свыше инструкции. Но у того хоть одно пустословие на языке, вошедшее в привычку вранье, а этот воистину верует и искренно, от полноты озарения, от чистой, как голубица, души усердствует в своем кровопивстве, и слушать его наставления еще тошнее.

«Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они. Что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте... И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому,

чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же сожги пред ними ассигнации...¹

Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое искусство... Но умеи пронять его хорошенько словом...

Заведи, чтобы священник обедал с тобою всякой день... А самое главное – бери с собою священника повсюду, где ни бываешь на работах, чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника, чтобы он видел самолично всю проделку твою с мужичками» («Русский помещик». Письмо к Б.Н. Б-му, 1846 г.).

Ведь это же надо развить змеиную инициативу и сметливость – так прямо, без тени смущения, священника приспособить к *проделке*, чтобы хорошенько *пронять*! Тем более что духовенство, в согласии с православной традицией, прекрасно подхваченной им и развитой на соседних страницах, уже одеждой своей как бы отделено от земли и поставлено вне мира сего, наподобие иконы, – «чтобы слышали беспрестанно, что они – как бы другие и высшие люди». И той же древней иконой размахивается он горшки покрывать, проча долгогривого беса барину в комиссары...

Впрочем, нарушения логики, нравственного такта, порядочности его уже не тревожили, перекрытые перспективой практического претворения в жизнь замысленной всеобщей гармонии. Ради нее он охотно шел уже на подлог действительности и религии, рубя напрямик, что награда сопутствует всегда добродетели, что богатый, по народной примете, значит неизменно – и честный («И в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро»), что судопроизводство в России «могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех других народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только Бог» (то есть – мысль, как раз исключаяющая земное правосудие: «где суд – там и неправда», как значитя в русской пословице). Уж очень ему хотелось, чтобы все у нас в государстве было в точности как в раю.

А между тем перед ним простиралось поле неподдельного опыта человеческого единения с Богом в самой отдаленной ин-

¹ Ассигнации жгутся единственно с агитационными целями. «Разбогатеешь ты, как Крез», – утешает он тотчас помещика, подавшего пример бескорыстия.

станции падшего бытия, как и – православной церковности, сходящей в непролазную тьму и там, из ада, сияющей негасимым иконостасом. Только тот опыт и образ лежали не на путях уравнения, но крайнего, напротив, разрыва мирского и духовного поприща.

«Знаете ли, что на днях случилось со мной? – рассказывал Гоголь в конце жизненного пути. – Я поздно шел по глухому переулку, в отдаленной части города: из нижнего этажа одного грязного дома раздавалось духовное пение. Окна были открыты, но завешены легкими кисейными занавесками, какими обыкновенно завешиваются окна в таких домах. Я остановился, заглянул в одно окно и увидел страшное зрелище! Шесть или семь молодых женщин, которых постыдное ремесло сейчас можно было узнать по белилам и румянам, покрывающим их лица, опухлые, изношенные, да еще одна толстая старуха отвратительной наружности усердно молились Богу перед иконой, поставленной в углу на шатком столике. Маленькая комната, своим убранством напоминающая все комнаты в таких приютах, была сильно освещена несколькими свечами. Священник в облачении служил всенощную, дьякон с причтом пел стихиры. Развратницы усердно клали поклоны. Более четверти часа простоял я у окна... На улице никого не было, и я помолился вместе с ними, дождавшись конца всенощной. Страшно, очень страшно, – продолжал Гоголь, – эта комната в беспорядке, имеющая свой особенный вид, свой особенный воздух, эти раскрашенные развратные куклы, эта толстая старуха, и тут же – образа, священник, евангелие и духовное пение! Не правда ли, что все это очень страшно?» (Л.И. Арнольди «Мое знакомство с Гоголем»).

Зачем же сцена, так напугавшая Гоголя, отрадна нашим очам? Как будто после долгих блужданий по исправительным заведениям вы попадаете в храм. И городская окраина, и уличные чучела, и отвратительная старуха, и шаткий столик в углу, и сам писатель, потаенно вздыхающий и, несмотря ни на что, молящийся у них под окном, – все согрето и окутано небом, сошедшим наполнить и вытеснить своим светом эту пошлую обстановку, которая придает этой церковке, мнится, еще большую сокровенность и как бы олицетворяет склоненную в последнем недостоинстве землю...

Если же посмотреть на нее больше глазами Гоголя, сцена словно сошла с «Невского проспекта», и не оттого ли она так задела по нервам писателя, скопированная действительностью, как это случается в истории литературных созданий, как бы в наказание автору, ставшему жертвой своей же, слишком уж яркой фантазии. Словно это не Гоголь, а робкий художник Пискарев смотрит в окно таинственного притона, в мучительном разладе с существованием грезя о превращении непотребной феи в мадонну. Или это молодость, романтическое прошлое автора, сжалившись над ним, пригласили разделить духовную трапезу?..

Но Гоголь был уж не тот. Перешагнув через труп Пискарева, он видел сны наяву иного сорта. Грезы его не устраивали. Он как бы очерствел, закалился в борьбе с существованием и заворачивал ее к идеалу силами христианской религии, бойко покрикивая, имея рецепт в кармане практического исправления жизни по лучшему образцу.

Нет, он не мог довольствоваться вздохами из глубины преисподней; его угнетали контрасты пошлой обстановки с церковностью, казалось, не замечавшей, с кем она строит всенощную; он требовал подтверждения делом и бился над восхождением к Богу жизненным, законным путем; он правил лестницу...¹

Странно. Там, в загаженной комнате, падшие причастны к мис-

¹ Образ лестницы, проходя через все мирозерцание Гоголя, представлен, в частности, формой должностных ступеней и инстанций, по которым твердой поступью общество устремляется к тождеству с Царством Небесным. Так, он рекомендует любовь передавать по служебной лестнице, по начальственным каналам.

«Она должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к постановленному над ним высшему начальству, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь Самому Богу» («Занимающему важное место», 1845 г.).

Очередная проделка автора «Переписки с друзьями» режет сердце специальной, замысловатой вульгарностью плана, звучащей как надругательство над иерархией бытия. Сама земля – в ее закосневшей существовании, в живой коросте властей, помещичьих имений, губерний – лезет в небо, стеная Гоголем: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!» (его последние слова перед смертью).

терии. Пошлость улетучивается, выветривается в окно. Священник ни к чему не причастен, кроме богослужения. Писатель, утратив на миг презрительное свое превосходство, как маленький, на равных с блудницами, захвачен святыней и тайной.

Здесь же, в исправительных письмах, кажется, не осталось строки, где бы Гоголь не покропил предварительно церковной водицей во избежание ошибок. Но те же богослужебные тексты, иконы и песнопения вылились в вульгарные сделки, в извозчицье понукание. Священник причастен к помещику, опутан и опошлен соучастием в земном ремесле. Писатель не унижается до соединения с небом, но возносится в проектирование райских парников по России. Из грешников он вышел в спасители, из мечтателей в практики. Из Пискаревых перерос в Головлевы.

16 марта.

Понемножку появляются письма, восстанавливая картину, как все у вас было на самом деле. Письмо № 15, письмо № 17. Но до 24-го еще далеко, и неизвестно, чем же все-таки болел Егор и как он сейчас? И откуда у него такая страшная температура?

Может быть, ты приедешь на свидание и тогда все расскажешь? Но когда и как это может быть?

Март оказался труднее февраля, и нужно переехать в апрель, чтобы избавиться от этой зимы, начавшейся чуть ли не в сентябре и все еще неизбывной. Все-таки от зимы порядочно устаешь. Устаешь ощущать на лице сосредоточенный взгляд соседа. Хочется смахнуть его, как муху, а он ползает и мешает писать это письмо. И даже, получая Егорычевы великолепные письма, не решаешься их сразу читать: на эти необычно крупные буквы насядут мухи.

И вот Егор просит в который раз нарисовать чего-нибудь, а это сложно. Но, может быть, все равно я ему чего-нибудь нарисую.

Приходится думать вперед – про апрель, хотя он совершенно в тумане – в смысле твоих нынешних возможностей приехать. Хорошо бы, конечно, не очень откладывать, и пока еще топят, чтобы было тепло. А что глазки устают, когда свет плохой, так, может, привезти тебе лампочку на 220, чтобы не так болели глазки по вечерам. Но как тебе удобнее, так и приезжай. Тем более я еще не знаю о здоровье Егора, ни сейчас, ни о ту пору.

В быту же моем ничего нового и интересного. Он сведен поч-

ти к нулю, и это хорошо. Ну шнурок порвался на ботинке – вот и весь быт. И он легко исправим – свяжем этот ремешок узелком.

Опять же очередную майку определил на носовые платки. Как всегда с удовлетворением. Всё меньше багажа. И ближе к вам.

19 марта.

Пока рисовал Егорычу картинки, поймал себя, что как бы стесняюсь перед тобою, что плохо получается и нету во мне рисовальной лихости. Ты уж не суди строго. Все-таки лет тридцать, как я не рисовал. Но дело не в том, а что в твоих глазах мне несколько неудобно выступать в непрезентабельном качестве. Но мне не хотелось перед Егором разыгрывать недоступную позу.

А ты ему когда-нибудь рисовала? Видать, мало я знаю про вас, мои детки, если приходится спрашивать такие вещи. Вот и шашки тоже. Как я мог не знать, что ты в них играла в отрочестве?! И почему мне вообще ничего не рассказывают?

Какая-то щемящая нота появилась в моих мыслях о вас – наверное от болезни Егора и долгой неопределенности. Вероятно, самое время тебе ехать. И снег уже начал таять два дня со страшной скоростью, хотя и холодно в воздухе. Солнышко печет, и под ногами днем сплошная лужа. А в письме, еще в феврале, вы пишете, что у вас сапоги прохудились.

– Жаль – вот лик испортил! (О вырванном куске бороды.)

– У меня очко сыграло. (В смысле – были сомнения, расколотость, несбыточная надежда.)

– Что вы мне нахалку съете!

Но кто бы мог подумать, что шекспировский могильщик читает «Ад» Данте? Просто невероятно.

Я вдруг подумал, что письмо мое ты получишь уже в апреле. А месяц апрель представляется нежным и сиреневым. Не то что март – нервный и зябкий. И вот, кажется, совсем уже рядом – апрель, а никак до него не дотянешься. Март мешает.

Но ты все равно моя Машенька, и береги себя, и не болейте, и выздоравливайте поскорее. И я тебя люблю, и целую, и жду, и почему ты мне марки не присылаешь, не знаю, и опять целую, и все с самого начала.

А.

20 марта 1971.

ПИСЬМО СТО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Милая моя Машенька!

Совсем уже деньки смахивают на апрельские, и вот еще немножко, совсем немножко, как в природе и во всем установится совершенный апрель. А с апрелем должно легче житься, я так считаю, потому что апрель – это хороший месяц, и ведет ровной дорожкой к лету, и вообще приятен по своей окраске, и в его сереньком свете видно дальше и больше и дышится веселее.

И с апреля же вот еще что должно произойти в нашем с тобой летоисчислении, я заметил: раньше какие-нибудь два месяца были каплей в море, а теперь они должны приобрести сразу большой вес и ценность: два месяца! И потому протекающее время пойдет ощутительней, и мы начнем приближаться семимильными шагами, и все это сулит увлекательный месяц апрель.

А тут еще сегодня человек пришел со свидания и подарил мне два яйца вкрутую и апельсин, и они тоже воспринимаются как-то отдельно и гиперболически, как высший дар жизни и чудо красоты. Все-таки правильнее, чтобы дорогие вещи так и воспринимались, и тогда они из предметов потребления станут вновь феноменом и удивительной вещью в себе. Смотришь на этот апельсин, а он, понимаешь, кричит из себя и о себе: плод! плод! И так, знаешь, отчетливо, веско, что одно его «о» лезет на нас огромным шаром.

Плохо, правда, что я совсем уже не получаю письма от тебя, и за все это время пришла одна открытка с подозрением, что у Егора глисты, а более ничегошеньки. А судя по номерам, которые я знаю, даже если только считать до 24-х, их должно быть много. А получается уже совсем Великий пост.

Но скоро, я думаю, он тоже потеряет смысл. Потому что че-

рез какие-нибудь полгода каждое такое молчание, растянувшееся на месяц, будет означать, что еще лишний месяц все-таки прожит, а знаешь, сколько он будет весить тогда – один месяц! – через полгода-то. Ого-го!

Поэтому ты не унывай и не терзайся, моя любимая жена. И я тоже не стану терзаться. Не стану, и все тут! И если даже завтра – в пятницу! – ничего не придет от тебя, я все равно не буду терзаться. Потому что, пока они не придут, считая до понедельника, за это время мы уже сделаем рывок и окажемся одной ногой почти что уже в самом апреле. Вот как.

25 марта.

Днем все течет, а ночью хорошо подмерзает, и поэтому не очень грязно, и ветерок успеваает обдуть и подсушивать почву, и вся весна идет как-то по-деловому, в замедленном несколько, но твердом темпе. А я тем временем радуюсь расплзающимся дыркам на носках и рубашках – как проталинам чистой земли. – Быстрее расплзайся! – говорю своей одежонке. – Время не ждет, и нам некогда!

Вообще в этом году отношения с весной напоминают детский способ ускорения поезда, когда, глядя в окно вагона, часами давил на раму, чтобы быстрее шел. Или в прошлую весну тоже так было? Не помню.

– Донатович! Что такое негодичант?

– Донатович! Что такое дуализм?

– Донатович! Что такое похоть?

Еще я оттого так тороплюсь дожить до лета, что – жду не дожусь, когда, наконец, можно будет позаниматься в тишине, без радио, под открытым небом!

Надо ж дать психике тоже какой-то отдых – а то я очумел немного. Подумать только – можно будет весь выходной день просидеть в тишине!

– С кошкой у него был общий язык. У меня тоже был общий язык с кошкой. Она служила нам как бы переводчицей.

(Общение эпох, культур, поколений и наций через кошку.)

– Гром грянул – зояция летит. Прекрасное начало: быка за рога.

– Поезд мчался с большой быстротой,

Рассекая морозный туман...

Та же прекрасная определенность – в формуле: – Держу проезд. (Вместо обычного – еду.)

Слово должно звучать солидно. Литературный язык – это, в первую голову, солидная речь. В «Истории франков» Григория Турского (VI в.) есть такое место: «Достигнув противоположного берега, беглецы, пользуясь ночной темнотой, укрылись в лесу. Была уже третья ночь, как они продолжали свой путь не евши. Но тут по воле Божией они нашли дерево с обильными плодами, называемое в просторечии сливой. Поев и несколько восстановив силы, они отправились далее, держа путь в Шампань. Во время этого пути они слышали цокот скачущих лошадей и воскликнули: “Бросимся на землю, чтобы нас не увидели приближающиеся сюда люди!” К счастью их, тут оказался большой куст ежевики, за него-то они и легли с обнаженными мечами, чтобы, если их заметят, отбиваться от недобрых людей. Когда же и те всадники подошли к этому месту и остановились около ежевичного куста, то один из них, пока лошади мочились, промолвил: “Беда! сбежали эти мерзавцы, и никак их не найти!..”» («О племени Атгала», кн. III, гл. 15).

Три удара: 1) слива, столь необычайная, что для ее обозначения следует извиниться: слива; 2) куст ежевики, столь конкретный, что, прячась за ним, можно переговариваться, для ясности читающих длиннейшими, длиннейшими оборотами на тему, зачем мы прячемся; 3) пока лошади мочились, вся эта детективная сцена стала абсолютно достоверной.

Я влюблен в такие куски чистопородной, зернистой прозы. Из них можно было бы составить коллекцию, наподобие камней, которые были у папочки в подвале в тех прекрасных желтых ящиках – ах, Боже мой, я их помню до сих пор – по запаху. Камни – по запаху. Они так остро ипряно пахли, те камни...

(И еще я тебя люблю за тот Зуб Мамонта, что ты сберегла. И где-то еще был окаменевший позвонок ихтиозавра. Как много хорошего было в нашей жизни!..) Но возвращаясь к этому «Кругу чтения», который мог бы иметь не философско-нравственный, а сугубо стилистический контур, я бы особое внимание посвятил искусству выделить предмет или слово как что-то действительно стоящее внимания. В принципе каждый предмет, достойный

описания, должен быть как рыболовный крючок, которым Мауи выловил остров в Новозеландской сказке: «Когда Мауи вынул свой крючок, все кругом озарилось блеском. Крючок был сделан из прекрасной перламутровой раковины и украшен резьбой и пучком волос из собачьего хвоста. Он был поистине великолепен!»

Так вот у каждой вещи должен быть вот такой собачий хвост.

Потому что только чудо достойно того, чтобы о нем рассказывали, – и это знает сказка. У повествовательной речи всегда вот такие глаза.

Чем заменить паузу, которая выделяет предмет в устной речи? Причмокивание, жест. Так в романе двум кирюхам красавица, попавшая на незнакомом вокзале и пригласившая в дом (следует описание роскошного стола с взлелеянной Атлантикой сельдью), предлагает снять карту: Красная – тому отдается! Черная – смерть! (Вариант царицы Тамары.) Они переглядываются (оба уже влюблены), секунду поколебавшись, герой снимает карту. Пауза! Черная карта! Туз! Пауза. Рассказчик говорит в самый ответственный миг, когда все свесились и вытаращились на вынутую им черную карту: – У кого закурить найдется? – И эта остановка над картой, над пропастью развязывает мошну у самого прижимистого – и все его пихают – давай, и тот, вздохнув, делать нечего – черная карта! лезет в заглашник и достает папироску, а рассказчик небрежным движением, эксплуатируя смертельную паузу, закуривает, театрально затягивается, срочно соображая, как выйти из положения, куда он завел благородного героя.

Так как же быть с паузой? Заменить ее стилистическим сгустком, типа: – Из этих убитых два трупа отца я родного узнал? Мало.

Пока что лучший выход я вижу в эпизоде из «Деяний Карла Великого» Ноткера Заики (IX в.) – книга II, 17. Медленное приближение предмета, градация. Когда восставший на Карла лангобардский король Дезидерий, запершись в крепости, беседует с перебежчиком, вельможей Откером, хорошо знавшим образ приближающегося Карла.

«Ну так вот, когда они услышали о приближении страшного Карла, то поднялись на высоченную башню, откуда могли увидеть его подход издали и со всех сторон. Когда же показался готовый к бою обоз, какой был в армиях Дария или Юлия, спросил

Дезидерий у Откера: «Не Карл ли в этом огромном войске?» Тот ответил: «Нет еще». Но увидев войско, собранное со всей огромной империи, он с уверенностью заявил Откеру: «Наверное, с этим войском едет Карл». «Нет, и теперь еще нет», – возразил Откер. Тогда он встревожился и спросил: «Что же мы будем делать, если с ним придет еще большее войско?» Откер промолвил: «Ты увидишь, как он придет, а что будет с нами – я не знаю». А пока они вели такой разговор, показалась дворцовая гвардия, никогда не знавшая покоя. Видя ее, Дезидерий в ужасе воскликнул: «Вот он, Карл!» Но Откер сказал: «Нет, и даже теперь еще нет». Потом увидели они епископов, аббатов и священников капеллы с их слугами. При виде их Дезидерий, которому уж и свет стал не мил, и желал он только смерти, рыдая, пробормотал: «Сойдем вниз и скроемся под землей от ярости столь страшного врага». На это Откер, некогда по опыту знавший силу и военную мощь несравненного Карла и в лучшие времена достаточно привыкший к этому, ответил, полный страха: «Когда ты увидишь, – промолвил он, – что на полях поднимется железная жатва, а воды По и Тицина, потемнев от железа, морскими волнами затопят городские стены, тогда и надо ожидать прихода Карла». Еще не договорил он это до конца, как начала показываться на западе, северо-востоке и севере будто черная туча, которая обратила ясный день в мрачную ночь. Но когда стал приближаться император, от блеска оружия засиял осажденным день, который для них был чернее ночи. Тогда-то стал виден и сам Карл в железном с гребнем шлеме, с железными запястьями на руках и в железном панцире, покрывавшем железную грудь и его платоновские [Платон – широкий] плечи, в левой руке он держал высоко поднятое копьё, потому что правая всегда была протянута к победоносному мечу. Наружная сторона бедер, которая у других обычно остается незащищенной, чтобы легче было сесть на коня, у него была покрыта железной чешуей. Что говорить о железных поножах? Они всегда были принадлежностью всех воинов. На его щите не было видно ничего, кроме железа. Да и конь его блистал, как железо, своей мощью и мастью. Такие доспехи были у всех, кто шел впереди него, с обеих сторон, и у всех, кто шел следом, да вообще все его воины имели подобное снаряжение, насколько было возможно. Железо заполняло поля и площади, на железных

остриях отражались лучи солнца. Перед холодным железом преклонился похолодевший от страха народ. Перед ослепительно сверкающим железом побледнел ужас подземелий. «О, железо, ах, железо!» – раздавался беспорядочный вопль горожан. Перед железом содрогнулась твердость стен и юношей, мудрость старцев уничтожалась железом. И так, все это, что я, беззубый заика, не так, как надо бы, но в слишком вялом пространном описании пытался изобразить, правдивый, дозорный. Откер окинул быстрым взглядом и сказал Дезидерию: «Вот тот, о ком ты только спрашивал», – и с этими словами упал почти замертво».

Прости за длинную цитату. Но она должна быть такой. Это именно длинный стиль. Но каков хитрый Заика, ругающий свое косноязычие, чтобы описание вышло прекраснее. И как узнать – в этом нарастающем дивными ступеньками слоге не помогло ли ему природное заикание?

А есть ли, интересно, у нас в доме книга «Граф Монте-Кристо»? Что-то вдруг захотелось ее перечитать.

26–28 марта.

Зато я получил сегодня от тебя, Машечка, 28-е письмо, написанное всего лишь 9 дней назад. Где ты мыкаешься по комнате и теряешь контуры. Но я не знаю по нему, выздоровел ли Егор. И эта неопределенность сосет и гложет, тем более что в прошлой открытке, от 12 марта, у него опять подскочила температура, а от 16-го – увеличилась печень.

А что мало писем писала в марте – это еще не беда. Потому что я из мартовских пока что только два письмеца имею – 24-е и вот это 28-е, и оба они просочились быстрее обычного, и значит, мне еще положено получить четыре мартовских письма и очень много февральских. А беда, что опять создалась искусственная преграда в доступе твоих писем ко мне, как в достославном в этом же смысле сентябре, хоть ты и думала, что в феврале-марте не будет препятствий и поэтому решительных заявлений подавать куда следует нет необходимости. Но статистика упрямо показывает другое, и, заканчивая март, подытожу, что за эти два месяца я недополучил от тебя 10 писем, если считать с № 14, а потом №№ 18–23 и 25–27. Ну, последнее я еще, может быть, получу. А вот что делать с № 14 и теми 18-ми, 19-ми и так

далее номерами, что писаны были еще в феврале, но до сих пор не доехали?!

Но все же ты, моя деточка, от этих печальных известий, пожалуйста, не расплывайся. Потому что, ну конечно же, конечно же, я так, я так* относится всецело к тебе, как и все, что до этого, и все, что после этого, и ты опять правильно угадала. А что это значит? Это значит, помимо всего прочего, что я тебя люблю на весь свет и на все время, пока могут слышаться эти слова. То есть, я полагаю, довольно долго. И, по-моему, это неплохо – иметь в запасе такое вот объяснение в любви, как ты считаешь?

29 марта.

Целые сутки шел дождь, а потом еще сутки снег, и теперь все это соединилось вместе и расплзлось. Но у меня имеются сапоги и ботинки, хотя и старенькие, и я их ношу наперегонки, ботинки дома и сапоги на работе, и они успевают просушиваться. А плохо, у кого одна пара.

А валенки дотянули-таки до жидкой грязи, не подвели, родимые, и теперь я их новой зимой либо выброшу, либо подошью, либо обменяю на новые. Масса вариантов.

Но ватные брюки я все еще таскаю на себе и, может быть, буду их таскать до самого мая, потому что в них очень удобно сидеть в холодных сенях, удаляясь от гама, и я уже начал это делать. И они приятно оборвались и разлохматились. Где-то уже было: – А штаны я уважаю за их махрявость. И в самом деле – уважаю.

А как ты однажды хорошо и проникновенно сказала, посмотрев на мои прохудившиеся на пятках носки, что их не стоит выбрасывать, потому что они все равно будут греть. И они действительно хорошо мне служили всю зиму. Но я не к тому, а как ты это серьезно и убедительно произнесла, немного понизив голос, словно бы раздумывая и сообщая важную весть, как-то очень достойно и по-лагерному сказала, и я сразу поверил и до сих пор удивляюсь этому проникновению в самую суть – не носков, а существования в его щемящей и серьезной реальности. Покачив головой.

Еще я очень рад был получить позавчерашнее письмо, чтобы зажечься об него и наговорить тебе нежностей. Конечно, и без

него можно, но с ним быстрее. Приложишься, как будто прикуришь, и пойдешь дальше.

Но что творится с другими письмами! Я получил теперь еще 31-е письмо от 25 марта! Какое-то перепрыгивание, а кучи писем остаются где-то в бездействии и до меня не доходят. Какое-то выковыривание единичных номеров – не пойму, по какому принципу, максимального нервирования*, что ли?

Но как приятно дожить до 31 марта! 31-е вообще лишнее число и стоит как-то совсем уже с краю в окончании зимы, и добраться до него, как бы это объяснить, ну все равно что достичь края какой-то земли, какого-нибудь Мыса Доброй Надежды, хотя до него, наверное, добивались океаном, а мы идем материком и вот достигли этого Мыса, с которого, кажется, можно прыгнуть – и полетишь, полетишь...

31 марта 1971.

Вот мы и дожили, Манечка, до долгожданного 1-го апреля, и он в самом деле прекрасен: солнышко сияет, птичка верещит на дереве старым способом, совершенно по-раменски, и на койке у меня к вечеру обнаружили ваши совершенно первоапрельские письма! Немножко дурацкие и ужасно милые. Во-первых, одно из этих двух писем и одной открытки – № 18, от 19 февраля, а когда ко мне так долго едет какое-нибудь письмо, я, естественно, с особым жаром бросаюсь его читать, отыскивая причину, по которой оно могло так задержаться и возможно даже, рисуется в моей голове, вызвало длительные раздумья или дискуссии, можно ли мне доставить *такое* письмо или лучше его оставить где-то вдалеке по причине его исключительной таинственности, и вот я это загадочное письмо с особенным азартом читаю, и что же я в нем вижу?

Егор мечтает завести сестренку! Так вот, оказывается, почему оно шло до меня 42 дня, вот где собака зарыта и весь сыр-бор загорелся!

Ничего себе первоапрельская шутка!

Второе письмо № 29, от 21 марта, которое в основном пишет Егор разноцветными карандашами, и тоже хорошее. В отличие от твоих писем, Егор, совсем как я, считает своим долгом непосредственно отвечать на вопросы, затронутые в переписке. Так

он прямо пишет, что *сагласин** (очень нравится такая транскрипция) пить со мною пиво. Но поишь ли ты его пивом, как я велел делать, он, к сожалению, не сообщает, а ты – тоже обходишь эту тему молчанием. Но я хотя бы по этому Егорычеву пиву могу понять наглядно и осязательно, какое вы письмо получили. Опять же он пошел целоваться большими буквами по своей детской отзывчивости. Значит, вы получили позапрошрое письмо.

Открыточка – в том же стиле: про дога. (Не вызван ли этот дог тем Гамлетом, о котором я расписался в прошлом письме? – нет, не выходит по времени.) Ну, конечно же, Машечка, будет тебе датский дог и все, что ты хочешь.

Все эти немного анекдотические письма (пиво, дог, сестренка) меня очень приободрили и вот в каком отношении: я углядел в них все же искры живой веселости, которые на болезном фоне всех твоих мартовских писем видеть отрадно, и немножечко от души отлегал, хотя я и знаю, что Егор все еще болен и неизвестно чем. Но, может, в апреле появится хоть какой-то просвет?

А с Эдгаром По особенно не старайся. Потому что в скором времени должен выйти более полный двухтомник, со стихами и статьями об искусстве, которые меня особенно интересуют. Так что лучше сразу доставать двухтомник.

Но в крайнем случае, Маша, мы и без него обойдемся, я согласен, и не в этом наше счастье.

1 апреля.

Трудно исчислить ущерб, причиненный «Перепиской с друзьями» нравственной репутации и вероисповеданию автора. Книга надолго вошла в список документов компрометирующего по преимуществу свойства. Ее доказательства в пользу христианского воспитания могли скорее отвадить, нежели наставить читателей. Причем, поскольку автор проявился в ней в новом обличье, в ненаблюдавшемся ранее качестве религиозного моралиста и снял с себя писательский сан, все обвинения падали на церковь и верование, вовлекшие его, рисовалось, в нечестное предприятие. За «Переписку с друзьями» расплачиваться приходилось друзьям, дурно повлиявшим на растаявшего писателя. Подтвердились худшие из высказанных в ней опасений по поводу неумелого и по-

спешного проповедования: Гоголь, как всегда, ненароком метил в свой огород, когда предупреждал в этой книге, что «не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже, просто, неприготовленные проповедатели Бога, державшие произносить имя Его неосвященными устами» («О том, что такое слово», 1844 г.).

Мог ли автор, однако, лучше подготовиться к делу, явившему – именно в силу безответственных сближений, натяжек, фатального попадания пальцем в небо, ногами в капкан – единственную в своем роде попытку наново написать «Домострой» и поднести современникам как настольное руководство? Виновны не отдельные неудачные мысли и фразы, которые он мог бы исправить, виновен неисправимый, ошеломляющий жанр этой книги, рискующий объясняться с читателем по всем вопросам жизни подряд, чреватый шаржем. Провал ее, как и скрытая в ней терзающая притягательность, заключались не в религиозной настроенности как таковой, но в общем свode домашних и сакральных забот, в претензии восстановить и упрочить кодекс Древней Руси на базе распадающегося на части настоящего, откуда и проистекают все ляпсусы, и чем привлекает она в своей натуральной, кричащей безграмотности и несуразности. Вот отчего на пути дальнейшего совершенствования, в ужасе от произведенного на всех впечатления отрекшись от нее, Гоголь тем не менее бессилён был с ней развязаться, и, отрекаясь, выгораживал и льстил себя жалкой надеждой, что еще перечтут по нескольку раз и оценят.

«Не нужно, чтобы эта книга была заброшена. Как она ни исполнена недостатков, но она печаталась не для впечатлений минутных. Ее нужно перечитать несколько раз не только тем, которые ее совсем не поняли, но даже и тем, которые поняли ее лучше других. Там есть несколько душевных тайн, которые не вдруг постигаются» (Письмо к А.О.Россету, 15 апреля 1847 г.).

«...Есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем» («Авторская исповедь», 1847 г.).

Загадочное создание сопровождало его как тень, до конца, и было последним напутствием, с которым сошел он в могилу и от туда еще продолжал той же книгой дразнить и отпугивать. Помимо надежд и потребностей, связывающих ее появление с творческим бесплодием Гоголя, намеревавшегося «Перепиской с друзья-

ми» поправить свои пошатнувшиеся дела, заткнуть дыру, образованную «Мертвыми Душами», которые не желали писаться и требовали, как выяснилось, больших подсобных работ, а то и, на худой конец, какого-нибудь эрзаца в виде на скорую руку составленного проспекта, который бы предусматривал все крайние нужды и тяжбы, все классы и бразды в государстве, существовала иная, широкая необходимость, не позволявшая забыть эту книгу, ни зачеркнуть ее в процессе духовного роста, ни, даже, повременить с ее скандальным изданием, отложив на неопределенные сроки, покуда автор довоспитается и лучше подготовится к проповеди. Сама неприготовленность Гоголя в написании и выпуске книги являлась следствием крайнего, безвыходного состояния, которым она диктовалась и которое, отразившись на строе и образе мыслей, многое в ней проясняет и если не оправдывает, то несколько смягчает удары, нанесенные ее составителем в сознании конца, в предварении близкой, личной и всечеловеческой, гибели.

«Переписка с друзьями» – книга тотальная, книга окончательная, книга апокалиптическая. И если по материалу и жанру сходит за «Домострой» (со времени которого еще никто столь авторитетно не рассуждал у нас, как хозяйствовать по-христиански, и не связывал так плотно религию с практическим бытом и дрязгом), то это потому, что Россия мнится последним оплотом в космической катастрофе, своего рода блиндажом, где Гоголь еще надеется отстреляться и продержаться до спасительного Пришествия, приведя домашний очаг в состояние предсмертной готовности. Весь старосветский хлам, которым он второпях баррикадирует окна и двери, вся вопиющая косность и пошлость, брошенные в бой в качестве последних резервов, перемещенных из глубокой провинции на передний край огня, утрачивают в такой ситуации характер самодовольного умствования, расчетливого делячества и свидетельствуют скорее об отчаянности момента и размерах постигшего автора и его нравственное достояние бедствия. Апокалипсис и Домострой – две стороны гоголевской «Переписки с друзьями», причем первая обуславливает и подогревает вторую, создавая в произведении душевный и исторический фон, без которого эта книга немислима и звучит оскорбительным вызовом даже собственным принципам автора и его добрым резонам.

Местами этот фон прорывается непосредственно в текст. Тогда-то все объясняется, тогда-то мы постигаем, почему так беспощадно, навязчиво обращался он в проповедника. Вдруг все, что снилось ему таким фундаментальным, солидным, теряет прочность, устойчивость, и девятнадцатое столетие, исполненное апломба, претензии на равновесие, разражается сценами последнего дня Помпеи. Живые картины потопа, обвала, землетрясения оказываются средой, питающей реляции Гоголя. Сам дьявол, без маски, в открытую, сходит в мир – в образе человеческой гордости своим досужим умом. Тогда-то по-иному прочитывается и делается понятнее нарочитая неказистость, дураковатость сочинения Гоголя, написанного как бы в укор болезненному самолюбию века – «боязни каждого прослыть дураком», чуравшегося теорий, идей, учености, цивилизованности, взошедшего откровенно на доморощенном, неотесанном опыте, на вытарашенном в глаза простофильстве. Гоголь как будто нарочно влачится мыслью по кочкам на уровне отсталой Руси, которая хотя и разваливается, но все же противостоит у него безмерному развалу Европы и потому подлежит тотальной мобилизации – по должностям, то есть по устойчивым признакам, которые наиболее внятно сулили бы смятенному миру родительскую стабильность. В условиях разброда, распада упования возлагались на самые застойные формы; их возрождение к жизни, по Гоголю, знаменовало подъем и прогресс; но возбудить их, он видел, можно лишь под угрозой крайней и неизбывной опасности, лишавшей последних надежд и вместе служившей трамплином в качании авторской веры от ужаса смерти к чуду посмертного воскресения. Гоголь возводит здание прочного миропорядка на самом остром и губительном переживании кризиса. (И в этом пункте, по-видимому, он глубже и чище всего следует голосу древнего христианского благовеста.)

4 апреля.

А у нас уже скворцы прилетели и снег потаял почти везде, а некоторые тропочки уже и просохли. Долго вспоминал-выяснял, когда же Красная Горка, и как ни странно, никто не знает. Сейчас как будто бы выяснил – далеко еще. И пока она придет, Красная-то Горка, я тебя поздравляю и обнимаю с твоими именина-

ми. А потом и с Воскресением Христовым. Христос Воскрес, Машенька!

Единственный плюс, что за этот промежуток, что ты не приезжаешь, целый месяц утечет, а это уже в нашей жизни кое-что значит. Семнадцать раз сосчитать – не так уж длинно.

А знает ли Егорушка, что у него, кроме дня рождения, есть еще именины?

Жду писем сегодня, может, еще разъясят что к чему. Отдыхаю после обеда за прошлую погрузку и дописываю письмо тебе и Егору (и поэтому буквы к тебе тоже получаются крупнее обычного), поджидая вечерних вестей. Понедельник!

Последнее время много работы, устаю. Приближение лета, правда, вселяет силы. Апрель стоит самый желанный, серенький, воробьиный, и можно жить.

Не слишком ли сложное письмо сочинил я Егорушке на сей раз? Но у тебя же права цензора, я считаю.

И пока подоспел вечер, я успел еще отовариться в ларьке на весь месяц и теперь все это, говоря по-здешнему, зажую: килограмм конфет, и маргарина, и сыра, и 20 пачек махорки, и 10 – спичек.

А писем мне от вас сегодня нету. Не умещаюсь. Целую крепко. Люблю безумно.

А.

5 апреля 1971.



...я так, я так... – Это я опять пишу А.С. про финал «Гололедицы»: «Я стала очень плохо писать тебе в марте: сейчас взяла свой кондуит и подсчитала, что это всего-всего шестое письмо. А уже 20-е число...

Не сердись на меня, а пожалей. Напиши мне про любовь и нежность, может быть, это меня слегка поддержит и поможет принять какие-то более жесткие очертания. А то я совсем расплываюсь и теряю контуры.

Сегодня суббота, и уже три часа дня, и все утро я собиралась написать тебе письмо, и все утро разговаривала с тобой, и все утро думала, как напишу тебе письмо и спрошу в нем, почему старые слова «Наташа, я люблю тебя. Я люблю тебя, Наташа. Я так, я так тебя люблю...» я вос-

принимаю как объяснение в любви мне и только мне, а вот брала бумажку в руки и... писать не могла.

И опять я мыкалась по пустому дому, бродила из угла в угол и даже чистила кастрюли, и опять разговаривала с тобой, и горько жаловалась тебе и печалилась, но все это в форме устной, а в письменной – не могла. Не получалось...

Пожалей меня, Андрюша, мне что-то совсем плохо. Я даже только что Дувачка слегка отлаяла, ибо сил не было слушать в телефон все его глупости».

...не пойму, по какому принципу, максимального нервирования... – да, да... Вот так они и ходили – мои письма – пятое через десятое, по многу дней: любимые Органы изо всех сил старались отловить какую-то информацию и подпортить настроение.

...сагласин... – Тем временем Егорка тоже начал регулярно писать папе. Вот так:

ДОРОГОЙ МОЙ ПАПА!
МНЕ ОЧИНЬ ПОНРАВЕ-
ЛОС ТВОЁ ПЕСЬМО.
ЕЩЁ МНЕ БАБУШКА
ПАДАРИЛА ЗУБНУЮ
ЩЕТКУ. У НЕС ПАЕВИ-
ЛИСЬ 2 ПЛАСТИНКЕ.
ЕЩЁ ТЫ МНЕ НАРИСУЙ
ЁЛКУ. А Я ТЕБЕ НАР-
ИСУЮ ДОМИК. Я САГЛ-
АСИН С ТАБОЙ ПИТЬ
ПИВО. ДОРОГОЙ ПАПА!
ТЫ МНЕ НАПИШЫ КАК
ТЫ ЖЕВЁШ. У НАС В ГРУПЕ
АЛЁША РИЗАНОВ ДИ-
РЁЦА А ЕЩЕ ТЫ МНЕ
НАРИСУЙ МЕНЯ
ЦЕЛЮЮ ТЕБЯ
ВОТ КАКИМИ БАЛЬШИМ
БУКВАМИ
19 МАРТА 1977 Г. ЕГОР



ПИСЬМО СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Детики мои болезные и горячо любимые!

Все-таки во мне есть Егорычева обязательность и пунктуальность, и я всегда начинаю с того, какие письма и когда получил, и что в них написано, какие желтые бабочки летают в Боровске, и как я на них сразу весь откликаюсь. И сейчас я, значит, тоже получил открытку (с бабочкой), телеграмму и два письма, №27 и №32. И хотя вы в них всё еще кругом болеете, уже легче, когда знаешь, что это вирусный грипп*, если это действительно он. И что Егор весело восседает в кровати. И что отвечает чернилами, хотя я позавчера его только об этом запросил в письме. А карикатуры – что он под ними разумеет? – я так и не понял. Видимо, нечто более экспрессивное, чем обыкновенные домики-мячики. И более экзотичное.

И сегодня я еще получил «Книги – почтой»: Эдгара По (того самого!), Орочские сказки и мифы (от которых почему-то много ожидаю, надеясь на их архаику и какие-то смутные воспоминания из Хлебникова) и Младшую Эдду (которую лучше иметь свою, потому что если из нее делать выписки – тут есть у одного мальчика Младшая Эдда, – то придется ее почти всю переписать, так она густо набита всякой ценностью). И все из московского академического магазина!

И еще я сегодня – к празднику – сменил форму на весеннюю. То есть снял шерстяные носки и ватные брюки, решив не принципиальничать с ними до мая месяца. А погода сегодня сразу повернула на холод. Но мне все равно весело. И еще я к празднику обновил голубую майку (из тех, Михаливанычевых – одну из них я уже сносил до носовых платочков, а вторую приберегал): кутить так кутить.

И слышал хорошую поговорку:

– Волк и меченых берет.

И несколько смешных оборотов:

– Если хочешь раскусить женщину, читай «Декамерон» и тогда узнаешь, что это за яблоко!

– Вся отрицаловка.

– Пропаль! (Притырить-передать кошелек, но можно и в форме восклицания, типа «полундра», в смысле – хватай!)

– Мрасть из мрастей.

– А он каким-то способом остался жив.

Что-то эту весну я как будто сильнее воспринимаю. И недавно вечером, впервые, и еще совсем ненадежно, пахло сырой землей, и у меня от этого запаха все перевернулось от счастья. После столькой зимы вдруг такая пронзительная, живительная сырость. Правильно-правильно: земля – вода – змея – женщина. Правильно: сырая земля. Сырость здесь как стихия и основание жизни. И все-таки жизнь и животность, любовь и воля больше всего имеют отношение к запаху. И запах – это тоже дух, хотя и низшей породы. И уже низшие формы жизни означены духом – запахом.

Забавно получается: мифологию постигнуть личным, осязаемым опытом. На ощупь. Как собственные чувства, мысли и подсознание. Вглядываясь в кусты, в ночь, в воздух. Если это возможно, то в качестве предварительного условия человек должен быть лишен всего.

7 апреля 1971.

Хочешь знать, Машенька, что такое произведение прикладного искусства в высшем смысле? – вот что.

Павел Диакон. «Истории лангобардов» (III, 34). О короле франков Гунтрамне, который жил где-то в VI веке и был добрым (сам автор – VIII в.):

«Один весьма удивительный случай из его жизни хочется мне вкратце вставить здесь в мою историю, тем более что, как мне известно, в истории франков [Григория Турского] о нем совсем не упоминается. Случилось ему однажды быть в лесу на охоте, и, как это обыкновенно бывает, его спутники разбежались в разные стороны, а сам он остался только с одним, самым верным ему че-

ловеком; тут стал одолевать его сильный сон, и он, склонив голову на колени своего спутника, крепко заснул. И вот выползло из его рта маленькое существо, вроде ящерицы, и стало пытаться переползти узкий ручей, протекавший поблизости. Тогда тот, на коленях которого отдыхал король, вынул свой меч из ножен, протянул его над ручьем, и по нему эта ящерица, о которой я говорю, перебралась на другую сторону. Потом она заползла в какую-то неглубокую щель в горе и, спустя некоторое время, выползла оттуда, перешла по мечу через упомянутый ручей и опять скользнула в рот Гунтрамну, откуда вышла. Гунтрамн, проснувшись, рассказал, что он видел чудесное видение. Он говорил, что привиделось ему во сне, будто перешел он по железному мосту реку и, взобравшись на какую-то гору, нашел там огромную кучу золота. Тот же, у кого на коленях лежала голова спящего короля, в свою очередь рассказал ему по порядку, что он видел. Короче говоря, то место было прорыто, и были найдены там несметные сокровища, положенные туда еще в древние времена. Впоследствии король приказал из этого золота отлить кубок, необыкновенной величины и тяжеловесный, и, украсив его множеством драгоценных камней, намеревался отправить его в Иерусалим к гробу Господню. Но когда ему не удалось исполнить этого, приказал он поставить его над гробницей св. мученика Марцелла, похороненного в Кабаллоне (где была резиденция короля); там она находится и до сего дня. Нигде нет ни одной вещи, сделанной из золота, которая могла бы с ней сравниться» («Памятники средневековой латинской литературы IV–IX веков», М., 1970, стр. 255–256).

Проследим сюжетный ход создания уникальной, прекрасной вещи: он скользит, как ящерица, описывающая сложную, но точную фигуру и возвращающаяся откуда пришла. Чудо (уже немного переходящее в анекдот, в удивительный феномен), сопряженное с какой-то древней, языческой, может быть, праприродой человеческой души, в виде ящерицы, выскальзывающей из тела во сне, разрешается созданием чудного кубка, который как бы увенчивает (как цветок на стебле) и увековечивает событие и возвращается по принадлежности – на тот свет, через гроб Господень или гробницу св. Марцелла. Можно сказать, это явленный кубок, найденный и возвращенный шедевр. (И поразительно, что он

явился во сне, который вот в такой же неодолимой силе постоянно действует в сказках, связывая героя с источником, с магической силой, с бессознательной жизнью души, которая здесь все еще норовит обернуться ящерицей, возможно, в память о прежнем своем существовании, или о первобытном предке династии, или о древней и утраченной уже волшебной способности королей оборачиваться зверями и гадами, которые затем сохранились только в гербе.) Раньше бы этот кубок положили в курган с королем – тоже для переправы к исходной точке, к источнику. Материальное произведение создается, таким образом, совсем не просто так, не между прочим, но между двух кладов, двух захоронений, как и самая жизнь человека лежит между двух сокровищ до- и паки-бытия. Сверхъестественный стимул и священное назначение вещи.

Помимо того, что в приведенном рассказе бросается и радует глаз очень четкий, контурный, западноевропейский рисунок. Как все это остроугольно и как иерархично. Ящерица по мечу переползает ручей. У нас на той же средневековой почве вышло бы куда живописнее и расплывчатее. В этом смысле Запад даже фантастичнее Востока. Его химеры яснее, отчетливее рекомендуют себя. Не какая-то змея-ящерица. Не просто извивалась, но переправилась по мечу. По железному мосту. Знала, куда ползет. Гербовость образа. Альбрехт Дюрер уже здесь. На страже. Как тот вассал, что своевременно подал меч душе короля. Как ящерица, так железно вмонтированная в человека. Как строгая – коготь в коготь – связанность рассказа.

10 апреля.

Солнце печет на холодном воздухе, и, мне кажется, я уже порядочно загорел (давно не смотрелся в зеркало, но по соседним лицам заметно). Мухи прямо на ходу оживают. Кто-то заметил, что я тоже бегаю веселее, шустрее. Вам сколько осталось?

Когда желают человеку сказать приятное, спрашивают: сколько осталось?

– Это же смех на палочке!

«Блин», вставляемый эвфемизмом в скороговорку.

– Как здоровьице? – Эстонец*.

К скворцам хорошо относятся, их даже отнимают у кошек.

А к воробьям – нет, и, вероятно, все дело в названии. А я воробьев люблю.

– До гробовой доски наших детей!

Немножко растянул и зашиб руку. Работать больновато, но пока терпимо. А писем нет как нет.

Но помнишь вербочку, которую ты мне подарила?

12 апреля.

Отчего под дождь спится лучше? Оттого, что мы имеем крышу, и ощущение крыши над головой при дожде возрастает. Сон как раз начинается с того, что в засыпающем сознании создается подобие домика, в котором мы замыкаемся, укрываемся (сюда же примешивается значение одеяла, из которого, помимо тепла, мы строим предварительное укрытие над головой). В сущности, это постройка нового, в другое измерение уводящего пространства, вокзала, откуда нам предстоит отъехать в сонный рейс, в глубь души. И потому же мешают заснуть, необыкновенно раздражая, всякие шумы: они разрушают иллюзию домика, куда мы уже забрались. Без домика – не заснешь.

Сон в этом смысле – уединенное жилище души, и как всякое жилище, он требует повышенного чувства крыши и уюта.

Ждал-ждал писем и сегодня дождался за целую неделю первой открыточки с 17 месяцами* от 8 апреля. Маловато. Но все же утешает, что совсем недавно еще, 8 апреля, ты меня любила.

13 апреля.

Снег летает. Все-таки ужасно долгая у нас зима. Ведь с сентября, а сейчас получается, что и апрель только сверху такой милый и тепленький. И все как-то сразу нахохлилось и заскучало. И писем нету. Нету, и все тут. Что-то чересчур нарочито. Так не делают.

Зато я вчера смотрел ваши личики на фотографиях разных возрастов, и все они мне очень понравились. Ну просто очень. Главное дело, что все совершенно родное. Даже странно, что так бывает. Какая же должна быть степень одушевленности лица, если оно все так излучает. Правильно сравнивают лицо с солнышком.

А потом у меня для вас есть на примете пудель. Правда, он еще не родился – но будет. Я видел его маму на фотографии. Весьма

симпатичная. И еще мне понравилось, что пудели добрые и не кусаются.

А на «Знание – силу» я просто смеюсь, а не огорчаюсь. Такой у людей был случай сделать доброе и благородное дело, и они упустили.

Но я этот журналчик все равно почитываю, одалживаясь у соседа. Забавный журналчик. Про носорогов, про птичек. Правда, вырезки из него уже не поделаешь. Ну, обойдемся. Правда же, обойдемся, Машечка?

15 апреля.

А сегодня проснулись – всё бело. И окна заморожены. По пятому разу зима. И сейчас – дело к вечеру – идет крупа. Кажется, зима (не эта, а уже следующая) начнется, минуя лето.

А вчера был чистый четверг. Дивное название. И я тоже помылся в бане. Оказывается, в чистый четверг положено мыться. Один мужик в бане это мне объяснил. – Я вчера, – говорит, – мылся, но сегодня – Чистый Четверг!

И хотя писем все нет, и нет уже давно, настроение по временам, сам удивляюсь, приподнятое. Наверное, это от любви. Отчего же еще быть ему, настроению-то?

16 апреля.

Характер его предчувствий и образ, если можно так выразиться, пережитого им откровения доподлинно воспроизводит стихотворение Пушкина «Странник» (1835 г.), которому Гоголь приписывал значение итоговой исповеди умнейшего, главенствующего поэта России. Зная его всегдашнее расположение к Пушкину, следует тем внимательнее прислушаться к тому, что даже у Пушкина выделил он в особую статью, граничащую уже, очевидно, с высшей миссией в мире.

«В последнее время, – писал он по поводу эволюции Пушкина, – набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотворении, в котором звуками, почти апокалиптическими, изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния. Много готовилось России добра

в этом человеке...» («В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность», 1846 г.).

В контексте там же преподанных уроков русской словесности, обязывающих отныне равняться не пушкинским уже, но всецело евангельским образцам, стоявшему особняком стихотворению Пушкина «Странник» отводится роль, надо думать, связующего звена между литературным наследием и будущим литературы. В психологическом развитии Гоголя оно служило мостом, отправною точкой и местом встречи с Пушкиным – на новой уже, обращенной к нравственному руководству основе. В этом смысле стихотворение «Странник», повествующее о том, что сам испытал он тогда как личное потрясение, совпало с переломным моментом в духовной биографии Гоголя. Отсюда, можно считать, вторично открывается Гоголь – другой половины творчества, последнего десятилетия жизни. С того, чем Пушкин закончил, Гоголь намеревался начать¹.

¹ Другим, столь же созвучным ему и выходящим из ряда явлением современной поэзии было, также исполненное в апокалиптическом духе, «Землетрясение» Языкова, которое Гоголь считал лучшим русским стихотворением. Основываясь на этом примере, он навязывал автору свой стилистический и психологический ключ, закуску «Переписки с друзьями» (ужас конца, идею спасения души и земли совокупными силами, поиски прочности за счет подключения к ненадежным современным условиям домостроевского быта и Библии, наконец, установку на мощный, пророческий напор и восторг – в предположении ответного душевного переворота в читателе).

«Перечитывай строго Библию, набирайся русской старины и, при свете их, приглядывайся к нынешнему времени.

...Воззови, в виде лирического сильного воззванья, к прекрасному, но дремлющему человеку. Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу... Завопи воплем и выставь ему ведьму старость, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердье, которая ни крохи чувства не отдает назад и обратно. О, если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберешь до третьего тома «Мертвых Душ!» («Предметы для лирического поэта в нынешнее время». Два письма к Н.М.Языкову, 1844 г.).

Оба произведения – «Странник» и «Землетрясение», – как нельзя более отвечая умонастроению Гоголя, высятся ориентиром у него на пути как свидетельство пережитого кризиса и рисуют в эскизе грядущее, как оно мыслилось им в перспективе близкой кончины и космических катаклизмов.

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?»

И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно.
Уныние мое всем было непонятно.
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них;
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце наконец раскрыл я поневоле.
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! –
Сказал я, – ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обрести убежище; а где? о горе, горе!»

Пушкинский «Странник» во многом способен помочь не то чтобы понять, но живее вообразить странное состояние Гоголя, чья скорбь, несмотря на попытки ее обосновать, носит в зародыше столь же безотчетный характер, противоречия доводам опыта, нормального взгляда на вещи, отчего ее тяжесть, не поддающаяся разумению, лишь возрастает, становится неутешной, бесконечной и грозит подавить в человеке всякое иное, постороннее ей помышление. Кажется, человек не владеет собой, позванный в свидетели недоступной нашим глазам реальности, которая забирает и приковывает его навсегда, обращая в свой приватный сосуд и оракул. Тот, кому случалось в жизни встречать подобных пророков, мог бы подтвердить наличие в их бессвязных речах силы, удостоверяющей себя с таким постоянством, с такой непреложностью, что сама действительность – решишь она опровергать их на каждом слове – не выдержит и смутится перед зрелищем более веским и убедительным во всех отношениях, чем

все, что ей удастся измыслить и воспроизвести. При всем том веру их в подлинность своих слов вы не спутаете никогда ни с натиском демагога, ни с жаром фанатика, которые исходят из своих убеждений и требований, тогда как пророк, достаточно взглянуть на него, себе не принадлежит и от себя не зависит и даже пугает этим отсутствием субъективного элемента, личной заинтересованности в том, о чем он глаголет и что выступает как высшая справедливость и очевидность. В конце концов, не так уж важно, если события, ему открывшиеся, не произойдут или произойдут не так, как предрекалось. Он может ошибаться в подробностях, видя истину сквозь слишком толстое, скажем так, стекло своей несовершенной природы, деформирующее точные контуры, смещающее предметы, может быть, на тысячи миль. Все это мелочи. Важно, что связь – и притом прямая – с истиной налицо, явленная с безусловностью, которая говорит за себя и не нуждается в доказательствах, ни в каких-то второстепенных, сомнительных подтверждениях фактами. В стихотворении Пушкина, и это схватывается нами мгновенно, не требуя уточнений, совершенно не существенно, сгорит ли город дотла на самом деле уже в ближайшие дни, или, может быть, все это стряется через тысячи лет, в расширительном смысле вместе с гибелью мира, или, что еще вероятнее, речь идет лишь о том, что всякий человек смертен! При удобном случае, кстати, странник так и разъясняет эту последнюю версию своих стенаний, словно позабывая про город, обреченный огню, и пораженный другой стороною этого же видения.

Он тихо поднял взор – и спросил меня,
О чем, бродя один, так горько плачу я?
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:
Я осужден на смерть и позван в суд загробный –
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит».

Смерть, увиденная реально, не в форме отвлеченности, которая, нас удручая, не мешает нам, в общем, по-прежнему спокойно существовать, минуя ее сознанием, как бы полузакрывая глаза на ее черты и последствия, откладывая встречу с ней в неопределенную, безопасную даль, смягчающую тяжесть удара, подана

здесь как открытие истинных размеров потери, лишаящее человека привычки и способности жить, зная об уготованной всему живущему участи, что, с несущественным расхождением в месте и времени действия, настигнет, подобно казни, каждого на земле и роднится с мировой катастрофой, придвинутая вплотную, преследующая неотступно провидца, к законному негодованию его нормальных собратьев.

Побег мой произвел в семье моей тревогу,
И дети и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих;
Один бранил меня, другой моей супруге
Советы подавал, иной жалел о друге,
Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал...

17 апреля.

Сегодня выдался удивительно тихий и светлый день. При нашей холодной весне просто чудо. На солнце. Скворцы. Дымные дали.

Почему-то в пасхальной службе, говорят, читается первая глава Иоанна. Почему? Самое духовное из четырех и с обозначением Духа в первой же главе, по событиям не очень соответствующей? Почему-то и духовность этого дня чувствуется сильнее всего, даже сильнее, чем в Троицу. Какая-то серебристость, воздушность и легкая воспламеняемость линий. Световая сотканность дня. Духовная сотканность света. Кресало жизни. Возжечь. Но как заливаются птички!

Вспоминаю твой творожок со сметанкой, который ты, не зная, так поняла. И почему все звери, за редким исключением, такие хорошие. Детскость зверей, юмористичность их доброй природы. Присутствует ли юмор в Писании? Подумал – и вдруг заискрились, легкое дуновение текста, полного любви-снисходительности. Это уловлено в стихах: «Всем вместе нельзя – подождите у входа». Не улыбка, тень улыбки. Беззвучие юмора. Я и говорю – заискрились.

Еще раз иконография: Сошествие во ад и Жены мироносицы. А центрального события нет. Потому что нет и словесного текста. Темнота, тайна, нельзя. Где есть слово – так сразу – смертью

на смерть наступи (в рогожской интонации). И вот вам уже композиция. Попирает буквально. Но это же раньше, а потом, что было потом?! – бледный довольно слепок жен мироносиц. На тему пустоты. Высшее и важнейшее осталось вне выражения и в слове, и в живописи. Свершилось, и всё тут. Между чудом Преображения и чудом Вознесения главное и величайшее чудо осталось невысказанным. Потому что главное. За текстом, вне композиции. Как центр, всегда съезжающий в лес. Источник вне культуры. Творец вне творенья.

И то же ощущение, может быть, – от первой главы, она как-то вне измерений, вне сюжета. Родство не по теме – по стилю, по духу, который и есть тема.

Вечером небо мне показалось особенно зеленым. Может, весна с этого дня окрепнет, займется? Когда письма не доходят, приходится уповать на погоду.

18 апреля 1971.

По радио поет Обухова. Все-таки я очень скучаю, как выяснилось, по возможности перечитать Островского. И ты мне – давно уже – об этом напомнила, сказав, что потянуло к Островскому. И я тебя люблю. А тут попалась очень хорошая мысль Ап. Григорьева («Русский театр в Петербурге» – «Эпоха», 1864, № 3): «С чего взяли, что купцов изображает Островский? Русских людей он изображает, типы русской жизни – а уж не виноват, что свободно и оригинально до дикости и чудноты развились они только в этой среде...» Даже в Малый театр захотелось, до того хорошо сказано. На какое-нибудь «Горячее сердце», «Доходное место».

Скудны впечатления. Поэтому повторяюсь. Не только поэтому, но и поэтому тоже. Все-таки у лошади удивительно неподвижная морда. Даже корова, вероятно, имеет более разнообразную мимику. Но у лошади вся мимика – сегодня я еще раз имел случай убедиться в этом, разглядывая ее в ожидании развода, – переселилась в уши. Ни минутки не постоят на месте – так и скачут, и крутятся, и сигналият в разные стороны. Одно удовольствие на них смотреть. Этакая подвижность на уныло-меланхолическом – немного брезгливом и непроницаемом фоне. А вся душа в ушах – тревожная и певучая. Лицо и образ – как они здесь не совпадают!

– У меня к кошкам серое отношение.

А весна вроде бы закрепились на достигнутом рубеже, и второй день совершенно голубой и светящийся. Может быть, и к лету и к маю мы так постепенно вырулим.

– А как бывает весной – тоскливее или веселей? – И я твердо ответил: – Веселей. – В сущности, мне не приходилось испытывать здесь специфически весенней тоски. На тему: все цветет и играет, в то время как... Для этого все же нужны большие расстояния, большая безнадежность.

– Нет, – говорю, – весной положительно веселей.

19 апреля.

Вот, Машенька, послушался я тебя в прошлый раз и не принимал никаких шагов в связи с пропажей многих и многих твоих писем. И ты говорила мне, что все само собою уладится и не нужно ничего делать, это временное недоразумение и т.д. И что же мы имеем в итоге такого послушания? Ничего не имеем. Я не получаю твои письма уже десятками, и не исключено, что вообще перестану их получать. А именно, еще из февральских-мартовских писем до меня не дошли №№ 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 33... и далее все подряд не получаю.

Что делать в этом печальном положении? Во-первых, постарайся посылать почаще заказные письма, хотя я понимаю, сколько это доставит дополнительных хлопот, а квитанции все сохраняй, помечая на них соответствующие номера твоих писем. Чтобы, собрав все потери и недостачи, предъявить эти квитанции в соответствующие учреждения.

Во-вторых, как это ни скучно, придется брать пример с гр-на Гареева*, к которому, судя по всему, относятся более внимательно, по той простой причине, что он действует официально и на каждое пропавшее письмо имеет квиток и направляет запрос по всем инстанциям. В конце-то концов, кто-то должен дать ответ, по какой причине меня лишают переписки. Хотя бы генеральный прокурор, если не Министерство Связи.

Прости, деточка, за эти интонации, но и меня пойми и войди в мое положение. Я бы не стал шуметь, если бы пропадали, как это и раньше случалось, отдельные письма, – ну, чего не бывает? Но тут, как и осенью, в сентябре-октябре, наблюдается тенденция лишить меня твоих писем вообще. А мне сидеть еще год с

лишним. И если ты не примешь меры, я сам начну их изобретать, я не знаю – к лучшему ли это, но что прикажешь делать, когда твои письма по месяцу – по сорок дней проверяются в Москве и, видимо, там же в своем большинстве застревают.

Дай переведу дух – и напишу тебе что-нибудь более ласковое. Перевел (пошел – покурил) и продолжаю в мирном и тихом тоне. Все-таки, хотя и сержусь и огорчаюсь, есть и радости. Сегодня – я как-никак получил от тебя телеграмму. Писем, как всегда, ни крошки не получил, а телеграмма пришла-таки. И это я вопил не от сегодняшних переживаний, а за прошлые две недели и за будущие. А сегодня к вечеру все хорошо кончилось, потому что я получил, наконец, телеграмму. Жутко я устал и измучился, ее ожидая. Ну теперь, даст Бог, свидимся, и ты мне расскажешь и о Егоровой болезни, и о своем состоянии. А я тебе тоже постараюсь объяснить, как я вас люблю, и целую, и обнимаю.

Обнимаю и целую.

А.

20 апреля 1971.



...это вирусный грипп... – Из моего письма: «Андрюшечка! Я влюбилась!»

Как ты когда-то в страну Исландию, так я теперь в доктора Любошица, и уже два дня я не могу опомниться и все перебираю всякие подробности его встречи с Егором, и каждым третьим словом у меня теперь Любошиц, но это действительно было фантастически прекрасно – как Любошиц осматривает ребеночка.

Он его вертел, выслушивал, выстукивал с головы до пяток; он ему так щупал пузо, что казалось – через пуп достает до позвоночника и все-все кишочки попутно оглаживает и обнюхивает, а ребеночек лежит и блаженно улыбается, явно радуясь, что его трогают такими руками.

Помнишь, как Любошиц осматривал двухмесячного Егора? И как поднял его, нашу голую обезьянку, на двух пальцах, и как я чуть в обморок не упала, а Любошиц смеялся и говорил, что это заурядный трюк, на который покупаются все без исключения родители? Помнишь?

Так вот вчера наш ребеночек купил Любошица на такой же трюк,

сказав ему, что он хочет быть доктором, и доктором не простым, а детским.

И Любошиц млел и таял, а я, на них глядя, тоже умилялась, и это невероятно – ДОКТОР ЛЮБОШИЦ. Такого не бывает.

И сказал Любошиц про Егоровы болячки, что это был вирусный грипп с осложнением на желёзки и лимфатические узлы. Но что ничего особенно трагического он здесь не видит, а просто надо еще дней десять отлежать в постели и принимать тетрациклин, и может быть, даже удастся обойтись без инъекций антибиотиками и дело ограничится таблетками.

И что в почках все в порядке, и анализ крови для такой затяжной болезни тоже вполне благополучен, и что он (анализ крови) мог быть даже хуже, и что все пройдет.

И что вообще – Егор золотой ребеночек (но это я и без него знала) и что нам с тобой в жизни крупно повезло».

– Как здоровьице? – Эстонец. – Многие слова и тексты в этих письмах – заготовки для дальнейшей работы. И вот пример: в письме – три почти бессмысленных слова, которые раскрываются в «Голосе из хора»: «Бедный эстонец. Попав в лагерь, он принял русскую ругань за норму языка. В больнице у старичка вышел конфуз.

– Ну как здоровьице?

– Куюво, доктор».

...с 17 месяцами... – «А сегодня нам сидеть поврозь 17 месяцев».

...пример с гр-на Гареева... – См. примечание к письму 117.



ПИСЬМО СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

Все прекрасно, но села ли ты вовремя в поезд, вот вопрос, или опоздала уехать, потому что, сколько ни смотрели в окошки во все глаза, тебя не заметили*, и это единственно омрачило мои вчерашние впечатления, моя совершенно бесценная и ненаглядная Машечка. Вечер у меня пролетел в разнеженно-тихом и умиленном настроении – если б еще знать наверное, что ты не опоздала на поезд, то и совершенно безоблачно. Колорит дополнило приятное отсутствие света, когда так кстати пришлось, отдыхая и отпускаясь нервами, посидеть в полутьме, а потом свет зажегся, и все ушли в кино, и освободилась масса места и времени придти в себя. К паштету я тоже приложился с аппетитом и заснул как убитый. И яичко в золотых птицах оказалось непротухлым, а с детской картинкой решено было не кушать ради ее уникальности, тем более что я разглядел не замеченный сгоряча и очень оригинальный прием изображения неба (где у яичка небо?) – синим кружочком на макушке, и уложил его в чемодан. Если не раздавится, приятно будет когда-нибудь вспомнить.

За три дня, что длилось свидание, писем от тебя не пришло нисколько, но лежало под подушкой письмецо от Меньшутинных – как всегда в изысканно-витиеватой и занимательной, услаждающей слух и ум собеседника, обходительно-старомодной манере. Мастер он писать письма, а я вот, к несчастью, совсем не владею – не дается этот специфически эпистолярный слог, представляющий целое искусство раскланиваться такой раскидистой, с забавными завитками фразой, которая в подчеркнутой письменной форме ведет дружественную беседу и, придавая всему какой-то закругленный характер, овладевает нашим умом как окончательный отпечаток и непринужденная официальность лица.

У меня – либо деловой отчет, либо окрошка, и это уже порок неисправимый – отсутствие чувства жанра.

(Кстати, среди меньшутинских забавных подробностей и экивоков, неукоснительно превозносящих твою персону, – какой это дурак из наших друзей и знакомых вдруг открыл Ренессанс* в русской иконе 17–18 вв.? Этого еще не хватало!)

Сегодня к вечеру все же пришло два письма от Егора, №№ 34 и 39, в том числе про барона Мюнхаузена*, в самом деле прекрасное, и твоя открыточка про то, что вы с Егорычем пошли наконец-то гулять, которая, приди она дней десять назад, как ей полагалось по дате, весьма бы скрасила мою тогдашнюю жизнь.

Но свидание наше опять-таки все покрыло и скрасило, и я вас люблю тихо и пронзительно, хотя такое сочетание кажется странным – тихо и пронзительно. И я не перестаю радоваться, и смеяться, и тихо таять, и пронзительно восклицать на твои черты и особенности. Только ты отдыхай почаще и поправляй постепенно, пожалуйста, свое здоровье, нам всем необходимое. Я-то себя чувствую превосходно, отдышавшись на открытом воздухе, и теперь провожу свидание у себя в голове, по второму и по третьему туру, мелькая синим халатиком, таким взаправдашним и домашним. И думаю, как интересно, по сравнению с Ю.Олешей, пожать руку в рассуждениях о гении как житейской нужде, и радуюсь, что я угадал елисаветинский стиль колечка, а ты – фразу японца Кэнко-Хоси, четырнадцатого века, которая в полном виде звучит так:

«В скуке, когда весь день сидя против тушечницы, без какой-либо цели записываешь всякую всячину, что приходит на ум, бывает, что такое напишешь, – с ума можно сойти» («Записки от скуки»).

С утра же в седьмой раз началась зима до того натуральная, что вся ее белизна казалась галлюцинацией, каким-то навязчивым бредом на тему неизбывной зимы, подмывающей хохотнуть в кулачок, как это делают сумасшедшие, догадываясь о бесконечной подстроенности вещей. Какая быстрая жизнь – и быстрая, и длинная. Но я теперь буду ждать от тебя телеграмму.

26 апреля.

Что творится с погодой?! Ведь май на носу (послал тебе сегодня поздравительную открытку). Боюсь, как бы не повторился се-

зон 62-го года, когда здесь, говорят, все лето не вылезали из ватников. Странно: лето 62-го года.

Вокруг шумно и гамно. Спорят: сколько нужно кормить свинью, чтобы она весила 100 килограмм? Кажется, выяснили: кормить ее нужно восемь месяцев.

– Если шуметь будем – так вместе! (Три встречи.)

– Закрой кашеглотатель!

– Считать за подлянку.

– Мадипалам. (В собирательном значении – тряпки.)

– И гром уже прогремел над голым лесом. (В ознаменование засухи.)

– Нос становится фиолетовый, и грузин от кровообращения гребет уже под столом ногами. (Действие лекарственной травки.)

– Фуцан дико воспитанный: ни украсть, ни покараулить.

Получил еще сегодня твое 33-е письмо, от 30 марта. И Егорыч – лапочка. Как он хорошо нарисовал в 34-м письме рыбок и небо – синим иероглифом. Так и надо писать. Каждой вещи надо найти свой иероглиф. Но я не знаю, что такое Пирке, с которым у него все в порядке. И все же приятно знать, что с Пирке все в порядке. Надежнее как-то.

Еще мне, забыл рассказать, подарили на Пасху книгу – с комментарием: раз вы не празднуете день рождения, то вот получайте. «У истоков русской беллетристики» – на древнерусскую тему. Пригодится.

И книг – своих и чужих – образовался завал. Нужно читать и читать. И нет времени.

Хожу все еще ошарашенный после трех дней. Много работы на заводе, кручусь как заводной и живу механически, словно бы не проснувшись. И все вспоминаю, как ты спала, а я на тебя любовался. И мне так отрадно думать, что ты спокойно спала.

27 апреля.

Носочки, что ты привезла, тоже красивые. Жалко носить. Мне иногда бывает жалко носить теперь красивые вещи. Или помнишь, я причитал по душистому мылу. Теперь же напротив – только простым и грубым. Душистым как-то не хочется. Душистое оставим до праздника.

Новый шарф тоже не вздумай привозить. Хотя, в принципе,

хочется иметь добрый шарф. Отложим, потерпим. Помимо прочего, без тебя – неинтересно. Без тебя должен быть пост.

Ловлю себя на том, что в разговоре вставляю невольно, к случаю или так, твое имя или какое-то слово, недавно грузили ящики, а один расползся – бедняжка. Напарник засмеялся, не поняв. А у тебя такое бывает? Как будто все время внутренне обращен к тебе.

Рассказы про лошадь, про собаку, которая такая большая, что даже не ворчит. Продолжение лошади:

– Повалясь на спине, лошадь дрыгала всеми конечностями, похожими на ножки кузнечика.

А пудель оказался из породы больших, хотя по описанию не велик. Но имя дается по буквам алфавита для чистоты династии. Такой-то год идут щенки на «В», второй год – на «Г». Так что сделаться ему Трезором – проблема. Впрочем, все это еще подлежит уточнению. А знаешь ли ты, что из пуделиной шерсти вяжут кофты – очень тепло и полезно? Так что можно будет излечивать твой ревматизм. (Пора бы его и сейчас уже излечивать – тибетскими травками. И не забывайте о пиве – Егору!)

А в тех же «Записках от скуки» очень хорошо говорится о погоде, о смене времен года. Например:

«Однажды утром, когда шел изумительный снег, мне нужно было сообщить кое-что одному человеку, и я отправил ему письмо, в котором, однако, ничего не написал о снегопаде.

«Можно ль понять, – написал он мне в ответ, – чего хочет человек, который до такой степени лишен вкуса, что ни словом не обмолвился, как ему понравился этот снег? Сердце ваше еще и еще раз достойно сожаления». Это было очень забавно.

Ныне того человека уже нет, поэтому я не могу забыть даже такого незначительного случая» (XXXI).

28 апреля.

А сегодня утром мы проснулись, и за одну ночь, после дождика, всюду повыросла травка ярко-изумрудного цвета. Вся сразу. Как снег.

Какие бывают сны.

– Приснилось: двое хотят зарезать. С одной стороны и с другой. Никуда не скроешься. И я – улетел!

Второму приснился пожар в бараке. Дверь в пламени, и он выскочил в окно. Утром проснулся – лицо в крови. Видать, поцарапался, когда прыгал в окошко. А мне приснилась телеграмма от тебя, подписанная: «твоя любящая жена». Немножко с другой подписью сегодня к вечеру пришла-таки телеграмма. Прекрасная.

И как хорошо успели. Как раз сегодня повесили объявление: – до 10 мая необходимо известить родственников, что свидания будут предоставлять лишь при наличии справки о нормальной эпидемиологической обстановке в той местности, откуда они прибыли.

Извещаю.

И сегодня же я слышал впервые, как куковала кукушка. Трудно поверить, что послезавтра уже зайвится голубоглазый май. Я не устал еще радоваться апрелю.

Благословен апрель, снявший тяготы марта. Благословен месяц апрель, подаривший тебя.

29 апреля.

Я что-то не припомню в своей жизни, чтобы 1-го мая шел снег. И вот идет, и не то что идет, а валом валил с утра, что-то вроде вьюги, и в полчаса едва не покрыл всю землю. Хочется забраться с ногами под мой большущий ватник и не показываться.

Никак не налажу после свидания обычную жизнь трудолюбивого муравья. Всё бы мне письма тебе писать, припоминая всякие мелочи твоего существования. Если даже в обычное время так бывает, что день кажется попусту прожитым, если не писал тебе письма, то нынче совсем одолела эта потребность не расставаться с тобой, хотя бы речь шла о посторонних вещах.

К обеду потеплело ровно настолько, чтобы снег сошел, грозясь снова нападать в любую минуту, но сделалось видно в выставленное окно, как напряженно-отзывчиво простерлись ветки, еще совершенно голенькие, гибкие, ивовые, готовые приняться, раскрыться, забравшие в свои прутья целые клубы и кипы какого-то выпуклого, в белых подпалинах, в синих потеках, неба, обращенного в запасник летнего вольного воздуха.

Птички верещат, как в Зоологическом саду.

В царстве природы человек служит каноном, на который избразительно резонирует весь животный мир и строит рожи, пи-

шет карикатуры на своего царя и хозяина, впрок заготовленные, начиная с лягушки, безусловно на нас похожей, созданной в подначку нам, живущим сплошь в окружении таких юморесок, с увеличенными ушами, носами, хвостами, как в обществе фамильных портретов, которые, однако, не предки, но скорее фантазии будущей физиономии, получившие выход в басне, в сказке о животных, уловившей эту комическую ветвистость жизни, принятую в науке за теорию эволюции, но сохраненную искусством в более истинном виде – эскизов к тому проекту, который был задуман в лягушке и предъявлен затем образцом, человеком, в паноптикуме природы, где какая-нибудь корова с козой смеются нам дружеским шаржем, что так ясно и непосредственно чувствуют малые дети, избирающие птиц и зверей в товарищи уже потому, что те смешные, а значит, нам сродни и под парю. Если бы животные не были нашей пародией, возникшей, может быть, раньше оригинала, но в вящее его восхваление и узнавание, не было бы такого контакта между ними и детьми, с пеленок принимающими это соседство за приглашение к игре и веселому выяснению, кто на кого похожий. Может быть, в принципе существует всего лишь одно лицо, принятое в человеке за норму, которое себя узнает, перемигиваясь и передразниваясь в бесчисленных зеркалах животного царства. Человек в зверинце как тема с вариациями.

1 мая 1971.

В Кэнко-Хоси, чтобы уж с ним покончить, подкупает способность видеть вещи сквозь устойчивую живописную традицию, дающая почувствовать словом, что такое средневековый японский импрессионизм, может быть, даже более внятно, чем изобразительное искусство Японии, где любая фигура, вынутая из жизни, воспринимается быстро написанным, растекающимся иероглифом, какие автор не раз видел на старинных картинах и теперь безошибочно распознает и созерцает в действительности как вторичное отражение уже многих застывших изображений, лишь освеженных фактом живого существования. Его записки от скуки изумляют искусством переносить на бумагу куски из жизни так, как если бы они специально были к тому предназначены и заранее изготавливались в быту как знаки японской живописи-

письменности, закрепленные в сознании многократным воспроизведением самых прихотливых извивов, сопровождаемых всегда дополнительным, эстетическим прикасанием, длинным взглядом покоящихся на предмете разгоряченных очей созерцателя. Это какой-то японский Ван-Гог, только более успокоенный.

«Что ни говори, а пьяница – человек интересный и безгрешный. Когда в комнате, где он спит утром, утомленный попойкой, появляется хозяин, он теряется и с заспанным лицом, с жидким узлом волос на макушке, не успев ничего надеть на себя, бросается наутек, схватив одежду в охапку и волоча ее за собой. Сзади его фигура с задранным подолом, его тощие волосатые ноги забавны и удивительно вяжутся со всей обстановкой» («Записки от скуки», CLXXV).

Кажется, этого пьяницу вы видели множество раз на старинных японских гравюрах – в том же самом, притом неповторимо схваченном, ракурсе, уводящем в перспективу прошлых веков. Здесь постигаешь, что истинная живопись есть бесконечно продолженный, длящийся в вечности жест, приглашающий к неизбывной задумчивости, к бесконечному обтеканию взглядом всех завитков рисунка, к созерцательной, я бы сказал, циркуляции...

1 мая.

Что мне еще хочется, так это в домашней обстановке наряжать тебя во всякие украшения, кокошники, сарафаны и даже носки-пижемки* – притом не для гостей, но для личного потребления, чтобы не торопясь проникаться, живя часами бок о бок, погружаясь в медлительность линий, затейливость завитков, подобно тому колечку в траве или онежскому утру, только неизмеримо растянутому, продолженному назавтра, с толком и с расстановкой, потому что, имея в доме столько возможностей для индивидуального маскарада, как им не посвятить вечера, не позаботиться обо всех сочетаниях натюрморта и интерьера, дающего столько Австралий и Бразилий даже в обычном аспекте, а что получится, если сюда же привлечь кокошники с подвесками, носки-пижемки? – это же будет удивительно красиво и интересно. Ведь это получится прикладное искусство... Как елку!

1 мая.

Алкуин «Словопрение высокороднейшего юноши Пипина с Альбином схоластиком» (Пипин – сын Карла Великого, будущий вице-король Италии. Альбин – автор – он же Алкуин – наставник и писатель, англосаксонец, центральная фигура Каролингского возрождения – VIII в.):

«83. Пипин. Что такое вера? – Алкуин. Уверенность в том, чего не понимаешь и что считаешь чудесным.

84. Пипин. Что такое чудесное? – Алкуин. Я видел, например, человека на ногах, прогуливающегося мертвеца, который никогда не существовал. – Пипин. Как это возможно, объясни мне! – Алкуин. Это отражение в воде. – Пипин. Почему же я сам не понял того, что столько раз видел? – Алкуин. Так как ты добронравен и одарен природным умом, то я тебе предложу несколько примеров чудесного: постарайся их сам разгадать. – Пипин. Хорошо; но если я скажу не так, как следует, поправь меня. – Алкуин. Изволь!

85. Один незнакомец говорил со мною без языка и голоса; его никогда не было и не будет, я его никогда не слышал и не знал. – Пипин. Быть может, учитель, это был тяжелый сон? – Алкуин. Именно так, сын мой.

86. Послушай еще: я видел, как мертвое родило живое и дыхание живого истребило мертвое. – Пипин. От трения дерева рождается огонь, пожирающий дерево. – Алкуин. Так.

87. Я слышал мертвых, много болтающих. – Пипин. Это бывает, когда они высоко подвешены. – Алкуин. Так...

89. Я видел мертвого, который сидит на живом, и от смеха мертвого умер живой. – Пипин. Это знают наши повара [ответ: котел с похлебкой, перекипевший через край и заливший огонь]. – Алкуин. Да; но положи палец на уста, чтобы дети не услышали, что это такое...

92. Кто есть и не есть, имеет имя и отвечает на голос? – Пипин. Спроси лесные заросли [ответ: эхо]...

96. Алкуин. У кого можно отнять голову, и он только поднимется выше? – Пипин. Иди к постели, там найдешь его [ответ в примечаниях: не известно, но ведь это же подушка. – А.С.].

97. Алкуин. Было трое: первый ни разу не рождался и единожды умер, второй единожды родился и ни разу не умер, третий единожды родился и дважды умер. – Пипин. Первый созвучен земле, второй – Богу моему, третий – нищему... [Ответ: Адам, Илия и Лазарь.]

98. *Алкуин*. Видел я, как женщина летела с железным носом, деревянным телом и пернатым хвостом, неся за собою смерть. – *Пипин*. Это спутница воина [ответ: стрела]» и т.д. («Памятники средневековой латинской литературы IV–IX вв.». М., 1970, стр. 267–268).

Удивительный кусок! Происхождение загадок, во-первых, прямо связано с культом чудесного. Загадка выступает как производное чуда и более того – как проявление чудесного в жизни. Таким образом, богословские рассуждения о вере (восходящие к ап. Павлу) непосредственно перерастают в загадывание загадок. Но, строго говоря, с другой стороны, сами загадки, почерпнутые из повседневного опыта, не могут служить примером чуда в полном и точном смысле. Иначе Алкуину пришлось бы сделать совсем уже дикий, ни с чем несообразный вывод, что вера в Бога и Его чудеса есть также простая уверенность в существовании эха, огня, котелка с похлебкой, колоколов и вообще всего, что существует в окружающей жизни и может быть занимательно преподавано в виде загадок.

И все же скрытая связь между чудом и загадкой, логически не подтвержденная, но наивно декларированная, здесь присутствует и дает себя знать в самой атмосфере беседы, что позволяет и нам генетически, объясняя ее появление, вывести загадку из чуда таким же примерно путем, как вышел из чуда фокус, цирковой трюк, восполнивший недостачу в магии обманом и ловкостью пальцев. Загадка восполняет чудесное ловкостью языка, игрою мысли. Слово, вызывавшее некогда и заклинавшее пламя, пошло здесь обходным маневром иносказательного описания пламени, когда, вместо буквального возгорания хвороста сосредоточенным направлением слова в результате ментальных усилий ощущается щелчок в голове и вспыхивает пламя отгадки. Но дальнейшее сходство с чудом поддержано не только функцией слова, и там и тут изумляющего нежданно пережитым открытием; чудесен в некоторой степени и сам предмет разговора – мир, представленный здесь в виде интересных загадок.

Обращает внимание факт, что большая часть загадок Алкуина строится на перевороте понятий живого и мертвого, убиваемого-воскрешаемого, существующего и несуществующего вместе, на явлениях, хотя и известных всем, но таинственных по происхожде-

нию, не вполне понятных, чудесных в своем зародыше (эхо, отражение в воде, сон, огонь), намекающих на загадочность мира, равно как и на его очарованность. Эти ходячие мертвецы, невидимки, умирающие и воскресающие боги, живущие в горшке, заполняют сказки и мифы, на которые все еще мысленно ориентируется загадка в такую блаженную пору, как восьмое столетие. Поэтому подушка, вспухающая к потолку по мере того, как с нее снимают голову, без стеснения соседствует с Илией, живым вознесенным на небо. Собеседники еще помнят о валькирии и сравнивают с нею стрелу. Мир еще достаточно метаморфичен, чтобы переворачиваться с боку на бок, обращая одно в другое и давая слову толчок к производству иносказаний-загадок. Мы присутствуем как бы на действе рождения искусства, когда фольклорная почва еще горяча и дымится, и вспухает ростками метафор, когда самая жизнь языка, памятуя о чуде своего происхождения, еще кажет фокусы, которыми, как и загадками, как всевозможным плутовством и обманом, выдумкой и хитроумием, полнится и пенится сказка. Здесь мы понимаем, что все мировое искусство движимо скрытой в нас, неутолимой жадной чудесного. Здесь становится ясно, что поэт, даже в новом значении этого слова, это неудавшийся колдун-чудотворец, заменивший метаморфозу метафорой, дело – игрою слов.

2 мая.

Нынче, на удивление быстро, прилетели, Маша, две твои открытки – от 27 и 28 апреля – а ведь это же было совсем рукой подать, чуть ли не позавчера, – с мельницей и Мусатовым на картинках. И я радостно спешу подтвердить, что мельница в Феррапонтове в самом деле была лучше и ее хорошо помню. Особенно если глядеть на нее снизу вверх.

Но про легкие* я узнал много позже Егора и долго не мог понять, какие и зачем еще нужны легкие, повисшие пустым прилагательным без существительного, каким-то недоговоренным и бесполезным эпитетом.

Раз ты два моих письма получила, судя по телеграмме, сколько тебе еще ждать – бедная моя девочка! Разве что первомайская открытка разрядит эту паузу.

– На улице мороз 42-го года (хотя речь идет хоть о 72-м – иероглиф).

- Инстинкт свое играет.
- С ног до костей.
- А «Граф Монтекристо» совсем не Дюмой написан!
- Что-то мне не нравится этот Шульберт. Як бы спивал. А то – як пилорама.

Еще важна в речи конкретность факта, деталей, совершенно не обязательных, даже мешающих ходу рассказа: – Ну, купил я (а дело было, скажем, лет пять назад) конфет (пауза), сыру (пауза), сигареты «Новость». На 6 рублей (длинная пауза). Нет, на 5,80. – Или меня поразила как-то памятьливость рассказчика: – В 38-м году захожу я в магазин, беру пол-литру – нет, взял я две четвертинки, помню...

И в песенной интонации: – А их маленький-маленький Вовочка-сын с веткой в ручке с котенком играет. – Этому Вовочке я обрадовался как родному. Уж очень точно.

– Ну, мне хаванину принесли. Покушать то есть.

А недавно я вдруг догадался, что в гумилевском стихотворении «Заблудившийся трамвай» в мелькании кадров из 18-го века подразумевается «Капитанская дочка» («Я же с напудренною козой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой»), и таким образом Машенька восходит не только к Анне Ахматовой, но и к пушкинской Машеньке, чему, может быть, способствовало созвучие фамилий Гринева и Гумилева. Очень меня обрадовало это маленькое открытие, совершенно случайно возникшее. Жаль, нет Анны Андреевны, чтобы его подтвердить.

Но я давно уже не знаю, откуда появилось название «Капитанская дочка» у самого Пушкина. Возможно, в отталкивании от «Пиковой дамы» (столица – провинция). Возможно – от какой-нибудь «Ламермурской (или как ее?) невесты» Вальтер-Скотта.

– Полтора класса окончил пополам с братом.

Надо бы почитать Вальтер-Скотта, чтобы что-нибудь понять.

4 мая.

Машенька! Получил я сегодня письмо № 43 почти с той же быстротою и недоумением, куда опять провалился десяток предыдущих твоих писем. Про пожар и мастерские* мытарства. Очень жалко тебя. Ужасно, когда вот такие глупые и совершенно непредвиденные мелочи выбивают из жизни и всё портят.

У нас прохладно и пасмурно. Правда, травка, непонятно какими силами, растет, но листики не показываются. А в прошлом году об эту пору все уже было зеленым. Ну и пусть!

Получил тоже письмо от Мишки* – к удивлению, уже из Смоленска. Перелетная птица. Лесков.

Все еще не вполне вошел в рабочую колею после свидания, размягчающего и чересчур уж настраивающего на мечтательный лад. Может быть, еще оттого, что теперь не скоро тебя увижу, тянет не расставаться с милым образом, и реминисценции на сей раз несколько затянулись. Тебе, наверное, будет удивительно прочесть об этом в конце мая. А мне удивительно, что вообще май на дворе.

Ко всему виденному-перевиденному, сказанному-пересказанному, надо нам, Машенька, пожить друг для друга. Не расставаться, не спешить, не прилагать чрезмерных усилий, не болеть, не надрываться – а просто пожить друг для друга патриархальным образом. За все неиспользованные отпуска.

А из ближайших задач – хорошо бы тебе все же несколько отдышаться этим летом и накопить силешки на последнюю зиму. Было бы обидно сорваться со здоровьем на последнем-то перегоне.

Целую тебя нежно, очень мне понравившаяся жена.

Прилагаю письмецо Егорычу на отдельном листочке.

А.

5 мая 1971.



...тебя не заметили... – Поезд, которым я уезжала со свидания, проходил очень близко от зоны.

...вдруг открыл Ренессанс... – Не только Ренессанс, но и Реализм! См. письмо 127.

...про барона Мюнхаузена... – Письмо Егора:

ДЕРЮГОМ МОИ ПА ПА У

У МЕНЯ ЕСТЬ КНИГА

БАРОНА ПРИКЛЮЧЕНЕ

МЮНХАУЗИНА. ЕЩЕ
 ТЫ НАПИШИ КАК ЖИВЕШЬ.
 НО БАРОН МЮНХАУЗИН ЗАЕ
 ЛА Л НЕ МАЛО ИНТЕРЕС-
 НОВО. НО И А ЭТОМ
 ПАЙДЕТ НАШ РАЗГОВОР.
 ОН ~~ВДЕЛАА ВОТ ЧТО~~
 САЧЕНИ Л ВОТ ЧТО,
 КАК ОН ЛИТА Л НА
 ЛУНУ. КАК У АЛЕНЖИ
 МЕЖДУ РОГОВ В ВЫРО-
 СЛО БАЛЬШОЕ ВЕШНЕ-
 ВОЕ ДЕРЕВО. И КАКО
 Н ЛЕТА Л НА ЕДРЕ.

ЦЕЛЮ ТЕБЯ КРЕВКО
 КРЕВКО.

ЕГОР.

ЦВ-
 ЕТОК!

ЦВЕТОК!

12 ~~АПРЕЛ~~ АПРЕЛ 1971

...даже носки-пижемки... – Длинные, толстые, очень теплые, с густым желто-красным геометрическим орнаментом носки, которые мы с А.С. привезли с верховьев реки Пижмы, левого притока Печоры.

...про легкие... – «А Егор меня встретил сегодня радостным текстом: – Мамочка! Моя дорогая мамочка! Как хорошо, что ты приехала! А я знаю новое про медицину: оказывается, у человека легкие за ребрышками! Вот!

Но я посоветовала поделиться этим открытием с доктором Любошицем».

Про пожар и мастерские... – Из моего письма: «В Москве я попала сразу в скандал и передрагу. Оказывается, в воскресенье, под вечер, когда я с тобой прощалась и тихо ехала в теплушке, наш сосед по мастерской Юра забыл на газу кастрюльку с кислотой. И она испарилась, и все заволочло дымом, и они с Инессой выбежали на улицу, открыв окна, чтобы проветрилось, и решили погулять полчаса, пока все вытянет, а соседи с верхних этажей, увидав клубы пара из наших окон, вызвали пожарников, и пожарники взломали двери (а газ был уже выключен, и все было почти что в порядке), и в мастерской никого не было и пожара тоже не было. И тогда пожарники украли у Инессы из сумки 120 р. и несколько вещей, а у меня кольцо для «Мосфильма», для того самого кино, что я тебе рассказывала.

И теперь срочно надо делать его наново, и уже сегодня в комбинате я слегка привирала, что мол-де мой шалун-ребеночек взял кольцо поиграть и куда-то задевал и что в следующий вторник я всё-всё принесу.

Но пропавшее кольцо было бы еще не бедой, но пожарники, узнавши, что их обвиняют в воровстве (а Инесса сдуру написала заявление в милицию), жутко озверели и сказали, что закроют вообще наш подвал как огнеопасный.

И вот теперь мы все в интригах, и беготне, и в нервах, потому что надо работать, а работать пожарники не дают, и что делать, неясно. И нам от этого плохо. А так как плохо всем (а нас в подвале все-таки постоянных 5 человек), то представляешь, какая подавленность духа царит в мастерской».

...письмо от Мишки... – Конухова.

ПИСЬМО СТО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Всё так же и даже прохладно. Но яркости вдруг прибавилось в два раза. Краплак. И это оттого – какой сегодня день?* То-то. Пускай холодное, но лето с сегодняшнего дня началось.

Может быть, устойчивость праздника, его внеисторическое, длящееся до конца дней содержание закреплены еще принадлежностью к временам года, твердому, вечному кругообороту погоды, который, повторяясь, восстанавливает событие в первоначальной свежести и не дает ему остыть и уйти со сцены. И каждый раз св. Георгий пронзает змея. И каждый раз св. Георгий пронзает змея.

Нынче притомился. Почти весь день погрузка. Но как все-таки летом всё легче. На солнышке, на воздухе – словно на пароходе плывем. Облака несутся к обеду. Роща кружится. Океан света в подарок: живи и царствуй.

Какие бывают письма.

«Хочешь быть откровенным? Я хочу. Дело в том, что ты завоевал расположение меня к тебе».

Бабыя стилистика: не знаешь – смеяться или плакать. Смесь трогательности и наготы ужасающей, тупиковой. По радио сейчас передают арию Татьяны, и я дивлюсь, до чего похоже.

«Даю тебе твердое слово, что писать тебе буду. Но обещать тебе что-то определенное не буду, так как я не монашка. Но писать тебе буду все подробно о себе. Да к тому же правду. Хорошо? А там все будет по ходу действий».

Буду-буду – не буду-буду. Пословицы на все случаи жизни. Сплошные шаблоны. Скачок за спиной: гоп-стоп. И лишь переворачивающая сердца – интонация: «Не знаю почему, но я сразу тебе поверила». Манон Леско.

6 мая.

И верно: поворот состоялся, и мы вдруг окунулись и вынырнули посреди лета. Все-таки май самый яркий месяц из всех. То ли оттого, что листва еще не застит неба и нет этой летней черноты, червивости и зачумленности в природе, то ли свет еще не закалился вполне, не зачерствел и сохраняет первоначальную прозрачность, оставаясь в чистом виде белым светом, как будто даже холодным, скользящим и лишь кончиками лучей обжигающим и ударяющим, как электрический скат, – от светового избытка испытываешь сотрясение. И не у одного меня. Спрашивал, и другие подтверждают состояние какой-то опоенности светом. Даже как-то теряешься и захлестываешься в этой щедрости; не верится, что столько разом дадено нам, наподобие молочных рек и кисельных берегов; и солнышко не то что греет, а пришпоривает и припечатывает со всех боков и, как душ Шарко, сует иголки под кожу.

Стараюсь высунуть на свет больной локоть – пусть исправится. Прижигания целительные и, я бы сказал, питательные. Что-то от растительных соков, хлорофилловых зерен начинает распространяться по телу. Кажется, на одном этом солнышке-воздухе проживешь и продержишься.

Одна незадача – ничего не поспеваю. Дни короткие и яркие, как вспышки выстрелов. К ночи спохватываешься: уже?!

А в «Д.И.» (№ 4) фаюмская статья* о Чекрыгине. Помнится, Циолковского с Федоровым я им и объяснил. И кроме одной опечатки («Д.И.», кстати, допускает иногда ужасающие, вульгарнейшие опечатки!), все правильно, хорошо и даже лучше обычного. Но все равно обидно: есть темы и авторы, требующие соответствия в силе взрыва, раскрытости удару боли и света; о Чекрыгине нужно писать – ну, например, в силе статей Блока; о Модильяни нельзя виленкински*; необходима конгениальность хотя бы в иносказательном смысле – в остроте интереса, в направленности судьбы. Как в художественном переводе, поскольку критика тот же перевод и бывает, интеллигентная правильность изложения (только правильность!) раздражает.

Впрочем, допускаю, во мне говорит зависть и жадность. Не к тексту, конечно, а к теме и к случаю: ведь – Чекрыгин!

– До сих пор не могу вложить себе в рамки, как все это произошло.

– Каждому понятно – как 12 часов ночи.

- Все, как говорится, под одной землей ходим.
- Отчего вы иногда приятнее, а иногда менее приятно? (Разговор с дамою.)
- Миндальён.
- Минокль (вм. монокль).
- Она до того входит в эстакт...
- Радикационные установки такие. Посылают волну. А оттуда возвращается уже сфотографированная. У них уже все объекты налицо.

– Сыр Рокфеллер.

Кстати, я не совсем уловил смысл рисунка Егора. Циферблат на самолете? Но меня больше растрогали цифры на обратной страничке: леопард, котенок... Может, они относятся к самолётному циферблату? Тогда прекрасно. Но боюсь, тут влияние радикационных волн, которые возвращаются уже сфотографированные.

– Какие события разворачиваются? А вот какие...

8 мая.

Весна хороша тем еще, что производит впечатление первого подмалевка. На белый (или черный – уже потаявший) лист наносится самый общий контур и тонкий слой краски, которым еще суждено породить неизвестно какую живопись, которые оставляют вопрос о будущем открытым и допускают массу гипотез, фантазий и толкований. В этой массе восприятие зрителя предусматривается активным, приведенное в состояние бодрствования эскизностью весны и в ожидании еще больших свершений забегающее вперед, полня воздух восторженными предчувствиями и томлениями. Весенняя дымка далее заставляет скорее угадывать, нежели наблюдать видимые перемены в природе, зовя нас к сотрудничеству, чем, в сущности, самоценен любой достойный эскиз, дарящий подчас нам больше расцветшей из эскизов картины. Чекрыгинские эскизы по самому характеру темы Воскресения, превосходящей любые фантазии, – обязаны были остаться на уровне эскизов, дающем нам более полное понятие об этом предмете, чем всякое законченное его воспроизведение. Но в то же время сознание фрески и жадное влечение к ней должны были присутствовать в авторе, подобно тому как лето присутствует

в весне, ведя ее за ручку, хотя та содержит более интересную и обещающую программу, чем все, что способно исполнить фреска-лето. Фреска почти что иллюзия достигнутого бессмертия, в направлении которой пишутся листы, наиболее ярко, доступно и вместе с тем удаленно от нас демонстрирующие движение к теме, которая и может быть воплощена лишь в отдаленном к ней приближении, в тоске, стремлении и невозможности к ней вплотную приблизиться. Может быть, Чекрыгин погиб совсем не безвременно, попав под трамвай, но для того, чтобы так и застыть навсегда на границе эскиза, ничем ее не нарушив, доказав собою, что эта оборвавшаяся эскизность и была самым истинным, близким среди всех возможных лимитов постижением темы.

10 мая 1971.

«Некий отшельник – уже не помню, как его звали, – сказал однажды:

– Того, кто ничем с эти миром не связан, трогает одна только смена времен года.

И действительно, с этим можно согласиться» (Кэнко-Хоси. «Записки от скуки»).

Наверное, это происходит потому, что смена времен года развертывается иносказанием к человеческой судьбе, достаточно от нас удаленным, чтобы невольное сходство каждый раз потрясало как художественный параллелизм. Мы стоим неподвижно, наблюдая, как вертится колесом погода, в этой изменчивости ведущая себя как живое существо, успевающее многократно отжить, умереть и воскреснуть, пока мы готовимся это сделать. Ее верность временным переменам и закрепленность в пространстве лишь усиливают интригу, стимулируют чувство сценического единства и действия, которым наслаждаешься, как старым спектаклем в новом всякий раз исполнении. Сплошные дебюты, и сцены детства, юности, старости, грусти, любви предлагается разыграть облакам и деревьям, вместо нас выходящим в герои пьесы.

Человечество в эти часы всецело обращается в зрителя.

Чекрыгин понял, что живопись – это черновик воскресения, и оставил нам черновик.

Его запросам ближе всего, пожалуй, Микеланджело.

(Музыка, Романтизм, Голубой и фиолетовый цвет. Голубой цветок. И очи синие бездонные. Энсор*. Картонный лик, отодвигаемый за подбородок. Рука в перчатке. И в спину мне глаза твои блестящие. Роскошь мебелировки. Тепло бока. Жалкость и жалость пола.

Скрипка, Весна, Лужицы, Сны, во сне летает. Волшебный фанарь. Палку – сколько. Вуаль. «А под маской было звездно» – финское – чухонка. Ребенок. Кондоры, лица заметно светлеют.

Разрисованный человек представляет со стороны свою живопись и думает, как хорошо он подготовлен к встрече.)

А цитата из Тютчева, которую я так искал два года назад, нашлась (из стих.: «Она сидела на полу и груду писем разбирала») и звучит так:

...Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.

«На ими» – не очень ладно.

11 мая.

На сегодняшний день я не имею от тебя, Машечка, 15 писем. Как видишь, цифра имеет тенденцию возрастать, и из этой сотни я не получил от тебя №№ 14, 19–23, 25, 26, 30, 35–38, 40, 42. Так что, как это ни тяжело, придется тебе перейти на заказные письма с уведомлением и квитанцию хранить, с тем чтобы в случае продолжения этой затеи предъявить их в официальном порядке Министерству Связи или какой-нибудь еще вышестоящей организации.

Получил же я от тебя №№ 41, 43, 44 и 45. Два последних пришли сегодня вместе с двумя открытками и очень меня обрадовали. Правда, было смешно, что открыточка с близнецами*, рассуждающими о том свете, ехала целый месяц. Вопрос в самом деле сложный: оттуда еще никто не возвращался. Очень миленькое рассуждение. Письмецо Егорыча про бетономешалку тоже великолепно. Видать, завлекли его «смеси». Бедняжка не подозревает, что бетономешалка – одно из самых адских созданий. Впрочем, для него, по-видимому, это что-то вроде машины для приготовления коктейлей. С ней примиряет также то, что она «мишалка». А все ж заметно, как шагнуло вперед машинное производст-

во в детском восприятии. У меня в те же годы предметом восторга был разве что паровоз. Но ведь паровоз почти что животное, почти что носорог, бегемот. Да и не только у меня – никому из детей нашего поколения не могла прийти в голову бетономешалка. В крайнем случае – машина вообще – на все случаи жизни. Все это заставляет относиться к Егорычевым страстям не только с юмором, но и с легкой опаской. Все эти схемы управления, извлечения корней озадачивают истораживают. Ох, пора ему приобщаться к чему-нибудь жизнерадостному, вроде индейцев. В этом смысле меня обнадеживает «леопард», появившийся в его лексиконе. Милое слово, прекрасная тайна – леопард.

Машечка, проверни его летом немножко больше в сторону леопардов!

- Поручись за него в трех экземплярах.
- Бальзак...
- Сам ты Бальзак!
- Струня (старуха).
- Штрик (старик).
- Рыба порционная.
- Огадельный бандит.
- Пока меня не благоустроят на работу.
- В алкогольном состоянии.
- Я получил сумму в разрезе 120 рублей.
- У немца была задача капитулировать Россию.
- Жизнь – это трогательная комбинация.

Что до твоих хлопот и интересов, то они мне гораздо понятнее. Хотя я не улавливаю, как вы станете работать в мастерской, если от нее отключить газ и упразднить электроплитки*.

Но каждое твое словцо для меня живо и занимательно. И мне вообще с тобой интересно жить. А то, что я тебе не приказывал разбиваться, чтоб непременно приехать летом, – так это, Маша, оттого, что, помимо любви, я тебя еще очень жалею. И я не могу сказать: разбейся, а сделай! Потому как – а вдруг ты разобьешься?! – и это не годится.

13 мая.

Машенька-таракашенька, крошечка-хаврошечка, а я опять влюбился – на сей раз в Ирландские саги (прошу не путать с Исланди-

ей). Просто глаз оторвать не могу, и вот тебе тоже кусочек на погляденье. Из поединка Кухулина (ихнего главного героя) и Фердиада, которые почти равны в силе и бьются уже несколько дней, выбирая разные роды оружия (сага «Угон быка из Куалнге»):

«Тогда произошло с Кухулином чудесное искажение его: весь он напыжился и расширился, как раздутый пузырь; он стал подобен страшному, грозному, многоцветному луку, и рост храброго бойца стал велик, как у фоморов, далеко превосходя рост Фердиада¹.

Так тесно сошлись бойцы в схватке, что вверху были их головы, внизу ноги, в середине же, за бортами и над шишками щитов, руки. Так тесно сошлись они в схватке, что щиты их лопнули и треснули от бортов к середине. Так тесно сошлись они в схватке, что копья их согнулись, искривились и выщербились. Так тесно сошлись они в схватке, что демоны козловидные и бледноликие, духи долин и воздуха испустили крик с бортов их щитов, с рукоятей их мечей, с наконечников их копий. Так тесно сошлись они в схватке, что вытеснили поток из его русла, из его пространства, и в его русле образовалось достаточно свободного места, чтобы лечь там королю с королевой, и не осталось ни одной капли воды, не считая тех, что два бойца-героя, давя и топча, выжали из почвы. Так тесно сошлись они в схватке, что ирландские кони в страхе запрыгали и сорвались с места, обезумев, порвали привязи и путы, цепи и веревки и понеслись на юго-запад, топча женщин и детей, недужных и слабоумных в лагере мужей Ирландии.

Бойцы теперь заиграли лезвиями своих мечей. И было мгновение, когда Фердиад поразил Кухулина, нанеся ему своим мечом с рукоятью из рыбьего зуба удар, ранивший его, проникший в грудь его, и кровь Кухулина брызнула на пояс его, и брод густо окрасился кровью из тела героя.

Не стерпел Кухулин этих мощных и гибельных ударов Фердиада, прямых и косых. Он велел Лойчу, сыну Риангабара [своему вознице. – А.С.], подать ему рогатое копьё. Вот как было оно устроено: оно погружалось в воду и металось двумя пальцами ноги; единое, оно внедрялось в тело тридцатью острями, и нельзя было вынуть его иначе, как обрезав тело кругом.

¹ Вообще-то он маленький и чернявый. Но у него в глазах семь зрачков – четыре в одном глазу и три в другом, и по семи пальцев на каждой руке и на каждой ноге.

Заслышал Фердиад речь о рогатом копые, и, чтобы защитить низ тела своего, он опустил щит. Тогда Кухулин метнул ладонью дротик в часть тела Фердиада, выступавшую над бортом щита, повыше ошейного края рогового панциря. Чтобы защитить верх своего тела, Фердиад приподнял щит. Но нехстати была эта защита. Ибо Лойч уже приготовил рогатое копые под водою, и Кухулин, захватив его двумя пальцами ноги, метнул далеким ударом в Фердиада. Пробыло копые крепкие, глубокие штаны из литого железа, раздробило натрое добрый камень величиной с мельничный жернов! [его он привесил себе для обороны. – А.С.] и сквозь одежду вонзилось в тело, наполнив своими остриями каждый мускул, каждый сустав тела Фердиада.

– Хватит с меня! – воскликнул Фердиад. – Теперь я поражен тобою насмерть. Но только вот что: мощный удар ты мне нанес пальцами ноги и не можешь сказать, что я пал от руки твоей» (Ирландские саги. Перевод А.А.Смирнова. М.; Л., 1961, стр. 93–94).

Прежде всего поражает теснота изобразительного ряда, переданная теснотою схватки – головною массой, настолько плотной, что ноги, торчащие снизу, и головы сверху возбуждают удивление, а демоны-духи, витающие обычно вокруг и впереди героя, вытеснены его физической массой, и все это требует специальной раскройки и оговорки. Теснота здесь такая, что просится на пряник, на бляху, вызывая в памяти живую плетенку искусства викингов, попавшую потом в русские буквицы. Но при этакой тесноте удивительна разветвленность рисунка, опрокидывающая понятие об эпическом лаконизме, внедряющая в наше сознание уйму подробностей, острых, торчащих во все стороны и в то же время сомкнутых, подобно рогатому копыю, которое ударом ноги Кухулин загнал в противника. Это рогатое копые как бы символ искусства викингов – витиевато-раздирающий образ, действующий сразу на все нервы и органы, доставляя болезненное и страстное наслаждение. Чего стоят, скажем, такие, внедренные сюда же, в общую кашу, детали, как – недужные и слабоумные, потоптанные конями героев, специально упомянутые, не забытые среди детей и женщин, или – король с королевой, которые могли бы улечься в русло вытесненного потока, пожелавшего в этой сжатости измеряться не иначе, как шириною короля с королевой, набивая ряд до отказа и сообщая ему еще большее остроглазие вычурности.

Но еще острее создает и носит принципиальный характер чудесное искажение впавшего в ярость героя. То, что он раздувается, как пузырь, по типу игрушки «уди-уди», имеет свое объяснение. Это – свойство героя чудесно преображаться в высший момент битвы, возбуждая ликование демонов, которых он как бы превосходит своим изменившимся видом, являя нам образ прекрасного в его кульминации, граничащей уже с чем-то чудовищным. Поэтому женщины Ирландии, сказано, повально влюблявшиеся в Кухулина, кривели на один глаз ради сходства с ним, из любви к нему. Это как бы идеал красоты в ее сильнейшем выражении, донесенном до наших дней в лице, например, драконов, украшавших ладьи скандинавов.

Вот как это происходило на деле – искажение Кухулина и соответственно – образа фантастического искусства Ирландии:

«Все суставы, сочленения и связки его начинали дрожать... Его ступни и колени выворачивались... Все кости смещались, и мускулы вздувались, становясь величиной с кулак бойца. Сухожилия со лба перетягивались на затылок и вздувались, становясь величиной с голову месячного ребенка... Один глаз его уходил внутрь так глубоко, что цапля не могла бы его достать; другой же выкатывался наружу, на щеку... Рот растягивался до самых ушей. От скрежета его зубов извергалось пламя. Удары сердца его были подобны львиному рычанию. В облаках над головой его сверкали молнии, исходившие от его дикой ярости. Волосы на голове спутывались, как ветки терновника. От лба его исходило «бешенство героя», длиною более, чем оселок. Шире, плотнее, тверже и выше мачты большого корабля била вверх струя крови из его головы, рассыпавшаяся затем в четыре стороны, отчего в воздухе образовывался волшебный туман, подобный столбу дыма над королевским домом» (стр. 284).

Этот отрывок я бы назвал открытием. Во-первых, он объясняет, почему боевой поединок становится в центре искусства, требуя отдельного кадра, специального изразца для своего воплощения. Человек предстает в нем в чудесно искаженном, живописно раздувшемся образе. В этом смысле битва, требующая тотального выявления всех сил и способностей воина, наиболее пригодна для художественного запечатления. Не только своим драматизмом, но резкой, переходящей в гротеск означенностью прекрас-

ного поединка, а также война занимают передний план в истории мирового искусства, всякий раз возбуждая любопытство тысячных зрителей (отсюда, в частности, бои гладиаторов, рыцарские турниры как формы театрального зрелища). В этом отношении сказка не отстает от «Илиады», и былины имеют общий с танцами индейцев сюжет, требующий от бойца не только силы и смелости, но яркого оперенья, изобразительного вихря и грома. (По этой же традиции до сих пор существуют парады и воители наряжаются как павлины и петухи.) В основе битвы, таким образом, взрыв физических и магических сил, дающий искусству желанное изобразительное переполнение.

Во-вторых, мы видим, прекрасному не противопоставлен гротеск. Это же высказал Пушкин в воинствующем Петре: «Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен...» – способность красоты ужасать и почти смыкаться с уродством. Красота всевозможных идолов, варварских масок и т.д. заключается в том, что лицо предстает здесь в чудесно-искаженном, экстатическом состоянии, близком природе художественного вдохновения. Отсюда же мы постигаем, отчего во все времена, но особенно в полосе фольклорного созидания, народы любили чудовищ и со страстью предавались искусству изображения разных змеев, драконов, демонов – не в нарушение красоты, но во исполнение ее высших потенций. За исключением одной лишь греко-римской античности (да и то не всегда), вовлеченной в интригу математических, человекоподобных пропорций, все языческие религии влеклись к изображению божества как чудовища, видя в нем проявление магии суперпрекрасного – свойства богов убивать одним своим ослепительным ликом. Бог выступал, так сказать, в ярости своей красоты, извергающимся вулканом чудесного.

В-третьих, само искусство христианской средневековой Европы строилось, мы видим, не на пустом месте и на греко-латинском фундаменте только, как обычно предполагается, но на базе местных, древнеязыческих форм, чутких и восприимчивых к этой новой эстетике именно соединением крайностей красоты и гротеска. Магические культы и образы оказываются более гибкими в отношении новой религии, нежели застывшая в классических нормативах античность. В этом плане чудесное искажение Кухулина чрезвычайно благодатная почва для выращивания хи-

мер Нотр-Дама и шире – всей системы вывернутых конечностей, непропорционально укороченных и непропорционально удлиненных фигур, перекошенных физиономий иконы, перешедшей от ярости битв к воссозданию духовных восторгов и божественных преображений. Лик божества чудесно исказился в язычестве кельтских, германских, славянских и прочих варварских капищ и без особых трений принял мимику высшего средневекового таинства, облагороженную, просветленную по сравнению с монстрами прошлого, но высказанную столь же пронзительно рогатым копьём гротеска.

Видишь, Маша, как много принесла нам Ирландия, так что ты уж прости меня за это увлечение.

15–16 мая.

Совсем уже нет времени и места в письме, а все ж еще напишу несколько слов про Гоголя, у которого в последний раз, в самом кончике, лучше бы «разумных собратьев» заменить на «нормальных собратьев».

Такие же толки и критики сопровождали «Переписку с друзьями», поставившую под сомнение самый рассудок автора. Равный успех имели бы все наши домогательства задним числом удержать и образумить Гоголя. Ему заказан путь назад, к семейному счастью естественного обладания жизнью в кругу привычных занятий, когда он видит воочию их гибельность, бесполезность, не в состоянии выразить и довести до близких своих дарованное ему ясновидение. И так же, как в стихотворении Пушкина, реальное осознание смерти перерастает у Гоголя в проекцию всеобщей истории. В пространном теле цветущего, смеющегося человечества он различает следы увечья и омертвения. Еще при жизни зрит он себя погребенным в мире, уподобленном громадному кладбищу. Кажется, самый воздух полнился для него трупным смрадом и холодом. «И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь... Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!» Ситуация летаргии перекидывается на равнины Европы, Палестины, России, по которым он колесит, окоченевший, забитый в гроб своей изнемогшей, почти бесчувственной плоти, уже подающей признаки начавшегося разложения, в экипаж, где, укутавшись, он

притворяется спящим во избежание общения с досужими пассажирами, в тягостное одиночество комнаты, вечным постояльцем и пугалом чужих квартир, городов, семей, пансионатов, где в обмороке, пересиливаясь, он пытается еще что-то писать, молясь о чуде, о ниспослании лестницы с неба – лестницы вдохновения – лестницы поэтапного, добродетельного восхождения – лестницы должностных ступеней, государственной пирамиды – лестницы пасхального звона и воскресения – лестницы натуральной, деревянной, веревочной, какую, он молит, спустят в могильную яму, куда его наконец все же закопают живым. (Господи, как правильно, но как это все-таки страшно, невыносимо страшно, что Гоголя закопали живым!)

– *Лестницу, поскорей, давай лестницу!*

«Бог вещь, может быть... уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней» («Светлое Воскресенье»).

Мольбой о лестнице заканчивается его книга, заканчивается Гоголь, через шесть лет, умирая, прокричавший те же слова с такой пронзительностью, что отзвук их разнесся далеко и слышался долго, уже из-под земли... Но молился он не за одного себя, вкладывая в небесную лестницу много земных надежд, отчего его последняя книга вылилась в собрание писем, «выбранных мест», предусматривающих разнообразные нужды и аспекты существования, построенные, однако, в аспекте единой и всемирной нужды – в лестнице, в спасении. В отличие от пушкинского Странника, Гоголь пожелал совместить акцию спасения души своей со спасением земли и не нашел утешения в какой-то тихой обители, куда обычно приводила дорога подобных ему беглецов. Его молитвы звучат приказом о всеобщей мобилизации, шепот исповеди нарушается залпом воззваний, в хрипе умирания раздаются ноты набата, властного окрика, патриотического гимна – какофония тотальной войны. Так не пишутся книги – так отстреливаются. Нестерпимое чувство фальши, которое охватывает, когда читаешь иные его бравады, умеряет сознание конца, перед лицом которого они произносятся. В самом деле, служебное поприще с именем Спасителя соединяет рука утопающего, которая хватается и за соломинку. Мирским делам и сословиям, даже просто свойствам и характерам людей Гоголь придает боевую, пред-

смертную стойкость и выправку – духовных чинов и воинских званий. Настал час!

«На корабле своей должности, службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску, без чего не спастись никому. Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом Небесном государстве, главой которого уже Сам Христос...» («Страхи и ужасы России». Письмо графине Вьельгорской, 1846 г.).

18 мая.

Ай-я-яй! Как мало осталось места на моем листочке. Но зато я тебя ужасно люблю и в дополнение ко всему получил от тебя телеграмму, три открытки и одно письмо – № 46 – только что принесли! И мне открылось сразу полмесяца твоей жизни, совсем еще недавней, первой половины мая, в общем обзоре, как с ковра-самолета, потому что телеграмма очень приятно завершает пунктир открыточек, из которого ничего неясно, но все же вижу и радуюсь на ваши личики. Главное, что близко ко мне – телеграмма-то – то есть почти вчера вы оказались здоровыми и ты «таскуешь», почти как Егор в своих письмах, и это смешно и мило, и ужасно как любимо и близко – так прижиматься к вам. У меня в голове получается, что очень много времени прошло, пока я писал про Ирландию с Гоголем, ничего от вас не слыша и уже слегка задыхаясь в этой отвлеченности жизни, похожей на сон, тем более что шли ночные грузы и, просыпаясь где-то среди дня, я терял представление о времени и как бы все время спал между ящиками и сагами, а сейчас очнулся и вижу, что ты за это время окончила украденную змею*, а Егор успел заболеть крапивницей и уже выздороветь, умничка, и пойти в группу, по телеграмме. Словом, масса всего, и опять лето после нескольких дней холодов. От этих скачков в погоде немножко болит сердце, но настроение прекрасное и такое, как если бы я все время раскрывал вам объятия. Летом повеяло и от слова «Боровск» в твоём письме, о котором я знаю только бабочку в давнишней открытке, желтенькую, и все равно он мне нравится и слегка очаровывает, особенно если вы в июне поедете туда жить и ты устроишь на этом

фоне себе небольшой отпуск и отдохнешь, потому что обязательно надо тебе этим летом придти в силу, и ты послушайся меня, хоть раз в жизни.

Сижу в сених, и дверь открыта, видна зелень, еще желтенькая, но уже теплая, и теплый ветер оттуда дует и захлопывает дверь. А Егорычу я опять постараюсь написать письмо на отдельном листочке и приложить к твоему, которое немножко длиннее на сей раз, чтобы тебе тоже не было обидно за длинную цитату о Кухулине. Бандероли я еще не получил, но в их предчувствии доел свой маргарин и конфеты и светло смотрю в будущее. А то, что майская моя открытка не такая, то это, наверное, оттого, что я очень уж обрадовался внезапной возможности ее написать и на радостях не сумел выразить других чувств. На самом же деле я даже шишечки от очков вспоминаю с непроходимой нежностью. Целую тебя.

А.

19 мая 1971 г.



...какой сегодня день? – 6 мая, день Георгия Победоносца.

...фаюмская статья... – Ю.Герчук, «Переселение человека на звезды». Дружеское прозвище Герчука было «Фаюм».

...нельзя виленкински... – В.Виленкин. «Амедео Модильяни».

Энсор Джеймс – бельгийский художник (1860–1949).

...открыточка с близнецами... – «Близнецы рассуждают в материнском чреве:

– Вася, ты старший, ты уходишь отсюда первый. А что ТАМ?

– Не знаю, Ваня, ведь ОТТУДА еще никто не возвращался...»

...упразднить электроплитки. – Из моего письма: «А в мастерской полным ходом идет ремонт: пожарники слегка сменили гнев на милость и намекнули, что если мы сменим *всю* проводку, сделаем полный ремонт, отключим газ, выбросим плитки, оборудуем место для курения, то тогда они, может быть, и разрешат нам остаться в подвальчике.

Ну, мы вызвали электриков, и те нас уже накололи на 180 рублей, и уже разворотили все стены, меняя проводку, и будут воротить еще, и конца этому не видно, и ремонт мы решили делать своими силами (все-таки побыстрее), поэтому представляешь, сколько на это уйдет сил».

...окончила украденную змею... – При грабеже (см. примечание к письму 125) змею для Мосфильма украли тоже.

ПИСЬМО СТО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Еще, ненаглядная Маша, я получил от тебя бандероль с кофе и шоколадками. Прекрасно!

Другие же витамины о себе пока не напоминают.

Еще я получил от тебя давнее письмо № 35 (от 3 апреля) – про Викин домик*. Вот оно сколько ехало, это маленькое письмо, – пятьдесят дней!

Еще я получил новое письмо № 48, рисуночное, где Егор пишет про шпунтики*.

Еще среди твоих новых трех открыток, тоже пришедших, вдруг вижу, что у нас в Эрмитаже, оказывается, есть Руо. А я и не подозревал!

Лето доносит вольный воздух полей. И лист за неделю налился во всю наливную способность листа.

Более ничего.

23 мая.

У меня над головой за окном прибит скворешник на дереве, и, когда я просыпаюсь – иногда до шести часов, до подъема, – мне слышно, сквозь стекло даже, как они там разговаривают – разнообразно и красочно. Птичий язык. Понятно, почему сказка им увлеклась – действительно ведь язык.

Какие бывают сказки.

1) Распластанная сказка (жанр) – переход повествования в живопись. Придать размалеванной русской сказке крепость и точность саги.

В распластанной сказке может меняться то и дело поле обзора, которое то расстилается далью, обозреваемой с ковра-самолета (не оттого ли ковер, что под ним поле тоже легло ковром?),

то сужается до размера пуговицы на кафтане, рассмотренной как бы в лупу. Рассказ о семи Семионах ведется в 7 ключах. Само повествование могло бы существовать на разных уровнях или слоях сказочного бытия, мешая комизм, магию, античность (образы парок), следуя местами логике сна, местами же проваливаясь в заумь, в эзотерическую речь, внятную лишь посвященным.

2) Баба-яга или Леший фокусничают на манер небывальщины – с условием герою и слушателям не смеяться. Обратный ход по сравнению с обычным приемом комизма – на сдерживание смеха, хотя всем очень смешно.

3) В древней битве стрелы разят лучше пушек, но в то же время сражение похоже на колку дров или рубку леса. Богатыри с трудом, с расстановкой, переводя дух, наносят друг другу удар (так что на все про все случается два-три удара-маневра). Пережидают, выглядывают: что отрубил – руку или ногу? Примером чему может служить поединок в Исландской саге о Змеином языке.

4) Имея дело с числами, древняя мысль широко пользуется таблицей умножения и говорит о войске: трижды пятьдесят или четырежды семь, и это придает заведомую эпичность рассказу.

5) У 12-тиголового змея каждая голова думает свое, так что мысли мешаются.

6) Ковер, который вышивает красавица-волшебница-жена, способен меняться по ходу попадания к купцу, боярину, царю. Сперва на нем одно вышито, а потом совсем другое – без мотивировок.

7) В иных случаях мечу достаточно блеснуть, чтобы противник исчез. Вспышка – и нет человека. Борясь с целым войском, богатырь не на каждого тратит удар. Воины похудороднее, потщедушнее исчезают в блеске меча.

8) Герой, превращаясь в муху, сплющивается и визжит.

9) Перед игрой в шахматы он молится Богородице.

10) Сюжет в распластанной сказке в принципе необязателен. Достаточно – ситуации сказок: напиток забвения – и нет сюжета.

В книге: Ю.Н.Рерих. Избранные труды. М., Наука, 1967 (на английском языке) – есть любопытная статья: «Epic of King Kezar of Ling» (Сказание о царе Кесаре Лингском). В ней исследуется Тибетско-монгольская сага о царе (Кесарь – Гезар – Гезер – Гесер – я вспомнил, у Рериха-отца была прекрасная картина, которая, ка-

жется, называлась «Меч Гесера») божеств. происхождения – с первоначальной добуддистской основой, восходящей к религии Бои. Богатырско-сказочный сюжет. Но главное – в этой статье излагаются сведения о сказителях, до недавнего времени исполнявших этот эпос. Сведения такого рода вообще редки и позволяют понять, что такое сказка и зачем она исполнялась. Так вот.

Сказители там выступали в роли служителей-священников царя Кесаря. Они профессионалы. Сказание занимало от 3 до 10 дней. Часто поется в состоянии транса. Костюм сказителя: на голове высокая островерхая шляпа, именуемая «Шляпой Сказителя», украшенная изображением солнца и луны, белого цвета, как и плащ, тоже белый (священный цвет религии Бои). На знаменах, которые вешаются при исполнении, Кесарь изображен в том же костюме, который теперь носят сказители. (Я всегда говорил, что поэт – это неудавшийся чудотворец.) У некоторых племен эпос о царе Кесаре читается при погребении. Приготавливается плоская платформа, которая посыпается ячменной мукой. Сказитель садится лицом к платформе, слушатели – вокруг. Говорят, на платформе появляются следы копыт коня Кесаря, вызванного сакральным рассказом.

В этих следах на муке, на песке – вся тайная прелесть сказки.

24 мая.

Апелляция к национальному чувству и долгу, к традициям воинской доблести, всенародного ополчения, которое в годину бедствий, как во времена Бонапарта или Минина и Пожарского, способно перевернуть одним махом характер нации, возбудив в нем глубинные, богатырские запасы добра, вводит в нравственно-религиозную проповедь Гоголя героическую струну и ставит его в положение народного вождя и трибуна. Вульгарность иных демаршей, солдатская прямота и короткость распеканий и перепалок, педалирование порой не очень разборчивых, но популярных, захватанных штампов, весь, наконец, фамильярно-выспренный, отеческий тон «Переписки» усугублены фактом, который нельзя никак нам упускать из вида, что писатель тут, Гоголь, русский классик, находится на войне, разгоревшейся со всей натуральностью перед его мысленным взором. По замыслу автора, чиновники и помещики, литераторы и светские дамы,

государственные мужи и духовные лица, а за ними и все разнородное население России, ознакомившись с этой книгой, должны пережить нечто похожее на то, что испытали запорожцы перед последним сражением, слушая речь атамана Тараса Бульбы. Тогда устами Тараса Гоголь высказал некоторые из заветных своих идей; теперь, пересаженные на почву XIX столетия, эти пассажи старого козака звучат, быть может, несколько неестественно и сиротливо, обращенные все же к иному кругу слушателей, и как бы повисают в воздухе, если не наполнить его выстрелами и звоном мечей, то есть не корректировать эти речи авторской ситуацией, гоголевским предсмертным борением, которое позволяет схватить их в настоящем их, слышном самому Гоголю, музыкальном звучании и предотвратить трагедией готовую разразиться пародию. Нами живая связь «Мертвых Душ» и «Переписки с друзьями» с «Тарасом Бульбой» уже почти не улавливается – так далеки эпохи, вставшие в них на борьбу за Святую Русь; но для Гоголя таковая преемственность сохраняла значение, служа актуальным задачам, не художественным уже, но пожарным.

Из речи Тараса Бульбы:

«Нет, братцы, так любить, как русская душа, – любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, а... Нет, так любить никто не может!»¹

Знаю, подло завелось теперь на земле нашей: думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их да были бы целы в погребках запечатанные меда их. Перенимают, чорт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке... Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупница русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлюку жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество!

¹ Интересно, что эту интонацию Гоголя воспроизвел Александр Блок – также в священную роковую годину истории – в стихотворении «Скифы».

Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!..»

Из речи генерал-губернатора перед чиновниками города (второй том «Мертвых Душ», последние дошедшие до нас листки):

«Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды: она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего теченья. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, – я должен сделать клич хотя к тем, у которых еще есть в груди русское сердце...»

Из статьи «Светлое Воскресенье», завершающей книгу «Выбранных мест из переписки с друзьями»:

«...И если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас...»

Может показаться, приказ покончить со всеми грехами и в патристическом взрыве свалить мировое зло отдается человеком, исполненным жизненных сил, безграничной, неукротимой энергии. Ничего похожего. В том-то и специфика Гоголя, что войну затевает он на пороге гроба, на грани издыхания. Смерть становится полем битвы и, подсказывая размеры опасности, толкает на отчаянный шаг спасения души и отечества соединенными средствами. В сущности, речь идет о переустройстве земли, России, в подножие Царства Небесного – в лестницу. Война ведется за жизнь в самом полном и совершенном объеме – за ликвидацию смерти как таковой, за упразднение могилы в масштабе планеты – путем всенародного подвига ополчения и воскресения. Но эти колоссальные планы кипят уже в голове полутрупа, и потому они и зародились и появились на свет, эти планы, что составитель их уже умирал, продолжительно, бесцеремонно, не испытывая ника-

кого подъема, годами находясь уже в стадии безобразного распада, маразма.

26 мая.

Очень еще скучаю, что никто не говорит, что когда надевать, когда холодно или жарко, и не с кем посоветоваться. И приходится все решать самому. Недавно, например, раскопал в чемодане носки, давних еще времен, очень красивые и почти ненадеванные, про которые я и забыл. И я подумал: хорошо бы их надеть при выходе (как на свадьбу). Но еще далеко все это, так и не решил. И тебя нету – спросить. И все это висит на мне – носки, кальсоны.

Днем тепло, а вечерами и ночью очень даже холодно. И когда вы отправитесь на дачу, сразу просеките эту смену температур при одежке. Потому что в деревне она много резче, чем в городе, и легче заболеть. Я помню по Рамену.

Странно: Борисов-Мусатов так пошел на открытке, как будто он Шишкин. И почему Борисов-Мусатов, а не Петров-Водкин? Чистый случай или где-то в Когизе работает его большой почитатель? Или нынче открытки продаются на все вкусы?

Хорошо освобождаться летом: вольный воздух. Как-то вдруг ощутилось: запахи, что ли, трав, ветерок. И в сознании рисуется – поле. В сентябре тоже неплохо. Это так привычно – начинать жизнь с началом учебного года.

Странное это лето. Как будто оно репетирует следующее, через год. И все примеряет, как платья, – май, июнь... Видимо, жизнь у меня очень медленна и нерешительна: шаг ступить – проблема. Вот оно, лето, и примеряет себя загодя. Я даже немножко больше обычного начал загорать этим летом: точно этот загар не выветрится до тебя.

Или – сто дней. Существует такая цифра. Когда спрашивают – сколько, то с гордым и независимым видом, не скрывая радости: – Сто дней! – Как у Наполеона. Так вот, я вдруг понял, что как раз сейчас самое время заранее взвесить, что это за штука – сто дней. Репетиция.

Ведь это же надо, и какому дураку в голову придет, – обдумывать носочки за год с лишним! Но так бывает, я вижу сейчас – так бывает...

27 мая.

Зато сегодня я получил от тебя письмо № 47, такое длинное и интересное, каких давно не получал, и посему пришел в настроение лирического восторга и, вынеся стул в поле, сижу и восхищаюсь. Во-первых, толокно*. Очень смешно и все правильно. И узнаю нашу завиральную натуру, когда втемяшится блажь, и не сдвинешь. И представляю, как ты вонзила кинжал по поводу шоферского толокна, и очень смеюсь.

Но я все-таки не думал, что он клюнет на реализм в иконе, и помнишь, недавно писал, какой это дурак, – и вот что оказалось.

Но главное – опять твои любимые захлебывающиеся интонации, и можно дотронуться. Но из какой дальней дали доносится твой голосок, ведь ты еще не получала не то что прошлого, но даже позапрошлого письма, и все-таки так хорошо ко мне относишься и все понимаешь. Это так сказочно – вдруг получать тебя реально в подарок, и дышать не надыхаться, и глядеть не наглядеться.

28 мая.

Как будто повернуло на настоящую жару. Хоронюсь в тенечке. Марево. Как вы в городе, детки мои, выносите? Получил еще две твои открытки, грустные. Что писем нет, и дачу не сняла, и вообще плохо. Беспокоюсь больше всего этим вообще. Письмо постараюсь пустить немножко раньше обычного, чтобы быстрее дошло. Числа 3-го и пошлю. Тем более там выходные дни набегают.

Отвлеченные споры, удручающие жаром по поводам нереальным, непонятно как затесавшимся в голову. Что при землетрясении в 8 баллов – убьет или не убьет, если находишься в чистом поле? Бессилен разрешить. Главное – не провалиться в трещину, говорят. И вопрос и ответ – все предельно удалено, только скука производит такое. Зато язык живет.

– Заделаю я ему чесотку! Будет соломой укрываться, зубами чухаться.

– Конечно – разница! Он – солдат, домашняк, а я – бродяга, без никому.

– Склонник.

29 мая.

В каком самочувствии Гоголь выпускал свои боевые листки, показывает, например, его письмо к Н.М.Языкову (5 июня н.ст. 1845 г.), представляющее документ неслыханной прямоты – как если бы умирающий себя же анатомировал, приглашая осмотреть препарат своей распластанной личности: что есть Гоголь? Подводя нас к краю пропасти, которая угрожала ему в эти годы несколько раз, письмо это позволяет увидеть и тот бездонный колодезь, откуда он черпал свое удивительное бессилие мыслить так тотально, масштабно, набрасывая грандиозные планы, и воевать до потери сознания в самом логове тления, превратившись на склоне дней словно в немой укор Господу: что же Ты медлишь? – лестницу!

«Повторяю тебе еще раз, что болезнь моя сурьезна, только одно чудо Божие может спасти. Силы исчерпаны. Их и без того было немного, и я дивлюсь, как, при моем сложении, я дожил и до сих еще дней. Отчасти, может быть, я обязан тому, что берег себя и не вдавался во всякие излишества; отчасти обязан тому, что Бог крепил и воздвигал, несмотря на все мое недостойнство и непотребство. Знаю, однако же, и то, что повредил себе сильно в одно время тем, что хотел насильно заставить писать себя, тогда как душа моя была не готова и когда следовало бы покорно покориться воле Божьей. Как бы то ни было, но болезни моей ход естественный. Она есть истощение сил. Отец мой был также сложенья слабого и умер рано, угаснувши недостатком собственных сил своих, а не нападением какой-нибудь болезни. Я худею теперь и истаиваю не по дням, а по часам; руки мои уже не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом состоянии... Ни искусство докторов, ни какая бы то ни было помощь, даже со стороны климата и прочего, не могут сделать ничего, и я не жду от них помощи. Но говорю твердо одно только, что велика милость Божия и что, если самое дыхание станет улетать в последний раз из уст моих и будет разлагаться в тленье самое тело мое, одно Его мановенье – и мертвец восстанет вдруг. Вот в чем только возможность спасенья моего. Если сыщется такой святой, чьи молитвы умолят обо мне, если жизнь моя полезней, точно, моей смерти, если достанет хотя сколько-нибудь чистоты грешной и нечистой души моей на такого рода помилование, тогда жизнь вспыхнет во мне вновь, хотя все ее источники иссохли».

А ведь Гоголю тогда не было и сорока еще лет, и до физического конца оставалось довольно времени, но все у него уже было сожжено позади, и с каким-то холодным спокойствием постороннего к теме лица он ставит свой безупречный и как бы уже смертный диагноз.

Страх смерти? Да, такой страх, перед которым цепенеет и меркнет досада расставания с жизнью, теряющей всякий резон, когда не служит она на пользу Богу, как, впрочем, и смерть рассматривается под углом своей потенциальной полезности для общего, для Божьего дела.

Покорность Промыслу? Бесспорно. Но в этой покорности сквозит такая потребность восстать из гроба по знаку Творца, что наш покойник смотрит орлом, молодцом и, мнится, вот-вот опомнится от всех смертей и болезней. Болезнь описана им почти с клинической точностью и вместе с тем носит как будто неуловимый характер, не поддаваясь, мы знаем, усилиям медицины поймать ее корень и рост, ни каким бы то ни было, в принципе, человеческим статьям и лекарствам, поддерживая сознание, что все это неспроста, не напрасно и даже, по всей вероятности, свыше запроецировано для вящего блага болящего, нуждающегося в радикальном, чудесном пересоздании. Спрашиваешь невольно, браня свое маловерие, гнушаясь собственной немощностью возвыситься до предмета исследования: а что эта смерть и болезнь, не провокация ль, не искушение ль небу?..

Нет-нет, никакого притворства, ни ропота, ни жалобы: сам кругом виноват, подорвав свой слабый состав несвоевременным, самостийным писательством. (И жил всецело писателем, и писательством себя загубил!) Имеются, определенно, в виду самопожертвенные попытки продолжить работу над «Мертвыми Душами» вопреки иссяканию творческих сил. (И не имеется в виду тогда же предпринятый, новый, обходный маневр: прорваться к той же работе путем «Переписки с друзьями», которая его доканает, особенно когда обнаружится, что и этот ход не помог.)

Итак, все средства писать, сотворив над собою насилие – физическое, моральное, мистическое и т.д., исчерпаны; колдун повержен во прах, наказан за самоуправство; Гоголю остается одно – передоверить свой опыт Тому, Кто истинно властен воздвигнуть мертвеца в чудотворцы, вернуть ему утраченный дар для новых

чудесных свершений. (Только жить, излечившись телесно, – его не интересовало.)

Смирение и покорность его похожи на ультиматум. Объективность в констатации фактов смыкается с непризнанием действительности и передачей всех прав на себя сверхъестественным силам. Гоголь, легко заподозрив, вынуждает Бога на чудо. Не прося ни о чем и не жалуясь, он ведет себя как вымогатель. Не Языкову и не прочим друзьям он демонстрирует труп свой, но небу – деловито и объективно: смотри! Смерть доведена в этом живом мертвце до степени совершенства, до готовности сменить оболочку и по первому зову внезапно перейти в противоположную крайность, из катастрофы – в апофеоз. Гоголь в своей болезни заходит так далеко с целью вышибить клин клином – погибнуть или воскреснуть, как феникс¹.

Известно мнение, высказанное частными лицами, в том числе врачами, смотревшими его перед смертью, что Гоголь в конце концов намеренно себя заморил, отказавшись от принятия пищи, затем что, утратив писательский дар, считал уже жизнь бесполезной. Если это действительно так, то смерть его была тактическим

¹ То же построение чуда прилагал он к исторической жизни и пытался осуществить литературно в «Мертвых Душах»: отрицательная ситуация доводится до последней ступени, до окончательной смерти, которая в мановение ока должна обернуться чудом всеобщего Воскресения Мертвых как единственно мыслимым выходом из безвыходной картины. Оттого он возвал к ополчению на религиозные подвиги и нравственное пересоздание нации в момент, когда ничего похожего не намечалось в действительности. Доводы Белинского, возражавшего на «Переписку с друзьями» анализом положения в обществе (развращенность высших классов, атеизм простого народа и т.д.), до него не доходили. Вернее сказать, они работали на гоголевскую концепцию чуда. Не подготовкою общества, не наличием положительных сил измерял он эту возможность. Но глубиною могилы. «Это говорит вам вся глубина души моей, – писал он С.Т.Аксакову (18/6 августа 1842 г.). – Помните, что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все и никто не верит чудесам, – в то время именно может совершиться чудо, чудеснее всех чудес. Подобно как буря самая сильная настает только тогда, когда тише обыкновенного станет морская поверхность».

шагом, последним военным маневром, идущим на крайний риск в продолжение «Переписки с друзьями» или осужденных попыток насильно заставить себя писать, – попыткой, на сей раз всецело отданной на исполнение Богу. Лишь чудо могло спасти его, и Гоголь пошел на смерть, чтобы вызвать чудо. Нет, он не покончил с собой, но как бы предложил Самому Творцу сделать окончательный выбор: либо – либо. (Тогда его закопали живым.)

Имея с ним дело, никогда не знаешь заранее, чем оно может кончиться, куда повернет. Он едет в одну сторону, а вылезает с другой. Напускает кошмары, чтобы всех исцелить, и сам становится нашим навязчивым бредом. Не разберешь даже толком, где мертвый он, где живой. Он умер, чтобы воскреснуть, и пробудился в гробу. Все у него навыворот, не как у людей. Книги его двусмысленны и имеют обычай переворачиваться в нашем сознании. Когда не ждешь. Всякий образ таит способности метаморфозы. Не автор, сплошной перевертень. С ним лучше поостеречься от окончательных выводов.

Как знать, что он выкинет дальше, чем еще удружит. Может быть, все это выяснится через тысячу лет. Гении долговечны. Бывает, закопают, а там...

«Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого; то оттого делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то, близ моря, гора, из которой выхватывается пламя и текут горящие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии, и в Галичской земле, лучше знают это и говорят: что то хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец и трясет землю» («Страшная Месть»).

– *Лестницу, поскорей, давай лестницу!*

31 мая.

– Солнце жгет вертикально.

Весну закончили. Впереди голая сосредоточенность лета. На днях выбросил в помойку старый пододеяльник в цветочках, пришедший в совершенную ветхость. Оторвал на память лоскут, приятно вспомнить, пошел бы на переплетик, да поди уже гниловат. Жаль, не догадались мы раньше пускать некоторые твои платья на книжную обложку. То, самое первое, из рогожки, особенно. Как бы потом та книжечка шелестела в руке!

А откуда, интересно, у тебя в головке завелся пароход по Волге? Или просто негативный способ определения, на что согласна? Или какие-то отзвуки с Двины? А может, просто от словосочетания с кают-компанией?

А я скучаю по всему домашнему. И умиляюсь на кастрюльку, что ты привозила не зря, а я ее очень помню – ту кастрюлечку. И понял, что, живя вместе, можно не только кофе давать тебе по утрам, но и полный завтрак. Скворцы так шумят над головой, как будто они в курятнике. Под их впечатлением мне пришлось в голову написать Егору письмо про звуки в природе, которые я было тебе здесь написал, но потом подумал – а что же Егору? Боюсь только, слишком абстрактно и неинтересно ему получится. Но ты у меня на что? – ты можешь и не давать ему письма, если оно покажется скучным. И ты, и ты, и ты – везде и всегда.

От двух открыточек, что я уже говорил, ощущение незаконченной фразы. И я уже несколько дней жду ее окончание и тревожусь за ваше здоровье, устройство и настроение.

А если ты все-таки сумеешь поехать в июле на общее свидание, не забудь взять справку об отсутствии эпидемических заболеваний, про которую я говорил в позапрошлом письме. Ее, вероятно, выдают в райполиклинике.

А Ореховую Гору ты помнишь?

А Опалиху?

А Переславль?

1 июня.

Что же это происходит, мои родные и совершенно загадочные жены и дети?! Ведь то, что три тысячи на три тысячи дадут девять миллионов*, даже я до сих пор не знал, не говоря уже о квадрате. И вообще до второго класса умел считать до одиннадцати, а далее мой ум не охватывал. И если так дело пойдет, как бы Егор в конце концов не сделался математиком.

Во-вторых, как прикажете понимать «калояйца глист есть» и «калояйцоцыкол есть»? Не значит ли это, что у Егорыча обнаружили глисты?

Это я реагирую на ваши письма №№ 49 и 50.

В-третьих, на телеграмму, которую не чаял, и ничего не понимаю*. Следует ли думать, что ты на общее свидание приедешь ко мне 7 июня?!

В общем, повергнут в восторг, сомнение, нетерпение и опять в восторг всеми этими известиями, свалившимися сегодня вечером.

И не знаю, что делать.

Не знаю даже, писать ли мне Егору про чудные звуки или срочно откликаться на его яйцеглист и девять миллионов.

Письмо все же я хочу пустить вам завтра, в четверг, потому что 5-го будет суббота, а до 7-го откладывать, значит, уйдет оно не раньше 9-го, и вся наша жизнь с тобою, моя радость-Машенька, окажется ужасно сдвинутой.

Телеграмма меня, конечно, очень приободрила, если, конечно, «Веселово» означает «и веселы».

Бандероль с витаминами пришла, но что-то ее никак не выдают. И еще я не совсем уловил из твоих писем – сколько бандеролей. Если я правильно понял – две плюс витамины. Тогда, значит, я получил одну, а вторая бандероль так и не приходила. Естественно, все эти мелочи можно бы уточнить при встрече, но я, что называется, еще не верю своему счастью и поэтому заталмуживаю твою головку всеми этими междометиями, которые и следует понимать как междометия в лирическом даже скорее стиле.

И гадаю-ломаю голову, означает ли твоя телеграмма, что ты сняла-таки дачу на лето и получила, наконец, после того блаженно-апрельского свидания письмо?

Целую тебя, очень и очень.

А.

2 июня 1971.



...про Викин домик. – Про дом В.Швейцер в Боровске.

...пишет про шпунтики. – «ДОРОГОЙ МОЙ ПАПА! Я РОЗОБРАЛ ЧИСЫ. И ТАМ ТАКИЕ ХОРОШИЕ ШПУНТИКИ И КОЛЁСЕКИ И ВИНТИКИ. МЕНЯ УЧИТ ДЯДЯ КОСЯ. Я УЖЕ УМЕЮ ВОЗВОДИТЬ

В КВОДРАД ЧИСЛА ОКАНЧИВУЕШСЯ 5. Я ТЕБЕ НАРИСОВАЛ КАК
ТЬ ПЛЫВЁШ ПО РЕКЕ И ЛОВИШ РИБУ.

ТВОЙ СИН ЕГОР

Во-первых, толокно. – Из моего письма: «Я на днях отправилась к Коле и застала у него на службе следующую душераздирающую картину:

Во-первых, Коля готовит выставку под флагом – Русская иконопись XVIII века – колыбель реализма. И все про истоки этого самого реализма, разбросанные там-сям среди разных святых в виде облаков, рожиц и прочих цветочков.

И реставрационная мастерская завалена жуткими досками, какие мы, например, никогда не брали, и Эва, ругаясь, их чистит и делает пробы.

А еще Коля ест толокно. Это у него новая идея, что все инфаркты от излишеств и вкусного харча, а вот кто в древности ел толокно, тот и по сей день жив-здоров, и вот в обеденный перерыв кто съедает котлетку, а кто и колбаску, а Коля размазывает по тарелке толокно и, причмокивая, съедает эту бурду. Может быть, это и полезно, но уж очень невкусно, а Николай бархатным голосом рассуждает о толоконных тонкостях, и чем толокно одной фирмы отличается от другого толокна, и чем его лучше разводить, и какой ложкой есть.

И вот я его прошу достать для тебя растворимого кофе, а он уговаривает послать тебе толокна. Представляешь? И еще объясняет, какое оно легкое и как много его влезет в килограммовую бандероль.

Пришлось рассказать историю про толоконный совет одного шофера (а помнишь?) и объяснить, что ты меня и без толокна устраиваешь и не хочу я тебе всякие толоконные намеки посылать, а хочу – кофе и прочие вкусы».

...девять миллионов... – «Едем это мы с Егорычем в такси, и наш ребеночек читает всякие встречные вывески. И шофер удивляется его грамотности и спрашивает, что, может быть, Егор еще и считать умеет и сколько будет дважды два?»

– Четыре.

– А шестью семь?

– Сорок два.

– А шесть и семь?

– Тринадцать. А вот сколько будет, если три тысячи умножить на три тысячи?

– Девять тысяч.

– Нет, девять миллионов.

– Нет, девять тысяч. И не спорь, мальчик, со старшими.

– Нет, девять миллионов: ведь это всего-навсего три тысячи в квадрате...

Вот как развлекает меня Егор, но ты не сердись на нас за вундеркиндство: он совсем не вундер, и все это между прочим, а главное в нем – что он очень добрый, и нежный, и сдержанный (!!!) ребенок. Даже умеющий владеть собой, хотя при его возбудимости это очень трудно».

...ничего не понимаю. – 23 мая 1971 года после многих месяцев нервотрепки, конфискованных писем, чудовищных слухов, всякого карфагенства и прочего давления на психику Лубянка сдалась. Пригласили меня большие начальники и торжественно объявили, что Президиум Верховного Совета мою просьбу удовлетворил и мой муж, Андрей Донатович Синявский, будет освобожден 8 июня 1971 года. Но большие начальники настоятельно советуют никому (вы понимаете, никому, даже Синявскому) про это не рассказывать, а иначе все еще может измениться, и я должна это понимать.

Я, естественно, клялась и соглашалась. Я, естественно, немедленно их обманула (война – это война) и отправила Синявскому следующее письмо с шифровкой по формуле: абзац – слово, абзац – вторая буква после точки.

«Собака моя, здравствуй!

Тебя люблю, люблю и люблю!

Погружаюсь в новое письмо с головой и не могу начитаться. И сил моих нет – оторваться от него. И все мне кажется, что оно самое прекрасное за все времена. Почему? А будто не знаешь... Потому что все оно про любовь. Я даже литературные экскурсии – тоже воспринимаю как объяснение. Тянется моя жизнь от всего этого тепла и всякой прочей неги намного легче. И ты помни про это, когда пишешь мне.

Наверное, это называется психотерапия, или – создание хорошего настроения...

И вот у Егорыча тоже – все зависит от настроения. Хорошего или плохого. Осторожным приходится с ним быть, слова лишнего никогда не скажешь. Лыстить даже иногда и подлаживаться, а не только строгостями брать. И малыш тогда расцветает в улыбках, картинках и нежностях. Хорошая наша лапочка... Егорушка называется... И очень я таю от вас вдвоем, родные и золотые мои мужики, лапы и кисы, птички и рыбки, и терею дар речи, и перехожу на тихий лепет пополам с бормотанием.

Никому проэтонерасказывай, а то даже неловко: взрослая тетя, а расчирикалась как пятнадцатилетняя девица.

Целую Маша».

Вот и читайте – Тебя освободят наверное восьмого никому проэтонерасказывай.

Но, так как я понимала, что письмо может не дойти, на следующий день я решила подстраховаться открыткой:

«Я совсем зашилась: все-таки гости в моем быту – это очень большая нагрузка, а тут не успеет уехать Лазик, как придет Вивкин братец, и все это при том, что дачи нет, а жара есть.

И суетиться надо с удвоенной энергией. Бедная Маша!».

Напоминаю, что Лазик – это наш друг и частый гость Флейшман, Вивка – это Вевия Донатовна, сестра А.С., стало быть, Вивкин братец – это сам Синявский. Чистая маскировка.

А если открытка не дойдет? И 31 мая 1971 года я отправляю Синявскому совершенно непонятную ему телеграмму:

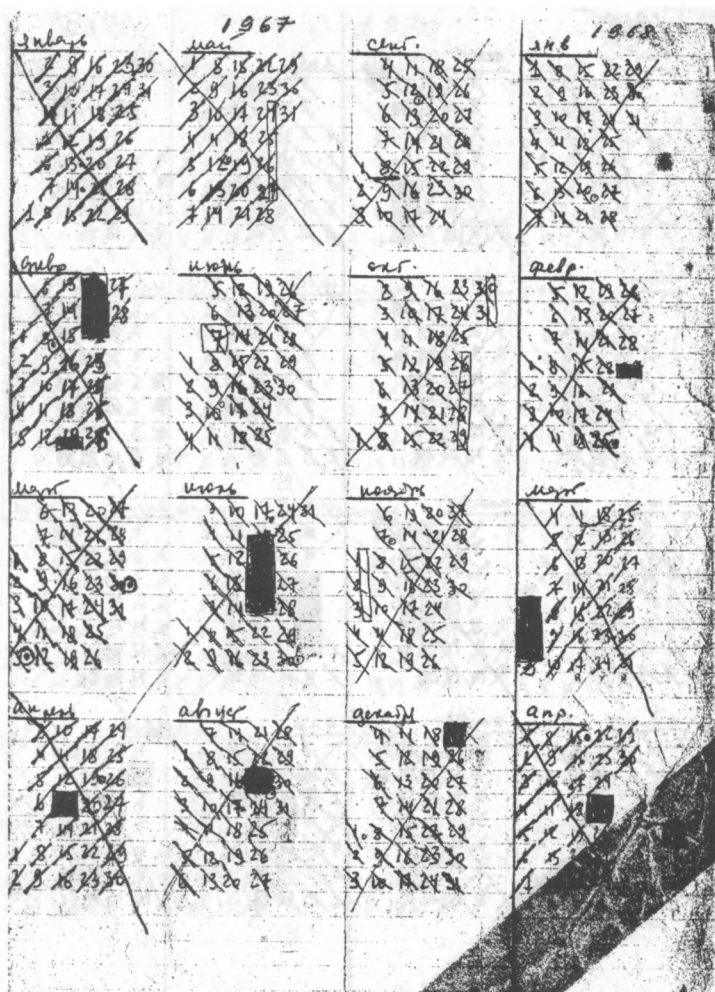
«Приеду 7-го. Мы с Егором живы здоровы. Веселы. В случае изменения телеграфирую дополнительно крепко целую Маша».

Телеграмма пришла второго июня, открытка – четвертого, письмо – пятого. Ситуация держалась Лубянкой в таком секрете, что, когда я приехала в Явас седьмого утром, начальник лагеря об освобождении Синявского еще ничего не знал. Но предупрежденный мной А.С. успел перед последним шмоном уничтожить кое-какие бумаги, что-то кому-то подарить и вообще – привести лагерные дела в порядок.

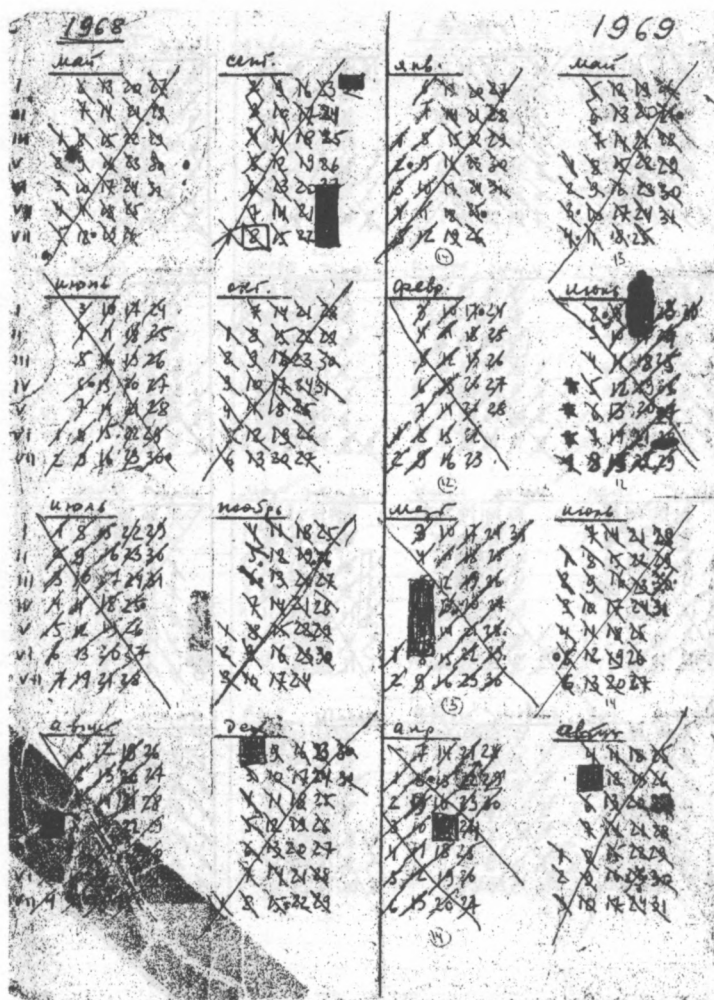


1965		1966	
сентябрь	октябрь	сентябрь	октябрь
I 13 20 27	3 10 17 24 31	2 9 16 23 30	5 12 19 26
II 14 21 28	4 11 18 25	3 10 17 24 31	6 13 20 27
III 8 15 22 29	5 12 19 26	4 11 18 25	7 14 21 28
IV 9 16 23 30	6 13 20 27	5 12 19 26	1 8 15 22 29
V 10 17 24	7 14 21 28	6 13 20 27	2 9 16 23 30
VI 11 18 25	8 15 22 29	7 14 21 28	3 10 17 24
VII 12 19 26	2 9 16 23 30	8 15 22 29	4 11 18 25
сентябрь	октябрь	сентябрь	октябрь
I 4 11 18 25	7 14 21 28	6 13 20 27	3 10 17 24 31
II 5 12 19 26	1 8 15 22 29	7 14 21 28	4 11 18 25
III 6 13 20 27	2 9 16 23 30	1 8 15 22 29	5 12 19 26
IV 7 14 21 28	3 10 17 24 31	2 9 16 23 30	6 13 20 27
V 1 8 15 22 29	4 11 18 25	5 10 17 24	7 14 21 28
VI 2 9 16 23 30	5 12 19 26	4 11 18 25	8 15 22 29
VII 3 10 17 24 31	6 13 20 27	5 12 19 26	2 9 16 23 30
ноябрь	декабрь	сентябрь	октябрь
I 1 8 15 22 29	7 14 21 28	4 11 18 25	7 14 21 28
II 2 9 16 23 30	1 8 15 22 29	5 12 19 26	8 15 22 29
III 3 10 17 24	2 9 16 23 30	6 13 20 27	2 9 16 23 30
IV 4 11 18 25	3 10 17 24 31	7 14 21 28	3 10 17 24
V 5 12 19 26	4 11 18 25	1 8 15 22 29	4 11 18 25
VI 6 13 20 27	5 12 19 26	2 9 16 23 30	5 12 19 26
VII 7 14 21 28	6 13 20 27	3 10 17 24 31	6 13 20 27
январь	февраль	сентябрь	октябрь
I 6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	8 15 22 29
II 7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	9 16 23 30
III 1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28
IV 2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	8 15 22 29
V 3 10 17 24 31	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30
VI 4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24
VII 5 12 19 26	3 10 17 24	7 14 21 28	4 11 18 25

К сожалению, я никогда не вела дневников. Если бы я вела дневник, то, может быть, гораздо раньше обратила бы внимание на странные совпадения роковых дней в нашей жизни. Судите сами: Синявского арестовали 8 сентября. Родился он 8 октября. Его освободили досрочно, но почему-то тоже 8-го, а ведь это мог быть любой другой день, первое или пятнадцатое... Уезжали мы в эмиграцию 8 августа. И живу я во Франции в доме № 8...



Единственным дневником в моей жизни были выдернутые из тетрадки в клеточку два двойных листа, на которых разместился срок Синявского по приговору, от 8 сентября 65-го года до 8 сентября 72-го. Первой радостью – сразу после суда – было вычеркнуть много-много дней следствия и процесса. Потом, в первый год, у меня еще хватало выдержки не вычеркивать дни каждый день, и тогда срок уменьшался сразу на месяц, полтора, а то и



два. А дальше пометы делались ежедневно. Невычеркнутые дни – это те пятнадцать месяцев, которые мне удалось отвоевать для Синявского у государства. Я всегда смотрю на них с удовольствием. А темные квадратики – это зачеркнутые в оригинале красным фломастером дни наших свиданий, на которые я никогда не ездила одна. Меня всегда сопровождал кто-то из героев этой книги, и я прикасаюсь к этим затрепанным листкам всегда с чувством благодарности.

1969		1970	
сент 1 18 21 28 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28	сент 1 12 19 26 2 13 20 27 3 14 21 28 4 15 22 29 5 16 23 30 6 17 24 31 7 18 25	сент 1 11 18 25 2 12 19 26 3 13 20 27 4 14 21 28 5 15 22 29 6 16 23 30 7 17 24 31	сент 1 14 21 28 2 15 22 29 3 16 23 30 4 17 24 5 18 25 6 19 26 7 20 27
окт 1 18 26 28 2 19 27 3 20 28 4 21 29 5 22 30 6 23 31 7 24 10 16	септ 1 8 16 23 2 9 17 24 3 10 18 25 4 11 19 26 5 12 20 27 6 13 21 28 7 14 22 29 8 15 23	окт 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28	окт 1 5 12 19 26 2 13 20 27 3 14 21 28 4 15 22 29 5 16 23 30 6 17 24 31 7 18 25
нояб 1 10 17 24 2 11 18 25 3 12 19 26 4 13 20 27 5 14 21 28 6 15 22 29 7 16 23 30	нояб 1 8 15 22 30 2 9 16 24 31 3 10 18 25 4 11 19 26 5 12 20 27 6 13 21 28 7 14 22 29 8 15 23 30	нояб 1 6 13 20 27 2 14 21 28 3 15 22 29 4 16 23 30 5 17 24 31 6 18 25 7 19 26	нояб 1 8 15 23 30 2 16 24 3 17 25 4 18 26 5 19 27 6 20 28 7 21 29 8 22 30
дек 1 8 15 22 28 2 9 16 23 30 3 17 24 31 4 18 25 5 19 26 6 20 27 7 21 28	дек 1 13 20 28 2 14 21 29 3 15 22 30 4 16 23 31 5 17 24 6 18 25 7 19 26	дек 1 3 10 17 24 31 2 11 18 25 3 12 19 26 4 13 20 27 5 14 21 28 6 15 22 29 7 16 23 30	дек 1 7 14 21 28 2 8 15 22 29 3 9 16 23 30 4 17 24 31 5 18 25 6 19 26 7 20 27

Мой друг, советчик и автор предисловия Лазарь Флейшман на вопрос, как выразить благодарность всем, кому я благодарна, ответил: «Марья Васильевна, это очень просто! Напишите такую фразу: «В ходе работы над этим изданием неоценимую помощь мне оказали...» – а дальше по алфавиту!» Но как я могу говорить спасибо по алфавиту Наталии Рубинштейн, которая несколько лет назад первая сказала, что эти письма надо издавать?

1971

	<u>январь</u>	<u>февраль</u>	<u>март</u>	<u>апрель</u>
I	1 11 18 25	8 15 22	8 15 22 29	5 12 19 26
II	2 9 16 23	9 16 23 30	9 16 23 30	6 13 20 27
III	3 10 17 24	10 17 24	10 17 24 31	7 14 21 28
IV	4 11 18 25	11 18 25	11 18 25	8 15 22 29
V	5 12 19 26	12 19 26	12 19 26	9 16 23 30
VI	6 13 20 27	13 20 27	13 20 27	10 17 24 31
VII	7 14 21 28	14 21 28	14 21 28	11 18 25
I	1 8 15 22	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
II	2 9 16 23	8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 31
III	3 10 17 24	9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
IV	4 11 18 25	10 17 24	8 15 22 29	5 12 19 26
V	5 12 19 26	11 18 25	9 16 23 30	6 13 20 27
VI	6 13 20 27	12 19 26	10 17 24 31	7 14 21 28
VII	7 14 21 28	13 20 27	11 18 25	8 15 22 29
I	1 8 15 22	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
II	2 9 16 23	8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 31
III	3 10 17 24	9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
IV	4 11 18 25	10 17 24	8 15 22 29	5 12 19 26
V	5 12 19 26	11 18 25	9 16 23 30	6 13 20 27
VI	6 13 20 27	12 19 26	10 17 24 31	7 14 21 28
VII	7 14 21 28	13 20 27	11 18 25	8 15 22 29

Елена Афанасьева, Юлия Рахаева, Эмма Шитова, Дима Крымов и Инна Крымова, Владимир Демчиков и его семейство, Игорь Голомшток, Андрей Меньшутин и Виктор Дмитриевич Дувакин, Ольга Платонова, священник Владимир Вигилянский, Олеся Николаева, Глеб Поспелов, Борис Равдин, Лидия Меньшутина, Людочка Сергеева, Виль Мириманов, Юра Рассамакин, Ефим Бершин, Елена Герчук (она же – Фаюм), Галя Белая, Владимир Павлович Кочетов, Женька Агранович, Мария Реформат-

1972

<u>май</u>		<u>сентябрь</u>	
1	8 15 22 29		4
2	9 16 23 30		5
3	10 17 24 31		6
4	11 18 25		7
5	12 19 26	1	8
6	13 20 27	2	
7	14 21 28	3	

<u>июнь</u>	
5	12 19 26
6	13 20 27
7	14 21 28
1	8 15 22 29
2	9 16 23 30
3	10 17 24
4	11 18 25

<u>июль</u>	
3	10 17 24 31
4	11 18 25
5	12 19 26
6	13 20 27
7	14 21 28
1	8 15 22 29
2	9 16 23 30

<u>август</u>	
7	14 21 28
1	8 15 22 29
2	9 16 23 30
3	10 17 24 31
4	11 18 25
5	12 19 26
6	13 20 27

ская, не говоря уже об Алеше Парине и жене его Ире или собственном разветвленном семействе Гранов-Синявских.

Я же их не то что расставить по алфавиту – я их даже по имени-отчеству называть не умею... И не хочу.

Все-таки это совершенно не научное издание...

Мария Розанова

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Агафья II – 104
 Аглая II – 104
 Азбель Марк I – 226, **228**
 Алешковский Ю. II – 186
 Аксенов В. I – 233;
 Анка II – 293
 Анфиса I – 100, **104**; II – 26
 Апаш III – 119, **122**
 Бабицкий К.И. II – 249, 250
 Бамдас Таня I – 203, **209**; III – 252
 Барвенко Алеша III – 122, 251
 Барвенко Андрей III – 165
 Барвенко Виктор III – 343
 Бардин М.И. I – 344
 Белинков Аркадий II – 127
 Бешенцева Инесса III – 122, 165,
 233, 251, 343, 436
 Богораз Лариса Иосифовна I – 41,
 49, **50**, 66, 67, 81, 125, 148,
 149, 177, 178, 185, 186, 188,
 189, 195, 201, 246, 252, 255,
 344, 345, 354, 365, 385, 416,
 417, 418; II – 194, 250; III –
 234, 251, 252
 Бойков Ю. III – 320
 Бродский Борис II – 41, **42**
 Бурас Михаил I – 226, **228**; III – 94
 Бутаков II – 149, **150**
 Василий Федорович II – 334, **338**
 Васильев Аркадий I – **265**
 Волкова Паола II – 75, **81**, 572
 Воронели III – 233, 252
 Воронель Нинель III – 234
 Всеволожская Наталья I – 247, **254**
 Высоцкий Владимир I – 208, 432; II –
 26, 92, 127, 368; III – 250
 Галина II – 400, **408**
 Гастев Алексей I – 171, 208, 356, **364**,
 376
 Гачев Георгий I – 203, 208, 209; III –
 233
 Герчук Юрий (Фаюм) I – 185, 186,
 240; II – 238, 249; III – 439, 451
 Глазычев В. II – 181, 185
 Голомшток Вениамин II – 550, **560**;
 III – 67, 195
 Голомшток Игорь Наумович I – 7,
 66, 67, 68, **71**, 201, 208, 241,
 255, 278, 285, 287, 308, 313,
 364, 376, 385, 420, 447; II – 10.
 15, 25, 138, 215, 218, 305, 530,
 536, 540, 548, 555; III – 67,
 250, 252, 343
 Голубцов Николай Александрович
 III – 351, **356**
 Горнфельд А.Г. I – 356, **363**
 Григорьянц Сергей I – 114
 Гриц Теодор II – 88, **92**
 Гумилев Лев Николаевич III – 374,
 383
 Гунькин Генрих III – 171, **180**
 Даниэль Юлий Маркович I – 5, 6, 8,
 13, 14, 50, 65, 70, 80, 104, 125,
 151, 185, 187, 225, 228, 240,
 242, 247, 265, 320, 322, 323,
 333, 344, 354, 385, 396, 417,
 418, 449; III – 94, 234, 235,
 250, 251, 252, 294, 320, 324
 Даниэль Саня I – 186
 Денисова Искра III – 84, 94
 Докукина Елена Владимировна II –
 139; III – 293, 308
 Домшлак М. II – 238, 247, 249
 Дувакин Виктор Дмитриевич I – 34,
 35, 447, 449; II – 348; III – 249,
 253, 343, 409
 Дымшиц Ал. I – 170, **175**
 Дэдик II – 28, **42**

- Епифанцев Георгий II – 125, **127**, 171, 173
- Ефремова Елизавета Алексеевна I – 438, **449**; III – 308
- Жегин Л.Ф. II – 182, 185
- Замойска (Пельтье) Элен I – 13, **125**
- Зеликсон Борис I – **93**, 188; II – 166, 173, 387
- Зеликсон Ольга II – 387
- Зими́на Алла Григорьевна I – 122, **125**
- Золотов Юрий ; III – 62, **67**
- Знаменская Нина Ивановна I – 55, **61**; III – 274, 278, 293
- Ибрагим I – 100, **104**, 301, 304
- Иванов Вячеслав Всеволодович I – 316, **322**;
- Икс III – 135
- Иодковский Эдуард II – 348
- Иофе Лидия II – 387
- Казаровец Нина 253, **255**; II – 26, 300, 367, 375, 540, 548; III – 117
- Кайранская Алена III – 343
- Каррив-Кишилова Анна I – 256, **265**; II – 397
- Кишилов Николай Борисович (Коля, Николая́-Нидворя́) I – 45, **49**, 65, 70, 123, 125, 204, 265, 296, 303; II – 305, 397, 503, 509; III – 204, 252, 465
- Кишилов Поль (Понь) II – 397, 426
- Коган Эрнест Михайлович I – **364**
- Кожинoв Вадим I – **93**
- Колкунов Михаил III – 343
- Кондратов Ал. I – 316, **322**; II – 181, 185
- Конухов Михаил III – 237, 238, **250**, 268, 276, 277, 304, 307, 357, 369, 379, 383, 410, 435, 436
- Копелев Л.З. I – 264, **265**
- Коптева Татьяна Кирилловна II – 492; III – 36
- Кочетов Виктор III – 94
- Краснопевцев Л.Н. I – 417
- Красный Юрий II – 510, **523**
- Крупник Илья I – 16, 81, 331, 333; III – 252
- Левик Вильгельм I – 215, **218**; III – 263
- Левитан Константин Григорьевич II – 67, **69**
- Леда III – 131, **135**
- Либерман Алик (Пип Иваныч) II – 184, **186**, 275; III – 82
- Лиля II – 322, 327; III – 62, **67**
- Любошиц Эмиль I – 55, 70, **71**, 237; II – 536; III – 422, 423, 436
- Малышев В.И. III – 85, **94**
- Мандельштам Надежда Яковлевна I – 239, **246**
- Манефа I – 55, **61**
- Масленникова Зоя Афанасьевна I – 103, **105**
- Мастраша III – 305, 306, 308, 310
- Меньшиков В.Б. I – **417**
- Меньшутины I – 214, 243, 287, 295, 302, 314, 346, 421, 447; II – 14, 94, 95, 102, 112, 125, 129, 135, 138, 209, 346, 530, 535, 536; III – 14, 121, 252, 334, 424, 425
- Меньшутин Андрей Николаевич I – 7, 180, **187**, 193, 204, 211, 215, 264, 265, 296, 309; II – 81, 104, 229, 305, 531; III – 122, 165, 293, 373
- Меньшутина Лидия Ивановна I – 180, **187**, 193, 211, 253, 302, 309, 320, 365, 455; II – 10, 15, 28, 29, 55, 76, 201, 210, 215, 218, 226, 229, 237, 247, 296, 374, 571, 572; III – 130, 144, 156, 157, 165, 308
- Мессинг Вольф I – 32, **35**
- Минька II – 21, 24, **26**; III – 343
- Мириманов Виль II – 150
- Мурат Владилена Павловна I – 45, **49**, 311; II – 275; III – 343

- Мурат Павел I – 309, **311**; II – 275
 Мушкалова Алевтина I – 55, **61**, 73; II – 194
 Невлер Л. II – 185
 Некрасов Виктор I – 428, 432
 Николюкин А.Н. III – 351, 356
 Овчинников Адольф Николаевич II – 310, **317**
 Окунь Александр II – 250
 Оська, Осичка I – 56, **61**, 69, 77, 89, 452, 461; II – 26, 28, 564; III – 66, 108, 148, 192, 281, 296, 307
 Пастернак Борис Леонидович I – 8, 103, 104, 327, 446, 449
 Пастернак Евгений Борисович I – 81
 Пастернак Зинаида Николаевна I – 322
 Пахомов Виктор Александрович I – 165, **174**
 Петровы I – 253
 Петров Александр Константинович I – 33, **35**, 36, 57, 61, 73, 112, 124, 131, 171, 178, 198, 204, 209, 217, 265, 287, 288, 295, 312, 314, 315, 325, 332, 344, 360, 361, 364, 386, 388, 390, 427, 430, 461; II – 42, 80, 114, **137**, 138, 162, 210, 262, 408; III – 15
 Петрова Маша I – 57, **61**, 73, 82, 109, 344; II – 42
 Пинский Леонид Ефимович I – 356, **363**
 Пирожкова А.Н. I – 331, **333**
 Плавинский Д. III – 86, **94**
 Померанцева Эрна Васильевна I – 46, **50**; II – 172, **173**, 464, 473
 Примаченко Мария I – 45, 46, 50, 311, 312, 313, 320, 327, 328, 332, 334, 335, 339, 340, 343, 356, 357, 360, 388, 394, 395, 420, 430, 437, 438, 439, 448, 449; II – 14, 28, 54, 55, 60, 100, 139, 142, 153, 155, 156, 157, 175, 322, 489; III – 181
 Примаченко Федор I – 448
 Прокофьев Валерий I – 376, **385**
 Райт Рита II – 148
 Раппопорт Владимир Исаакович III – 156, **164**, 266
 Раппопорт Сусанна Ильинична III – 156, **164**, 258, 264, 266
 Рафалович А.В. II – 370, **376**, 465, 512; III – 270
 Рендель Л.А. I – 417
 Реформатская Мария Александровна II – 169, **173**, 354, 389
 Реформатская Надежда Васильевна I – 287, **295**, 397, 420, 432; II – 57, 59, 69, 295, 536; III – 73, 131, 135, 200, 252, 334, 343
 Реформатский Петя II – 262
 Розанова Тамара Константиновна I – 216, **218**, 254; II – 299, 305, 492; III – 250
 Розенблюм Евгений Абрамович II – 139; III – 36
 Розенблюм Зоя II – 440; III – 36, 190, 308
 Россельсы III – 343
 Румянцев В.З. II – 509
 Саша I – 156, **164**
 Светлова Екатерина Фердинандовна III – 149
 Светлова Наталья III – 149
 Свешников Борис Петрович I – 360, **364**
 Сергеев Андрей Яковлевич (Собакевич) I – 228, 387, **396**; II – 249, 271, 294, 346, 347, 348, 349, 437, 536
 Сергеева Анна II – 536; III – 197, 270, 278
 Сергеева Людмила Георгиевна I – 228; II – 249, 348, 349, 387, 536; III – 197, 252, 278, 343

- Синявская Вевия Донатовна I – 41, 42, 54, 65, 70, 112, 152; II – 358; III – 467
- Синявская Евдокия Ивановна II – 440; III – 382
- Синявский Донат Евгеньевич I – 60, 203, 209, 254, 295; II – 425, 440; III – 81, 165, 343
- Синявский Евгений Михайлович III – 343
- Синявский Михаил II – 425, 440
- Скворцова Людмила Александровна II – 520, 523
- Смирин И.А. I – 130, 137, 215, 218, 376
- Смолкин Валерий II – 99, 105
- Сталина Светлана Иосифовна I – 151, 152, 322, 344
- Тареев (Гареев) III – 310, 319, 320, 421, 423
- Темин Андрей III – 95
- Темин Геннадий II – 206, 207, 210, 334, 358, 409, 423; III – 95
- Темина Нина II – 206, 334
- Толик III – 95
- Торхов Андрей Иванович II – 509
- Торхов Иван Макарович II – 425, 440; III – 58
- Тургенев Юрий III – 122, 436
- Турковы III – 289
- Турков Андрей III – 294
- Тюрин Аркадий II – 26, 42
- Усок Ира I – 254
- Усоскин, Илья II – 529, 536
- Фаюмы I – 240; II – 234
- Фелица Ивановна I – 277, 285
- Фетисов I – 157, 164
- Флейшман Лазарь I – 81, 326, 332; II – 203, 531, 559; III – 467
- Филин И. III – 320
- Фунтик II – 425
- Хаславская Вилля Емельяновна II – 104, 150; III – 308
- Хмельницкий Сергей II – 162, 258, 262
- Хуторянский Саша I – 306, 309, 310
- Чудаков Сергей II – 261
- Швейцер Виктория I – 80, 81, 146, 151, 287, 415, 418; II – 92, 284, 290, 294, 297, 305, 432, 491, 522, 531; III – 252, 264, 278, 343, 452, 464
- Швейцер Марина II – 305; III – 195, 264, 270, 278
- Шинберг Эмиль I – 22, 24, 55
- Шитова Эмма Дмитриевна II – 195, 374, 414, 423, 529, 536; III – 252, 305, 340, 343, 388
- Юличка II – 571, 572; III – 66, 119
- Якобсон А.А. I – 186

Именной указатель к письмам и примечаниям не является полным и всеобъемлющим. Мы решили включить в него только имена людей, которые были участниками нашей жизни либо занимали наши мысли. Именно поэтому, например, из упомянутых в одном из писем рядом Лакшина и Дымшица в именной указатель включен только Дымшиц – эксперт КГБ по делу Синявского-Даниэля и участник процесса. Нет смысла указывать и те страницы, на которых упоминаются Егор Синявский, Мария Розанова, а также постоянно присутствующие в нашей семейной жизни Пушкин, Гоголь, Пикассо и многие другие.

СОДЕРЖАНИЕ

1970

Письмо девяносто второе	7
Письмо девяносто третье	17
Письмо девяносто четвертое	26
Письмо девяносто пятое	37
Письмо девяносто шестое	44
Письмо девяносто седьмое	51
Письмо девяносто восьмое	58
Письмо девяносто девятое	69
Письмо сотое	82
Письмо сто первое	95
Письмо сто второе	108
Письмо сто третье	123
Письмо сто четвертое	136
Письмо сто пятое	150
Письмо сто шестое	166
Письмо сто седьмое	181
Письмо сто восьмое	194
Письмо сто девятое	198
Письмо сто десятое	211
Письмо сто одиннадцатое	222
Письмо сто двенадцатое	236
Письмо сто тринадцатое	254
Письмо сто четырнадцатое	267
Письмо сто пятнадцатое	280
Письмо сто шестнадцатое	295
Письмо сто семнадцатое	309

1971

Письмо сто восемнадцатое	327
Письмо сто девятнадцатое	344
Письмо сто двадцатое	357
Письмо сто двадцать первое	371
Письмо сто двадцать второе	384
Письмо сто двадцать третье	396
Письмо сто двадцать четвертое	410
Письмо сто двадцать пятое	424
Письмо сто двадцать шестое	438
Письмо сто двадцать седьмое	452
Календарь адресата	468
Именной указатель	474

Синявский Андрей Донатович

127 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

В трех томах

ТОМ 3

Редакторы *И. Парина, В. Кочетов*

Корректор *Л. Кочетова*

Компьютерная верстка *Г. Егорова*

ИД № 03974 от 12.02.01 г.

Подписано в печать 21.08.04. Формат 60x84/16
Печать офсетная. Гарнитура «NewBaskervilleС»
Усл.-печ. л. 25,20. Тираж 1500 экз. Заказ № 4118.

Издательство «АГРАФ»
129344, Москва,
Енисейская ул., д. 2, стр. 2
e-mail: agraf.ltd@ru.net
<http://www.ru.net/~agraf.ltd>

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
на ОАО «Дом печати-ВЯТКА»
610033, г. Киров, Московская ул., 122

ISBN 5-7784-0295-3



9 785778 402959 >

1-2 subaprs.

4 subaprs 1971

19 subaprs

3 prebaprs 1971.

18 prebaprs 1971 ?

5 martsa 1971

20 martsa 1971.

5 apraprs 1971.

15 apraprs

19 mays 1971.

20 apraprs 1971.

5 mays 1971

2 june 1971

